ДЕНЬ и НОЧЬ

Литературный журнал для семейного чтения №3 | 2015

16+

ДЕНЬ *и* НОЧЬ

Литературный журнал для семейного чтения №3 | 2015

В номере

ДиН память

Станислав Минаков

3 «В невозможной, полнословной, вещей немоте…»

ДиН победа

Александр Щербаков

7 Войны далёкой отголоски

ДиН диалог

Юрий Беликов, Михаил Тарковский

15 На третьем континенте, или Предчувствие нового Ермака

ДиН лит

Дни и ночи Литературного института имени А. М. Горького

Александр Евсюков

22 День палача

Василий Киляков

26 Знак

Анастасия Чернова

29 Иван да Марья

ДиН стихи

Владимир Шадрин

28 Молитве большего не нужно

Владислав Артёмов

95 Тень облака

Анатолий Третьяков

97 Поддавшись первому порыву

Михаил Синельников

99 Издалёка

Алексей Козловский

101 Мои дожди

Сергей Ставер

103 Грустных виршей командир

Виктор Хатеновский

105 Придорожная ива

Евгений Степанов

168 Вечная история

Павел Шаров

170 По жизни бреду с фонарём

Наталья Мамлина

171 Песнопевцы

Ирина Каренина

173 Ножницы серебряных стрекоз

Маргарита Ерёменко

175 На выдохе и вдохе говоря

Варвара Юшманова

176 Очень страшная тишина

ДиН мемуары

Борис Иванцов

33 Победители

Евсей Цейтлин

39 Вспомнить не всё…

Анастасия Астафьева

42 Нежной, ласковой самой!

Д*и*Н дебют

Наталья Борисова
38 Гнездо молчанья

Вера Кузьмина
165 Совки

Д*и*Н юбилей

Сергей Хомутов
54 За гранью…

Владимир Монахов
56 Под соединёнными штатами неба

Д*и*Н роман

Елена Крюкова
59 Рай

Д*и*Н проза

Сергей Кузичкин
106 Моя Вероника

Библиотека современного рассказа

Эдуард Русаков
124 Хеппи-энд Казановы

Семён Каминский
130 Урюк

Геннадий Васильев
132 В театре

Евгений Мамонтов
136 Каждый вечер, кроме понедельника

Дмитрий Миронов
148 Пирамида

Роман Кайгородов
158 Две «Э»

Клуб читателей

Евгений Чигрин
161 «Пролететь золотое стекло»

Эдуард Учаров
163 Голос древних гор

Д*и*Н детям

Эльдар Ахадов
178 Свеча, кочерга и облако

Д*и*Н пародия

Евгений Минин
14 Скотный двор во мне
21 Проблема с животом
32 Лось с рогами
94 Намёк сверху
135 Если вдруг поедет крыша…

Д*и*Н ревю

Николай Александров
6 Армагеддон русской культуры

Наиль Ишмухаметов
131 В поисках неба

Барис Гусалты
160 Дзагдар

Николай Ерёмин
162 Волшебный котелок

Сергей Донбай
164 Малая толика

Владимир Пономарёв
172 Сочинение без опуса

193 Д*и*Н авторы

Станислав Минаков

«В невозможной, полнословной, вещей немоте…»

Кончина Валентина Григорьевича Распутина стала утратой поистине всенародной. И показала, что мы всё-таки остаёмся русским народом, несмотря на четвертьвековое прививание нам чуждых ценностей и более или менее успешную попытку переформатирования нашего сознания, национальной памяти.

На уход всероссийского иркутянина откликнулись миллионы русских сердец. Страна, где книги, как и во всём мире, читать перестают, вдруг вспоминает — чуть ли не строка за строкой — написанное с середины 1960-х и в 1970-х «последним классиком», радетелем Земли Сибирской: повести «Деньги для Марии», «Последний срок», «Живи и помни», «Прощание с Матёрой», рассказы «Василий и Василиса», «Уроки французского» и, уже в начале 1980-х, «Что передать вороне», «Век живи — век люби» — шедевры прозы, сразу по публикации становившиеся на заветную русскую книжную полку.

Подмечают верно: за одну только «Матёру» В. Распутину можно было поставить памятник; однако он и сам воздвиг себе памятник ещё при жизни не только своими книгами, но и своей бескомпромиссной жизненной позицией — в защиту природы от разорителей и в защиту простого и трудолюбивого народа Сибири; он печалился о сбережении народа и его будущем.

Какой ещё писатель, какой современник мог вызвать столь причастный отклик?! С Валентином Распутиным прощание проходило и в Сретенском монастыре, и в храме Христа Спасителя, и в Иркутске, и по всему Русскому Міру.

Его сочинения ценят как часть личного, сокровенного и рядовой читатель, и филолог, и патриарх, и президент. Оказалось, мало того что прозу Распутина прочли практически все, но она сама уже вошла в русский духовный код. Люди не только слышали болевое публицистическое слово сибиряка, но ощущали личное родство с этим совестливым человеком, чья душа радела о русской судьбе.

Из меня, в своё время всецело городского провинциального подростка, проза Распутина (в первую очередь), а также его собратьев, со-совестников (К. Воробьёва, Е. Носова, В. Шукшина, Ф. Абрамова — каждый назовёт свой список; А. Солженицын называл их не «деревенщики», а «нравственники») сделала почвенника. То есть русского человека. Произведения Распутина стали для меня сущностнообразующей, неотменимой ценностью. Дали возможность ощутить в себе крестьянские, мастеровые родовые корни.

Распутин и в безбожное время говорил языком совести, он, как его великие современники, свидетельствовал о Свете. И это было его служение.

О космической интимности в отношении к творчеству Валентина Распутина говорит и факт того, сколь проникновенно, причастно в современных дневниках, коими являются теперь и социальные сети Интернета, откликнулись на кончину современные литераторы, деятели культуры.

Валентин Курбатов в своём прощальном слове об ушедшем друге, «Один над пропастью», заметил: «…Он держал святую плоть уходящей деревенской жизни, потому что знал, что в ней весь наш дух, наша память, наша вера и наше спасение. Ему давали Государственные премии, делали Героем Труда, а он будто не видел ни чести, ни славы, потому что пропасть не отодвигалась и, значит, как порой в отчаянии казалось, голос его не был слышен. И высокие комитеты, депутатство, Президентский совет нужны были только всё для того же крестьянства-христианства, для удержания памяти, для спасения перед исторической бездной, чтобы приходилось русским старухам со своей землёй и любовью оставаться на дне рукотворных морей, а русским женщинам брать в руки обрез и принимать на себя функции государства, раз оно само не хочет выполнять то, что обязано. <…> Он всегда, с самого начала… слушал больное русское сердце, ища ему исцеления. Он всегда был неудобен и всегда (как церковь в её высоком и правильном понимании) „мешал нам жить“ в наших слабостях и меньше всего обманывал себя и других „возрождением“, потому что всегда имел слишком острое зрение. <…> Теперь уже навсегда ясно, что это он с горькой твёрдостью и правом поставил памятник русской деревне, утонувшей на наших глазах невозвратно, как Атлантида или Китеж. И мы-то ещё, может, и не поняли, что невозвратно, и ещё обманывали себя заплатками, а он уже знал и строил ковчег, чтобы если не „всякой твари по паре“ (не оставалось уже никаких пар),

то хоть последние народные духовные ценности уберечь. И последний раз напомнить, как мы были близки к тому, чтобы мир услышал тайну и силу русской правды, о которой он—этот самый мир—догадывался по книгам Толстого и Достоевского, Шмелёва и Бунина, диалога с которой искал, но которую руками своих политиков с нашими подпевалами сам и топил, не понимая, что топит и свой дух, и своё спасение».

«Распутин был исследователем тайны человеческой души, раскрывающейся в трагических обстоятельствах бытия, в которых благой выбор вовсе не предполагает благополучного земного исхода,—подмечает Олеся Николаева.—Он дал русской литературе и русской жизни новых героев, явил новые характеры…»

Уход выдающегося писателя и мгновенно образовавшееся на его месте «зияющее отсутствие» вызвали к жизни внимание СМИ, в первую очередь телевидения, которое, как мы знаем, жаждет «информационного повода». Тогда как ТВ могло бы, например, вместо идиотических ток-шоу все эти годы дарить отечественным телезрителям встречи с писателем, да хотя бы и в виде показа экранизаций его произведений, благо таковые имеются (помним фильмы «Рудольфио» Динары Асановой, «Уроки французского» Евгения Ташкова, «Прощание» Ларисы Шепитько и Элема Климова, «Василий и Василиса» Ирины Поплавской, а также недавний, «Живи и помни» Александра Прошкина).

Распутин не любил постсоветское разлагающее телевидение, говорил так: «Да, многие привыкли к той телевизионной жвачке, которой пичкают их с утра до вечера, многим она нравится. И боевики со стрельбой и кровью, и Содом в обнимку с Гоморрой, и пошлости Жванецкого с Хазановым, и эпатажи Пугачёвой, и „Поле чудес“, и прочее-запрочее. Ну что же—на то и сети, чтобы ловить наивные души. Одно можно сказать: жалко их, сидящих то ли на крючке, то ли на игле». И ещё говорил: «С нами—поле Куликово, Бородинское поле и Прохоровское, а с ними—одно только „Поле чудес“… Там „свои“. Одержимые одной задачей, составляющие один „батальон“ лжи и разврата».

Вникнем же в слова Распутина-публициста.

К примеру, в интервью, данном им за год до кончины, ко дню своего 77-летия, где он говорит о борьбе за Россию, которую «только слепые принимают за наше внутреннее дело и не видят, что крушение России подготавливалось давно и проводилось планомерно»: «Теперешние демократические радения во имя якобы цивилизованной жизни—это дурно исполняемое действо перед жертвоприношением. Отсюда и ложащиеся на плечи русского человека бремена, каких ещё не бывало, отсюда его предстояние перед окончательной судьбой. Не завтра, а сегодня наступила решительная проверка, чего мы сто́им. Остались ли ещё в нас столь прославленные прежде мужество, стойкость, умение усилиться в каждом за десятерых и встать неодолимой дружиной, а главное—это испытание крепости нашего национального чувства, о которое в последние годы мы поистёрли языки, но не имели возможности удостовериться, во что оно от подобных трудов возросло».

Эти слова писателя являются пророческими, сегодня мы в полноте ощущаем апокалиптическую правоту В. Распутина: «Россию обдирают как липку и „свои“, и чужие—и конца этому не видно. Для Запада „разработка“ России—это дар небес, неслыханное везенье, Запад теперь может поддерживать свой высокий уровень жизни ещё несколько десятилетий. Ну а домашние воры, полчищами народившиеся из каких-то загадочных личинок, тащат буквально всё, до чего дотягиваются руки, и тащить за кусок хлеба им помогают все слои населения. Повалили Отечество и, как хищники, набросились на него—картина отвратительная, невиданная! Двадцать лет назад мировое государство с единым правительством, единой экономикой и единой верой могло ещё считаться химерой. После крушения СССР и прихода в России к власти демократической шпаны, с восторгом докладывавшей американскому президенту об успехах разрушения, мир в несколько лет продвинулся в своих мондиалистских усилиях дальше, чем за многие предыдущие столетия. Пал бастион, которым держались национальное разнообразие и самобытные судьбы. После открытия Америки и устроения там могучего космополитического государства прорыв в Россию стал главным событием второй половины прошлого столетия. Это слишком важная победа, чтобы её захотели отдать обратно. Сейчас Запад ещё прислушивается: что происходит в недрах нашей страны?—а через два-три года с нами начнут поступать так же, как с Ираком и Фолклендскими островами».

Поглядим на Украину, с которой «золотой миллиард» Запада поступает так же, как со странами Северной Африки или Ближнего Востока, где уже уничтожены сотни тысяч, а изгнаны со своих земель миллионы граждан. В 1992-м, когда Украина ещё не кровоточила, когда избегла гражданской войны, Валентин Распутин писал, понимая, к чему всё идёт, во что отольётся, словно предвидел нынешний братоубийственный ад: «Российские славяне—это один народ, народ русский, разлучённый историческими обстоятельствами в старые времена на три части и в разлуке наживший различия, давшие основания называться Малой, Белой и Великой Русью… „Москали“, „москальство“—кривитесь вы вслед нам, как врагам своим. Нам не впервой слышать такое. Разве далеко обращаться за памятью о Киевской Руси, откуда

разошлись мы на три стороны с одним и тем же лицом и языком, и разве только с возвращения от Литвы и Польши начинается ваша народность? Разве не такова степень сходства и сродства между нами, что дальше некуда, и ненавистный вам теперь „москаль“—часть ваша, хотите или не хотите вы это признать?.. Ваши предки, претерпевшие за русскость и сохранившие её, при возвращении на родину шли не за выгодой, а для исполнения общих наших обетов. Когда не твёрдость их и не верность Руси, быть вам сегодня диалектами польскими и австрийскими».

Увы, впавших в дикое средневековье сегодня не страшат ни польский, ни австрийский диалекты, ни утрата родства, ни провал в цивилизационную бездну.

Тем не менее: «Кажется, нет никаких оснований для веры, но я верю, что Запад Россию не получит. Всех патриотов в гроб не загнать, их становится всё больше. А если бы и загнали—гробы поднялись бы стоймя и двинулись на защиту своей земли. Такого ещё не бывало, но может быть. Я верю—мы останемся самостоятельной страной, независимой, живущей своими порядками, которым тыща лет. Однако лёгкой жизни у России не будет никогда. Наши богатства—слишком лакомый кусок…»

Кое-кого корёжит разговор о патриотизме. Распутин—объясняет, оставляя нам это как завещание: «Зачем патриотизм? А зачем любовь к матери, святое на всю жизнь к ней чувство? Она тебя родила, поставила на ноги, пустила в жизнь—ну и достаточно с неё, дальше каждый сам по себе. <…> …Патриотизм—не только постоянное ощущение неизбывной и кровной связи со своей землёй, но прежде всего долг перед нею, радение за её духовное, моральное и физическое благополучие, сверение, как сверяют часы, своего сердца с её страданиями и радостями. Человек в Родине—словно в огромной семейной раме, где предки взыскуют за жизнь и поступки потомков и где крупно начертаны заповеди рода. Без Родины он—духовный оборвыш, любым ветром может его подхватить и понести в любую сторону. Вот почему безродство старается весь мир сделать подобным себе, чтобы им легче было управлять с помощью денег, оружия и лжи. <…> Родина—прежде всего духовная земля, в которой соединяются прошлое и будущее твоего народа, а уж потом территория. <…> Нельзя представить Родину без Троице-Сергиевой лавры, Оптиной пу́стыни, Валаама, без поля Куликова и Бородинского поля, без многочисленных полей Великой Отечественной… Родина больше нас. Сильней нас. Добрей нас. Сегодня её судьба вручена нам—будем же её достойны».

«Национальную идею искать не надо, она лежит на виду,—говорит Распутин.—Это—правительство наших, а не чужих национальных интересов, восстановление и защита традиционных ценностей, изгнание в шею всех, кто развращает и дурачит народ, опора на русское имя, которое таит в себе огромную, сейчас отвергаемую, силу, одинаковое государственное тягло для всех субъектов Федерации. Это—покончить с обезьяньим подражательством чужому образу жизни, остановить нашествие иноземной уродливой „культуры“, создать порядок, который бы шёл по направлению нашего исторического и духовного строения, а не коверкал его. <…> Политические шулеры всё делают для того, чтобы коренную национальную идею, охранительную для народа, подменить чужой национальной или выхолостить нашу до безнациональной буквы».

В. Распутин не без оснований считал, что реальность оказалась за гранью возможностей нынешней литературы, что «знакового» художественного образа для выражения нынешнего состояния России литература предложить не смогла и что, больше того, наступила эпоха за гранью жизни, и для неё есть единственный образ—Апокалипсис в «Откровении Иоанна Богослова».

По своей горькой правде, бескомпромиссной публицистике, знанию самых страшных, тёмных сторон русской жизни Распутин может показаться пессимистом (вспомним и его «Пожар», и последнюю повесть «Дочь Ивана, мать Ивана»), но вот что он говорит о русской молодёжи: «…Молодые принимают национальный позор России ближе к сердцу (чем поколение сорокалетних.—*С. М.*), в них пока нетвёрдо, интуитивно, но всё-таки выговаривается чувство любви к своему многострадальному Отечеству. Молодёжь теперь совсем иная, чем были мы, более шумная, открытая, энергичная, с жаждой шире познать мир, и эту инакость мы принимаем порой за чужесть. Нет, она чувствительна к несправедливости, а этого добра у нас—за глаза, что, возможно, воспитывает её лучше патриотических лекций. <…> …Сбитых с толку и отравленных, отъятых от родного духа немало. Даже много. Но немало и спасшихся и спасающихся, причём самостоятельно, почти без всякой нашей поддержки. Должно быть, при поддержке прежних поколений, прославивших Россию».

Многие спрашивают о роли Православия в русской жизни. У Валентина Распутина всё внятно: «В грязном мире, который представляет из себя сегодня Россия, сохранить в чистоте и святости нашу веру чрезвычайно трудно. Нет такого монастыря, нет такого заповедника, где бы можно было отгородиться от „мира“. Но у русского человека не остаётся больше другой опоры, возле которой он мог бы укрепиться духом и очиститься от скверны, кроме Православия. Всё остальное у него отняли или он промотал. Не дай Бог сдать это последнее!»

В православном духовном поле отзывается на кончину писателя дочь известного философа,

доктор филологии Анастасия Гачева: «Думаю о Валентине Распутине и о том, как нам, ныне живущим, протянуть руку помощи ему, находящемуся уже за смертной чертой. Молитвой, сердечным воздыханием, светлым воспоминанием, добрым словом. Но долг поминовения, любовной, воскрешающей памяти ещё и в том, чтобы обратиться к книгам писателя, к его образу мира, человека, истории. Открыть именно в эти скорбные, прощальные дни его повести и рассказы. <…> Сочетание поминальной молитвы и вдумчивого чтения, вникания в образ и слово, собеседования с писателем будет нашей общей, соборной поддержкой ему, уходящему в вечность, той „цепью любви“, которая протягивается от живущих к умершим, свидетельствуя, что все мы — единое человечество и что „непременно восстанем“».

Марина Кудимова опубликовала, тоже в «Фейсбуке», в день смерти писателя стихотворение «Памяти Валентина Распутина»:

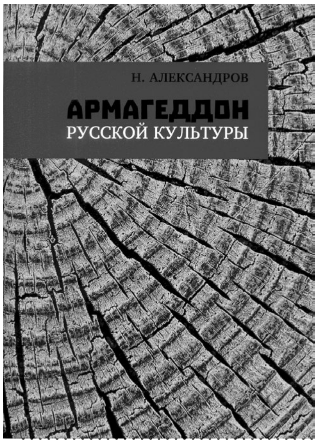
Всё отдав и всё оставя
На заступленной черте,
Неподатливые к славе
Умирают в немоте.
Так молчат снега с разбором,
Впору вьюгами отвыв,
Так молчит народ, в котором
Был и ты доселе жив.

А теперь над зыбью кровной
Всходишь, вопреки тщете,
В невозможной, полнословной,
Вещей немоте.

Следует понимать, что с уходом всероссийского иркутянина вслед за В. Гаврилиным, Г. Свиридовым, В. Клыковым в этой самой «невозможной, полнословной, вещей немоте» заканчивается некая эпоха.

«На Крестопоклонную отошёл ко Господу последний из великих русских писателей того времени, что ещё недавно мы полагали нашим, — утверждает нью-йоркский харьковец Юрий Милославский. — Можно ли сказать, что он пережил это своё/наше время? Нет, своей кончиной он, по воле Божией, ознаменовал завершение некоего временно́го цикла. Время, в котором он жил (и которое — жило в нём; здесь нет парадокса), время это избыто. Оно „свилось, как свиток“ по слову Тайнозрителя. Теперь, когда умер Валентин Распутин, всем, пускай хоть мало-мальски внимательным, придётся обратить внимание на то, что с нами произошло. Упокой, Господи, новопреставленного раба Твоего Валентина и сотвори ему вечную память!»

Верим, что присутствие, служение Валентина Распутина продлятся, пока есть на белом свете Россия, пока культура не одичала до пещеры. Это был последний великий из могикан русской культуры.



ДиН ревю

Николай Александров

Армагеддон русской культуры

Новосибирск: Издательский дом «Историческое наследие Сибири», 2015

«…В жертвенном служении проявляется любовь к Родине, потому что Любовь — это всегда жертва. Жертва защитника Родины — жизнь. Жертвенная любовь матери и отца — воспитание дитя. Жертвенная любовь детей к престарелым родителям всегда трепетно-заботлива и максимальна. Без жертвенной любви не может быть крепкого брака и семейного счастья, которые держатся на терпении и прощении. Семьи складываются только тогда, когда молодые супруги находят в себе силы принести в жертву личное честолюбие и привычки, позже эта жертва превращается в радость общения, в счастье совместного бытия до самой смерти. Жертва во всём и всегда, где проявляется любовь. Именно поэтому заняться «любовью» нельзя, можно заняться чем угодно, но только не любовью.

Любовь созидают те, кто постигает вечные истины: Бескорыстие, Дружбу, Взаимопомощь, Щедрость, Милосердие, Доброту, Сотворчество, Сотрудничество, Товарищество, Трудолюбие, Смелость, Сострадание, Искренность, Преданность, Верность, Заботу. Именно эти нравственные координаты помогают научиться любить».

Александр Щербаков

Войны далёкой отголоски

Из рассказов-воспоминаний

Подарок «нашим»

Мои первые воспоминания, как, наверное, и у всех сверстников, чьё раннее детство выпало на начальные сороковые прошлого века, неизменно связаны с войной. Точнее сказать, с далёкими грозными отголосками её, долетавшими до нашей сибирской глубинки. Отрывочные и порой зыбкие, воспоминания эти, как ни странно, с годами не тускнеют, а, кажется, напротив, становятся более яркими и острее бередят душу.

Памятны мне, к примеру, девичьи посиделки в нашем доме. Это когда в долгие зимние вечера к нам приходили подруги моей «няньки», старшей сестры Марфуши. Приодетые в «чистое», с цветными косоплётками в косах, они садились за вязанье, за пряжу, да и ткацкий станок стоял тут же, и, не отрываясь от рукоделий, вели бесконечные разговоры. Делились сельскими новостями, вестями с фронта, пели вполголоса песни, тягучие старинные и свежие, рождённые войной,—о том, как «дрались по-геройски, по-русски» с фашистами «два друга в пехоте морской», как партизаны «уходили в поход на врага». Конечно, здесь же, возле взрослых, толклись и мы с Валькой, средней сестрой. Её мастерицы иногда приобщали к какому-нибудь делу. Мне же доставалась только роль созерцателя.

Одни такие посиделки вспоминаются по-особому подробно. В тот зимний вечер ещё с сумерек у нас собрались нянькины подружки—статные, чернобровые сёстры Аня и Дуся Кондратьевы, жившие по соседству, и юркая «белянка» Стюра Смертина с заречной улочки. Они были оживлены более обычного, словно спешили куда-то. Едва раздевшись у порога, тотчас присели к столу, вынули из сумок и корзинок разные рукоделия и принялись за работу.

Мама на правах хозяйки предложила им погреться с мороза чайком, но они отказались, сославшись на то, что уже повечеряли дома, да и некогда нынче чаи распивать. В ловких руках сестёр Кондратьевых засверкали железные спицы, Аня взялась, в дополнение к принесённым, довязывать шерстяные носки, а Дуся—шарф. Стюра, скорая на выдумку, вызвалась «на одну спицу», на особую, плоскую, с проушиной над носиком, связать отменно тёплые «бойцовские» варежки с двумя напалками под большой и указательный пальцы—для удобства при стрельбе. Нянька Марфуша выложила дюжину кисетов, сшитых накануне матерью-портнихой из красного плиса, лоскут которого у неё сохранился от куртки, справленной чуть ли не в девичестве, и под общие похвалы и поощрения решила вышить на них узоры с дарственными надписями. Варианты этих надписей долго выдумывать не пришлось. Они посыпались справа и слева: «Бей врага с огоньком!», «Возвращайся скорее!», «Закурим, товарищ»…

Мама, увлечённая общим деловитым настроением, тоже не осталась без работы: она села за кросна, чтобы продолжить тканьё домашнего сукна—тёплого и ноского полотна с шерстяной и холщовой нитью, незаменимого в роли портянок, хоть крестьянских, хоть солдатских. Не находила пока своего дела лишь Валька-школьница, металась между мастерицами, стараясь помочь каждой чем могла: то подать ножницы, то вставить нитку в иголку, то подержать моток пряжи на вытянутых руках или смотать её в клубок, а то накрутить уто́к на цевку для ткацкого челнока.

С понятным любопытством наблюдал я за всем этим с полатей сквозь щёлку в раздвинутой занавеске. Из доносившихся разговоров мне скоро стало понятно, почему нянька и её гостьи особенно спешили с рукоделием на нынешних посиделках. Ожидалось, что завтра через наше село пройдёт из райцентра Каратуза в город Минусинск очередной конный обоз «Всё для фронта, всё для победы!». В нём уже были посылки для бойцов от нашего колхоза и жителей села, заранее отправленные на районный приёмный пункт. Но сегодня колхозное правление решило добавить к тому обозу дополнительную подводу с подарками и обратилось к селянам с просьбой срочно собрать новый санный воз. И вот теперь все спешно готовили к отправке кто что мог—от сухарей, сушёной картошки, солёного сала до варежек, кисетов и носовых платков.

Общее стремление поучаствовать в приближении победы над фашистами передалось и мне.

Наблюдая с полатей за увлечённой работой рукодельниц, я невольно призадумался о том, чем бы мог подсобить фронтовикам. И меня посетила одна нехитрая, но дельная мысль. По крайней мере, мне она показалась таковой. Я вспомнил, что недавно, когда мать раскроила разом две большущие тыквы, чтобы натомить парёнок в русской печи, выгреб из них несколько горстей превосходных семечек, крупных и тугих от спелости. Они теперь сушились на голландке, рассыпанные тонким слоем на листках бумаги, которые я вырвал из старой Валькиной тетради по арифметике. И уже наверняка подсохли. Почему бы их тоже не отправить на фронт в виде гостинца для наших бойцов? Мне даже представилось живо, как солдат, молодой, похожий на братку Ваню, или пожилой, усатый, вроде отца (а может, кто из них самих, ушедших на фронт!), в минуты отдыха «в лесу прифронтовом», получив при раздаче подарков от «тружеников тыла» мои ядрёные семечки, охотно шелудит их, угощает боевых друзей, и они вместе вспоминают свой дом, огород, родных…

И я, не теряя времени даром, задёрнул занавеску, осторожно, чтобы не привлекать к себе внимания, слез с полатей и прошмыгнул мимо сестёр и гостий в горницу. Погружённые в свои занятия, рукодельницы, кажется, даже не заметили меня. Правда, Валька вопросительно дёрнула головой: куда, мол, тебя несёт на ночь глядя?—но я промолчал, и она вслух ни о чём не спросила.

После света от двух керосиновых ламп, горевших в передней комнате—одна на столе, другая под потолком над кроснами,—горница мне сначала показалась темнее чулана, однако скоро я пригляделся: из сумрака чётко проступили окна с занавесками, стол, шкаф, Валькина кровать, но прежде всего голландка, потому что она топилась, и в округлом поддувале плясали языки пламени, отбрасывая блики на стену. Я пододвинул к нему табуретку, поднялся на неё и достал с высокого обогревателя один за другим листки бумаги с тыквенными семечками. Они действительно оказались сухими, вполне готовыми к употреблению. Я даже расщёлкнул одно семечко и нашёл его зрелое ядрышко довольно вкусным.

Но теперь предо мною встала задача, во что и как запаковать семя для отправки. Я хотел было спросить совета у матери или няньки, но подумал, что они могут отвергнуть, да ещё, чего доброго, осмеять мою затею, и не стал пока никого посвящать в свои планы. Поразмыслив, решил сам сделать кулёк, этакий объёмистый конверт из подручной бумаги, и наполнить его семечками. Очень кстати оказался чугунок с картошкой в мундирах, стоявший на плите. Он был сдвинут на самый краешек, это означало, что клубни уже сварились и вполне могли сгодиться для склеивания конверта. Картошка вообще служила самым ходовым бумажным клеем в те скудные времена, фабричного «конторского» просто не водилось…

Горячую картофелину, вынутую из чугунка, пришлось покидать из ладошки в ладошку, прежде чем положить рядом с семенами на табуретку. Затем я передвинул её поближе к поддувалу, источавшему тепло и свет, встал перед нею на колени и приступил к делу.

Кулёк-конверт из тетрадных листков вышел на славу—вместительный и прочный. На лицевой стороне между строчками, исписанными Валькой, обнаружилась довольно широкая, почти в ладошку, чистая полоса. И это навело меня на новую мысль—подписать конверт, то есть поставить на нём имя отправителя. Надобно сказать, что к тому времени я хотя и не ходил ещё в школу, но уже с помощью Вальки выучил буквы, немного умел читать по складам и даже писать некоторые слова. Особенно неплохо получалось у меня начертание собственного имени. И вот я нашарил в Валькиной сумке, лежавшей рядом на столе, знакомый «фимический» карандаш и, обильно послюнив его, вывел на чистой полоске конверта крупными печатными буквами: «САША». А чтоб ещё блеснуть знаниями перед тем незнакомым бойцом, которому достанутся мои семечки, снизу словно бы подчеркнул буквенное имя надписью его азбукой Морзе: три точки, точка-чёрточка, четыре чёрточки и снова точка-чёрточка… Всей телеграфной азбуки я не знал, но нескольким буквам меня научил приятель Гришка Кистин. Он был года на два постарше меня, ходил в школу, владел грамотой и уже сам писал письма старшему брату, служившему на Тихоокеанском флоте. Брат был помощником радиста на корабле и в одном из писем прислал Гришке ту самую азбуку Морзе. Ну а Гришка познакомил с нею своих приятелей, в том числе и меня. Так что, можно сказать, мне довелось осваивать две азбуки почти одновременно.

Надписав «двухазбучно» своё имя, я уже собирался выйти к сёстрам и гостьям, чтобы передать свой подарок для фронта, однако в последний момент скользнул взглядом по надписи ещё разок и вдруг спохватился, что одного имени явно недостаточно. Оно, в сущности, ничего не скажет тому, кому вручат моё послание. «Что значит «САША»?—спросит он.—В кульке Саша? Или, поди, сажа?» Ведь и так можно подумать. Надо было мне, растяпе, указать, от кого эти семечки, написать: «От Саши». Но теперь исправить «а» на «и» не так-то просто. При любом старании получится мазня. А как написать «и», да ещё «от» азбукой Морзе, мне вообще было неизвестно. И я не придумал ничего лучше, как подставить слева жирное «ОТ» обычными буквами и успокоиться.

С тем и поспешил в переднюю комнату, к мастерицам. Но едва успел заявить им о своём пакете с тыквенными семечками, как Валька, вертевшаяся

возле взрослых, выхватила его из моих рук и, повернув к свету, громко прочитала по слогам:

— От Са-ша! От Соединённых Штатов, что ли? Семечки от Америки! — и залилась звонким дурашливым смехом.

Она тут же пустила мой подарок по кругу, и все гости, принимая его, тоже запрыскали в ладошки, потешаясь над моей оплошностью. У меня от стыда и обиды загорелись уши и на глаза навернулись слёзы. Я уже пожалел, что вообще показал свой подарок. Но мне на выручку пришла нянька Марфуша.

— Хватит изгаляться над парнем, он старался как мог! — окоротила она просмешниц. Мне же посоветовала: — Добавь слева «шэ» и «лэ», а «о» переделай в «ё», и будет нормально: «Шлёт Саша»…

— А вот тут накарябай: «американец», — съязвила Валька, к которой, обойдя круг, вернулся кулёк, но её уже никто не поддержал.

Я вырвал свой пакет из Валькиных рук и, молча развернувшись, шмыгнул на полати. Там подполз на четвереньках к лежанке и задёрнул занавеску, чтоб не слышать лукавых извинений и уговоров, доносившихся из-за стола. Впрочем, они доносились недолго. Разговоры о моей персоне скоро сменились другими. Мне осталось только отойти ко сну, и я, сквозь дремоту решив ничего не исправлять на своём конверте, заснул в обнимку с ним.

А рано утром меня разбудила мама. Она заглянула ко мне на полати, приподняв занавеску, и ласково спросила:

— Шурик, где твой подарок-то? Марфуша упаковала общую посылку, и подвода уже у ворот.

Я с готовностью протянул ей свой пакет, забыв про все вчерашние обиды. Нянька, не читая злополучной надписи, сунула его в мешок, наполненный доверху подарками, и затянула шпагатом горловину. Потом повязала шаль, надела фуфайку, забросила мешок на плечо и скрылась за дверью.

Мне захотелось посмотреть на то, как поедет на фронт мой подарок. Я тотчас спрыгнул с полатей и прильнул к окну. Утренний морозец подёрнул стекло белёсыми кружевами, но всё же мне видно было, как нянька передала мешок бородатому Петру Лукьянову, старому конюху, сидевшему в санях. Дед уложил его поверх других подобных, покивал головой и взял в руки вожжи. Рыжка, знакомый мне долгоногий коняга из нашей пятой бригады, стронул воз и, ускоряя шаг, потянул его далее, к домам моих соседних приятелей — Пашки Звягина, Ванчи Теплых, Тольки Платонова, где уже стояли у ворот мешки с подготовленными подарками «для фронта, для победы».

Американские фокусы

Не знаю, как нынешние тинейджеры, а мы, отроки-подростки, «опалённые войной», очень любили всякие чудеса и фокусы. И наилучшими зрелищами для нас (за исключением военного кино) из того, что показывали в сельском клубе или школе, были выступления фокусников и гипнотизёров. Сколько восторгов и перетолков вызывали такие, к примеру, номера, как голуби, вдруг по выстрелу фокусника вылетавшие из «пустой» шляпы, или кирпич, разбиваемый молотом на груди залётного циркача-негра, или просто загаданная карта, чудесным образом найденная в кармане кого-нибудь из ошеломлённых зрителей…

Да мы и сами знали немало фокусов и с удовольствием показывали их друг другу, не стесняясь того, что секреты многих были известны каждому в нашем кругу. Ну а уж если кто узнавал свежий фокус, то становился персоной повышенного внимания. Ему не давали проходу ни в школе, ни на улице, прося поделиться новинкой. Впрочем, показать новый фокус он мог и без упрашиваний, но секрета его не выдавал, держась, как говорится, до последнего. Секрет тот выуживали, выжимали из него всеми средствами, пока, в конце концов, он не сдавался и не открывал свою тайну кому-нибудь из ближайших друзей или же не обменивал её на достойный «эквивалент». Известно, что тайна, в которую посвящены более чем двое, вскоре перестаёт ею быть. Но фокус, ставший доступным и для многих, ещё долго не умирал, продолжал хождение между нами, оттачиваясь в наших руках и головёнках. При этом каждый, конечно, мечтал встретить неосведомлённого новичка и при появлении такового на горизонте стремился первым представить ему свои колдовские способности или «ловкость рук — и никакого мошенства».

Однажды в положении подобного непосвящённого, по-нынешнему — лоха, оказался и ваш слуга покорный, пал жертвою «разводки». Тот фокус почему-то назывался американским. Наверное, по моде времени. Ведь мы тогда вроде как дружили с Америкой, союзницей в общей войне против фашизма. Отголоски этой дружбы докатывались и до нашей тыловой глухомани. К примеру, многие из нас с интересом пробовали американскую тушёнку в золотистых банках, которой угощали родню и соседей фронтовики, что возвращались домой с запада и востока. Над нашей тайгой перегоняли по ленд-лизу американские военные самолёты с Аляски на Красноярск и далее — к линии фронта. Какими-то неведомыми путями попадали к нам и американские «студебеккеры». Эти мощные грузовики в пору осенней страды целой колонной курсировали между районным центром Каратузом и городом Минусинском, перевозя в «закрома Родины» зерно, собранное с окрестных полей. Едва вереница тёмно-зелёных автомашин показывалась на въезде в наше село, вся ребятня бежала к чайной, где шофёры обычно делали остановку, чтобы отдохнуть и перекусить.

А мы, пользуясь моментом, шныряли вокруг «студиков», с жадным любопытством рассматривая и ощупывая их толстые, как рельсы, буферы, лупоглазые фары за железными сетками, похожими на очки, высокие решетчатые борта и почти дюжину колёс с грубым протектором.

Однако при всей своей мощи, помнится, дождливым днём несколько «американцев» застряло в грязи у мостика против нашего дома. Они долго буксовали, надрывно рычали моторами, вытаскивая друг друга из глинистого месива, и мне с приятелями и взрослыми соседями пришлось даже толкать их, под артельное «раз-два—взяли!» помогать выбраться на проезжую дорогу. В моей памяти сохранилась кем-то выданная шутливая импровизация или, может, бродячая присказка, не лишённая своеобразного патриотического чувства: «Славяне шумною толпой толкали в гору «студебеккер»… Что говорит о силе и сплочённости нашего народа и о слабости американской техники»…

Но, пожалуй, особенно глубокое впечатление произвёл на всю нашенскую братву показанный в те годы американский фильм про Тарзана, многосерийный, полный яркой тропической экзотики. Мы были покорены не только главным героем, ловким и смелым, но и мудрой обезьяной Читой, его верной охранительницей. В подражание им лезли на деревья, громким «люлелюканьем» и уханьем оглашая окрестности, раскачивались на ветвях родных осин, берёз и черёмух, нередко срывались с них, обдирая физиономии, калеча руки и ноги…

Наверное, заодно со всеми этими новинками и был тот невиданный фокус, завезённый откуда-то в наши палестины, назван американским. Я слышал от приятелей, что он заключался в волшебном примораживании чашки с водой к потолку, но долго не видел его в действии и не знал секрета, пока мне наконец не «улыбнулся» случай.

В один прекрасный день я, не застав дома своего дружка Ванчу Гришина, забежал к его ближайшему соседу Коте Варину. Замечу кстати, что эти «родословные приставки» к нашим прозвищам имели, кроме очевидного, и скрытый смысл. Происходившие от отцовских имён доставались тем, у кого был жив отец, а «безотцовщина» носила производные от имён матерей. Вот и к прозвищу Кости, у которого отец погиб на фронте, добавили подобную. Оставшись с овдовевшей матерью Варварой и болезненной сестрёнкой Ольгой, он рано втянулся в заботы по дому, по хозяйству и потому редко играл с нами. Но в этот раз я застал у него целую компанию. Кроме Ванчи Гришина, там были Федька Савватеев и Тольша Платонов. Они увлечённо занимались довольно несерьёзным делом: сидя вокруг стола, макали соломинки в блюдце с мутным раствором и пускали мыльные пузыри. Шло соревнование, кто выдует наибольший.

Шумно встреченный товарищами, я тоже был приглашён к участию в состязаниях. Запасные соломинки лежали рядом с блюдцем. Я взял самую ровную, привычно расщепил один конец «звёздочкой», помакнул его в мыльный раствор, а в другой конец начал осторожно и сосредоточенно дуть. Пузырь мой рос и рос, переливаясь всеми цветами радуги и отражая свет, льющийся из окна, пока не достиг размеров среднего арбуза. Приятели ревниво следили за моей работой. А когда пузырь наконец оторвался от соломинки и поплыл по комнате, иные даже привстали с почтением перед его величиной и красотой. Но не все.

— Новичкам да дурачкам везёт,—скептически заметил Тольша Платонов.—Пусть выдует ещё такой, тогда, может, и признаем его рекорд.

Мне пришлось повторить всю процедуру пузырепускания. И хотя я заметно волновался под пристальным вниманием соперников, невесомый радужный шар снова вышел знатным, даже бо́льшим, чем прежний. К тому же он довольно долго держался на плаву и лопнул лишь в смежной комнатке, куда нырнул через дверной проём.

Обескураженные приятели с минуту посидели в молчаливом оцепенении. Потом Федька с Ванчей один за другим положили на стол свои соломинки—можно сказать, сложили оружие, признав своё поражение. За ними, как бы нехотя, последовали Тольша с Котей. Видно, и они потеряли интерес к выдуванию мыльных пузырей.

— Давай лучше покажу тебе американский фокус,—нарушив молчание, обратился ко мне Тольша Платонов.

— А почто не всем?—удивился я.

— Да мы уже видели,—кисло усмехнулся и махнул рукой тихий Федя Савватеев.

А Тольша тут же приступил к делу.

— Тащи железную чашку и кисточку!—почти скомандовал он хозяину дома.

Котя метнулся к шкафу-угловичку, отгороженному занавеской, погремел посудой и подал фокуснику глубокую миску с выгнутыми краями. Но кисточки в доме не оказалось.

— Наверно, Ольга в школу унесла вместе с красочками,—развёл руками Котя.

— Ничо, найди любую палочку,—успокоил его Тольша.

Хозяин достал с печки лучинку из припасённых на растопку:

— Пойдёт?

— Поедет. После подготовки.

Тольша принял лучинку, отошёл в дальний угол, побормотал там что-то и, вернувшись, пояснил явно для меня:

— Волшебная нужна, заговорить пришлось…

Далее он зачерпнул из кадки ковшик воды, перелил в миску, наполнив её почти до краёв. Потом поставил стул на середину комнаты и хотел было

подняться на него, но, прикинув взглядом высоту потолка, предложил гостям выдвинуть стол. Они покорно поднялись со своих мест и дружно подкатили стол под широкую матицу. Тольша забрался на столешницу, пошарил рукой по плоскости матицы, затем взял миску и, держа её на пальцах правой руки, попросил меня в протянутую левую подать лучинку, лежавшую возле его ног. Я, загораясь любопытством, с готовностью выполнил это поручение. Тольша начал выводить некие знаки по дну сосуда заколдованной лучинкой, однако она выскользнула из его руки и упала на пол. Фокусник чертыхнулся и, не отрывая правой руки от миски, прижатой к потолочной матице, снова обратился ко мне, прося подать лучинку. Я проворно подскочил к ней, но едва успел нагнуться, чтобы поднять её, как вдруг мой «обнулённый» затылок и голую шею ожгло холодной водой, а следом по спине долбанула железная миска и загремела по плашкам пола.

— Ты чо, колдун косорукий? — вскрикнул я от неожиданности.

Но возмущённый голос мой потонул в общем безудержном смехе.

Громче и самодовольнее всех хохотал, ясное дело, Тольша Платонов. Он, захлёбываясь, сперва присел на кукурки и схватился за живот, а потом даже лёг на столешницу и стал кататься по ней, точно пёс перед заходящей грозой.

Однако мне, как понимаете, было не до смеха. Я разом усёк всю тёмную суть американского фокуса, а также и то, что друзья-приятели уже побывали в моей незавидной роли и теперь, смеясь, испытывали этакое облегчение от мысли, что не одни они оказались доверчивыми простаками.

Лишь Котя Варин посочувствовал моему положению. Он подал мне рушник. Я молча утёрся и, не выжимая мокрой рубахи, стал собираться домой.

Признаться, после такого конфуза и во мне шевелилось неправедное желание отыграться на ком-нибудь, навязать американский фокус подобному «лоху», но среди знакомых ребятишек уже не было не посвящённых в его «секрет», а появления новичков не предвиделось. Однажды я попытался удивить своим даром кудесника даже сестру Валю, пообещав на её глазах приморозить чашку к потолку, но «подопытная» мигом разгадала всю хитрость моего чудотворства.

— Чашку с водой? — спросила она.

— Ну да, — ответил я с невинной физиономией.

— Поищи дурочку в другом месте, — показала мне язык сестрица, и я невольно позавидовал её «неженскому» здравомыслию и проницательности.

Пришлось смириться с участью последней жертвы американского фокуса…

Но это «последней» в нашей округе, и фокуса того давнего, ребяческого, в общем-то, более смешного, чем обидного и коварного. А сколько их было потом, уже иных американских фокусов, не шутовских, не «прикольных», а изначально вредоносных, даже злодейских! И сколько раз заморские «фокусники» вероломно окатывали, как ледяной водой, холодными войнами, перераставшими в горячие, не одну наивную жертву, а тысячи и миллионы доверчивых людей в разных уголках подлунного мира!

Ну в самом деле, разве не фокусом было уже то, что наши недавние союзнички по «антифашистской коалиции» вдруг после общей победы, по сути, объявили войну нам? Политики её назвали «холодной». Однако скоро стали известны тайные замыслы иных вариантов — с прямыми бомбёжками советских городов, промышленных центров (включая и наш Красноярск) вплоть до их «стирания с лица земли». К примеру, планом под названием «Троян», раскрытым недавно, к его 65-летнему «юбилею», предполагалась массированная воздушная атака американских самолётов на двадцать городов Советского Союза. В новогодний праздник «фокусники» собирались разом сбросить на них триста ядерных бомб и двадцать тысяч обычных. Готовили нам беду похлеще Хиросимы…

Но не вышло. «Фокус» не удался. У нас появились свои атомные, а затем и водородные бомбы. К слову, самую грозную из них, мощнейшую в мире — «Кузькину мать», как её окрестили в народе с «подачи» тогдашнего вождя Никиты Хрущёва, взорвал, рискуя жизнью, на пятикилометровой высоте над северной пустыней, у Новой Земли, отважный военный лётчик фронтовой закалки Андрей Дурновцев. Сибиряк, красноярец, родом из нашего Каратузского района, из старообрядческого сельца Верхние Куряты, мой сосед и единоверец. Именно он помог тогда охладить пыл заокеанских агрессоров. И мы с вами прожили более полувека в условиях мира, отчасти благодаря моему славному земляку.

А чем, как не американским фокусом, явилось «впаривание» доллара в качестве «мировой резервной валюты», этих зелёных бумажек, ничем не обеспеченных, кроме военного кулака страны «образцовой демократии»? Равно как и нынешнее необузданное поведение её на международной арене.

Согласитесь, только прожжённый фокусник может выдавать наглые бомбёжки «неправильных» стран за «миротворческие акции», а грубое вмешательство в их внутренние дела, свержение неугодных «режимов» во главе с «плохими парнями» называть «защитой прав человека». Сколько их, организованных «фокусниками» бунтов под видом «народных революций», тюльпановых, розовых, оранжевых и прочих, дымится и пылает вокруг нас! Пока — вокруг…

И вот я всё чаще думаю ныне: до чего ж провидчески верно и символично был назван *американским* тот наш смешной и глупый, однако всё же и коварный детский фокус! Похоже, что впрямь не обошлось без вышнего промысла.

В бочке Гвидона

Все, конечно же, помнят, как в пушкинской «Сказке о царе Салтане…» молодую царевну, по наущению коварных соперниц и завистниц, «в бочку с сыном посадили, засмолили, покатили и пустили в Окиян». Я тоже не забываю. Более того, смею предполагать, что живее многих представляю и острее чувствую весь драматизм положения тех несчастных. Дело в том, что меня самого когда-то в бочке «покатили», хотя и, слава Небесам, не «засмолили» и не «пустили в Окиян». Да и влез я в неё по доброй воле…

Был у меня в деревенском детстве закадычный дружок-одногодок Ванча Гришин, сын конюха Гриши Теплых. Жили мы в соседях, через три дома по околотку, вместе ходили в детские ясли, потом в школу, где учились в одном классе. Наверное, нас сближало ещё и то, что мальцами в военные годы мы перенесли одинаковую, опасную последствиями хворобу—золотуху, род чахоточной инфекции, которая сделала Ванчу туговатым на уши, а у меня заметно притупила зрение. В результате чего приятели, скорые на язык, наградили нас созвучными, но весьма не сладкозвучными прозвищами—Глухня и Слепня. Впрочем, каждый из них тоже носил не более лестные клички.

Приятельствуя и соседствуя с Ванчей, мы частенько бегали друг к дружке в гости, уточняли домашние задания, обменивались книжками, играли. И вот однажды весною, когда я подходил к знакомым воротам, они вдруг «сами» распахнулись передо мной, из них выскочил озабоченный Ванча, на ходу бросил, что ему надо быстро—мухой туда, мухой сюда—слётать к матери в ясли, где она была поварихой, а мне посоветовал подождать его в ограде, на крылечке.

Я кивнул в знак согласия и зашёл во двор. Однако на крылечко садиться не стал. Меня живо заинтересовала деревянная бочка, лежавшая в глубине просторной ограды. Довольно старая, бокастая, со щербатым отверстием сверху, похожая на ту, что я видел в бригадном дворе, на водовозке. Да это, скорее всего, она и была. Поскольку ею распоряжался конюх, Ванчин отец, то бочка вполне могла перекочевать к нему на подворье, либо отслужив своё, либо затем, чтобы её подновили, подлечили домашними средствами, законопатили и «засмолили» для дальнейшей водовозной службы. Я приблизился к ней и заглянул внутрь. Там было пусто и сухо. И мне вдруг пришла в голову мысль спрятаться в бочке: пусть, мол, приятель поищет, почешет маковку, гадая, куда я мог исчезнуть в одночасье. Должно быть, идею навеяла мне та самая, кажется, от рождения знакомая нам «Сказка о царе Салтане и о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне…», который младенцем с горемычной мамашей совершил в бочке невольное путешествие по морю-океану.

Без долгих раздумий я нырнул в бочку и едва успел более-менее удобно устроиться в ней, повернувшись на бок с полусогнутыми босыми ногами, как скрипнули ворота. Я замер, затаив дыхание, и навострил слух. Сомнений в том, что это вернулся Ванча, не оставили уже первые его шаги, быстрые и лёгкие. Но их было немного. Видимо, не обнаружив гостя на условленном месте, Ванча остановился в недоумении. Однако лишь на минуту. А затем, даже не окликнув меня, прямёхонько (поди, ещё с улицы засёк сквозь щели забора мои движения) просеменил к бочке и резко толкнул её, сорвал с места и покатил в сторону ворот. Двор туда был немного покатым, так что бочка, подталкиваемая Ванчей, сперва медленно, а потом всё быстрее набирая обороты, заколесила по кочкам, пошла катышом.

Я попытался упереться головой и ногами в донья, а раскинутыми руками в боковые плашки, но силёнок у меня оказалось явно меньше, чем у того мальца, выраставшего на глазах в «славного и могучего богатыря» Гвидона, который, как помните, «в дно головкой уперся́, понатужился немножко… вышиб дно и вышел вон». Мои же потуги были напрасными. Шибко ударяясь о ребристые доски то лбом, то коленками и плечами, я откровенно заорал:

—Стой! Останови!

А потом вообще без слов заблажил в гулкой камере от страха и боли, но мой тугоухий дружок молча продолжал своё чёрное дело—налегая на бочку, катил её вдоль двора. Боюсь, глуховатым не только на уши он оказался в тот момент.

Неизвестно, сколько бы длилось это испытание «колесованием», но мне, благодарение Вышнему, на помощь пришли иные силы. Вдруг звякнула щеколда, распахнулась калитка, и донёсся голос молодайки Нисы, моей двоюродной сестры, недавно вышедшей замуж за старшего Ванчиного брата:

—А ну прекрати, Вань! Что за глупые шутки?! Ему же больно!

Ниса, похоже, сразу поняла, в чём дело, и по моему «блажному» рёву определила жертву сомнительного Ванчиного розыгрыша. А Ванча в ответ, хотя и оставил бочку в покое, залился судорожным, долго сдерживаемым смехом. И лишь когда я, бледный, помятый, с дрожащими руками и с шишками на лбу, выбрался из добровольного заточения, он оборвал свой беспечный хохот, уразумев наконец, каково мне пришлось на месте юного Гвидона. Я же глубоко осознал всё это минутами раньше, прочувствовал буквально на

собственной шкуре и потому до сей поры ношу в себе особое чувство к незабвенной пушкинской сказке, равно как и живые впечатления о личной её версии, ставшей кошмарной былью.

Тем более что многое и частенько напоминает о них. К примеру, та же сродная сестрица Анисья, ныне престарелая уже, всякий раз, встречая меня, непременно спрашивает сквозь смех, не забыл ли я, как дружок Ванька катал меня в бочке, и лишь потом переходит на другие разговоры. Да и сам я при виде бочки или даже при упоминании о ней невольно «мысленным взором» возвращаюсь к Ванчиной шутке со мной, на которую когда-то опрометчиво напросился.

А надо сказать, «бочка» в нашей речи далеко не последнее слово. Став менее употребительной в домашнем обиходе, особенно городском, она продолжает активно жить в пословицах, присловьях и поговорках. Тут вам и «деньги на бочку», и «на кого бочку катишь?», и «пустая бочка пуще гремит», и вообще—«в каждой бочке затычка»…

Не говорю уж о пресловутой бочке Диогена из Синопа. Кажется, этого древнегреческого философа, основателя школы киников (то есть, по-нашему, циников), только потому и помнят доныне, что он «жил в бочке». Правда, нам неизвестно, что это была за бочка и как она выглядела (я, по крайней мере, ни разу не встречал её описания), но всё же, думается, она была больше и просторнее той водовозной, в которой прокатил меня приятель по ограде. Хотя—как сказать… Давайте-ка вспомним известный факт, запечатлённый современниками.

Сам Александр Македонский, наслышанный о Диогене, однажды навестил знаменитого философа. Душевного разговора у них не получилось. Киник ведь не признавал никаких авторитетов и пренебрегал общественными нормами бытия; есть свидетельства, что порой прогуливался совершенно голышом по своему Синопу и даже, простите, мочился у всех на виду, следуя «естественной жизни». Зная о его причудах, Александр Великий не обиделся на прохладный приём и, прощаясь, великодушно выразил готовность тотчас исполнить любое пожелание философа, буде таковое последует. В ответ Диоген небрежно процедил: «Отойди, ты застишь мне солнце»… Так вот, даже если Македонский к Диогену подъехал верхом на своём Буцефале и при этом накрыл тенью философа в его бочке, то, значит, она не была уж слишком высокой, верно? А тем более если подошёл пешком, на что, кстати, намекает «пожелание» киника…

Впрочем, шут с ним, с Диогеном, вместе с его полумифической бочкой из времён до нашей эры. Лучше я расскажу в завершение о собственной бочке, реальной, почти современной, хотя и не состоявшейся. Не знаю уж, под влиянием которой истории более, Гвидоновой либо Диогеновой (скорее последней), но решил я когда-то, заполучив стандартный садовый участок под Красноярском, построить дачный домик в форме… бочки. Кроме подсознательного следования книжным примерам, были в решении том и элементарные житейские соображения. Как ни стыдно признаться сегодня, но даже на средний, нормальный дом, из бруса и с шиферной крышей, у меня не хватало денег. Да и насчёт собственного мастерства в плотницком деле были сомнения.

И вот однажды, прицениваясь к строительным материалам на площадке придорожного магазина, остановился я возле штабеля свежего тёса, необрезного, отчасти даже с горбыльком, но вполне добротного на вид и к тому же сравнительно недорогого. Остановился—и подумал: а что, если вообще смастерить дощатую избушку? Ночевать на даче я не большой охотник, а чтобы укрыться от дождя да согреть на плитке чаю, не обязательно возводить брусовые или каменные хоромы. Делают же люди из досок разные засыпушки, вон даже на Крайнем Севере живут в таких «балка́х»…

Подобный вариант представился для меня не только приемлемым, но и спасительным в моём положении, поскольку был и по карману, и по «умению». Вечерком на досуге я набросал несколько проектов избушек по длине тёса. Иные выглядели неплохо, однако во всех случаях смущала меня необходимость постройки крыш для них, что означало неизбежную возню со стропилами, фронтонами, шифером или, страшно подумать, с кровельным железом. Сколько дополнительной головной боли с поиском матерьялов, средств, помощников… И тут-то заработала моя творческая фантазия (не зря говорят, что в основе всякого изобретательства лежит матушка-лень), и осенила меня счастливая мысль, что все проблемы можно разом решить, если дом из досок сколотить в виде этакого цилиндра «на боку», то есть в виде бочки с уже готовыми скатами. Я моментом нарисовал её в разных ракурсах, с окнами по бокам и в «донце», смотрящем на восход, с входной дверью—в другом днище, обращённом в огород, с трубою наверху, курящейся уютным дымком, и бросился на кухню, где жена стучала посудой.

— Взгляни!—гордо протянул я ей свою «эврику».—Вот наш загородный дом, круглый, дощатый, вместительный… Оригинальный.

Жена приняла листок, и у неё тоже вроде бы заблестели глаза, но лишь на миг. В следующее мгновение они заметно потускнели. И с уст благоверной скатились слова, окрашенные грустной иронией и безнадёгой:

— Тоже мне, Диоген нашёлся… Кстати, он, кажется, бобылём кончил…

Это был приговор. И вашему покорному ничего не осталось, как порвать тот «креативный» проект бочковидного дома и вернуться к первоначальному, рутинному. К слову сказать, обычный

брусовой домик, шесть на четыре, с двускатной шиферной крышей, с крылечком и кладовкой, я срубил-сколотил буквально за пару недель. И вот уже почти сорок лет он, тёплый и удобный, служит нам верой и правдой. А мне ещё и не даёт забыть о когда-то преподанном уроке.

Вы, конечно, знаете наставительную поговорку, предостерегающую от сомнительных «дерзких» инициатив: «Не лезь в бутылку!»—и, надеюсь, мотаете на ус. А я, когда слышу её, неизменно добавляю про себя: «И в бочку—тоже!»—памятуя о собственном опыте, весьма поучительном.

…И очень жаль, что «императив» этот, здравый и душеполезный, кажется, больше никому в голову не приходит. Особенно—в нашем доблестном руководстве. Ведь все разговоры-раздоры сегодня, в связи с диким обвалом рубля, вокруг чего вертятся? Правильно, вокруг барреля нефти. А что такое этот баррель? Да просто—бочка! То есть все страсти кипят и клокочут вокруг нефтяной бочки. Вернее, вокруг мировой цены на неё, вдруг упавшей по указке из-за «окияна». В одночасье и чуть не втрое! «Что нам делать? И чего не надо делать впредь?»—панически охают яйцеголовые аналитики, полоротые управленцы и чешут затылки. А ответ между тем очевиден: «Не лезьте в бочку!» Тем более—в чужую.

Знаю, о чём говорю…

ДиН пародия

Евгений Минин

Скотный двор во мне

Скотный приговор

Вновь сердца неуёмная скотина
взломать готова рёберный хомут.

Вновь памяти незагнанная кляча
копытом сбитым будит старый след…
Владимир Болохов

Однажды я почувствовал с испуга,
усевшись за обеденным столом,
что печени циррозная зверюга
бодает почки трепетным козлом.
И я, конечно, сразу, с пылу-жару,
почувствовав мурашки на спине,
помчался на приём к ветеринару—
лечить весь этот скотный двор во мне.

Что Пушкин мне?

Что мне Пушкин, короче, ребята?
Это он, он один заварил
эту кашу, чей привкус заклятый
извлекает музы́ку из жил.
Владислав Пеньков

Что нам Пушкин—куда его денем?
Он повсюду—хоть прыгай, хоть вой.
Задолбал нас он чудным мгновеньем
и онегинской ровной строфой.
Заварю-ка стихов своих кашу
я в один из весенних деньков,
накормлю всю общественность нашу,
чтобы прыгали: «Ай да Пеньков!»

Электронутое

Но если солнца проскольснёт язык
В твой левый глаз—замкнутся все герконы.
Григорий Горнов

Под солнцем не валяюсь на траве,
Блюду я электроники законы,
У многих—тараканы в голове,
А у меня внутри одни герконы.
А если в левый или правый глаз
Язык светила проскольснёт подкожно—
Герконы замыкаются зараз…
И это по стихам заметить можно…

Юлианское

кукушка кукует, куличит кулик,
стрекозы стрекочут, синичут синицы
Юлиан Фрумкин-Рыбаков.
Из книги «Дайте жизни оболочку»

поэзии чуден глагольный язык,
но строки порой необычны и дики:
рифмует рифмак и талдычит талдык,
ямбит ямбаки, пародят пародыки.
куличит кулик, петушат петухи,
рюмашу рюмашку ранюшнюю ранью,
бумажу бумагу, стихую стихи
и бедный, несчастный глагол юлианю!

Юрий Беликов, Михаил Тарковский

На третьем континенте, или Предчувствие нового Ермака

В своё время Андрей Тарковский написал статью о документальном кино «Запечатлённое время». А его племянник Михаил Тарковский, оттолкнувшись колёсами своей автомашины от Красноярска, привёз в Пермь фильм «Замороженное время». Чувствуете диалог и, если хотите, некий фамильный спор?..

Когда — лет уж эдак тридцать назад — Михаил переехал из Москвы в деревню Бахта Красноярского края, у него состоялся телефонный разговор с дядей, находившимся в Париже. Узнав о решении своего племянника, знаменитый кинорежиссёр не то одобрил, не то вздохнул: «Там надо жить!»

С той поры Михаил Тарковский живёт не просто «во глубине сибирских руд», а чаще всего — в таёжном посёлке, где, собственно, и пишет свою прозу и стихи. Произведения, возвращающие нам «замороженное время». Время естественных людей глубинной России, о которых мы, возможно, не часто вспоминаем: промысловиков, рыбаков, перегонщиков японских авто... Сам же писатель давно уже стал сибиряком, но, тем не менее, помнящим, как и благодаря кому Сибирь прирастала к России.

Оглядывая в Чусовском этнографическом парке работы художника Павла Шардакова, украшающие «Часовню похода Ермака», на мою реплику, что если бы не этот легендарный атаман, то и Тарковский бы в Сибири не оказался, да и не встретил бы там свою любовь — жену Татьяну, Михаил ответствовал:

— А мы уже решили, что если у нас родится сын, мы назовём его Ермаком...

После Перми Тарковский держал курс на Нижний Новгород, а там — на Москву. А Москва его встречала наградой — медалью первого редактора «Литературной газеты» Антона Дельвига и премией «За верность Слову и Отечеству». Это — за книгу «Избранное», экземпляры которой мой собеседник вёз по пути из Красноярска в столицу в багажнике своей автомашины.

— Михаил, извини за параллель: Тарковский, конечно, не Солженицын, который во время оно пересёк Россию по Транссибу, начиная от Владивостока. Но ты только что пережил личный опыт, и не в поезде, как Александр Исаевич, а в единоличной отваге — своим ходом, держась за правый руль. Как ты вчувствовался в это пространство? Если приложить условный фонендоскоп, как на этом участке Россия дышит?

— Да, на этой машине я пересёк Россию от Владивостока до Урала — правда, в два приёма. Сейчас вот как раз второй. От Владивостока до Красноярска — пять тысяч двести километров. От Красноярска досюда — меньше трёх тысяч. Поэтому на участке, который проехал я сейчас, можно сказать, всё по-домашнему. Но вообще это большое и страшно нужное дело — когда ты который раз едешь по России и ощупываешь её душой, осознаёшь каждый её километр, каждый город-посёлок и, конечно, людей. Много внешних впечатлений, связанных с самим обликом дороги. С видами и состоянием городов. Например, нас с Татьяной порадовали Тюмень, Сургут и Тобольск. Много приходилось видеть городов сибирских и дальневосточных, а Тюмень нынче из сибирских — самый ухоженный. Сургут же, где у нас происходили встречи с читателями в библиотеке и школах, меня восхитил подвижничеством бывшего токаря Сергея Лагерева, специалиста по творчеству Николая Рубцова. Они там такое русское поле создали!.. Сергей Алексеевич так обложился единомышленниками, что только и скажешь восхищённо: вот они — настоящие патриоты. Тюменская область и Сургут влили в нас какую-то дополнительную веру в Россию, ощущение своей нужности и того, что уронить эту надежду уже никак нельзя.

А что касается пространства... Понятно, что Новосибирск, Омск, Тюмень — это Западная Сибирь. И так случилось, что здесь Транссиб проходит не по самым красивым местам, а по узкой полоске берёзовых колков и солончаков, по довольно аскетичной и однообразной местности. И хотя это, в общем-то, южная часть Сибири — городов на своём пути особо не встречаешь. А между тем расстояние — почти на полторы тысячи километров...

— А когда приближаешься к Уралу?

— Вот я Тане вчера и говорю: «Чувствуешь — облик земли изменился? Даже выражение ёлок другое!» Началось чернолесье, хвойная растрёпанность особая, там — увальчик, тут — увальчик. Факелы пылают газовые. Вид, с одной стороны, таёжный, и в то же время — индустриальный. Но ощущение иной земли. Энергия другая. Своя. Уральская. Неповторимая. Дороги здесь, конечно, хуже — разбитые. В Сибири, видимо, они более молодые, и их ещё… разбить не успели. От Тюмени дорога сухая. А к востоку — гололёд. И много фур на обочинах валяется. Особенно как зима настанет. Видимо, едут дальнобои со стороны Урала, с Европы, те, которые не знают, что такое гололёд или пурга.

От Екатеринбурга — сплошная вереница машин, чего нет в Сибири. И очень агрессивный дух вождения. Висят в метре на хвосте; точно говорю: гололёдов не нюхали. Фурища тебя обгоняет, а дорога извилистая, повороты, подъёмы. Потом вторая несётся — и пытается вклиниться перед твоим носом. Хотя там некуда. Ясно, пустишь. Но спрашивается: чо за гонки-то?! Обходим колонну фур, и одна вдруг идёт на обгон в момент, когда мы с ней поравнялись. Я — на ту обочину, благо там место было (а если бы бордюр?). А тот — по тормозам с истошным визгом. Обошлось, но неприятно. А водитель просто не видел меня, не смотрел по зеркалам — настолько его увлекала тема обгона. В общем, чтобы ты спокойно ехал и относительно (насколько это понятие уместно) отдыхал в дороге, такого нет.

Но главное — люди. Мы едем — и у нас в каждом городе есть, ну, что ли, маяки, ориентируясь на которых, мы свою карту русской земли строим. Во Владивостоке — Василий Авченко, в Иркутске — Анатолий Байбородин, в Новосибирске — Николай Александров, в Бийске — Виктор Буланичев, в Омске — Вероника Шелленберг, в Тюмени — Сергей Козлов, в Тобольске — Аркадий Елфимов, в Екатеринбурге — Александр Кердан, в Перми… вот — Юрий Беликов, в Нижнем Новгороде — Захар Прилепин…

— Когда-то ты сравнил Россию с островом. «Мы — на острове, — сказал ты, — и, стало быть, нам надо вести себя как островитянам». Ежели глянуть на всё плотнее сжимающийся вокруг России внешний мир, твоя метафора уже перестаёт быть метафорой. Вот скажи: если мы островитяне, то как нам, островитянам, жить?

— Не осуди, если на книгу «Избранное» потяну… одеяло… Там есть очерк «Помеха справа».

— Да, и в нём такие слова: «Россию следует понимать не как раздел или перепонку между двумя противоположными мирами, как продувное поле для приложения чужого опыта, а как огромный раскинувшийся между Западом и Востоком третий континент со своими законами».

— Теперь всем понятно, что были два предателя — Горбачёв и Ельцин, которые под дуду американцев решили разрушить наш «третий континент». Кстати, из конституции выкинули идеологию — её отменили. А также — всё, что происходит, как раз и упирается в отсутствие идеологии, хотя фактически в этом образовавшемся вакууме бесчинствует идеология наживы и животных инстинктов. Так сказать, «свято место пусто не бывает».

Я не экономист и не политик. Моё мнение эмоционально, но мне кажется, что при умном и заботливом подходе руководства изоляция — прекрасный повод к возрождению, так как вынуждает надеяться только на себя. А ресурс у нас немыслимый. Надо только задачу поставить. Но вопрос: насколько Америка это разрешит?

— Как сказал поэтический прозорливец Игорь Шкляревский, размышляя о России ещё в последней четверти двадцатого века: «Других ты богаче, себя ты бедней».

— Н-да… Сталин, кстати, после Второй мировой прекрасно осознавал, что Америка не успокоится. Так же считали и другие здравые умы, которых интеллигенция либерального толка называла чуть не фашистами. Во времена перестройки ими молодь пугали. А сейчас-то чо? Убедились?

Как жить? Созидать власть, которая займётся строительством внутри страны. Введение конституции, где главным положением было бы служение Отечеству. Можем ли мы это? Горстка деятелей культуры. При том, что за последние двадцать лет выпотрошили из мозгов все фундаментальные ценности. Но что точно можем — делать дело каждый на своём месте… Это и происходит. Русский дух, здравомыслие, потребность в любви к своей земле — не так просто искоренить, эти вещи — в крови, они нарождаются и нарождаются как естественное свойство человеческого сердца. И стоит только стряхнуть с людей накипь навязанного иноземного, эгоистичного — они моментально вернутся к истокам. Но это о взрослых. А с молодью сложнее. Их дальше отнесло от родного берега…

— Тебе уже без енисейского мира, открытого тобою сначала для самого себя, а затем — для читающей России, наверное, трудно себя представить. Ты, даже сейчас, и говоришь по-енисейски — через «чо», и пишешь свою прозу, обогащённую местным говором. Но в какой момент бахтинского бытия ты почувствовал себя енисейским?

— Четыре года я работал в биологической экспедиции. Это — чуть-чуть другое. А потом переехал в Бахту, пошёл в тайгу, и то, что этот промысловый енисейский мир меня забрал полностью, я почувствовал уже на второй год. И московская начинка помаленьку стала из меня выходить. И батюшка Енисей начал заполнять другими смыслами.

А после уже—всё в слове перемалывалось. И я осознал, какое же великое счастье быть к этому миру приобщённым. А ещё жить делом, которое тебе любо… Причём неважно, что это—традиционный промысел или писание рассказов… А когда я стал выезжать, скажем так… в Большую Сибирь—в Красноярск, в Шушенское, в Абакан, в Новосибирск—или даже на Дальний Восток, произошло расширение географии—и вот тогда-то я почувствовал себя сибиряком. Это было связано с ощущением пространства. С географией русского духа. С новыми людьми, которые осознавали себя сибиряками. Выясняли отношения с этой землёй и остальной Россией. Служили ей. Хотя между ними могли быть тысячи вёрст. И каждый человек был неповторим, как город. И удивителен, как удивителен мир Енисея, Байкала, Горного Алтая. Где обязательно есть люди—выразители и хранители этих мест. И вместе они создают полотно, пока ещё тонкое, но уже имеющее силу. Причём это могут быть личности совершенно разные: работающие на земле и с землёй, но и—священники, музыканты, педагоги, писатели, художники, издатели, музейщики.

Если бы я только сидел в тайге, я бы этого не узнал. Деревни таёжные, тундряные, посёлки промысловые—они сами как маленькие царства. Самодостаточны. Каждый посёлок—как столица. Настолько огромен там сам образ жизни. И все помыслы, они… что ли, внутри промысла. Иначе не выживешь. Ты в нём как послушник. В этом и спасительность, которая даёт небывалое и подчас условное чувство независимости, и своя теснота, когда ищешь более общей правды. Когда главным становится не уклад, а, что ли… общероссийская забота. Когда твой дом меж двух океанов. А вдруг душе стыло будет, силёнок не хватит на растяжку?

—А как относится к тебе сам местный люд, который, с одной стороны, знает, что ты пишешь книжки, а с другой—что ты родом из Москвы? Эти люди тебе полностью доверяют, считают «за равного», или—по принципу: он—писака, с ним держи ухо востро?

—То, что я из Москвы, это могло волновать их и меня в первоначальную пору. А когда уже прошло столько лет, это неактуально. Но могу сказать: одно время, когда я жил тихонько, ладком да рядком, ко мне отношение было более ровное. А когда начинаешь что-то делать не так, как все, можешь раздражение вызвать запросто. Вообще, когда гладишь по шёрстке—ты лучший друг. У меня есть очерк о строительстве православного храма в Бахте. О том, что после перестройки русская православная церковь не имела возможности сразу противостоять нахлынувшему потоку сектантов из разных стран. Особенно—на Енисее. Я помню, как это происходило. Когда в далёком аэропорту, где Ан-2 садится, в кружок сидят на лужайке китайцы и под гитару поют псалмы на английском языке. Фраза в очерке—что «после открытия границ в Россию хлынула многочисленная *душеловствующая шантрапа*». Я, признаться, долго выводил это выражение; на мой пригляд, оно должно было быть ёмким, кратким и эмоционально окрашенным. Однако у представителей одной секты с западными корнями этот оборот вызвал агрессию… Да и то, о чём ты толкуешь,—что «он писака, с ним востро держи ухо»—время от времени нет-нет да возникнет. Вообще, когда ты начинаешь высовываться, к тебе появляются вопросы. Сиди тихо—и будешь самым лучшим.

—Герои твоей прозы живут сразу же в названиях рассказов: «Петрович», «Васька», «Дед», «Пашин дом». Или же названия отображают некий процесс: «Стройка бани», «Охота», «Енисей, отпусти!». Ты намеренно делаешь названия непритязательными?

—Что значит непритязательными? Ты что-то имеешь против классических названий? Мне всегда казалась естественной определённая строгость во всём, что связано с литературой. Абсолютно нормальные названия. Если вспомнишь названия рассказов и повестей хоть Пушкина, хоть Чехова, хоть Бунина: «Капитанская дочка», «Степь», «Танька», «Кастрюк»… У Астафьева: «Капля», «Зорькина песня», «Гуси в полынье». Какие вопросы-то? Помню, принёс в один журнал стихи, и завотделом поэзии, довольно известный, можно сказать—«марочный», автор отверг их под приговором «излишней безыскусности»… Да ты же согласен со мной! Просто спросил по-журналистски…

—Разве—по-журналистски? А я думал—как собрат по перу, который знает, что собратья, может, тем и хороши, что могут друг от друга отличаться. Вот, допустим, названия рассказов у Шукшина: «Ваня, ты как здесь?», «Мой зять украл машину дров», «Срезал», «Забуксовал»… Тут—другой темперамент, иной коленкор. Но оттого, что названия, по твоей классификации, не столь «строги», рассказы-то не проигрывают. Наоборот. Или взять знакомую тебе Веру Галактионову, с который ты вместе получал «Дельвига». «Спящие от печали»—так называется её роман. Или—название сборника рассказов разлюбезного твоему сердцу Захара Прилепина: «Ботинки, полные горячей водкой». А? Кстати, не от Шукшина ли оно идёт? И чем же, скажи, плохи эти названия и произведения, ежели они исполнены не в каноне Михаила Тарковского?

—Ну ладно… ладно. Срезал! Просто у меня в башке всё равно сидит какое-то представление, образ, вот ему и следуешь. Он тебе помогает. Настраивает. Питает преемственностью. Для меня это было важно. Конечно, отличные русские

названия, которые ты перечислил. Я и не спорю. Представляешь, как раз вчера Василия Макарыча во сне видел. Дело было не то в Барнауле, не то в Бийске. Разговаривали. И как-то всё это на фоне родном, сибирском. И он был какой-то жизненный. В общем, пребываю под впечатлением.

— Насколько ты привносишь в свою прозу выдумку? Или — всегда идёшь на стрежне документалистики: что произошло, то и описываешь? Меня всегда подмывало тебя спросить: так ли в действительности было, как в рассказе «Осень», когда ты вёз по своенравной речке Тынеп сундук с книгами — и лодка перевернулась, и сундук утонул?.. А в нём, если память мне не изменяет, — книги Леонида Андреева, Владимира Набокова, Велимира Хлебникова… Подсказывай: чьи ещё?..

— Арсений Тарковский с автографом: «Мише, подающему большие надежды — в стихах». Потом — Бердяй и Кафка (туда ему и дорога — так я говорил потом). Вся эта история шаг в шаг, сантиметр в сантиметр, секунда в секунду — как было на самом деле. Ничего не придумал.

— И ты огорчился: дескать, как в тайге без этих книг-то? И когда достиг охотничьей избушки, то с удивлением и какой-то спасительной радостью обнаружил там потрёпанный том Пушкина — сказки, стихи, пьесы, «Повести Белкина»… И воскликнул: «Как я забыл о нём!» И всё встало на свои места. Это аллегория самой жизни, цепочки непредвиденных обстоятельств, или автор — после уже, когда всё приключилось, — эту аллегорию почуял и выразил?

— Конечно, я поразился и перекрестился, когда Пушкина увидел на полочке. Но вся символичность потом уже дошла. Вообще, часто бывает: всё уже есть, а не понимаешь, не видишь этого. И должно как-то что-то сдвинуться в глазах, перещёлкнуться, чтобы ты понял, что это рассказ. Это самое трудное. Повторюсь: это называется «всё уже есть». Очень важный момент. А бывает, истории не хватает чего-то, чтобы стать рассказом, тогда приходится её дополнять, усиливать ещё чем-то. Бывает, что полностью придумываешь, но всё равно материал из жизни, а так называемая конструкция (плохое слово) — твоя. Ну, идея, мораль — как лучше сказать?.. Это как стройка: устройство избушке ты сам кумекаешь, ну там, где окно, где печка. А где дверь. И что с крыши видать. На оклад что. Листвяк или каменюки ещё подложишь. А сами брёвна, камни, железо на печку — всё равно из жизни. Настоящие. И, конечно, потерю в речке сундука с книгами я почуял как аллегорию полностью. Во всяком случае, как достойную рассказа, когда уже взялся за неё. Ну, по крайней мере, дерзнул подумать о таком рассказе. История действительно хорошая. А самое главное, что её было чем наполнить.

— В другой стране и другом веке мы делились на классы: рабочий класс, колхозное крестьянство и прослойка — интеллигенция. А сейчас как будто живём в деклассированном обществе: ни тебе рабочего класса, ни крестьянства, про интеллигенцию ещё иногда вспоминают, но когда от неё чего-то надо властям. Если и говорим, то всё больше про олигархов или про средний класс, который всё никак не сформируется. А к какой категории ты относишь своих героев?

— Часть моих героев — охотники и рыбаки. Хотя промысел в тайге и на реке или в океане — немножко другое, но всё равно они — по сути, крестьяне. Только шагнувшие дальше. Промысловики и вообще таёжники — это, конечно, отдельное подсословие, со своими законами. Есть такое понятие — героический труд. Это люди, привыкшие очень много трудиться, и их труд требует большого напряжения, и одновременно он в физическом отношении очень затратный. Но этот труд и огромные силы даёт. Не гордыню, а гордость профессиональную. Может, в каких-то моментах он сродни труду спортсменов, потому что промысловики всегда хотят быть победителями. И многое от здоровья зависит. Хотя всё равно дух и воля важнее. Если брать сибиряков, то близок тип сибирский *вообще*, потому что он существует независимо от профессий и сословий. Среди моих знакомых есть и писатели, и директора предприятий, и чиновники, и сельскохозяйственники. Но во всех в них существует главное и объединяющее — народный сибирский дух. Я с уважением отношусь к сибирякам, которые достигли неких, скажем так, высот и прожили трудную жизнь — от топора и молотка до поста руководителя.

— И если бы им начали втолковывать: «А вот Солженицын призывал „жить не по лжи“», — они бы, наверное, очень удивились? Мол, как это «не по лжи»? Мы и так отродясь так живём…

— Ну, не знаю… Обычно это никто не обсуждает. Вообще, лично для меня Александр Исаевич не является прямо уж таким властителем дум, которого бы я стал часто цитировать. Но у нас же — тема путешествия? Поэтому ничего страшного — пусть звучат параллели.

— В разговоре мы уже упоминали твои очерки, которые, кроме стихов и прозы, вошли в книгу «Избранное». Это по нынешним временам довольно-таки забытый жанр. Очерком не брезговали писатели девятнадцатого века. Вспомним русские «физиологические очерки». Да и некоторые из советских писателей знали ему цену — например, Виктор Астафьев или Иван Васильев. Не в пример нынешней московской тусовке. Я когда в середине девяностых работал собкором «Комсомольской правды», там что ни материал — заметка.

Дескать, напиши заметку. Больше жанров не знают. Но чем, на твой взгляд, отличается очерк от рассказа? Ведь и там, и здесь могут действовать реальные персонажи.

— Очерк — прекрасный жанр. Всякий уважающий себя писатель обязательно должен писать очерки. Это большая школа. Это школа отвлечения от собственного пупа. В рассказе больше вымысла. Рассказ писатель выдумывает. Это абсолютно художественное произведение, скроенное, собранное тобой по твоей творческой воле, хоть и из жизненных запчастей. И где у тебя полная свобода действия, пусть за основу взято событие или человек из жизни. Кстати, бывает, даже для того, чтобы вызвать у читателя ощущения достоверности, рассказу придают ноты очерковости — лишь бы верили. Очерку и вправду веришь абсолютно. Очерк пишется о реальном человеке, месте или событии и так, что на первом месте — донести эту правду, не заботясь о литературных правилах, которые необходимы в рассказе, — допустим, законы там композиции и прочие вынужденные эффекты, без которых «не состоится художественное произведение». В очерке главное — твоя правда, исповедальная ли, летописная. Какая ни есть. Ты полностью отвлекаешься от себя-художника и стараешься сделать так, чтобы дорогое твоему сердцу явление стало так же дорого и читателям.

А брезгует очерком, мне кажется, тот, кто не может как раз от себя и отвлечься. То направление, которое повелось называть постмодернизмом, с моей точки зрения, это такой пир собственных фантасмагорий! И, конечно, для подобных авторов недопустимо от него отвлекаться и просто написать, допустим, об учителе Сергее Ивановиче из какого-то города или посёлка, о том, как он живёт и о чём он говорит с детьми. В очерке всегда есть ответственность — за свою землю и за людей, о которых пишешь. Это писательство в прежнем представлении. Виктор Петрович Астафьев это очень хорошо понимал. Он чу́дно выражал и хранил старомодно-просветительские нотки.

А ещё существует такой момент: не всегда писатель готов испытать художественный подъём, придумывать и, так сказать, конструировать. Иногда бывает усталое или просто спокойное состояние. Вот в этом спокойном состоянии хорошо обратиться к очерку.

И другая сторона. Очерк — это такое трезвенное размышление о жизни, возможность высказаться напрямую. Представь, в театре: тут вот декорации, актёры в гримах, увертюры, всякие вынужденные, скажем, условности жанра. А потом выходит человек, сметает всю эту начинку к едрене бабушке, садится на стул и спокойно говорит с залом. И, конечно, есть просто обязанность писателя, светлая такая повинность — поведать о людях, которые дороги, которые могут служить примером.

— Тогда заглянем в твой очерк «О нужности писателя». Ты замечаешь: «Я, например, сам отсёк половину читателей тем, что не умею описывать город…» И дальше: «Мне проще в свежей тайге отстроиться». Тем самым ты признаёшься, что наша нынешняя литература, которая, если брать традиции девятнадцатого века, а затем — книги писателей-деревенщиков, подзабыла простого человека? И, кроме Арсеньева, Астафьева, Кузнечихина, пермяка Марата Буланова и ещё ряда сибирских писателей, таёжного человека не шибко-то и жаловала?

— В том, что ты процитировал, имелось в виду вот что: про город очень трудно писать. Мне именно. Потому что здесь всё уже настолько прописано и сказать новое слово, привнести новую интонацию почти невозможно. Хотя уже после нашего *того* с тобой разговора я брался и за город (в «Тойоте-Кресте»), и, конечно, если уж совсем быть честным, не должно быть областей, которые ты не в состоянии описать. Представь Пушкина, Гоголя или тем более Толстого, спасовавших перед новой обстановкой действия (мол, деревня *получатся*, а город *чой-то не даётся*)!

— Разве Достоевский писал о городе? Он писал о человеке…

— Писатель всегда пишет о человеке. Это и не обсуждается. Под словами «описывать город», «описывать деревню» я имел в виду фон, обстановку, где происходит действие, где живут люди, которые плоть от плоти этого места, которые выражают его дух. Повторюсь, я брался и за описание городов и сравнивал их между собою (необыкновенно интересующая меня тема). Но на тот момент, чтобы обрести творческую уверенность, мне нужна была та область, где я силён и которую открыл сам. В общем, создать образ города намного труднее. Чем отстроить-оборудовать свой литературный охотничий участок в тайге, где не ступала нога человека с ручкой. Застолбить это место. Несмотря на то, что таёжный промысловый мир не раз был описан в нашей литературе. И не только Арсеньевым и Астафьевым — взять хотя бы произведения Андрея Скалона. И когда я погрузился в этот таёжный мир, то почувствовал, что нашёл свою новизну, свою ноту, которая и дала силы. Это было связано с тем, что многое я знал изнутри и что многие трудовые вещи я действительно попробовал описать впервые. Так мне, по крайней мере, думалось. И что удаётся показать читателю красоту будничного труда, как, допустим, мягка и податлива раскалённая докрасна-добела заготовка тесла, как она шипит в масле и как красива струйка синего дыма. Писателю на

ранней поре должно обязательно казаться, что он открывает новый материк.

Поэтому я совершенно не имел в виду того, что нынешняя литература таёжного человека не жалует. Тем более—вообще простого человека. Хотя, если честно, таёжных героев немного… Но вот, например, Виктор Ремизов привержен этой теме и даже написал роман «Воля вольная», где действие происходит в охотской тайге.

Что касается нынешней литературы, о которой ты обмолвился, конечно, она простого человека подзабыла, но я думаю, что сибирские писатели остаются верны этой традиции, да и вообще писатели всей русской провинции, независимо от того, с какой стороны Камня—Урала, в смысле,—она находится. Моя беда и радость, Юра, в том, что я не читаю произведений так называемых постмодернистов вообще. Я просто не знаю, о чём они пишут. Хотя как-то скользом хватил какого-то… да как же?.. а-а-а, крутится на языке… копытное… Бычковский? Или, как его, Быков, точно—Быков! И, наткнувшись на какую-то гадость о патриотизме, всё понял… В таких книгах нет главного—любви автора к этой земле, к её какому-то участку, клочку—пусть небольшому, но родному… В конце концов, какому-то времяпровождению, пусть рыбалке на удочку, когда он не думает ни о литературных игрищах, ни о том, как выглядит перед «образованной публикой». И какой будет тираж. И на сколько языков его переведут. И оценит ли его образ России «просвещённая Европа». Или просто о войне или мире. О России. О не-России. Прямого сердечного разговора не будет. Будут выверты и позы. Это как в телевизоре, где никогда не рассказывают о нормальных людях. О крестьянине, учителе, водителе троллейбуса, докторе из краевой больницы, который вырезает гнойный аппендицит. О директоре мелькомбината. Ни-че-го… Одни «бабки» в голове у организаторов. И ни слова о служении. Одно безбожное либеральное сознание, которое изо всех сил у нас культивируют. Его настолько внедрили в умы, что непонятно, что дальше делать. Хотя я уверен, что просто чуть-чуть мозги припорошили.

—Например?

—Умерли у нас в деревне последние гармонисты. Что взамен? Караоке и эстрадный шабаш по телевидению. Где, естественно, ни слова о народной музыке—ни о Василии Вялкове, ни о Владимире Скунцеве. И вот приехал к нам из Ельца Александр Васильевич Новосельцев, писатель замечательный, создавший чудную книгу «Пал», казак потомственный, гармонист, участник ансамбля «Червлёный яр». И пришёл со своей гармошкой в клуб. И всё… Караоке эти полетели в тартарары… Всё вернулось. К истокам. Будто их и не было… всех этих «алл», «резников» и прочих «крутых». То есть немножечко надо повернуть вектор—и люди возвратятся к родному. Взять любого учителя в школе сельской. Вот женщина, которая любит деревенскую жизнь, и ей не в тягость корову доить. Она за столом будет петь русские песни. Это её, родное… Но при этом ей напудрили сверху про «успешность» и «толерантность». И она выполняет разнарядку. Честно. Много таких людей—они как яйцо: нутро русское, а оболочка привнесённая. А нутро всё равно ждёт своего часа. Его не обманешь.

—Надо просто потюкать скорлупой о стол?!

—И отколоть эту оболочку…

—Не считаешь ли ты, что события на Донбассе поворачивают нас как раз в сторону обретения собственной сердцевины? А иной раз мне кажется, что донбасские учат нас быть русскими.

—Безусловно. С самого начала, когда Путин вернул Крым, была огромная надежда, что произойдёт поворот к русскому, народному, созидательному внутри самой России. Впрочем, мы не знаем всей подноготной: может, он и хочет это сделать, но ему трудно? Олигархи не дают? Хотя почему нетрудно поменять «милицию» на «полицию», а трудно увеличить часы русского языка в школе? В Год литературы! После возврата Крыма многие думали, что прозвучат слова, что да, мол, ребята, маленько мы тут с курсом опрочапились, но теперь всё, слава Богу, возвращается. Выправлять начнём. И всё по уму будет. Не волнуйтесь. Не-а. Никто не сказал.

—Ты начинал как поэт. Внешне твои стихи были покрыты благородным серебряным налётом классических образцов. Например, твоего дедушки—Арсения Тарковского. Но уже ощущалось некое внутреннее желание от этого, пусть благородного, налёта избавиться:

Мне оставлено наследство
От Гомеровой тени
До опасного соседства
Замечательной родни…

И ты сначала покинул Москву, а потом свернул в сторону прозы. Однако в последние годы вновь возвратился к стихам. Но в них уже чувствуется совсем иное—широкое и даже эпическое—дыхание:

Я окрикну даль: отзовись, Урал,
Непокрытая голова!
Это я виноват, что ты захворал,
Раз Сибирь до сих пор жива…

Ощущение, что некое количество переросло в качество?

—Видимо, что-то во что-то переросло. Я долго молчал как поэт. Но внутренняя-то работа

шла. И эти новые (после молчания) стихи для меня совсем другое. Когда начал писать «Тойоту-Кресту» — без конца буксовал: замысел-то океанский! Вообще, писательская работа иногда напоминает мне следовательскую. Ты знаешь, что в общих чертах случилось, чем дело закончилось. Грубо говоря — есть мораль. Вывод. Но тебе надо написать, как *именно* всё это произошло. И ты начинаешь разматывать клубок. А он не разматывается. А замысел-то — о-го-го! А силёнок-то и маловастенько. И нужны подмоги, подпоры. Как у зарода. Подпоры-палки, чтобы зарод не упал. У вас ведь на Урале стог называют *зародом*?

— Так называла стога моя бабушка…

— Вот! А зарод действительно предстояло сметать огромный, непосильный. И вот я и искал подпоры. То эпиграф присобачу, то третье лицо на первое поменяю: сначала герой «он» да «он», Женя, а потом раз — и Женя заговорил от первого лица. «Я» появилось. Это «я» как раз и было мостиком к стихам… И вот стихи возникли, как подмога. Я написал первую строчку: «Там, где кедр с обломанной вершиной…» — в дневнике и забыл о ней. А потом нашёл. Хотя забыл полностью. Будто это и не моё. (Когда ничего не получается, писатели часто роются в своих старых записях: а вдруг чего-то там найдут?) В общем, с этой строчки второе рождение и началось. Но только это уже совсем другие стихи были. Они уже меня слушались и шли, куда их направишь. И уже было куда направить. А в юности-то куда там! Будто лошадь, которая понесла, а ты еле сидишь, в гриву вцепился, сползаешь с седла — и лишь бы не хряснуться… И выходило: начал с одного, а прискакал к другому. Хотел про лужайку, а коняга тебя обратно в конюшню приволок.

В общем, строчка… И я сразу написал тогда пять стихотворений. Они меня и самого поразили. Какой-то новой сибирской нотой. И тем, что они всё переворачивают в душе до сих пор. Потому что там о своём кровном, что выстроил в себе. О том, что эта даль в тебя заронила… Заложила. На чистом месте пустом. На пустыре, по сути. И было, конечно, ни с чем не сравнимое ощущение подмоги *главной* — Божьей помощи. Как в поэме «Камень», тебе посвящённой:

Вот и всё, Юрец, и строке конец,
За неё споёт кладенец,
Раз из всех зеркал нам остался меч,
Чтоб хоть что-то ещё сберечь.

Евгений Минин

Проблема с животом

Частушка

Как же объяснить, мой милый,
Чтобы не смотрел нахмурясь?
Я туда уже ходила —
Постояла и вернулась.
Елена Исаева

Милый мой — такая бука,
Вне себя от куражу,
Посылает на три буквы,
На какие — не скажу!
Не хватаю чемоданы,
Не рыдаю от души.
Милый, радоваться рано,
За шампанским не спеши!
Я всё помню, не забыла,
Погоди сжигать мосты.
Я туда уже ходила,
Там такие ж, как и ты…

Порчевидное-вероятное

боюсь наслать я порчу
на человечий храм
я часто воздух порчу
и мне не место там
Сергей Зубарев

непознанная тема
пора сказать о том
есть у меня проблема
всё время с животом
и нет друзьям отказа
мой дом открыт гостям
но без противогаза
для вас не место там
и кажется резонно
я думаю порой
из-за меня озона
на небе рвётся слой.

Александр Евсюков

День палача

Фронт рядом

Наверное, и не спала, раз услышала. Или спала так, как привыкла при внезапных обстрелах и ночных бомбёжках: снов не вспомнить. Ветер выл и скрёбся, набрасывался на хату оголодавшим волчарой. Бился в ставни, с треском сдирал наледь из-под крыши и напрочь выстужал трудно давшееся, накопленное за день тепло.

Из хлева давно не подавала голос Рёва — их корова-трёхлетка. Одна и выжила скотина в хозяйстве. Выйти — глянуть, а то всё равно не уснёшь… И тут же Аля разобрала сторонний, отличный от метельного буйства звук: кто-то негромко стукнул в ставню. Подождал и стукнул ещё раз.

Аля оглянулась на бабку Василису — её сиплое дыхание доносилось от печи всё так же размеренно. Осторожно, не скрипнув половицей, подошла к окну. Знала, где из ставни выпал подгнивший сучок. Напрягая глаз, вгляделась в круг снежного крошева. Под яблоней, прямо в сугробе, в двух шагах от окошка стоял кто-то в сером. Время от времени крутил головой. Один вроде. Оружия при нём не видно.

Решившись, Аля так же бесшумно прокралась к двери и, откинув крючок, выскользнула наружу. Махнула рукой. Человек в сером приблизился. Он оказался парнем одного с ней роста. Глаза смотрели пристально, блестели из-под низко надвинутой шапки.

— Ты откуда? — прошептала она.

— С дороги сбился, — приятный голос, чуть охрипший. — А что за деревня?

— Тетеево, — назвала Аля.

Да, странно всё-таки они называются.

— Значит, крюк сделал, — вслух прикинул парень, — вёрст на двенадцать. Пришлось. Всё перекрыли.

Аля, лучше привыкнув взглядом к темноте, вгляделась в парня. Совсем пацанёнок. Щёки впали, скулы заострились. Руки прячет от холода. Смотрит.

— Пошли, — позвала она и кивнула на хату.

— Никого там?

— Считай, никого. Я и бабушка.

Он пристукнул валенками друг о друга, стряхнул снег с плеч, ещё раз быстро огляделся и шагнул в хату.

— Только тише, — на всякий случай шепнула Аля.

Но сипящее дыхание уже сбилось — бабка приподнялась на локте:

— Кого привела?

— Свои, баб Вась.

Бабка закашлялась:

— Кто тебе свои?.. А?.. К нам хочет? Уходи!.. Христом Богом прошу или кем хочешь — уходи только. Не один наш дом, чай? А что крайний возле леса — так здесь же сперва и искать будут… Приходили уже из-за таких вот, в подпол бомбу кидали, не было там никого, а всё разворотили, образ со стены стрясло, и печка вон треснула. Не простят ей тебя. А мне, старой, сразу тогда в петлю лезть, грешным делом. Уходи!..

Её лицо выжидающе белело в темноте.

— Ладно. Пойду, что ли, правда.

— Пойдём провожу, — запахнув ватник, сказала Аля.

Они вышли.

Сквозь метель из-за дальнего поворота дороги мелькнуло пятно света. Фонарь — мощный, армейский.

Идут сюда. По занесённой дороге мимо старой церкви, в которой давно никто не служил. Там устроили оружейный склад, но недавно его тряхнуло бомбами, и оружие на подводах под охраной мотоциклистов перетянули куда-то к городу.

Аля с парнем переглянулись. Она подтолкнула его в сторону хлева.

— Скорей, скорей… — поторапливала она, стараясь ступать след в след за ним.

У входа под навесом небольшим стожком стояло всё сено для Рёвы. Позавчера Аля сгребла его скопом.

— Залазь давай, — приподняв большую охапку, приказала она. — Там сиди.

Парень неожиданно проворно юркнул внутрь. Не видно его. Аля бегом по тем же следам вернулась в хату.

…А собак с ними нет? А если будут, что тогда?..

Накинула крючок. Сбросила ватник. Меньше чем через минуту послышался близкий шум. Несколько отрывистых команд и хриплых криков. Тяжёлые, будто бревном, удары в шаткую дверь.

Аля едва успела откинуть крючок, когда почувствовала резкий толчок повыше груди. Сдавленно,

перехваченным дыханием, застонала и свалилась бы на пол, если бы чья-то крепкая лапища с цепкими пальцами её проворно не подхватила.

От лапищи сильно воняло табаком и порохом.

— Wo ist er?.. Der Mann?.. Diversant?..[1] — вопросы будто пригоршнями сухого гороха осыпали её.

За долгие месяцы войны Аля стала понимать некоторые слова по-немецки, но никому в этом не сознавалась.

— Ты это — аккуратнее. Назад поди! — голос показался Але знакомым.

Она очнулась и с усилием приоткрыла глаза, чтобы убедиться.

Да, табачная лапища с белой повязкой над локтем принадлежала Пахому, старшему полицаю из соседнего села. К немцам он перешёл сразу после начала войны и их стремительного наката на вчера ещё советские земли; перешёл не колеблясь, будто давно ждал. Под партизанские пули не рвался, но служил исправно. В здешних местах знали или слышали о нём все.

— Чего стал? Шаг назад. Ну! — продолжил Пахом.

Автоматчик отступил.

— Ты не пугайся, — по-отечески обратился Пахом к Але и ободряюще улыбнулся.

От встречного ветра и снега глаза у него были красные, усы заледенели. Он протянул ей портсигар с дорогими папиросами:

— Будешь?

Она мотнула головой:

— Н-не курю.

Пахом раздумал доставать папиросу себе и сунул портсигар обратно в карман.

— Плохо с хавкой у вас? Так ведь?

Аля невольно кивнула. Пахом наклонился к ней:

— Хлеба хочешь — шесть булок свежих?.. Тушёнки? Сахара?

Представив, она сглотнула слюну.

— Будет завтра же, с утра.

Наклонился вплотную:

— Где человечек-то?.. В каком углу?.. И не скажу никому про твоего сокола — где он там и как комиссарствует...

Аля укусила себя за губу, но почувствовала, что левая рука как будто сама готова указать. Пахому этого хватит, он сообразит. А если с собакой, найдут всё одно. Неподалёку со свистом приземлился и рванул снаряд. Пахом и автоматчик вздрогнули.

Старуха, сидевшая на топчане, не спуская ног, вдруг осмелела.

— Гонют вас, — прокаркала она, прибавив что-то не слишком внятное, но задорное, с матюком.

Рука младшего полицая сама дёрнулась к затвору, но Пахом тут же с досадой отвёл её:

— Патроны береги... — и громко: — Временные трудности. Рейх непобедим. Пускай ещё небо покоптит — сама увидит.

В хату вошёл ещё один немец, судя по выправке — унтер или выше. Уверенным движением он скинул капюшон и привычным голосом отдал команду.

Вбежали ещё четверо автоматчиков. Обшарили углы, осветили подпол, пошерудили ухватом в печи, один влез на чердак. Старуха глядела молча.

— Здесь никого, — объявил младший полицай.

Прихватив Алю, вывалились из хаты. Собак с ними нет, сообразила она. *Собак нет!*

— Чьи следы? — спросил Пахом другим, резким голосом и указал в сторону хлева.

Следы почти замело, осталось несколько едва приметных лунок.

— Корову глянуть ночью выхожу.

— Поглядим, что за корова...

Полицаи приблизились к стожку. Автоматчики осветили хлев. Рёва тревожно замычала, но сама тут же осеклась. Пахом быстро обнаружил и сноровисто ухватил вилы. Младший полицай, оглядевшись, приладил штык к своему карабину.

Они пошли вокруг стога, с силой втыкая с противоположных сторон вилы и карабин со штыком. На замахе лезвие мерцало.

Аля опустила глаза под пристальным взглядом унтера и считала удары по стогу. Сейчас?.. Или мимо?.. Казалось, каждый удар то распарывал на ней самой одежду, то скользил по коже, как змея. Перед тем как идти мимо немцев, она мазала лицо сажей и надвигала платок пониже, стараясь сойти за старуху. А вот сейчас, под пристальным сталисто-голубым взглядом, ощутила себя голой, беззащитной и слишком молодой. Но это не самое важное. Главное — там, внутри, и если только ей не дышать и не бояться, то всё-всё будет хорошо.

Они трижды старательно обошли стог, пробивая его, кажется, насквозь. Но ниоткуда не донеслось ни звука.

Младший остановился первым и стряхнул со лба пот.

В этот момент из стога прямо на фонарный свет выскочило что-то стремительное и серое. Автоматчик дал очередь. Пахом повалился в сугроб.

— Eine Maus!.. — захохотал унтер. — Mäuschen! Kommando zurück! Patronen sparen![2]

Пахом, матюгаясь и стряхивая снег, поднялся.

Бросив ещё один долгий взгляд на бледную Алю, унтер развернулся и указал рукой на дорогу и на лес за ней.

Свет скрылся за другим поворотом. Ветер ослабел. Из-за тучи пробился край луны.

Подождав, пока не поняла, что сердце не выскочит прямо сейчас, Аля вернулась к хлеву.

Бросившись к стогу, она руками стала разгребать сено. Через минуту наткнулась на грубую ткань.

1. Где он?.. Мужчина?.. Диверсант?.. *(нем.)*
2. Мышь!.. Мышка! Отставить! Беречь патроны! *(нем.)*

— Эй! — шёпотом окликнула она.

Не отзывается. Проткнули, значит. А как ещё? Весь стог прошли.

Руки опустились. Обмякнув, она наклонилась, готовая взвыть, зайтись во всепоглощающем горестном исступлении.

И вдруг услышала… ровное, чуть посапывающее дыхание. Спит! Протянув обе руки, она стала изо всех сил тормошить его за плечо.

Он очнулся и быстро вылез навстречу. Стоя на коленях, она обтрогала его. Ни крови, ни царапины нигде не было. Аля прижала его к себе с материнскими слезами.

— В рубашке родился… В рубашке! — наконец смогла выговорить она.

— Третьи сутки без сна пошли, навалилось, — стал он оправдываться. — А там тепло — сморило. Ротный бы не узнал.

— Не скажу ему, — против слёз улыбнулась Аля. — Вот, возьми, — она протянула ему сухую горбушку хлеба и молока в железной кружке. — Голодный…

Он отхлебнул.

— Что ж ты сделал-то такого?

— Склад взорвал. Тот, временный.

Прошлой ночью зарево полыхнуло с другой, не фронтовой, стороны. Ярко. Несколько раз поднималось над лесом, будто в невиданный костёр подкидывали новое сухое полено.

— Охраняли ж его?

— Охраняли, конечно. Больше взвода. Сколько потом осталось — не считал. Дождался только, когда лошадей выпрягли и отвели в сторону. Пора мне.

— Пройди вдоль деревни, оврагами, — показала она. — Там к речке выйдешь. И до своих рукой подать.

Он сделал два шага и обернулся:

— Как зовут тебя?

— Алевтина.

— А меня…

— Не говори, — она перебила. — Не говори пока. Придёшь с нашими — тогда и скажешь.

Аля перекрестила его вслед.

Метель понемногу стихла. Скоро утро. В стороне гремят разрывы. В хлеву мычит Рёва. На топчане ворочается бабка Василиса.

Аля успеет вздремнуть час-другой до рассвета. И, кажется, она уже знает, что ей приснится её муж Алексей, усатый и статный. Во всём гражданском. До войны. Аля думает, что и ему она смогла помочь этой ночью. И снова, удивляясь, повторяет:

— В рубашке, точно…

День палача

Стук в дребезжащее стекло раскатился по затихшему дому. Кошка метнулась в испуге. К окнам подступил туман, густой и неподвижный. Жена? Нет, рано… Дождавшись следующего стука, Виктор встал и, на ходу потирая виски, пересёк комнату и вышел в сенцы, раздражённо ускоряясь с каждым шагом. Откинул крючок и дёрнул дверь на себя. Ранний гость потянулся было к стеклу в третий раз, но тут же убрал руку.

— Чего надо?.. Опять? — хриплым, клокочущим со сна голосом спросил Виктор, признав в явившемся из тумана нового соседа, Тимофея.

— Сделай. Денег дам, — уткнувшись взглядом под ноги, простонал сосед.

Виктор без разговора шагнул к нему, но тут вдруг качнуло так, что пришлось опереться о косяк.

— Проставлюсь без разговоров, готово уже, — заметив, каково ему, подлил масла сосед.

Виктор постоял, дыша туманом. За эту неделю сосед кружил и домогался его помощи трижды: подстерёг за починкой забора, вынырнул на автобусной остановке, а сейчас вот и домой припёрся спозаранок.

Протяжный вой безнадёжным призывом донёсся до них.

— Вон — слышишь?..

Тимофей с семьёй въехал в дом свёкра в прошлом месяце. Надломленный болезнями, Иван Самсоныч уже не ходил. Дом был отписан дочери много раньше. За ночь после смерти покойник посиневел и раздулся. Виктор с другими нёс перемеренный широченный гроб по разбитому асфальту и склизкому глинозёму. От самого дома лил обложной дождь.

После похорон Тимофей с напором принялся за починку забора, запущенный огород и покосившиеся строения. Он успевал повсюду. Временами закуривая, как будто прикидывал, насколько дом и участок росли в цене с каждым днём.

Но на самом видном месте новых владений оставался тот, с кем договориться никак не получалось. Пока хозяин был жив, Буран, хмуро оглядев, пропускал и деловитых докторов, и суетливую родню. Теперь же выл в сторону кладбища даже в безлунные ночи. Не брал еды. А при каждой попытке приближения рвался с бешеным хрипом. И тяжеленная кованая цепь, намертво вбитая железнодорожными костылями в сваю, казалась тогда тонкой истёртой бечевой. Хозяина больше не было. Никого другого он не признавал.

Это должно было пройти. Но никак не проходило. Все запомнили, как сгружали мебель и что́ чуть не стало тогда с Жигитом. За те несколько лет, что тот прожил в посёлке, его чудно́го киргизского имени полностью никто здесь выговорить не мог. Даже на спор. Он смешно коверкал слова в нехитрых прибаутках и поначалу казался самым говорливым из нанятых грузчиков. Но стоило ему, занятому увесистой ношей, срезать путь всего одним неловким шагом, как нахоженную тропу будто выдернули из-под его ноги. Шкаф, хлопнув всеми дверками, с треском повалился. Лёжа за ним

в канаве, оторопевший носильщик наблюдал, как казавшийся крепким кожзам его ботинка размётывался в клочья рывками свирепой мохнатой башки. Под запоздалые безутешные вопли пришлось доплатить ему за новую пару обуви.

— Я за ребёнка боюсь. Ну и вообще — прохода нет… — признался Тимофей.

— Сам чего не сделаешь?

— С оружием не дружу. Пацаном ещё ствол в руках взорвался, палец пришивали потом… — и показал на стыке с ладонью что-то похожее на шов.

У соседа нашлись сигареты и огонь. Они молча высмолили по одной.

— Я подумаю, — не глядя, сказал Виктор.

Туман ушёл вниз и лохмотьями висел над тинистым ручьём. Виктор успел продрогнуть в семейниках. Толкнув дверь, вернулся в дом. Там, спасая хвост из-под тяжёлой хозяйской ноги, выскочила кошка.

День становился жарким. Виктор полил завязи капусты, выкосил бурьян на лужайке, срубил сухие сучья с груши.

Вой и лай весь день. Буран заставил себя уважать с тех пор, как появился и подрос. Огромный, широкогрудый и пружинистый — как не заглядеться издалека. Таким, наверное, был в молодости и Иван Самсоныч, последний год с одышкой выходивший потрепать любимца за ухом.

Виктору вдруг жгуче захотелось спросить у кого-нибудь совета, но жена ещё не вернулась от родни. Он двинулся было к остановке с телефонным аппаратом, но цифры в голове путались, и стало понятно, что их номера ему не вспомнить.

Он заметил приземистую кривоногую фигуру, шедшую навстречу. Похож на Жигита. Ни встречаться, ни заговаривать с ним Виктору точно не хотелось.

Завернул в соседский двор. Буран поднялся: он, казалось, хотел разрешить последние сомнения. С хрипом рванулся с цепи. Он не признал Виктора, как не признавал никого из живых.

— Давай ствол…

Тимофей скрылся и тут же вынес оружие на вытянутых руках.

Виктор принял ружьё, примерился и, ещё не обернувшись, ощутил тишину: рёв за спиной стих.

— Заряжено?..

Тимофей кивнул. Но, помня про оторванный палец, Виктор засомневался: не лучше ли перезарядить самому? Однако ствол был начищен почти до блеска, без единой ржавчины. Заводской заряд безупречно сидел в патроннике.

Огляделся. Та же приземистая фигура почудилась ему сквозь забор.

Он подошёл ближе: Буран лежал на пороге конуры. Косой луч сквозь крону липы высветил висок и ухо.

Проще было некуда. Виктор замер, сверяя прицел. Буран протяжно поглядел и снова положил голову на лапы. Давай!.. Струйка пота скользнула к подбородку. Но он будто ждал ещё чего-то. Зачем, Буран? Почему я?.. Палец затёкшей руки дёрнулся. Грохнул выстрел. Стрелка́ обдало горячей волной. Тело собаки приподнялось, беззвучно содрогнулось и упало рядом с конурой.

Виктор опустил ружьё и зашагал к дому.

Денег он не взял, только водку, и сказал так, что удивился своим словам:

— Закопай по-человечески.

Тимофей было опешил, потом кивнул в ответ и выскочил за лопатой.

— Эй, Иванна! — отчего-то по отчеству позвал он супругу.

Кровь застыла бурой лужицей. Положив тяжёлое, начавшее деревенеть тело на прогнувшийся лист железа, они с женой дотащили его до угла сада. Чуть в стороне от перевившихся узлами берёзовых и яблоневых корней Тимофей срыл дёрн и подготовил яму по пояс.

Сынишка, взгромоздившись на подоконник, глядел в сторону сада из-под скошенной занавески.

Жена Тимофея огляделась. Страх ушёл. Появились усталость и тоска. Муж азартно закидывал яму бурыми комьями. Потом утрамбовал землю лопатой и припрыгнул над могилой.

— Хватит, — прошептала она, подумав, что только сейчас вдруг хорошо поняла Бурана.

Посёлок будто вымер. За крытым прожжённой клеёнкой столом сидел Жигит и перебирал двухцилиндровый двигатель. Узнав Виктора, он угодливо приподнялся.

— Видел? — спросил Виктор.

— Видал, всё видал, малаца ты, — похвалил азиат. — Знаишь как нада, одним разом зверя положил.

Жигит убрал движок в сторону и встряхнул клеёнку.

— Собачий мяс хороший. Меня много разов он выручал. Бывала, захочишь — чуть прикормил. Подозвал, шею приладил. Нож наготове. Бывала, быстрей, чем с бараном, управлялся. А у Тимы спрашивал — не отдам, говорит… Эх!

— Ты мусульманин. Тебе нельзя, — решил вдруг Виктор, спрятав показавшееся горлышко бутылки обратно за пазуху.

Лицо Жигита осунулось и посерело. Его губа изумлённо отвисла, но ответа Виктор не услышал.

Он сел один под навесом возле дома. Влил в себя стакан. Водка не брала. Катал в ладонях папиросу и глядел на холодный, перечёркнутый проводами закат.

Василий Киляков

Знак

Кузьма Лукич заходил в дом и, не замечая меня, семилетнего мальца, здоровался с бабкой и дедом. Ставил в угол суковатый батожок и устремлялся в горницу...

Высокий, сутулый, он зарос густой и широкой рыже-русой бородой. Круглые, со слезой, глаза; стриженная овечьими ножницами голова имеет форму улья. Я, не спуская глаз, смотрел на Кузьму Комкова, на его нечёсаную, с проседью, бороду, широкое лицо, горбатый нос и глубоко посаженные острые глаза. Пронзительная улыбка.

Садился он на лавку широко, основательно, как будто навсегда. Уставившись на деда своими колючими прозрачно-коричневыми глазами, как у филина, Лукич улыбался, спрашивал деда о колхозных делах, но разговор не налаживался. И тогда Кузьма вынимал из бокового кармана допотопную склянку с самогоном, замысловатую и гранёную, ставил на стол. Дед мой оживлялся, приносил стаканы, и бабка начинала «заводиться»—ворчать так, чтобы слышал Кузьма.

— И чего ходит?—ныла бабка.—От делов отводит... Вот и ходит, и ходит...

— Мать, а мать,—по возможности ласково и сердечно просил мой дед бабку—он называл её «мать»,—дай-ка нам чего-нибудь зажевать, занюхать чего-нибудь...

— Вот как сойдутся пара—лапоть да сапог, не разлей вода... И всё дай им! А чего я вам дам? Так вот пили бы и пили, да вот болтовня и курятина...

Бабка лукавила. «Болтовня и курятина» бывала не часто, только на праздники—престольные или советские, и тогда бабка, покончив со всеми делами, сама уходила к соседке, не могла она терпеть подвыпившего деда, не в меру разговорчивого и храброго. Но и в простые зимние вечера временами горницу наполнял табачный дым, зависал под потолком облаком, на полу валялись оплёванные окурки, взрывы хохота приводили бабку в трепет, терпение её раскалывалось, истощалось.

— Мужики,—растворяя дверь из кухни в горницу, совестила бабка,—мужики, ай не стыдно в чужих людях сидеть до глубокой ночи? Дайте хоть поужинать спокойно. Поди-ка, и в уборную захотели?—и тут же накидывалась на главного виновника сборищ, на деда:—А с тобой, доходяга, я после поговорю! Я тебя сковородником приласкаю!

И когда страсти накалялись, ссора набирала силу драки, мужики нехотя уходили...

Но самым главным и желанным слушателем был дед Кузьма. Тут открывались самые сокровенные дела и думы, даже и в брежневские времена, когда, по слухам, снова начали хватать за болтовню,—открывались подкладки совсем не героической стороны прошлой войны. Один из таких дней особенно запомнился мне.

—...Слыхал, что наговорили тут эти вояки?—спрашивал дед Терентий никогда не воевавшего Кузьму, случаем ли, хитростью увернувшегося от призыва.—Слыхал?—спрашивал дед после очередного сборища.—Прямо жуть берёт, герои. Когда войны и в помине нет. «Языков» они брали, штабы громили, кровь мешками проливали! А им было-то тогда кому двадцать, а кому и поменьше. Моему старшему и средненькому ровесники. Как же, и я понимаю, худо им было. У самого двое сыновей погибли, два брата и племяш. Да эти-то все на фронт попали когда?

— Когда?—переспрашивал Кузьма без интереса.

— Когда уже попёрли немцев: сорок третий, сорок четвёртый, вот когда. А вот когда от них драпали—худо им было, необстрелянным-то.

...Всё это—и приход Кузьмы Лукича в тот день в наш деревенский дом, и двух стариков-инвалидов: один с культёй, другой без ноги, не любивший искусственных «непослушных» протезов, а носивший самодельный, как в дупло втыкавший туда культю левой ноги,—живо вспомнилось мне теперь, когда я прочитал в газете «Неделя» за май этого года статью. Как по сердцу ударила: «Порядок клеймения таков». В 1942 году, 20 июля, вышел приказ Верховного командования сухопутных сил, Берлин—Шенеберг: «Советские военнопленные должны быть клеймены особым устойчивым знаком. Знак состоит из снизу открытого острого угла, около 45 градусов и 1 см длины, на левой половине ягодицы, на расстоянии пяти пальцев от заднего прохода. Знаки делать ланцетами, какие находятся в каждой воинской части. В качестве краски употреблять китайскую тушь...»

Это был праздник, верно, День Победы, и бабка не ворчала на то, что все четверо—и Кузьма, и дед, и двое инвалидов—все были под хмельком. Она всё что-то подавала на стол, то и дело меняла

щи, картошку, солёную жёлтую солонину с аппетитным мясцом и лубяной шкуркой резала ломтиками, а я делал вид, что учу уроки.

Бабка приносила грузди ароматные, исчерна-розовые в рассоле, пухлые оладушки. От самогона отказывалась, её неволили, силком усаживали на табуретку; она пригубила, намочила язык и замахала ладошкой:

— Ну яд, как есть яд…

В конце концов не выдержала, увела меня из горницы, отгоняя ладошками дым от самосада, затворила за нами дверь в кухню, а я приладился с уроками на краешек подоконника. А в горнице дым стоял коромыслом. Друзья прикладывались к самогонке по единой, но неоднократно. Они перебивали друг друга, спорили, упрекали. В конце концов опустела огромная диковинная склянка, и, очевидно, воспоминания о войне в тот день достигли самой высокой точки, апогея.

— Ха-ха-ха,—громко смеялся дед Кузьма,—верно, верно, я вспомнил, вас тогда шестерых забрали…

— Да ты слушай, Кузя… На фронт-то забирали кого в чём: старенькие сапоги, телогрейка, в шапках, годных только на галчиные гнёзда. А в холщовых сумках за плечами—яички, сухарики, пышечки-фуишечки… Негусто. А осень была мокрая, будто небо плакало об нас, горемычных, Всем было кому под сорок, а кому и больше. У меня пятеро оставались, навострили тогда сдуру. Всей деревней провожали, море слёз выплакали. Мой младшенький влепился в меня: «Тятька, возьми меня с собой». В военкомате разделили всех по спискам, двое только и вернулись: Семён-Таракан без ноги да я из плена. От Сонино часов пять шёл. Доходяга, будто кровь из меня выцедили.

Двое инвалидов из соседнего села курили молча и сумрачно. Я делал вид, что тружусь над прописями, а сам напряжённо вслушивался.

— А меня Бог миловал,—весело смеясь, говорил дед Кузьма, как бы нарочно хвалясь: какой он всё же хитрый, умный, лучше всех из Выселок.—Бог миловал. Спасибо, я мужик такой ловкий…

— Ты сам себя миловал, ловчил,—оборвал его дед Терентий.—Я же один раз комиссию проходил с тобой в сорок первом. Чего ты так вырядился-то? Помнишь? Одна нога в сапоге разбитом, другая в калоше старой на верёвочках. Все норовили почище одеться, помылись в бане, а тебя как из нужника вытащили.

Мужики все загудели недовольно.

— Я тогда золотарём был…

— Да знаю, что не комиссаром. Ты и сейчас-то всё плутуешь, выгадываешь.

Мужики заговорили громко, всё больше хмелея. Пустой посуды на столе было много. Из четырёх братьев деда моего погибли двое, а дед был в плену фашистском, погибли два племянника, один пропал без вести. Словом, за дверями в горнице счёт шёл громкий, старики ошибались, поправляли самих себя, а мы с бабкой скучно сидели в кухне и хлебали жирные щи с оладьями. Вдруг слышим: плач не плач, смех не смех…

— Ну-ка глянь, чего он там, дед-то… Вот горемыка-то,—ворчала бабка незлобиво.—Чего-то выкозюливает, глянь-ка.

Дед показывал клеймо точно на том месте, как приказывал шеф Верховного командования сухопутных сил, согнувшись, а мужики смотрели и почему-то смеялись. А дед плакал и ругался. Китайская тушь уже плохо была различима на ягодице левой половины, но было заметно.

Очевидно, бабка не знала о клейме, дед не показывал и ни в «оттепель», ни после никому не говорил, а в баню ходил всегда один и после всех. И хотя вся деревня знала, что он был в плену и что его систематически таскали в районное энкавэдэ, тайну знака он не выдавал, совестился, что ли, не хотел ли бередить душу, Бог его знает. А тут—по пьянке, при долгой беседе, да ещё в такой день—не выдержала душа обиды, не телёнок ведь, человек…

Сидели за плен не все. Деда только «таскали», как он говорил тогда бабке: спрашивали всё одно и то же, записывали и бумаги сверяли.

— Ну, чего он там притих-то?—спросила бабка, когда я вернулся в кухню.—Чего, язык-то корова отжевала?

И когда сама, громко закрыв печь заслонкой, раскрыла дверь, посмотрела в горницу—начала ругаться:

— Капли пить нельзя, хоть ополосни и в гроб положь, а вот неймётся. Эка надобность зад мужикам показывать?! У всех раны есть: тот без кисти, этот без ноги…

— Молчи, дура, дура стоеросовая!—озлился дед.— Ты знак посмотри, не видала же…

Бабка уже плохо видела след далёкой беды, но и она как-то сникла, заплакала, схватила зачем-то меня за руку и увела в кухню. И, чего с ней никогда не было, вдруг налила в стакан граммов сто и залпом выпила. А выпив единым духом, вытерла уголком платка глаза и губы.

В горнице стало тихо, как будто там никого не было; хромали ходики. Через минуту-другую дед скрипучим тихим голосом сказал бабке:

— Эй, Ильинишна, принеси-ка нам, у нас тут вся!

И бабка, всегда ворчливая, недовольная, вспыхивавшая, словно береста на огне, от слова «вся», как-то порывисто, как молодая, снялась с лавки, мельком взглянула на причудливую склянку Кузьмы Лукича, трогательно и неловко прижимая к плоской своей груди, принесла отрытую откуда-то из «заначки» бутылку очищенной настоящей сельповской водки и отдала старикам.

Всё это запомнилось зримо: и еле заметный уголок на левой ягодице деда, и угрюмый инвалид

с оборванной кистью, и деревянный протез у хромого с резиновой набивкой снизу…

Многое случилось и после этого за двадцать лет моей жизни, но вот этот знак, открытый острый угол, верно, много раз подновляли, размывая тушь. А как это делали, дед рассказывал со слезами, трезвый же—никогда и никому. И это, если понять, этот его стыд был и в самом деле глубокой трагедией человеческой души. И вот я выписал из той же «Недели» статью полувековой послевоенной давности: «Порядок клеймения таков: стянутую кожу намочить китайской тушью, потом поверхностно колоть раскалённой ланцетой. Для устойчивости знака каждые 14 дней, 4 недели, 3 месяца знак проверять и по необходимости возобновлять. Это мероприятие не должно мешать работе. Поэтому клеймение работающих провести по возможности в бараках рабочих команд или при следующей дезинфекции». Так приказал шеф Верховного командования.

Дед в послевоенные годы брал меня с собою в баню. Шли мы с ним медленно; высокий гнутый старик с полотенцем на плечах, такой немногословный и такой родимый—так и остался он у меня в памяти.

Обо всех ранах, рубцах и ожогах я расспрашивал его, а про знак, сделавшийся каким-то грубым наростом величиной с грецкий орех и даже схожий с этим орехом,—об этом знаке так и не спросил, не осмелился. А надо бы. Надо спрашивать, и рассказывать надо. И вспоминать об этом надо. И когда я волей судьбы был закинут в Берлин, ходил в наше трагическое время «реформ» вдоль рисованной и разбитой Берлинской стены, вдоль сияющих супермаркетов и гастштетов, в которых пьют тягучее пиво и одобряют «продвижение НАТО на восток», я вспоминаю бедный, заставленный пустой посудой стол в моей деревне, слёзы деда и радостные возгласы Кузьмы Лукича: «А меня Бог миловал! Бог миловал!..»

Владимир Шадрин

Молитве большего не нужно

Ива

Над речным подвижным серебром,
Где невзгоды жёстки и нередки,
Кто-то равнодушным топором
Искалечил ивовые ветки.
Глядя в переливчатую тишь
Звёздами пробитого залива,
Ты о чём тихонько шелестишь,
Над водой склонившаяся ива?
И, не извёденная бедой,
Не обезображенная местью,
Ты стоишь бесстрашно над водой,
Где мерцают вечность и созвездья.
Я хотел бы так же миг любой
Этой жизни—в будничность иль битву—
Жить, не убиваясь над судьбой,
А воспринимая как молитву.
Счастье, не подвластное уму,
Не пытаясь воротить натужно,
Просто жить и верить потому,
Что молитве большего не нужно.

* * *

Предзимний сезон. Зарядили дожди без конца.
И город ответил огнями, зонтами, шагами.
А с ними хандра проточила тропинки в сердца,
Наполнила мокрый асфальт дождевыми кругами.
Тут даже и баловень жизни нахмурится вдруг:
«Не стоит о счастье придумывать глупую сказку
Иль новую повесть с обилием бед и потуг.
На что нам чужие, когда и своих под завязку?»
Но кто-то спешит, пробираясь к жилью и теплу,
И кто-то твердит заклинанием ставшее имя.
А я наблюдаю, как смутно текут по стеклу
Штрихи и черты одиночества или предзимья.
И я оставляю хандрою захваченный дом,
Который штрихами скорее размыт, чем очерчен,
Чтоб снова спасаться стихами и тяжким трудом.
Трудом и стихами. А больше спасаться и нечем.

Анастасия Чернова

Иван да Марья

Вы, быть может, знаете это место. Перед железной дорогой. Жаркое поле, знойные травы, и жёлтые бабочки дрожат над пыльными цветами, а в пруду, в том самом, что за холмом, купаются дети, глинный берег влажно скользит под ногами.

В детстве я сильно боялся воды. Даже с кругом. Дырочка такая маленькая. Мгновение — и всё, на чём ты держишься, воздушная упругость клеёнки, обмякнет; без опоры — ты летишь в холод бездонной реки, в острую мглу скрытых течений.

И тебя больше нет. Только шкурка круга — на поверхности этаким мазутным плевком — плавает.

Я боялся, но этого никто не знал. Ещё я плакал, если старшая сестра опаздывала в школу; она забирала меня домой после уроков. Все расходятся, забирают шапки, надевают куртки. Хлопает дверь. И мир тогда обрисовывается в своей страшной пустоте. Там, за окном, чужие мамы несут тяжёлые портфели. Дети, играя, бегут перед ними. Домой, домой…

А что, если сестра никогда не придёт за мной? Что тогда? И всё кругом теперь — как вода, куда бы я ни делал шаг — я проваливаюсь, мне не за что схватиться. Потому что предметы текут. Растекается дом, в котором мы живём. Фотография родителей, которых давно уже нет, их последний взгляд; старый диван бабушки, будильник на окне, город со всеми своими трамваями и подземными переходами. Где-то в их глубине исчезла сестра.

И потом она вдруг появляется, торопливая, разрумянившаяся, вбегает — грохает дверь. Бежит мимо охранника, мимо нянечки, что вешает половую старую тряпку на крюк в стене.

— Таня! — кричу я.

И мир вновь обретает всю твёрдость и тяжесть основания. У каждого предмета своё, определённое место. Вот школа. А вот нянечка, она в синем халате и в тапочках, а наш дом — через две автобусные остановки. Бродячая рыжая собака сидит, быть может, у крыльца…

Всё это было так давно, что казалось сном. А сон — самая настоящая большая река. В нём забываешь себя, как в речном тепле и покое, в солнечном разливе тишины. Тебя — нет, только витки волн, только камни, плоские и цветные, на дне. Дневной мир всплывает фрагментами: белая рука, гул трассы, густая прядь тёмных волос, дети… купаются. В знойном воздухе колеблется пыль.

Вот так я шёл, и было уже поздно, близился полдень. Солнце стояло над ближней рощей, сеть лучей упала, золотясь, на дорогу, и всё вокруг стало неподвижным, словно застывшим. Небо, и дорога, и роща — обрели один цвет, цвет спелых колосьев; и было в этом что-то жуткое и нереальное. Даже в том, как я шёл. Мне кажется, я на месте шагал! Десять минут, двадцать…

Всё то же поле, метёлки соцветий у обочины.

Всё то же золотое, знойное, полуденное марево.

Быть может, я заснул, конечно, всё очень просто.

Я ведь не спал прошлую ночь — у Ларисы на террасе. Приёмник работал, мы кричали, что-то пели, гости несли корзины с водкой и грибами, разные корзины. Одна корзина — с котом. Кот мягкий, Шпунтик. Оцарапал, подлец. Мне двадцать лет, Ларисе — далеко за сорок. Но это с её слов. Лучшая моя подруга. А как звучит в её руках гитара, если взбредёт в голову спеть что-нибудь! А пели мы, не смейтесь, «Звезду по имени Солнце» и «Бездельника». Просто Лариса, кроме Цоя, ничего другого не знает. Фанатка в любом деле. Дачу сама отстроила, кота завела, пригласила друзей-грибников и друзей-пьяниц. И меня… Я что-то среднее. Пока не определился, и то и другое нравится. И больше всего — такие ночи, когда много шума, много друзей, а Лариса предлагает: «А ну оставайся, живи у меня!» Глаза её блестят лихорадочно.

Дома вот у нас — не в пример тихо. Таня третий институт кончает — два уже закончила, с отличием, и всё мало. С утра до вечера занимается. Её книги — везде: и на полках — стопочками, и на кухонном столе, и на узкой холодной кровати, похожей на больничную койку. И чего, казалось бы? Я недавно поступил в институт, и то — не сильно-то рад. Вот возьму и перееду к Ларисе, насовсем. Лариса столько вузов не кончала, а что задумает — обязательно сделает. Не отступится. Как гитару возьмёт — не вырвешь. Над её избушкой звёзды ночью яркие, а диван, который она раскладывает, такой глубокий и жаркий, словно пар от самовара. Да-да, перед сном Лариса обязательно самовар ставит — на табуретку. И крендельки там всякие, забавно.

Сахарная пудра на губах… тает…

Вот так я шёл и думал устало, и Ларисин наказ: «Не забудь вернуться к ночи»,—в мыслях вертелся. А дорога—луга и роща—никак не менялась, будто и шага я не сделал! Мои ноги отяжелели, болела голова, сильно хотелось пить, а воды с собой не было. Лариса не переносит трёх вещей: малиновое варенье, воду в бутылочке и робких баб. Конечно, я с ней в целом согласен. Пить воду из бутылочки, чмокая, словно новорождённый младенец,—просто смешно. Умей терпеть, умей ждать.

Подул ветер, тяжёлая волна прокатилась по земле, извивая травы… Я впервые шёл по этой дороге, но, странное дело, всё было родным. Где-то уже я видел эти цветущие, оплывшие сладким тленным запахом луга и чувствовал страшную обречённость. От Ларисы я обычно уезжал рано утром, на восьмичасовом автобусе,—сразу до Москвы, в институт.

Но сегодня я опоздал на автобус: слишком устали от гостей.

— Теперь на электричке езжай,—сказала Лариса напутственно,—до станции минут сорок топать. Прямо по асфальтовой дороге. Никуда не сворачивай. Вот и придёшь.

Какие сорок минут!.. иду уже так давно, а конца не видно. И всё знакомое, очень… Обрыв, ромашковое поле, пруд, вода в нём—цвета крыла лимонной бабочки…

И тогда я вспомнил!

Я видел уже это место в кошмарном сне. Сомнения быть не может. Травы поднимаются всё выше, обрастая невысокий холм, а за холмом—пруд, купаются дети; их неясные силуэты (сидят, поджав ноги, на берегу? кидают в пруд мячик?) исчезают, бледнеют в золотистых подтёках света так, что я почти и не вижу их, только догадываюсь по голосам и звукам. В воздухе томительно душно. И тут вдалеке, на повороте, появляется ярко-зелёная точка—автомобиль…

Всё развивается так быстро, что я ничего не успеваю подумать, если во сне возможно хоть о чём-то думать… Откуда-то, словно из пустоты, выворачивает, петляя, грузовик с прицепом.

И вот две машины несутся друг на друга, они необратимо встретятся на повороте, том самом, что за холмом. Я вижу зелёный автомобиль, как мерно и легко он приближается, а водитель и не догадывается о страшной опасности, о скорой своей гибели! Я хочу закричать, но вместо этого отпрыгиваю в сторону и падаю на траву. Грузовик мчится зигзагами, словно маятник часов. Ничто не может его остановить.

И на повороте они встречаются. Буквально разрывают друг друга. Рёв и человеческий крик—сменяются внезапно наступившей, острой, давящей тишиной. Теперь я встаю и бегу к этому месту. Что-то притягивает меня и влечёт.

…Так и есть, груда металла. Ничего более.

Грузовик с прицепом стоит, развернувшись боком, посередине дороги, у него разбито лишь переднее стекло. Зато от маленького автомобиля ничего не осталось. Я наклоняюсь.

То, что увидел,—всего лишь на одно мгновение—наполнило меня ужасом!..

Внутри машины, среди её обломков—совсем молоденькая девушка. Кровь смешена с лоскутами, цветными обрывками пёстрого платья, но—лицо… Лицо я помню до сих пор. Необыкновенно красивое, с застывшим страданием… Её губы полураскрыты, а глаза, не отрываясь, смотрят сквозь меня, словно в немом укоре: «Ты мог бы меня спасти… ты же знал…» Её тёмные волосы ещё хранят тепло, широко и свободно сбегают на плечи, но тень смерти уже стынет надо всем, распространяя холод и тишину. Серые глаза молчат.

«Да разве мог я помочь тебе?!»—кричу я—и тут же просыпаюсь. Мои ладони мокрые, и лицо мокрое, будто во сне я плакал. А на душе тяжело, страшно тоскливо. Ощущение, словно то был и не сон.

Почему я испытал такой страх? Я дома. Сижу на своей кровати, одеяло сползло. Глубокая ночь. За окном—темнота, разбавленная мирным сиянием оранжевых фонарей…

А в глазах моих всё ещё держится сон, я всё ещё там, на незнакомой дороге, перед разбитой, раздавленной машиной. Незнакомой? И вновь я вижу обломки, резину… Одно колесо почему-то сохранилось. Лежит теперь, откатившись, в стороне. Не удержавшись, я падаю на колени. Нет! Это не просто смерть. Не просто гибель. Вглядываюсь в её лицо, в её уже холодные, молчащие, широко раскрытые глаза… Гибель эта, такая нелепая, неожиданная, касается каким-то образом и меня. Всего моего существования. Всей основы. И тут я осознаю—непонятным образом, по ощущению, которое входит в мою душу, и как внутри что-то откликается, бьётся сильнее и больно: ведь это она, которую я должен был встретить, должен был найти… А теперь мы никогда и нигде не увидимся. Встретиться впервые лишь для того, чтобы ощутить утрату. И никакой надежды! Даже её слабого далёкого мерцания!

В голове моей проносится вопль неисполненного. Вселенная меняет свои очертания. Это мир, в котором не будут жить наши дети. Это мир, в котором не будет ни дел наших, ни песен. На дымящиеся обломки разбитой машины—вот на что похожа теперь моя жизнь.

Проснувшись, я долго не мог успокоиться. Я почувствовал тогда—больше чем просто кошмар и больше чем тягостное сострадание. Сон навис надо мной, словно плакат, и несколько дней, даже—недель я помнил малейшую его деталь.

Потом постепенно подробности забылись, конечно… То было время, когда я только познакомился с Ларисой. Она подошла ко мне в баре и сразу угадала, что мне пятнадцать, что я поругался с роднёй и домой возвращаться мне не хочется. Тогда Лариса угостила меня хорошими сигаретами и предложила переночевать у неё в загородном домике. А как расписала свой сад!

— Садик,—говорит,—есть. Вишнёвые деревья. Всё белое. В белых цветочках—весна. Ночью—соловьи поют. На деревьях вишнёвых сидят и—поют.

Вот только из-за вишнёвого сада, мне кажется, я и поехал. Лариса тогда не очень понравилась: её влажная тонкая ладонь, которую она протянула мне, её неспокойные, такие же влажные глаза…

Кто бы знал, сколько открытий меня ждёт. Ну, никакого сада не оказалось, разумеется. Только утром, когда я вышел и сел на крыльцо, под крапающий дождик, мне подумалось, что ведь, в сущности, ничего другого в жизни и не нужно. Домик в дачном посёлке, друг…

— Эй, Лара!—крикнул я (с этого дня мы были друг с другом уже на «ты»).—А домой ты меня отвезёшь?

— Ты можешь жить и здесь, мой милый,—потягиваясь, она вышла на порог.

— Ну уж, знаешь ли…—тут я захихикал, мне вдруг стыдно стало и смешно, и я не мог никак успокоиться; а дождь всё усиливался, и небо темнело.

Так я сидел и смеялся, смеялся странно, до тяжести в сердце, до ощущения утраты, пережитого в том странном сне. Лариса взяла меня за руку и отвела в дом, в тишину пустой комнаты; старые ковры лежали на полу, и пахло плесенью. И только штрих асфальтовой дороги в прорезях зелени в раскрытом окне.

— У тебя такая мягкая ладонь…—пробормотала она.—И линия губ… очень красивая.

И вот я иду той самой дорогой из сна спустя пять лет. Жаркий воздух кажется плотным и липким, я пытаюсь проснуться, трогаю свой лоб и тру щёки. Вот уж виднеются холм, прозрачная полоска пруда…

Зажмуриваю глаза. Вдалеке—появляется точка, ярко-зелёная. Автомобиль мерно скользит, и в голубом безмолвном небе висят облака, похожие на куски ваты. Нет.

Я не сплю. Это происходит на самом деле. Как тогда, только пробуждение меня теперь не спасёт.

Слышу смертельный звон—у смерти ведь тоже есть свой, неуловимый, звук, смерть гудит, словно вибрируя: то пустые пространства перемещаются вслед за ней. Гул пустого пространства… Свист колёс, пыль асфальта… Через несколько минут всего-то.

Я выбежал на середину дороги и замахал руками, закричал. Потоки горячего солнца пронзили моё тело; не помню, кажется, я перестал чувствовать себя, перестал видеть. Ничего не видел, кроме жёлто-слепящего света и точки зелёной, необратимо растущей.

Машина остановилась. Передняя дверь открылась, выглянула удивлённая девушка.

— Туда, туда,—я махал к обочине,—туда! Скорее!—и не мог ничего объяснить.

Она почему-то поняла меня. Развернулась, отъехала.

— Мало! Ещё—туда!—я-то понимал, что просто припарковаться у обочины—рискованно, но дыхания на слова не хватало.

— Что?—она выглянула опять.

Тогда я подбежал, схватил её за локоть и потянул за собой на пригорок. Мы поднимались, она послушно ступала вслед за мной по земляным выступам среди клочковатых тёмных трав.

И тут из-за поворота вылетел огромный грузовик с прицепом.

С грохотом петляя, он промчался внизу, под нами. Я видел, как он сбил оградительные столбики; прицеп перевернулся. Через мгновение раздался оглушительный взрыв.

Мы упали одновременно, а когда я раскрыл глаза—было тихо и мирно, словно ничего и не случилось. Дети продолжали купаться в пруду. Небо всё так же источало знойные лучи, и облака клубились пенистыми волокнами.

Она сидела, опираясь на руку, и перебирала пальцами траву.

— Что делать?—спросила.—Что же теперь будет?

Спускаться вниз было опасно. Я прошёлся, осмотрел место аварии сверху. Водитель, наверное, погиб. Его тела нигде не было видно.

А потом я понял, что нет и самой машины. Ни прицепа, ни грузовика.

Тогда я вернулся и сказал:

— Погибло всё. А может быть, ещё что… Я не нашёл грузовика, лишь сбитые оградительные столбики.

— Как жаль,—ответила девушка и заплакала.

Её волосы, разделённые на две широкие пряди, спускались по вздрагивающей спине.

— Да ладно. Ну ты чего?—я сел рядом.

Горсти мелких жёлтых цветов—рассыпались, словно капли света.

— Спасибо тебе,—она подняла глаза,—ведь если бы не… Как ты узнал? Откуда? Ты же… ты спас меня!

— Сам не знаю… Когда-то давно…

— Ты обогнал грузовик?

— Нет, но я чувствовал, понимаешь… этот грузовик и ты… в том самом пёстром платье…

— Марья. Меня зовут Марья.

— Иван.

Мы замолчали. Да, имя какое… Встретились, можно сказать, Иван да Марья…

— Я думала, Ваня, что-то случилось вот тут, на этом холме… Когда ты позвал меня. Думала, помочь кому-то надо. Представляешь?!

Я посмотрел в её глаза, серые, словно лепестки ромашки в лунную ночь, и почувствовал, как падаю, плавно погружаюсь; как течение невидимой реки подхватывает меня и несёт, и нет ничего в этом мире более привычного и знакомого. Растекается город, каменные дома и герани, люди, столбы, птицы на проводах.

— Марья,—сказал я с трудом пересохшими губами.

Она взглянула на меня тоже как-то по-особому, задумчиво. И вдруг улыбнулась.

— Мне кажется, я тебя где-то видела. Где-то…

Ветер колышет травы, тень падает от рощи. Через её плечо перекинута лямка—тряпичная небольшая сумка, и она продавливает пуговицу, открывая, и достаёт флягу, прозрачную, с белой пустой наклейкой.

— Хочешь?—протягивает.—Здесь вода, живая, родниковая…

Вода; и река течёт сквозь меня, новые запахи, жара спадает, её рука так близко, прядь волос…

— Ничего мне не надо!—с силой отталкиваю её руку.—Слышишь?! Ничего!

Вскакиваю. Иду, нет, почти бегу прочь, в сторону железной дороги. Поезд уже шипит, земля дрожит от стука колёс.

Платформа, я знаю, будет сразу за рощей, главное—не оглянуться.

И роща, густая, берёзовая, шелестом листьев и прохладой—встречает меня…

Евгений Минин

Лось с рогами

Дыродушное

Ты вышивала солнечный рассказ,
и мы друг другу душу зашивали.
Владимир Коркунов

За иглы мы хватаемся с утра—
Латать свои разорванные души.
Когда в душе огромная дыра,
То плохо и на море, и на суше.
Латаю дырки, а на сердце грусть,
Но не считайте, что кругом так мрачно,
Поскольку лишь за критику берусь,
Вот где я зашиваюсь!
Однозначно…

Плагиаторское

Господи, иду, а не идётся,
Господи, живу, а не живётся,—
и чужим я делаю своё…
Изяслав Котляров

Господи, как плохо мне живётся,
выпить стопку хочется—не пьётся:
это разве дело, ё-моё?
Мне теперь от жизни достаётся,
с гаком получаю от неё.
И на музу я не уповаю,
кое-как чего-то сочиняю,
выдаёт мне темы бытиё,
но когда о чём писать не знаю,
то чужим я делаю своё…

Жалоба

Пока ж природа—памятник себе
из золота, я статуей средь парка
стою в ней, и дыханье всё слабей,
и мне уже ни холодно, ни жарко.
Елена Некрасова

Собою нынче украшаю парк,
хотя стою без вёсел и ветрила,
я статуей навроде Жанны д’Арк:
кругом природа, а вверху светило!
И мне не говорите о стихах—
они нужны, как мёртвому припарка,
в «Неве» опубликованы на днях,
а всем от них ни холодно, ни жарко.

Лосиная песня

А потом ты был как лось!
Ты был сзади и насквозь.
А потом мы так устали,
Что уже скакали врозь.
Светлана Бень

Ты такой прекрасный лось—
Сразу всё внутри зашлось,
Так скакали, что соседям
В потолок стучать пришлось.
А когда всё улеглось,
Мне задуматься пришлось:
Отчего мой лось с рогами,
Если сразу всех насквозь?

Борис Иванцов

Победители

Я бился в ужасе и изо всех своих пятилетних сил пытался вырваться из крепких рук отца. Мне во что бы то ни стало нужно было спрятаться от этого неизвестного, огромного, воняющего и пронзительно вопящего чудовища! Оно было громогласное, изрыгающее оглушительно шипящие облака густого то ли пара, то ли дыма, лязгающее множеством огромнейших красных колёс,—ничего удивительного в том, что я потом заикался почти до самой школы. Заикание могло быть и более сильным, но мой детский организм был уже достаточно закалён всевозможными шухерами, ночными сиренами и сонными воплями исковерканных людских судеб.

Сморённый от долгой тряски в кузове грузовика, в котором поспать не было совершенно никакой возможности по причине в хлам разбитой дороги и твёрдых углов перевозимых коробок, от которых надо было уворачиваться, я видел какие-то сны, лёжа на груде узлов и мешков с одеждой, сваленных в кучу у вокзальной ограды столицы Усольлага—Соликамска. Видимо, сны были настолько интересны, что подкатившего накатом паровоза я не услышал. Но внезапный дикий рёв паровозного гудка, сопровождающийся выпусканием не менее громко шипящего пара, заставил вибрировать деревянный соликамский перрон, а не только детские косточки.

Отец не мог решить, то ли прижимать меня сильнее, то ли уже выпустить, и, глядя в его растерянное лицо, мне ещё больше хотелось спрятаться! Тем более что я знал самое безопасное место в этом мире! И я изо всех сил бился в крепких отцовых руках, чтобы срочно спрятаться туда… Туда, где в полусумраке тебя обволакивают тепло и родной запах… Туда, где тебя не достанет никакая фиксатая блатота… Туда, где не страшен не только смотритель и его начифирившийся урка, или психованный до припадочности «каэровец» из фронтовиков, или наглый вседозволенностью вертухай… Да что уж, там не страшен был сам «кум» и гражданин начальник полковник Юшман.

Ах, как долго мать не могла отучить меня от этой привычки при любом «атасе» забиваться в это безопасное место! А ведь не робкого десятка я уже был к этому возрасту и при необходимости запросто мог впиться зубами любому и куда ни попадя, хоть в горло. Окружающий мир диктовал свои правила, из которых самое главное было— *выжить!!!*

А началась моя долгая дорога по ухабам жизни, вернее, ещё не началась, а была заложена, предопределена ещё в военном сорок втором году. Именно весной этого года восемнадцатилетнего, невысокого, с рыжими вьющимися волосами парня, тринадцатого ребёнка в семье, выхватили из маленькой вятской деревушки, в срочном порядке выучили военному делу и направили в едва ли не единственную в то время десантную бригаду в звании ефрейтора и в должности ротного санинструктора. Все свои четыре боевых вылета он совершил на Карельском фронте. В третьем бою был жестоко контужен, но уже через два госпитальных месяца в составе своей роты был десантирован для взятия города Мозельска при наступлении на Карельском фронте. Этот бой оказался для отца последним; как он сказал в редкие минуты откровений: «…а приземлился я уже без ступни». Уже только в последние годы я выяснил некоторые обстоятельства того боя (сайт «Подвиг народа», Книга памяти…). За этот бой отец был награждён орденом Отечественной войны второй степени: «…Будучи раненным в ногу, ефрейтор Иванцов Л. В. самостоятельно сделал себе перевязку и, истекая кровью, продолжал выполнять воинский долг, вынося с поля боя и оказывая медицинскую помощь бойцам своей роты…» Даже и не представляю, сколько бойцов можно вынести на себе с оторванной ступнёй правой ноги… Десять? Пять? Даже если одного—он уже совершил подвиг!!!

Потерявший вместе с правой ступнёй сознание, отец был вывезен сначала во фронтовой госпиталь, где ему обровняли косточки и зашили, а затем, по причине начавшейся гангрены,—дальше, в тыловой… и ещё дальше… В каждом новом госпитале ему отрезали от ноги по нескольку сантиметров, но гангрена распространялась снова и снова, выше и выше. Наконец в госпитале Перми хирург обрезал культю с запасом: «…Хрен с ней, с костью, сохранить бы колено!»

Ах да! В госпитале города Кирова, в родной Вятке, у отца появилась личная сиделка. Здесь до

родной деревни было всего-то чуть больше ста километров. Так что «сиделка» нашлась в соседней деревне. Она потом так и сопровождала отца по всем последующим госпиталям. Её звали Клава, и она была моей будущей мамой.

Вот ведь: у него — операции, гангрены, перевязки, переезды из госпиталя в госпиталь, тут ещё начавшиеся головные боли — последствие контузии. У неё — бессонные ночные дежурства в госпиталях, стирка бинтов, мытьё полов, утки, довести до лестницы покурить, разнести лежачим еду, помочь покушать безруким и ещё десятки различных дел… А вот они двое, они взяли и выпустили в свет мою старшую сестру Любу. А ровно через год, день в день (!!!), появилась на свет и вторая — Галя. Так что отца выписывали из госпиталя за два месяца до победы семейным папашей с двумя дочками, младшая из которых ещё сосала титьку.

Как жила молодая семья четыре последующих года? Да, наверное, как и тысячи других таких же. Как ещё можно жить в маленькой деревушке в самом центре Нечерноземья? Бедно, голодно, но дружно и счастливо. Деревню, где во все времена крестьянин неплохо зарабатывал на горохе и льне, заставили садить неурожайную здесь пшеницу, да и ту колхоз сдавал государству чуть ли не до семенного фонда. Помню, как однажды мать где-то на лужайке стала рвать и есть клевер, а на мой вопросительный взгляд ответила: «А ты попробуй, какой сладкий! Только ты выкусывай в самом центре лепестки». И ещё, гораздо позже, помню, как составлял ей компанию, когда она на кухне намоет картофельных очисток и рассыплет их на раскалённую печную плиту. А затем мы наперегонки выхватывали с плиты самые поджаристые и наслаждались вкусом. А в это время в подполье было полно картошки. С тех пор такую картошку я больше не ел. А вот на любом поле не могу пройти мимо клевера, чтобы не сорвать и не попробовать. И на язвительное замечание моего сына: «И что, думаешь, молоко появится? Как у коровы?» — ответил: «А ты попробуй, как сладко! Только ты не весь цветок ешь, а выкусывай лепестки в центре до самого основания. Меня так мама научила… Баушка, которую ты не видел…»

…Не знаю, отчего накатывает в глаз слеза… Не знаю…

Так и не мог выяснить, за какие такие преступления в самый разгар голода сорок восьмого — сорок девятого годов моего одноногого отца объявили «каэром», дали стандартные десять лет по совокупности разных частей статьи пятьдесят восьмой и направили на исправление в Ныроблаг, чуть севернее его последнего госпиталя. Одна из зон до сих пор в Ныробе действует. Остальные представляют собой развалины. Всего в Ныроблаге было пять зон, и, за исключением состоящей из пленных немцев Ш-337, делились они по не совсем понятному признаку, ибо во всех присутствовали в тех или иных количествах и уголовники, и «каэры» (контрреволюционеры — контра, предатели Родины, политические…), а также мужчины, женщины и… и дети… По состоянию на 12 апреля 1952 года в Ныроблаге отбывали срок 23 353 з/к, среди которых было 4172 женщины (больше чем каждый шестой) и 4065 к/р (тоже практически каждый шестой). Дети по спискам не проходили. По словам и ныне живущей женщины, прошедшей через этот ИТЛ, на четырёх зонах лагпункта было около тысячи детей в возрасте от десяти лет и менее.

Отца-инвалида определили в контору лесосплавного участка. Там он и выучился бухгалтерскому делу, лагерной экономике и прочему учёту. Мать, как жену «политического», свободно отпустили из колхоза (а ведь в то время колхозники даже паспортов не имели!). И она перебралась поближе к отцу, в тот же Ныроб, где было реальнее всего не уморить с голоду дочек пяти и шести лет от роду. Её, как деревенскую, охотно приняли на работу на сельскохозяйственную станцию. И там, у ворот зоны, она и приготовилась ожидать своего кудрявого, рыжего, одноногого… Четыре года уже ждала… Оставалось всего ничего… Но тут случился удар, потрясший всю страну! Умер *Сталин!!!*

Потом мать вспоминала отрывочно, как прятала своих девочек и сама хоронилась в яме, спешно выкопанной и замаскированной сначала лошадиными какашками, потом картофельной ботвой, потому что посёлок был затоплен волной насилия, жестокости и крови. Первая волна выпущенных на свободу по случаю всенародного горя состояла из уголовников, которые начинали разнузданно уркаганить прямо от ворот зоны. Все бараки гражданского, «вольного» населения, состоявшего преимущественно из женщин, стариков и детей, были разгромлены, разворованы, а их обитатели избиты, изнасилованы.

Наконец начали реабилитировать политических. Отец попал в первую очередь и был встречен у ворот зоны матерью, гордо предъявившей ему своих выживших дочек. Уже школьниц… Они как раз только вернулись с первого урока этого учебного года. А через шестнадцать дней у них были дни рождения, и они, быть может, ожидали хоть каких-то, пусть условных, подарков. Но вместо этого появилось то, о чём постоянно им напоминала мать, и оно оказалось совсем не похожим на её слова: оно было рыжее, хромающее, воняющее табаком, будящее по ночам такими страшными вскриками и стонами… и мать заставляет ещё стирать его окровавленные бинты, в которые он

прятал свою культю, перед тем как натянуть на неё вышедший из-под топора протез.

Но, слава Богу, все живы, семья снова вместе: стерпится, пообвыкнет, слюбится! И ещё… пожалуй, главное: в один из этих же первых вечеров—или ночей (дни-то были на обязательной работе)—был зачат Я!!! На Воле! В Любви!! В Семье!!!

…А ведь я действительно того… я пла́чу…

Ведь нет никакой возможности объяснить, чем провинились перед страной… перед Богом… перед жизнью два любящих человека, которым едва перевалило за тридцать. А с ними и две наивные, верящие в светлое будущее и неизбежность коммунизма девочки десяти и одиннадцати лет от роду… А с ними и я—то ли ещё эмбрион, то ли уже человеческое существо, которое в трёхмесячном возрасте уже сознаёт (по последним современным научным данным), что́ происходит во внешнем мире.

Почему трёхмесячное? Да потому что мне столько было, когда председатель суда произносил: «Четыре года лишения свободы с отбыванием срока в колонии общего режима…»

Так бывает! Жизнь—это изощрённый в своей невероятной фантазии сценарист!

Где-то в октябре этого одновременно радостного и ужасного года на сельхозстанцию пришёл «для районирования в условиях североуральского климата» семенной картофель то ли германской, то ли голландской селекции. Мать, как ей казалось—тайком, сунула пару горстей этих семян в карман телогрейки. Может, как говорила она, действительно, чтобы попробовать, стоит ли разводить такую картошку, а может, чтоб подкормить своё семейство… Но через неделю её арестовали. Следствие было коротким, так что не прошло и двух месяцев—одиннадцать картошин величиной с грецкий орех, четыре года общего режима, расхитительница социалистической собственности, то есть народного добра… то есть воровка, уголовница. И повезла она меня отбывать свой и мой срока в самую дальнюю зону всё того же Ныроблага!!!

Ну-у-у-у… тут, как говорится, повезло всем!

Отцу—что он имел востребованную специальность и его взяли нормировщиком в ПМК тут же, в Ныробе, и при этом ещё дали две комнаты в бараке: как-никак девочек же ро́стит, школьниц (им-то вона как повезло—иметь в то время отдельную комнату!).

Матери—что в ней уже был я и что на зоне тоже были теплицы, требовавшие умелых деревенских рук.

Мне—что мать была уже сельхозспецом и её не послали на лесоделяны рубить сучья у сваленных деревьев (долго ещё по леспромхозам сохранялась эта «женская» специальность—сучкоруб), а тем более она не попала на нижний склад, где женщины баграми стаскивали с «ленты» хлысты. Таким образом, я избежал возможности, как сотни других, быть выкинутым из женского нутра скользким кровяным комочком, чтоб превратиться в пепел в сжигаемых древесных отходах. А оставшихся до появления четырёх месяцев мне вполне хватило, чтоб окрепнуть до возможности за жизнь ухватиться. Семимесячным недоноском весом менее двух килограммов я появился на свет на зоне Ныробского ИТЛ и вот… сейчас начал отсчёт уже седьмого десятка!

(Если вы когда-нибудь в блужданиях по природе попадёте на место бывшей зоны, найдите там неподалёку кладбище. На крестах нет подписей, там обычно вырезаны ножом и потому сохранились даты рождения и смерти. И вы увидите, что бо́льшая часть крестов принадлежит не дожившим до своей первой годовщины. Мой маршрутный рабочий однажды на таком кладбище в верховьях Алдана спросил: «Чё это? Вроде зона была, а кладбище детское».—«Нет, Вова… Обычное кладбище. Вон и взрослая могила. Просто они были самые беззащитные из бесправных. На них даже продпаёк не распространялся, они ведь плану только мешали!.. Уж я-то знаю…»)

Родившая в утренние сумерки мать принесла завёрнутого в кусок выстиранной мешковины меня в лагерный лазарет, где прицепила бирку, чтоб не перепутали с несколькими такими же, стремившимися к выживанию. Ибо паёк нужно было отработать, он был ой как нужен сейчас, хотя бы один на двоих. Уж очень ей хотелось сохранить сына… для отца. А тот в это время изо всех сил старался не пить, дочки только перестали его дичиться.

Лагерным распорядком для кормящих матерей было предусмотрено а-а-а-агромнейшее, по-социалистически гуманное послабление: им давалось в течение дня два перерыва по полчаса на кормление ребёнка (естественно, без снижения нормы выработки). Как вспоминала мать, она делала соску из внутренней части луковицы (посмотрите: действительно по форме как соска!).

Туда она помещала в тряпочке «жёванку»—жёваный хлеб с сахаром. Самое трудное было в этом процессе—не проглотить сахар. Его доставали, покупали, выменивали (на что?!!) отдельно от пайка. Видимо, с этим луком я и получил ту свою ударную дозу витаминов и прочих иммунитетов.

Вот уже шестьдесят лет я ни разу не болел гриппом. Ходить «недоносок» начал в неполных восемь месяцев, ибо нужда заставляла, так было нужно. Очень трудно прятаться не умеющему ходить!

Чтобы иметь возможность чаще кормить меня, и вообще—чтобы был под присмотром материнских глаз, мать научилась носить меня от лазарета

к теплицам и обратно под юбкой, где я, ловко обхватив материнскую ляжку и прижавшись к ней до полного слияния, впервые вышел в большой мир. Для этого мать предприняла целую тактическую операцию с умышленным повреждением ноги (тоже рисковое дело), чтобы окружающие привыкали к её хромой походке и потом не обращали на неё внимания. Так и приобрёл я своё самое надёжное и безопасное в мире убежище, куда ковылял, а потом уже и бегал прятаться при малейшем шухере. Сначала в теплице, потом в женском бараке, потом и на территории лагеря, куда детям вход был закрыт.

Выпускали нас с матерью на волю в сентябре (снова сентябрь!) 1956 года по амнистии… пятьдесят пятого года к десятилетию Победы. Почти полтора года после приказа об амнистии важные дяди в погонах решали, стоит ли давать свободу столь опасным преступникам. Однако—«учитывая наличие троих несовершеннолетних детей, ходатайство мужа, реабилитированного и с возвращённой наградой, учитывая личное искреннее раскаяние осуждённой…» Навстречу отцу, примчавшемуся встречать нас на выпрошенном у начальства грузовике, мать гордо вывела за ручку живого и здорового меня!!! Услыхав слова матери: «Беги, вон папка тебя ждёт!», увидев перед собой рыжую, кудрявую, оскалившуюся от уха до уха улыбающуюся и незнакомую морду, я гордо крикнул: «А…уй тебе!!!»—и ловко нырнул под материнскую юбку, изо всех сил вцепившись в родную ляжку. (Много я потом имел неприятностей в детском саду по поводу моего специфического лексикона.)

По случаю радостного для семьи воссоединения вечером был приглашён фотограф. Сёстры были наряжены в праздничные платья. Старшая сестра (круглая отличница) ни за что не хотела фотографироваться без пионерского галстука, чем сильно обидела младшую, которую в пионеры не приняли по причине наличия матери-уголовницы. «Вот если бы хотя бы училась как старшая…» Так нас и запечатлели на первой в нашей семейной истории семейной фотографии.

Младшая из сестёр крепко держала меня за руку, старшая удерживала на месте за плечо, так как я всё время норовил спрятаться… ну, вы уже знаете куда. Я вообще не понимал, что происходит вокруг, кто эти люди, потому и получился таким малость воинственным, готовым в любой миг оскалиться и постоять за себя. Что и продемонстрировал в первый же вечер и сёстрам, и отцу, покусав их при попытках вытащить… ну, вы уже знаете откуда.

А потом было моё долгое привыкание—к отцу, к сёстрам, к семье, к дому, к соседям, к улице и детскому саду, к отсутствию колючей проволоки и возможности бегать где вздумается, даже к ручью в конце улицы, по которому так классно было пускать кораблики из сосновой коры, к каменно замороженным яблокам к Новому году, к прилипающим к зубам ирискам… и снова к отцу… Мы же теперь жили вместе, под одной крышей. Он мне уже начинал нравиться, хоть и напоминал чем-то того рыжего мордовского вертухая из зоновского лазарета.

И вот… это страшное неожиданное пробуждение от грохота железного чудовища на перроне соликамского вокзала.

Разве выяснить теперь, по какой причине наша обретшая покой семья сменила райцентр Ныроб на посёлок Пелес, только начавшийся строиться на месте одной из зон Вятлага, в самом центре известных в зэковских кругах «вятских лесоповалов»? Переезжали и вновь… разъединялись. Девочкам надо было учиться дальше, а в посёлке только-только организовали начальную школу.

Поэтому их отвезли учиться на родину отца и матери и пристроили в райцентре к каким-то родственникам. Здесь я наконец-то признал право отца командовать мной и, пойдя в школу, отучился прятаться под мамкиной юбкой. Здесь мы имели собственный новенький трёхкомнатный дом с двумя печками, огород при доме и туалет в огороде. Наш собственный туалет, на нашу семью! Это не многоочковое зловонное дырявое строение при бараке. Здесь я приобрёл друзей на всю мою оставшуюся жизнь. Здесь мы прожили почти пять лет счастливой спокойной семейной жизни.

За это время старшая из сестёр закончила десятилетку и получала повышенную «ленинскую стипендию» в Кировском пединституте. А младшая, закончив после школы какие-то курсы, уже и замуж вышла и работала здесь же, в бухгалтерии леспромхоза. Нормально так мы жили, дружно и счастливо, как и сотни других семей в посёлке. Отец, несмотря на—уже из пластмассы—протез, ловко гонял на работу в свой СМУ на велике: бухгалтеру ведь машина не положена, даже главному. Правда, очень скоро от велика пришлось отказаться. Ему всё чаще приходилось глушить водкой периодически повторяющиеся головные боли—последствие контузии. Постепенно за ним потянулась и мать. Причём всё чаще и чаще. До самой её смерти никому было невдомёк, что её мучили ещё более сильные боли—рак молочных желёз.

И вот… 31 января 1965 года матери не стало!!! Ещё через два месяца мне исполнилось уже одиннадцать лет. И остались мы с отцом—бобыль да сирота… И была у нас с ним возможность сплотиться—так нет же… Беда ведь не волк, в одиночку не ходит.

Своего кладбища тогда в леспромхозе не было, и отец (и я при нём) погрузил гроб с телом матери в холодный тамбур последнего вагона раз в сутки проходящего поезда. Через сто пять километров

мы разгрузили его в посёлке Лесном, командном пункте Вятлага. Там, на кладбище неподалёку от вокзала, мы и похоронили мою мать. На сороковой день мы вновь приехали туда, везя в тамбуре же четыре пакета штакетника и заготовки для деревянного креста. И вот только после этого отец запил уже по-чёрному. Основательно и беспрерывно.

Полгода почти я разыскивал пьяного отца по пути с работы. Привозил домой сначала на саночках, потом на тележке. Дома раздевал, снимал протез, разбинтовывал культю. Потом стирал затвердевшие от ссохшейся крови бинты и зассанные брюки отца. А вчерашние, чистые и постиранные, гладил и скатывал бинты рулончиком. А иногда делал это и по ночам, забегавшись с друзьями на улице. Я ведь был мальчишка, и мне было только одиннадцать!!!

Не знаю, какой документ отец подписал в пьяном угаре, судя по тому, что ни денег, ни особого достатка у него в доме не было до самой смерти, те деньги достались кому-то более пронырливому. А мы новый, 1966 год (и года не минуло после смерти матери!) встречали врозь: он — где-то в зоне под Соликамском, я — неподалёку, в детдоме №1 города Берёзово. Ну естественно, в Пермской области! Уж это как повелось у нас!

Хлебнули же лиха детдомовские воспитатели со мной. За неполные два года там я совершил не менее десятка побегов! Вместе с тем все годы учёбы даже четвёрка в моём дневнике была исключительной редкостью. Чёрт знает, как я умудрялся учиться на круглые пятёрки, практически никогда не уча домашние задания. Разве что письменные упражнения. Практически все мои побеги, за исключением первых двух — во Вьетнам и в Китай, заканчивались в доме. Лишь однажды я попробовал добраться до отца, но был жестоко напуган лагерной охраной, проведя сутки в карцере (а для острастки!). Во Вьетнаме я собирался наказать наглых американцев и помочь маленьким азиатам отстоять свою страну, а в Китай рвался побеседовать один на один с председателем Мао: а чего эти гады воробьёв со скворцами уничтожили?!

Наконец старшая сестра, закончившая свой пединститут и приехавшая преподавать в нашу школу, организовала от педколлектива школы какое-то там ходатайство, и они взяли надо мной какое-то там коллективное опекунство, заключавшееся в том, что каждый вечер кто-то из них приходил вечером ко мне в дом поинтересоваться, чем я питаюсь и выучил ли уроки.

«Чего-то сластит твоя тушёная картошка». — «Да немного подмёрзла, недоглядел».

А на самом деле сластило мясо: бéлки там были, белки, тушенные с картошкой. Зайцы, куропатки и рябчики не сластили.

Где-то на третьем курсе техникума отца выпустили опять же по амнистии: двадцатипятилетие Победы! И он вернулся туда, откуда и ушёл сражаться за эту победу, — в районное село, где был военкомат, давший ему путёвку… Путёвку к контузии, к ранению, к лагерям…

Волосы уже белые, но всё ещё вьются…

Меня же закрутила жизнь по просторам нашей страны. Техникум. Защита Родины… Нет, не так: страны!

Работа, семья (уже моя собственная семья!!!), дети… Лишь трижды за последующие годы я виделся с отцом. Сначала привёз показать ему его внука в отпуск. И потом дважды — проездом, в командировку в столицу. Так мы и не посидели вдвоём, не поговорили как отец и сын. А в октябре девяносто первого отца не стало. Я был в Хабаровске, на преддипломной сессии, где получал второе высшее образование, когда старшая сестра сообщила мне об этом. Так и доконала его та самая контузия. Ему и операции на голове до этого делали… Одним словом, не смог я присутствовать на похоронах. Всё откладывал на потом: младшего в школу, старшего в институт, перестройка, ликвидация геологии, поиски работы, дальнобойщик, экономист, главный бухгалтер, сварщик, дефолт, переезд в Сибирь, устройство в Сибири… Но с каждым днём меня всё неодолимей тянуло туда, где прошли наши самые счастливые семейные годы, в мой леспромхоз и на могилу к отцу. И до того мне стало невмоготу терпеть, что, бросив всё, приехав чуть дальше Сыктывкара к своему другу и брату Мишке (его отец был похоронен рядом с моей матерью), мы по бездорожью, по полуразобранным бетонкам, по разобранной железнодорожной насыпи добрались до нашего Пелеса!

Побывали и прибрались на могилах…

Посидели на развалинах своих домов…

Привезли с собой по мешочку землицы…

А к отцу мы поехали со старшей сестрой, заслуженной учительницей РФ на пенсии. Младшая уже больше десятка лет к этому времени сама покоилась в могиле. С утра прибрались на могиле, немного помянули, и меня оставили наконец-то наедине с отцом на весь остаток того дня. Вот уж когда мы всласть наговорились с отцом. С папкой… Самое главное, как оказалось, мы, несмотря ни на что, очень нежно любили друг друга, и у нас была — да, была — счастливая семья!

И что если бы не война… то, возможно, ничего бы этого и не было…

P. S. Не так давно, зайдя в соцсетях в группу «Ыроб», я увидел свежевыложенные фотографии, на одной из которых узнал себя. Никогда у меня не было этой фотографии. Фотку разместила моя бывшая соседка по дому и по нарам. Вот она,

вторая в правом ряду, и вон он я, третий в среднем ряду. Я и смотрю на неё.

Оказывается, у нас у обоих одна «малая родина» — п/я 319. Потом мы с ней жили на одной улице и ходили в один детский садик. Они уехали из Ныроба на следующий год после нас. Уехали в Казахстан, где она стала заслуженной артисткой республики, очень рано, в сорок пять лет, вышедшей на пенсию. Такие они — балерины…

Она сейчас у меня в друзьях в «Одноклассниках». Что с того, что не привелось вместе учиться? Зато от рыжего мордовского вертухая прятались под одним крыльцом. Но он всё же иногда ловил нас и разламывал одну печенюшку на двоих.

И как-то в разговоре с ней мы решили, что тоже можем считать себя победителями, как наши отцы и матери. Они победили врага, мы — победили судьбу, выжив назло ей!!!

ДиН дебют

Наталья Борисова

Гнездо молчанья

Пустое место

У кого-то хобби — фигурки лепить из теста,
У кого-то семья, у кого-то кипит карьера,
У меня есть совсем небольшое пустое место,
Ну почти незаметное, где-то с тебя размером.

Посмотри, как заманчиво с улицы светит солнце,
Пробивается смело в любой уголок квартиры.
Только этот разрыв не латается и не шьётся,
А попытки починки множат и множат дыры.

Я встречала других, но они в этот паз не входят
(Главный минус любви — не бывает она по ГОСТу.)
На такую машину запчасти не производят.
Это очень грустно и до смешного просто.

Не смертельно это, земля не прервёт вращения,
Мы научимся жить, научимся «брать и помнить»,
У меня будет всё — от признания до презрения.
Будет всё… и место, которое не заполнить.

Уходит счастье

Из сотен возможностей упущены только главные —
Сквозь пальцы песком, на ветках незримым инеем.
Опять, проиграв поединки судьбы неравные,
Уходит счастье с простым и приятным именем.

А ты опомнишься поздно, несвоевременно,
Оно сбежит, как муза от композитора.
И лишь вдали печально и неуверенно
Мелькнёт рукав его голубого свитера.

Уходит счастье тоннелями, коридорами,
Пока решаются мелкие неурядицы,
Его не слышно, за глупыми разговорами.
Уходит счастье и растворяется, растворяется…

● ● ●

Тяжёлое небо над городом зубы скалит,
Густое и грязное, точно вода с гуашью,
Как будто весь день в нём кисточки полоскали,
Рисуя чужое цветное многоэтажье.

За окнами ветер, отчаян и бестелесен,
Колючую белую пыль над асфальтом кружит.
И нет в целом мире мелодий таких и песен,
Которые бы сумели мне сделать хуже.

А ночь — бесконечная адская вереница,
Со мною две лучших подруги — тоска и скука.
Я, кажется, сплю, но мне ничего не снится,
Решусь закричать, но не издам ни звука…

● ● ●

Эту жгучую боль, когда не хватает слов,
Не извлечь и не спрятать камушком в кулаке.
Не распутать на тонких пальцах тугих узлов,
Не разрушить гнездо молчанья на языке.

Обещанья и клятвы на белых зубах скрипят
(Из груди по горлу воздух принёс песок).
По углам скитался немой одичалый взгляд,
Не нашёл приют и на плечи чужие лёг.

Посмотрела вверх, послышался странный звук
В голове свинцовой с глазами из хрусталя,
Будто что-то упало и покатилось вдруг,
Маленькое и круглое…
Как Земля.

Евсей Цейтлин

Вспомнить не всё…

Из дневников этих лет

Светлой памяти Дины Харик[1] —
с благодарностью за уроки оптимизма

Я не сразу понял: она не любит говорить о лагере, тюрьме, собственном аресте и, конечно, аресте мужа. Не протестует, не перебивает мои вопросы. Только незаметно — может, и для себя самой — переходит к другому.

Она изящна, моложава. Так выглядят люди, которые усилием воли не позволяют себе стареть. Мне и в голову не приходит посчитать в уме её годы. Точнее — я не успеваю это сделать: она улыбается, и её улыбка ждёт моего ответа.

Видимо, она давно выучилась говорить только о радостном или — хотя бы — приятном. Научилась в любой ситуации отыскивать один резон: всё к лучшему!

Впервые подумал об этом, когда крутой лестницей мы поднимались к ней домой. Тут вдруг и услышал:

— Как хорошо, что в подъезде нет лифта!

Заметила моё удивление. Добавила:

— Чудесная тренировка для мышц — хотя бы несколько раз в день!

Отсутствие балкона в квартире? Разумеется, тоже на пользу: по крайней мере, не приучишься сидеть в шезлонге, тупо глазея на улицу… Нет, она так не может! Она ежедневно ходит в парк — понятно, не для развлечения:

— Знаете, есть такие старухи, которые совсем не следят за прессой, вот я и читаю им самое интересное из свежих газет!

Среди историй, которые она любит рассказывать, особенно выделяется история её знакомства с будущим мужем, знаменитым еврейским поэтом.

История мелодраматична, в ней нет и намёка на будущую трагедию:

— …Ну да… я только что окончила тогда еврейский педтехникум. Уже и работать начала — в Минске же, в Третьем еврейском детском саду. А жила в семье подруги, на улице Островского. И вот в августе… ну да, в августе… иду на работу. Вдруг вижу — из соседнего двора выходит мужчина: чёрные кудрявые волосы, изящное пенсне… Мысль моя — как молния: «Это же он, поэт!» Останавливаюсь, смотрю на него. Чувствую его взгляд. Смущаюсь, иду дальше. Но, к своему удивлению, слышу за собой шаги…

Мне интересен её рассказ, хотя историю эту — пусть в общих чертах — я уже не только слышал от неё однажды, но и читал в минском журнале. Тем не менее, мне по-настоящему интересно: пытаюсь понять, почему этот сюжет так принципиален, так важен для нее.

— …Он прибегает к хитрости: «Где я мог вас встретить раньше? Вы мне так знакомы». Молчу, растеряна как никогда. Тогда он ставит вопрос иначе: «Не кажется ли вам, что и вы меня где-то встречали?» Тут смелею! И от души смеюсь: «Не кажется. Я видела вас на фотографиях в ваших книгах, на литературном вечере в еврейском педтехникуме…» — «Да, да, — соглашается он, — на вечере. Там я и обратил на вас внимание». Ах, восклицаю про себя, не зря я сидела во втором ряду, вот он и заметил!

Тут она делает паузу, готовя меня к неожиданности:

— Знаете, это оказалось неправдой! Когда мы уже поженились, муж признался: всё это он придумал… в ту самую минуту!

Смеётся она не по-старушечьи — звонко. Имя у неё, впрочем, тоже звенящее — Дина.

Нет, она не забудет, в каком месте прервалась нить рассказа. Потом она уверенно идёт дальше. А я проверяю свою и её память. Никаких особых расхождений. Видимо, все детали уже не раз тщательно взвешены. Именно взвешены — на редких теперь весах оптимизма. Вот почему детали неизменны, они только переставляются местами — как и отдельные слова, предложения.

Во всём остальном (во всём, что не нарушает интонацию мажора) она легка и свободна. Например, не обходит факты, которые, по её мнению, кого-то могут даже смутить, показаться двусмысленными.

— Хотя ведь кое-что поэту простительно, не правда ли?

1. Чтобы читатель не рылся в энциклопедиях, сообщу: моя собеседница Дина Звуловна Харик — вдова поэта Изи Харика.

Оказывается, поэт был её гораздо старше! Едва ли не вдвое. И очень волновался: *пойдёт* ли она за него?..

— Вы знаете, раньше у него было много поклонниц. После замужества я увидела целый чемодан писем, среди них — немало от женщин, влюблённых в поэта; одна поклонница даже сидела со мной вместе в лагере. Но, вы понимаете, тут был особый случай: эта любовь его потрясла!

А порой он колебался: будет ли прочным такой брак? Наверное, потому устроил ей смотрины — пригласил своего друга, поэта Зелика А., и... его отца познакомиться с невестой.

— ...И знаете, он ведь опять схитрил! Он всё подстроил! Сделал вид, что они — Зелик с отцом — пришли случайно. Как раз тогда, когда я была у поэта в гостях. *«Надо же, какое совпадение!»* А у него — тоже «случайно» — оказалось прекрасное по тому времени угощение!

Иронизирует. Смеётся. Юно блестят глаза.

В её опубликованных воспоминаниях меня поразила странная пропорция: история знакомства Дины с поэтом, первых встреч, замужества занимает две трети текста.

О своей трагедии она не упомянула вообще. И цензура тут была ни при чём! Журнал вышел в 1988-м. О сталинских репрессиях говорить уже можно было громко, даже *модно* стало говорить. Но она промолчала.

Впрочем, заметил я, даже о своих детях она только упомянула. (Поездке в Москву вместе с мужем в феврале 1937-го на торжества, посвящённые столетию со дня смерти Пушкина, мемуаристка уделила втрое больше места.)

— Что случилось с вашими детьми?

Может быть, она хотела поморщиться от моей бестактности. Но сдержалась. И не ушла от ответа, рассказала обо всём чётко, хотя без эмоций.

Когда её *взяли* в ноябре тридцать седьмого, мальчики остались с молодой работницей Маней, потом их отправили куда-то — наверное, как и других детей врагов народа, в специальные детские дома. Фамилии, как было принято, сменили, мальчики и не смогли бы её найти — даже если б остались живы. Юлику было три года, Додику — год и восемь месяцев...

Освободившись в пятьдесят шестом, она сама начинает искать их — долго, безуспешно. «Да, числятся, — сказали в органах госбезопасности, — но где — неизвестно. Наверное, погибли».

— Погибли, — повторяет она теперь.

Конечно, соглашаюсь я, погибли. Как жить, как выжить, если думать иначе?

О судьбе поэта ходило когда-то много легенд. Потом иные из них забылись; всё было просто: умерли люди, которых это волновало.

Все версии сходились, однако, в одном: поэт потерял в тюрьме рассудок.

Может быть, его терзало отсутствие логики?

Он воспел в стихах Октябрь, Красную армию, в которой воевал; был искренен: вступив в партию, отдавал все силы тому, что называли строительством *новой культуры*, являлся членом-корреспондентом Академии наук Белоруссии, членом президиума Союза писателей СССР, членом президиума и председателем еврейской секции Союза писателей БССР... Солидный перечень, хоть и не полон.

Говорят, поэт сутками напролёт метался по камере, кричал одно и то же, по-еврейски и по-русски: *«Фарвос? За что?»*

Ответа, разумеется, не было.

Она подтверждает: всё так. И продолжает — быстро, глядя куда-то в окно.

Недоумения поэта начались, конечно, раньше. Не мог понять, за что его травят на собраниях, почему арестовывают друзей.

В тридцать седьмом *доходит очередь* до него самого. Он был в это время в Доме творчества, в Пуховичах. А поздно вечером, в тот же день, явились с обыском в их городскую квартиру. Всё перерыли, опечатали комнаты, ей с детьми оставили кабинет.

Через месяц, совсем неожиданно, — письмо от мужа: я не виноват; надеюсь, разберутся, скоро встретимся, береги детей.

Много лет спустя человек, сидевший с поэтом в одной камере, рассказывает ей: ценой этого письма было признание поэтом мнимых своих «преступлений».

Передачу, которую она отнесла в тюрьму, не приняли. А поэта расстреляли в Минске 29 октября 1937-го.

— Как вы думаете, — спрашивает она снова, — может быть, не хотели держать в тюрьме сумасшедшего?

Говорили: перед расстрелом его вместе с другими арестантами отвели в баню; там, не понимая, что делает, он обварился кипятком; стонал, кричал — мучился, видно, сильно.

— Как вы думаете: может, просто не захотели лечить?

Старое горе захлёстывает её — словно морская волна. Но она умело справляется. Успевает.

— ...Я сидела в той же тюрьме, — рассказывает, угощая меня пирожками. — Правда, вкусные? Особенно вкусно, если запивать их каким-нибудь соком.

Наливает мне сок граната, предварительно ошпарив чашку кипятком. Чайник в её кухне *кипит* на плите всегда. Это — привычка. После того, как в сорок пятом переболела в лагере бруцеллёзом. О кипятке:

— Между прочим, очень полезно: всегда есть гарантия, что убиты микробы.

Её почти не таскали на допросы. И так было ясно: жена врага народа.

Однажды она спросила у следователя: «Как же так? Ведь поэт писал советские стихи…» Тот снизошёл: «Стихи-то советские, сам автор — нет».

Когда через девятнадцать лет она возвратится в Минск, окажется: почти все её родные погибли во время войны — по дороге в эвакуацию (случайно спаслась сестра).

Но ей помогли, очень помогли белорусские друзья мужа, особенно Петрусь Бровка. Вот и квартиру получила, и сборники поэта переиздала…
— А на гонорары сумела купить это…

Она обводит рукой небольшую комнату, которая, кажется ей, обставлена очень богато, на самом деле — совсем скромно. Она особенно гордится старым пианино:
— Представьте себе, я до сих пор играю! В лагере, правда, забыла многое — и идиш, и ноты. Но это было интересно — возвращаться, восстанавливать утраченное. Только вот английский не вернула.

Когда в начале девяностых я время от времени приезжаю из Вильнюса в Минск, Дина Звуловна настойчиво приглашает в гости.

Ах, она-то уж понимает важность моей задачи: записать рассказы оставшихся в живых деятелей еврейской культуры, их жён и детей…

Мы могли бы встречаться в еврейской библиотеке, которой она заведует?
— Нет-нет, приходите лучше ко мне домой… Этот город для вас чужой, так хоть отогреетесь чаем. Как раз вчера купила такие вкусные конфеты!

За чаем она опять читает стихи поэта, на этот раз — в переводе Анны Ахматовой:

> Я не горюю, не любимый славой,
> К моим следам никто не припадёт…
> Теперь, когда сердца пылают лавой,
> В моих стихах — сведённый гневом рот.

Я не удивлён, в очередной раз столкнувшись с пророчеством поэта: стихотворение написано в двадцать пятом году, но кажется — он предвидит свою судьбу.

Меня завораживает несоответствие между тональностью стихотворной строфы и мажорной интонацией женского — совсем юного — голоса.

Кипит, кипит на плите чайник.

Но вернусь в лето девяносто первого, в Минск.

Отправляюсь по делу в музей истории Великой Отечественной войны. Дина Звуловна вызывается меня проводить и помочь — познакомить с музейными работниками, среди которых у неё есть друзья.

Солнечный день. Долго — не менее часа — идём по центральной улице. И тут-то она *жалеет* меня: предлагает научить тому, как вызвать в себе чувство бодрости и лёгкости. Она хочет подарить мне это чувство навсегда. Она рассказывает о придуманной ею системе гимнастики (система проста, некоторые гениальные приёмы она угадала, не зная, что они существуют давным-давно).
—…А после водных процедур надо обязательно растираться особым способом — не сверху вниз, а снизу вверх.

Я не сумел испортить праздник, даже когда вспомнил про лагерь. Конечно, говорить об *этом* в такой день не очень уместно. Ведь про лагерь невозможно — в светлых тонах. Но она и тут находит оптимистический ракурс. В лагере с ней происходили чудеса! Например, она чудом исцелилась от бруцеллёза, хотя уже год не стояла на ногах. Вообще, в лагере её всегда хранил Бог, спасение часто приходило в последний момент, несколько раз ей удалось избежать жуткого насилия.
—…Однажды меня назначили дежурной по бараку. Все должны были уйти на работу. Оставались в бараке только я да надзиратель. Я знала: он — негодяй и насильник. Что делать? Одна добрая моя подруга (гораздо старше меня) помчалась в медпункт, упросила врача, пожилого еврея, посидеть со мной… Он потом и рассказал: у того надзирателя был сифилис в третьей стадии, многих заражённых им женщин отправили в другие лагеря…

Она припомнила ещё пару случаев чудесного своего спасения. Но вот опомнилась — улыбнулась, словно стёрла собственный рассказ:
—…Знаете, всё плохое в нашей жизни так похоже на сон. Вам не кажется?

Она идёт, опираясь на мою руку, — энергично, чуть подпрыгивая в такт своим словам.

Есть ли символ в том, что случилось вскоре?

У самого музея она внезапно *пролетает* вперёд, её рука отпускает мой локоть.

И вот она уже лежит на тротуаре — во весь рост; огромная ссадина на щеке, сильно разбита нога. Помогаю ей подняться, бегу в музей — выпрашиваю йод, бинт; делаю перевязку.

От такси резко отказывается. А в троллейбусе продолжает о чём-то говорить… И — никаких жалоб, обычный её смех.

Думаю тогда: это ведь *схема* её жизни, которую прочертил Всевышний, — падение, раны, улыбка.

Анастасия Астафьева

Нежной, ласковой самой!

Маленькая повесть для мамочки

Мама возвращается

Мама была строгая и энергичная. Очень. И до онемения обожаемая! Когда она поздно вечером возвращалась из очередной командировки, её дочь уже засыпала, лелея мысль о том, что утром, когда она проснётся, мама будет дома! И тут случалось чудо! В сон вдруг вплетался мамин запах, с которым в тёмную тёплую комнату входили прохлада и влага осенней или зимней улицы. Не снимая плаща или шубы, мама тихо прокрадывалась к дочкиной кровати, засовывала руку под одеяло и щекотала ей пятку. Дочка вскакивала с криком: «Мамочка приехала!»—и обнимала холодную шубу, зарывалась в её вкусно и незабываемо пахнущий морозом искусственный мех. Девочка засыпала совершенно счастливой или… не очень, если строгая мама сразу спрашивала: «Какие отметки в школе получила?» Отметки часто были такие, о которых мамам не докладывают с разбега. Потому что дочка всё время мечтала на уроках, чаще всего о маме, о том, как они поедут в воскресенье на лыжах в парк за железной дорогой или отправятся на автобусе в лес за грибами… Короче, ловила ворон и плохие отметки. Тогда от маминого вопроса холодел копчик. Поскольку порадовать маму было нечем, дочка умолкала и ложилась обратно в постель. Мама говорила: «Ну, спи…»—и уходила заниматься своими делами. Дочка засыпала не сразу, переживала, что огорчила маму… Но, конечно, бывало и гораздо веселее! Мама всегда привозила гостинцы и подарки! Если она возвращалась из Москвы, то на кухонном столе оказывались недорогие, но необычные и непривычные для повседневной жизни продукты. Таких в их провинциальном городе не водилось. Ароматный бородинский хлеб, сухие ржаные хлебцы, несказанно вкусно пахнущий кофе с сухим молоком в железной банке. Какие-то удивительные желе и какао со сгущёнкой в больших тюбиках, похожих на те, с зубной пастой, что лежали в ванной. Колбасный хлеб—кто не знает, это такая сильно пахнущая чесноком мясная буханочка. Иногда она привозила картофельные чипсы, но дочка их не любила. И обязательный антрацитно блестящий пакет рассыпного чая «Бодрость»—мама пила только хороший и страшно крепкий чай. И вот они заваривали душистый густой чай, нарезали бородинский и колбасный хлеб и завтракали. Утро в такие дни обязательно было солнечным, даже если солнца на небе не было…

Грузовик и не только

Однажды мама из командировки привезла большущий железный грузовик. Когда она вошла в комнату дочки, та, как обычно, уже спала, но мама разбудила её, и это было верное решение. Выпрыгнув из постели и потискав маму, дочка восхищённо выдохнула: «Ух ты!»—и принялась крутить все крутящиеся детали грузовика. У волшебной игрушечной машины открывались дверцы кабины, с помощью специального рычажка поднимался кузов. Колёса были настоящие, резиновые, а не пластмассовые, как у других машинок, которыми играла дочка. Мама строго разрешила поиграть полчасика и ложиться спать. Через полчаса, уже за полночь, дочка засыпала со счастливой улыбкой на лице.

В другие приезды мама привозила для неё оловянных солдатиков, хоккейную клюшку, чёрные мужские коньки, настольный хоккей, плюшевых медведей и зайцев, набор фломастеров, краски и настоящие беличьи кисточки, коробки шикарного двенадцатицветного пластилина. А почему мама никогда не привозила девочке кукол?—спросите вы. А потому что дочка не играла в глупые девчоночьи игры! Кукол она ненавидела. И одной такой пластмассовой дуре, пищащей «ма-а-а-ама» и закрывающей глаза, выдрала её жёсткие пластмассовые ресницы. Глаза куклы, лишённые сдерживающего ресничного фактора, закатились. Наверное, кукла умерла. Тогда дочка содрала с неё синее ситцевое платье и обнаружила на спине круглую дыру, в которую было вставлено странное устройство с множеством мелких дырочек. Дочка пошевелила бесстыдно оголённую куклу, и устройство выдало мерзкий вопль «ма-а-а-ама». Ножницами, отвёртками, гвоздём и с помощью прочих металлических предметов девочке удалось выколупать из спины орущее приспособление. После этого она пошевелила куклу. Кукла молчала—видимо, скончалась окончательно. Больше она была никому не интересна.

Но не нужно думать, что девочка была конченой садисткой. Всё, что «нормальные девочки» проделывают с куклами, она проделывала с плюшевыми зверятами, которых у неё было много и которых, в отличие от изначально мёртвых, холодных пластмассовых кукол, она любила. Своих трёх медведей, жёлтого зайца, длиннолапую собаку, большеголового облезшего тигрёнка — с ним, в своём далёком детстве, играла ещё мамочка — девочка кормила, укладывала спать, одевала, причёсывала и учила в школе. Как-то мама привезла ей восхитительный набор игрушечной школьной мебели. Это были три парты старорежимного образца, когда лавочка и стол составляют единое целое, каждая размером с обувную коробку, столик учителя, стулик к нему и настоящая фанерная зелёная доска на ножках. На ней очень удобно было писать мелом. Где только обожаемая мама всё это взяла?!

Мысль материальна

Но главным подарком всегда была книга. Потому что мама работала журналистом и писателем. И далёкий папа, которого девочка никогда не видела, тоже был писателем… И сама она, логично же, должна была вырасти писателем. Мама всё время печатала на машинке и хранила в белых картонных папках с верёвочными завязками свои мысли. Поэтому мысль для девочки была абсолютно материальна. Каждая из них выглядела как лист желтоватой газетной бумаги, испещрённый твёрдым, с резкими энергичными буквами, почерком. Строки на листке, в его начале располагаясь горизонтально, постепенно возносились своими гордыми хвостами вверх. Всё выше, выше, пока вообще не вылезали вбок и не писались поперёк всего направления текста. Иногда мысли были отпечатаны на машинке, и хотя строки здесь были ровными, буковка к буковке, без маминого стремящегося к непостижимым высотам почерка они словно бы спали.

Трогать папки и машинку было категорически нельзя. Но иногда попечатать всё-таки разрешалось, под строгим маминым присмотром. Поэтому годам к шести дочка уже тыкала одним пальцем в буквы и просила дать ей блокнот и карандаш для записи мыслей. Мысли дочки были такими: «Росла берёза у пруда. Выросла и стала большой берёзой»; «Заяц грыз морковь. Подошла мама и сказала: „Может, хватит грызть морковь?“»… К этому возрасту она уже умела читать и, как видите, писать, и мама побыстрее отдала дочку в школу, чтобы та не болталась без дела. По этой же причине она записала её сразу в несколько секций и кружков. Тогда пустого времени для болтания просто не оставалось.

Когда мама работала, то есть с сосредоточенно-неприступным выражением на лице печатала свои мысли, а дочка по досадному недоразумению в это время не была в школе, на каком либо из кружков или хотя бы не гуляла на улице, она должна была либо тихо читать, либо рисовать или лепить из пластилина, либо заниматься ещё чем-то полезным вроде стирки прокипячённых носовых платков, но только не мешать маме. Оно и понятно: жили мама с дочкой в однокомнатной хрущёвке. По-настоящему уединиться в таком жилище было просто невозможно.

Гранки

Два раза в неделю, вечером, они ходили к маме на работу «вычитывать гранки». Каждый такой поход становился для дочки волшебным приключением. В полутёмных кабинетах и коридорах редакции завораживающе пахло свежими газетами, стояли фикусы в кадках, по спускающимся через все четыре этажа узким трубам с грохотом падали «снаряды» с теми самыми волшебными гранками, а суровая пожилая машинистка тётя Галя, беспрестанно пыхая «беломориной», со скоростью пулемёта строчила по буквам старинной печатной машинки. Ещё в редакционных кабинетах были удивительные двери с верхней частью из непрозрачного ребристого стекла. Прогуливаясь по тихим душным коридорам, девочка останавливалась у каждой и прислушивалась — есть кто за дверью или нет. И в этот момент за стеклом вдруг шевелилось что-то тёмное, большое, кашляло или неожиданно заговаривало с кем-то басом. Девочку ветром сдувало от двери. С бьющимся сердцем она выскакивала на прокуренную лестницу, где всегда кто-нибудь стоял и задумчиво дымил невкусной папиросой. Иногда там, окутанная сизым облаком табачного дыма, стояла худая высокая тётенька. Утётеньки был страшный косой глаз. Он смотрел куда-то в потолок, в то время как другой, прямой, глаз сверлил девочку. Та была уверена: эта тётенька — злая волшебница, которая может своим глазом превратить её в лягушку или в дерево. Хотя… прямой глаз почему-то всегда улыбался. И девочка не знала, как поступить: убежать ли к тем, кто шевелится за дверями, или ждать, пока тебя заколдуют.

Пока мама вычитывала гранки — длинные газетные листы, быстрым точным движением внося в них какие-то пометки, дочка сидела рядом и рисовала на таких же огромных листах всё, что взбредёт в голову. Часто она тут же и засыпала, уткнувшись лицом в рассыпанные фломастеры. Потом мама осторожно будила её, и они шли по ночной уже улице домой. Дочка ёжилась спросонья и иногда спотыкалась, едва не падая, потому что продолжала спать на ходу. Но мама крепко держала её за руку и уговаривала дойти до тёплой мягкой постельки.

Дядя Волк

Иногда из редакции к ним в хрущёвку приходил большой, неуклюжий, густо пахнущий мужчиной

мамин знакомый. Дочка тогда не понимала, что так пахнет мужчина, и запах этот ей очень не нравился. Чужой был запах. Называла она его «дядя Волк» за то, что, пытаясь развлечь ребёнка, он шуточно рычал. Ну вот так он пытался наладить контакт с девочкой, которой — он же понимал это — не нравился. Как-то ничего другого ему придумать не удавалось, он смущался и очень неловко себя чувствовал. А девочка не хотела, чтобы он к ним ходил, и однажды подошла к дяде Волку и угостила его конфетой. Парадокс, скажете вы? Или подумаете, что конфета была отравлена? Близко к тому. Но где шестилетнему ребёнку яд-то достать? Поэтому ушлая девочка слепила конфету из пластилина, причём самые крутые цвета для этого выбрала — чёрный и синий. Представляете, какая вкусная конфета вышла? Завернула её в фантик и дала страшному рычащему дяде. Дядя обрадовался: вот, мол, отношения теплеют! А когда развернул, то по-настоящему обиделся. По крайней мере, так показалось девочке… Больше дядя Волк к ним не приходил. За конфету мама долго, невыносимо долго стыдила дочь. Она сказала много не очень понятных для девочки слов: «унизила», «оскорбила», «отвадила». Понятные тоже говорила: «жестокая», «злая», «нехорошая». Девочка стояла в углу, и обидные слёзы текли по её пухлым щёчкам. Как было объяснить маме, что дядя Волк сам нехороший?

Когда девочка выросла и стала женщиной, она узнала, как иногда специфично пахнут мужчины, что большие и неуклюжие из них как раз бывают самыми добрыми, что дядя Волк, в общем-то, любил её маму и, в общем-то, мог развлекать девочку своим совсем не страшным рычанием ещё долгое время. Ей стало очень стыдно за себя маленькую. Впрочем, если бы мама захотела, чтобы дядя Волк жил с ними, он бы жил с ними. Ведь мама была строгая и обожаемая. Видимо, дело не только в пластилиновой конфете.

Мама делает «ласточку»

Но мама не всегда была такой серьёзной и строгой. Если измерять в процентном соотношении, то, наверное, девяносто три процента к семи… ну ладно, к восьми процентам. Так вот, когда случались эти восемь процентов, мама могла запеть «ля-ля-ля» и задрать «ласточкой» ногу. А могла ещё и сесть на шпагат! Ой-ёй! В такие крайне неожиданные моменты дочка как-то напрягалась и говорила: «Мама, ты же взрослая тётенька! Как ты можешь ноги задирать?» — «Вот дорастёшь до моих лет — поймёшь!» — неизменно отвечала мама. Но как-то тускнела, строжела и садилась за печатную машинку. А иногда шла на кухню чистить картошку. Чистила она её задумчиво и слишком старательно. Несмотря на эпитеты «жестокая», «злая» и «нехорошая», девочка в душе была очень добрым, жалостливым и чувствительным ребёнком. Если мама шла задумчиво чистить картошку, дочка за неё переживала, чувствовала, что что-то не так, но пока не понимала. Она же тогда ещё не дожила до маминых тридцати двух лет…

«Лыжню!»

В юности мама занималась лыжным спортом, поэтому она так здорово делала «ласточку» и садилась на шпагат. Любовь к лыжам не угасала, и мама старалась её прививать и дочке. Чудесной зимней порой, едва ли не каждый выходной, они вставали пораньше, надевали шерстяные костюмы и носки, вкусно пахнущие кожаные ботинки, брали деревянные лыжи и алюминиевые палки к ним и шли по городу. Сначала до железнодорожного вокзала, потом через высокий железнодорожный мост, мимо дымящего и парящего вагонного депо, где «лечились паровозики». Спустившись с моста, они словно попадали в другой город: улицы здесь были пустынными, по ним почти не ходили люди, ездили редкие машины и автобусы с незнакомыми номерами, застроены они были двухэтажными деревянными домами и сарайками. Этот отрезок пути девочке не нравился. Но вот деревянные дома оставались позади. Мама и дочка быстро пересекали заброшенный стадион, и перед ними открывалось белоснежное поле с чёткой лыжнёй, прочерченной до дальнего, темнеющего высокими елями лесопарка, куда устремлялись резвые фигурки многочисленных лыжников. В те времена не подозревавшие о грядущей технологической революции, в большинстве своём имевшие в квартирах лишь чёрно-белые небольшие телевизоры, где показывались всего две программы, люди проводили выходные с пользой для здоровья. Поэтому зимний лесопарк за городом по воскресеньям просто кишел народом. Жители отправлялись туда на целый день, на лыжах и с санками, с детьми и собаками, надев рюкзаки, в которых лежали термоса и бутерброды. Пожилые пары или спортивные старушки-подружки неторопливо скользили по отлично наезженной лыжне среди деревьев. Малышня, под наблюдением родителей, на санках и коротких детских лыжах каталась с невысоких пологих берегов замёрзшей лесной речушки. Молодёжь, тогда ещё не знавшая слова «экстремал», лихо съезжала с высоченных горок в глубокие овраги. Самые отчаянные прыгали с естественных, созданных зимним лесным ландшафтом трамплинов. У девочки дух захватывало от их завораживающих полётов. Она мечтала сама так прыгнуть, но пока боялась. К тому же мама вообще смотрела на это с ужасом, предпочитая тихие лыжные прогулки в стиле пожилых лыжников. Хохот, весёлые крики, детский плач, лай, вороний гвалт будили застывшие в дрёме деревья. Стремившаяся к тишине мама уводила дочку за

собой по лыжне глубже в лес. Когда он кончался, они долго неторопливо кружили по дальним полям, по перелескам. Собирали для поделок еловые шишки, ольховые веточки. Ломали замёрзшие сосновые лапы, чтобы принести их домой, где они оттают и заблагоухают смолисто. Разрумянившиеся, усталые и счастливые возвращались они в свою маленькую квартиру и убирали лыжи в тесную кладовку до следующего воскресенья. Быстро жарили картошку, доставали купленные по пути квашеную капусту и солёные огурцы. Аппетитно ужинали, вспоминая прожитый день. После этого дочка засыпала, а мама из последних сил собирала вещи в очередную командировку. В квартире гас свет. В темноте сосновые ветки пахли сильнее. Утром, уже полностью одетая, с сумкой в руках, мама рано будила дочку и просила закрыть за собой дверь. Она знала, что та теперь точно не уснёт, а значит, не проспит школу.

Подосиновик

Летом на лыжах не покатаешься. Зато можно взять корзинки и ехать на автобусе в лес за грибами! Девочка даже не знала, что она больше любит — зимние лыжные прогулки или летние лесные. Поплутав по городским улицам, автобус выезжал на шоссе. Широкие поля, засаженные капустой или свёклой, незнакомые деревни, березняки и ельники мелькали за окном надсадно гудящего транспортного средства. Иногда он останавливался, со змеиным шипом открывал дверь, кто-то из пассажиров выходил, кто-то, наоборот, садился. Обычно это были бабушки в платках, простеньких платьях и болоньевых плащиках. Изредка — молодой парень в полурасстёгнутой рубахе, джинсах и кедах. Если в автобус вдруг входила мамаша с дитём, девочка пристально и ревностно рассматривала «конкурента». Добрые деревенские старушки, завидев ребёнка, почти всегда протягивали ему конфетку в замызганном фантике. Поэтому, пока ребёнок — то есть она — в автобусе был один, все конфеты сосредотачивались у него. Если же детей становилось много, ей сладкого могло и не достаться. А от мамочки конфеты не дождёшься! Особенно шоколадной. Потому что «глазки болят». Поэтому дома у них конфеты никогда не водились, а если кто-то дарил коробочку или на Новый год выдавали бумажный пакет со сладостями, мама его сразу конфисковывала и отмеряла строго по одной на день. Но однажды, по недосмотру, дочке досталась-таки *целая коробка конфет!*

Они ходили в гости к весёлой и очень доброй тёте со смешной фамилией Баян. Был День Победы. Девочка в честь большого праздника надела настоящую армейскую пилотку. Собравшиеся гости похвалили её, накормили всякой вкуснятиной, и кто-то сунул ей ту коробку, на крышке которой были нарисованы красные гвозди́ки. Майская теплынь звала гулять, к тому же ребята во дворе затеяли игру в «войнушку». Как же она, да в пилотке, останется в стороне! Прихватив, под предлогом того, чтобы угостить ребят, конфеты, она отправилась в «настоящий окоп» — под окном квартиры тёти Баян была разрыта канава. Из деревянных пистолетов и автоматов, в которые мгновенно превратились обычные ветки, они отстреливались из окопа-канавы, кидали гранаты-камни во «фрицев», которые расположились в канаве напротив. Бойцов «Красной армии» было четверо, «фрицев» — трое. Каждого подбитого противника «красноармейцы» отмечали съеденной конфетой. «Фрицы» закончились быстрее, чем лакомство. Коробка была большая и набита битком. Это вам не современные «Ассорти», где пластиковой прослойки больше, чем самих конфет. Подбитые «фрицы» орали из своего окопа, чтобы им тоже оставили. Но какой же настоящий русский солдат уступит врагу?! Поэтому конфеты были съедены за несколько минут. Под конец ими уже давились и кидались, хотелось пить. Идти за водой домой было лень. К тому же раненые всегда мучаются жаждой! Вот и мучились… пока совсем плохо не стало… заболел живот, по-настоящему, не по-игрушечному, потом голова, потом вырвало… За это время местные ребятишки переругались между собой, подрались, тоже уже по правде, и куда-то убежали. А «раненая» девочка в пилотке осталась лежать на дне окопа, держась за живот и издавая стоны. Её никто не слышал, потому что из открытого окна квартиры тёти Баян громко звучали баян и залихватская песня. Хозяйка, девушкой прошедшая фронт и лишившаяся обеих ног, отмечала самый дорогой для неё праздник… Девочку, конечно, хватились, нашли, привели. Тётя Баян, отбросив свой баян, страшно переживала и оставляла ночевать у себя. Но мама повезла дочку домой, по пути приговаривая, что та наелась конфет на всю оставшуюся жизнь. Девочка тоже так считала…

Минут через сорок автобус останавливался у шлагбаума воинской части, расположенной в лесу. Мама любила ездить за грибами именно сюда, в сосновый бор, в котором росли белые и подосиновики, краснела на кустиках брусника, а на опушке толпились нагретые солнцем маслята. Может быть, молодая красивая мама ездила к воинской части и ещё с некоторой целью, но дочери она об этом, разумеется, не докладывала. Главное, что в этом лесу невозможно было заблудиться: как ни кружи — всё равно выйдешь. Либо к шоссе, либо к солдатам.

Бор, пронизанный солнечными лучами, был щедр и гостеприимен. Над каждым найденным грибом девочка издавала радостный визг и орала: «Мамочка! Иди посмотри какой!!!» Мамочка откликалась, хвалила, но, разумеется, не бежала

на бессмысленный зов. «Ну мамочка! Ты такого никогда не видела!» — «Дома покажешь», — спокойно парировала та. «Дома я его не найду из других! Ну мамочка-а-а!!!» И так каждые две-три минуты, потому что грибов было много. Как-то они забрели в низину, поросшую осокой. Мама нашла большой трухлявый пень, сплошь поросший брусникой, и принялась объедать ягоды. А ягоды мама собирала дочиста, после неё делать на ягоднике было нечего. Дочка кислую бруснику не любила, она стояла около и смотрела по сторонам — и вдруг увидела: перед самым маминым носом, около пня, среди брусничника рос *огромный рыжий подосиновик*. Ах, даже дыхание остановилось! Шляпа — как сковородка, на которой мама жарит картошку! «Мамочка! Смотри, какой подосиновик!» — «Где?» — «Да вот же!» — нетерпеливо воскликнула дочь. «Да где?» — хлопала глазами мама, продолжая поедать ягоды. Рука её срывала алые кисти просто в сантиметре от гриба, но мама действительно его не видела! А дочка видела! Видела то, чего не видела мама! «Да мама-а-а!!! Да вот же он!!!» — «Да ну где?! Что ты меня обманываешь?!» — «Ну неужели же ты не видишь?!!» — «Не вижу! — начала сердиться мама. — Где?!» Тут уже дочка не выдержала, перелезла через пень, под мамину ругань сминая спелую бруснику, и раздвинула зелёные кустики. По-лисьи рыжий подосиновик подмигнул им. «Ну ты ваще, мамочка! Вот ведь, ты прямо на него смотрела!» — резюмировала дочь. Мама достала ножик и, старательно расправив вокруг толстой ножки гриба мох, торжественно срезала его. «Давай не будем его разрезать?» — попросила дочка. «А вдруг он червивый?» — «Ну нет, пожалуйста-а-а! Пусть он до дома такой доедет! Чтобы тётя Нина его нарисовала!» На такой аргумент мама не могла не согласиться.

Всю обратную дорогу дочка теребила её, в сотый раз спрашивая: «А здоровско, что я его нашла?.. А ты не видела! А ты правда его не видела? Или притворялась, чтобы дочку порадовать?.. Дай посмотреть! Дай потрогать!» В конце концов мама заткнула дочь яблоком.

Мамина знакомая художница тётя Нина действительно пришла к ним в гости в этот вечер и зарисовала, как мама с дочкой сидят на крохотной кухне и чистят грибы. А на переднем плане лежит огромный подосиновик с толстой ножкой.

Генеральная уборка

Дочка очень любила, когда мама была дома и они что-нибудь делали вместе. Например, генеральную уборку. Они обе надевали фартуки и платки на голову, брали в руки тазики с тёплой водой и тряпки. Пока мама протирала плафоны люстры, столы и тумбочки, вытряхивала с балкона покрывала, мыла окна, а затем и полы, дочке было поручено протирать от пыли книги, стоящие на высоченном и длиннющем стеллаже. Стеллаж этот почти целиком занимал одну стену в их квартирке. Конечно, девочка протирала только те книги, до которых могла дотянуться. «Мама, неужели ты прочитала все эти книжки?» — восхищённо спрашивала дочка. «Почти, — сухо отвечала мама. — Ты тряпку как следует отжимай, а то все книги мокрые будут». — «Я, наверное, никогда не смогу столько прочитать…» — вздыхала дочка. «Вот доживёшь до моих лет…» — начинала мама. Но тут в открытое окно залетал суровый шмель, он летал по комнате с гудением тяжёлого бомбардировщика, пока мама не выгоняла его с помощью полотенца обратно. Сияло майское солнце, на дряхлом тополе, что рос у них под окном, проклёвывались липкие пахучие листочки, а на прогретом тёплыми лучами берегу текущей около дома речки распускались желторотые пушистые цветочки мать-и-мачехи. После уборки дочка всегда бежала собирать маленький букетик и приносила его маме. Мама ставила букетик в стаканчик. В чисто вымытой квартире по-настоящему пахло весной. Жаль, что генеральная уборка случалась только раз в году.

Зато гораздо чаще, примерно раз в месяц, дочке поручалась стирка. Когда дома не оставалось свежих белых воротничков и манжет для школьной формы, когда кончались носовые платки, мама складывала грязные в небольшую алюминиевую кастрюльку, наливала воду, засыпала порошок и ставила на плиту кипятить. Дальше она шла печатать, а девочке поручалось сторожить платки, чтобы они не убежали. Смешно! Как могли убежать платки?! Без ног, да ещё и в закрытую дверь! Обычно через полторы минуты ей надоедало ждать, когда же неароматное варево закипит, и она приступала к поиску сладостей. Девочка медленно и, как ей казалось, очень-очень тихо открывала дверцу буфета, за которой стояла вазочка с вареньем. Но мама из комнаты кричала: «Я всё вижу!» Дочка каждый раз поражалась маминым способностям видеть сквозь стену. Но обычно в этот момент за спиной шипело: платки всё-таки вырывались на волю из горячей воды. Девочка бросалась дуть на пенное облако, поднявшееся над кастрюлькой. Оно недовольно оседало, но огонь уже был залит убежавшей водой, пахло газом, и мама грозно стояла за спиной… Она выпроваживала нерадивое дитя с кухни, вытирала плиту и продолжала кипячение сама.

Когда «суп» из платков или манжет остывал, девочка должна была прополоскать прокипячённые тряпочки под струёй воды, отжать и даже погладить! Она с отвращением вынимала из склизкого «бульона» платочек, на котором явными мокробелёсыми пятнами обозначались бывшие её же собственные сопли. Бр-р-р-р! Её почти тошнило, но она быстро совала тряпочку под струю тёплой воды, и — о чудо! — вся пакость отлично смывалась! Раз за разом девочка становилась опытнее в стирке

и хитрее — просто выливала варево на дно ванны и пичкала там, поливая душем. В процессе она размышляла о том, какое это отвратительное дело — стирка: как только мама стирает трусы и колготки?

Воротнички и манжеты были не такие противные. Но зато их нужно было гладить! Девочка боялась тяжёлого горячего утюга. Хотя был и весёлый момент в этом деле: влажные воротнички смешно «пыхали» паром, когда к ним прикасалась его раскалённая подошва. Мама всегда присутствовала рядом, на всякий случай, но как-то, зазевавшись в телевизор, дочка поставила утюг себе на ладонь. В тот день, вместе с сильнейшим ожогом, она заимела ещё и фобию на всю жизнь: теперь даже на выключенный утюг смотрит с недоверием.

Исполнив повинность, дочка хвалилась перед мамой: «Смотри, как я здорово постирала и погладила!» — «Да. А отжимать так и не научилась, — гасила мама радость. — Весь пол забрызгала… и в ванной лужа…»

Она шла за тряпкой. Дочка тихо развешивала на батарее мокрое гладильное одеяло.

Потом мама признается, что ей очень противно было самой стирать носовые платки. К тому же — нелишний воспитательный процесс… Нынче и придумать такое невозможно: платки стали одноразовыми, бумажными. Они пахнут клубникой, яблоком, розами. Да и ручная стирка почти осталась в прошлом. Только утюг всё стоит в углу, пылится за ненадобностью и пугает своей «хронической раскалённостью». Ну и что, что вилка не в розетке?

Линька змеи

Воспитательный процесс на уборке и стирке не заканчивался. Мама старалась приучать дочь к ежедневному поддержанию порядка в доме. Надо сказать, что терпение у неё было стоическое. Несколько месяцев ушло на то, чтобы девочка начала аккуратно складывать снятые вещи. Обычно она стаскивала с себя колготки, свитерок, футболку, платье, юбку и горой сваливала всё это на стул. Мама, проходя мимо, роняла на голову дочери вопрос: «Это что за змея тут из шкуры вылезла?» Сравнение одежды, которую она только что сняла, со змеиной шкурой ввергало впечатлительную девочку в ужас. А что, если и правда вот сейчас из этих колготок вылезет змея? Вдруг она там притаилась? Девочка двумя пальцами осторожно приподнимала колготки и быстро-быстро вытряхивала и расправляла их. Змеи не было! Мама шутила!

Если девочка возвращалась с гулянки, вся потная и грязная от беготни и «экскурсий» по подвалам и стройкам, мама прямой наводкой отправляла её в ванную и заставляла отмывать глину с резиновых сапожек, сажу с рук и лица, вытряхивать песок и опилки из карманов курточки. Под неусыпным и методичным контролем дочка мыла руки, ноги, чистила зубы. Поскольку волосы у неё были длинные и густые, хорошенько промыть их самостоятельно она не могла, тут подключалась мамочка. Энергичными движениями она намыливала ребёнку голову и поливала её из душа почти кипятком. На крики дочки о том, что вода слишком горячая, мама, сунув руку под струи, невозмутимо отвечала: «Нисколько не горячая». Мама забывала, что чувствительность кожи рук и головы немного различается… Потом она ещё более энергично вытирала волосы дочери махровым полотенцем. Голова девочки при этом едва ли не отваливалась; во всяком случае, до сотрясения мозга было недалеко. Но и на этом мучения с волосами не заканчивались. Мама принималась расчёсывать их массажкой, больно дёргая и выдирая волосины. Дочка пищала, мама твёрдо говорила: «Терпи». Девочка терпела. Когда гигиенические процедуры были позади и, казалось бы, можно расслабиться, мама вопрошала: «Ты портфель собрала?» Она неустанно и мудро приучала дочь собирать вещи и учебники в школу с вечера, чтобы утром не тыкаться в полусне по углам и не нервничать. О, как бесконечно мама была права! О, как взрослая дочь благодарна ей за эту привычку! Но тогда… дочка начинала дуться и ныть. Пронять маму нытьём было невозможно. Она садилась за печатную машинку, отгораживаясь ею, словно глухой стеной. Правда, иногда, если дочка уж совсем донимала капризами, мама железным тоном произносила всего три слова, которые ставили всё на место: «Так! Мама работает». Ну что на это можно было возразить? Только самой заняться делом. Дочка садилась рисовать и застывала над чистым листком. «Ма-ам! А что мне нарисовать?» — « Крокодила…» — следовал неизменный ответ. «Я не умею крокодила». — «Учись». И дочка рисовала своего триста семьдесят второго зайца…

Какао на молоке

Мамочка не любила, да, в общем-то, и не умела готовить. Нет, она варила очень даже вкусный суп из пакетика с макаронами-звёздочками. Отлично жарила картошку с луком и разогревала столовские котлеты. Красиво нарезала селёдку вместе с косточками и кожей. Умело открывала консервные банки. И даже делала по воскресеньям *настоящее какао на молоке*! Ах, как всё это было бесподобно! Когда нагулявшаяся до одури и голодная как зверь дочка прибегала с улицы, ей, в принципе, было всё равно, что есть. Она за обе щёки уплетала синюю холодную картошку со сморщенным солёным огурцом и, как утверждают свидетели, показывала большой палец и радостно приговаривала при этом: «Во как моя мама готовит!» И попробовал бы кто-то возразить!

Зимой мама приносила дешёвые яблоки под названием «нестандарт». Целыми сетками! Яблоки

эти были вкусные, крупные и сладкие, просто каждое из них было подпорчено с бочка. Мама мыла яблоки, вырезала гнилое, и они наворачивали их килограммами. Иногда мама покупала и ела какие-то совершенно невозможные вещи. Дочка стояла в стороне и с отвращением наблюдала, как та с аппетитом поедает страшно солёную вонючую брынзу, или молоки от селёдки, или похожий на сопли овсяный кисель, или жирнющую жареную скумбрию, или варёную морковку, или—о Боже!—варёное коровье вымя!!!!!!! Бр-р-р! А однажды мама принесла солёный арбуз! Дочка—как сказали бы сейчас—зависла. В её голове никак не сопоставлялся сладкий хрустящий арбуз с этим сморщенным кисло пахнущим сдувшимся зелёным мячиком. Но мама кушала, и всегда с большим аппетитом. Гораздо обиднее было, когда она приносила что-то совершенно незнакомое, но с виду не такое омерзительное и даже вкусно пахнущее. Но консервативная, как все дети в своих вкусах, дочка упорно отказывалась попробовать настойчиво предлагаемый мамой новый продукт. «Кончится—не проси»,—отреза́ла мама, доедая вкусненькое. Дочка со страданием смотрела ей в рот, и когда в тарелке или в баночке оставалась ровно одна ложечка, выдыхала: «Ну ладно, дай попробую…» Мама протягивала ей остатки, которые неизменно оказывались очень даже сладки! «А-а, мамочка! Как вку-усно! Почему ты мне не дала-а?!» В ответ та только разводила руками.

Горчичники, картошка и другие методы лечения

Случались дни, когда неугомонная, крупная, шумная дочка вдруг притихала. Ох уж эта ангина! Три, а то и четыре раза в год она стабильно сваливала девочку в больную постель. Температура до бреда, боль в горле до слёз; если подняться и отправиться в туалет, в голове начинают стучать молоточки, а перед глазами расплываются радужные круги. Приходил врач, выписывал антибиотики, полоскание. Мама гоняла дочь к стакану с разведённой настойкой эвкалипта или календулы каждые полчаса, варила морс, кипятила молоко с маслом и мёдом. Пока держалась температура, на ночь, чтобы облегчить состояние, надевала ей на ноги холодные мокрые носки! Дочка орала в процессе, но голове становилось действительно легче. Никогда не страдающая отсутствием аппетита, девочка ничего не ела, только пила кисленькое… Если маме нужно было уйти по делам, она говорила дочке: «Сон лечит. Ты поспи, а когда проснёшься, я уже приду». И она приходила вечером и приносила то, что никогда бы не купила, будь дочка здорова: грецкие орехи в меду или банку клюквенного желе. Один раз она принесла так любимые дочкой сардельки! И девочка, уже шедшая на поправку, первый раз за неделю с аппетитом поела. «Как вкусно, мамочка! Никогда таких вкусных сарделек не ела!» А через пять минут её «выполоскало» в ванной… «Мамочка, прости! Как жалко сарделечки!»—плакал ребёнок. «Ерунда какая! Было бы из-за чего расстраиваться. Ещё купим!»

Но так мама относилась, когда дочь болела всерьёз.

Если же у неё всего лишь появлялись сопли или она начинала покашливать, и всё это без температуры, мама бралась за экстренные меры профилактики. Она наливала в таз живого кипятка, сыпала сухой горчицы и заставляла дочь опускать в это промокшие холодные ступни. Девочка трогала большим пальцем ноги огненную воду и орала: «А-а! Не-ет! Мамочка, пожалуйста, разбавь холодной водичкой!»—«Нет, терпи! Иначе толку не будет».—«Мамочка, милая, она очень горячая, чуть-чуть холодненькой водички!»—«Нет. Опускай постепенно, с пяточек, потом привыкнешь». Закусив губы, дочка прикасалась к воде пяточками. «А-а! Нет! Мамочка! Пожалуйста, совсем немножко холодной водички, кру-у-ужечку!»—«Ну, ты у меня схлопочешь!»—угрожала мама, но полчашки холодной воды приносила и выливала в таз. Вода почти нисколько не остужалась, а просить принести ещё было совершенно бесполезно. Стиснув зубы, дочка медленно-медленно опускала ноги в таз. Ступни окутывало кусачей жидкостью, но девочка начинала фантазировать, что она партизан и её пытают… Минут через десять вода чуть-чуть остывала или ноги привыкали к температуре. Но обожаемая мамочка и не думала заканчивать процедуры, она приносила с кухни подогретый чайник. Дочка выдёргивала ноги из воды, ставила их на края таза, пока мама лила в него струю кипятка. На ноги летели острые жгучие брызги. И вот нужно было заново, постепенно, с пяточек опускать в воду ноги и привыкать к температуре… На распаренные до красноты гусиных лап ступни мама натягивала колючие шерстяные носки и отправляла дочь в постель.

Вторым любимым издевательством мамы над простуженной дочерью была процедура «дышания над картошкой». Она варила большую кастрюлю картошки в мундире, приносила её в комнату, ставила на табурет. Рядом, на низенькой скамеечке, должна была сидеть дочь, которую с головы до ног накрывали тремя слоями одеял. В горячую темноту просовывалась мамина рука и открывала алюминиевую крышку на кастрюле. В лицо болящей ударял чудовищной температуры пар, она пыталась всячески уклониться от него, но мама давила сверху на голову, опуская ближе и ближе к адской кастрюле, и грозно повторяла: «Дыши глубже! Дыши глубже!» Дочка дышала, как загнанная собака, почти до обморока. Но через минуту мама накрывала картошку крышкой, откидывала одеяла и давала секунду отдышаться.

Затем процедура повторялась. Раза три, а то и пять. Дочка как могла сопротивлялась, но в то же время детским умом понимала, что лучше поддаться — быстрее всё закончится. И однажды поплатилась за покорность ожогом. Мамочка так усиленно опускала её голову всё ниже и ниже к остывшей, по её мнению, кастрюле, что в какой-то момент просто прислонила шею дочери к горячему алюминиевому краю.

Ещё мама любила ставить горчичники и заставляла дочь держать их на груди и спине, пока та не начинала рыдать от боли. Только тогда она их снимала и удовлетворённо наблюдала на коже девочки алые следы: «Вот, теперь поможет».

Ещё она зачем-то умела ставить банки…

Ещё…

Самая страшная ангина случилась с дочерью на отдыхе в Сочи. Стояла жара, но температура воды была плюс шестнадцать. Девочка, тем не менее, накупалась и, разумеется, на второй же день заболела. Сначала мама пыталась пользовать её народными средствами, полосканиями, припарками и мокрыми носками на ноги. Прошла неделя, ангина только усиливалась, температура росла, дочь лежала пластом, с пересохшими губами и бредила. В ночь перед отлётом температура достигла возможного максимума — сорок с половиной. Перепуганная мама, оставив мечущегося ребёнка в гостиничном номере, побежала за скорой. Почему она не позвонила от дежурного на станцию? Почему сама отправилась по пустынному городу в ночную аптеку? Только девочка, почувствовав сквозь бред отсутствие родного человека, очнулась и стала её звать. Потом через силу поднялась, качаясь из стороны в сторону, хватаясь в темноте за стены и мебель, вышла на балкон, и над спящим Сочи разнёсся её ревущий бас: «Мамо-о-очка-а-а! Где ты-ы-ы?! Мамо-о-очка, я бою-у-усь!!! А-а-а-а! Мамо-о-очка, верни-и-ись!!!!!» Дальше был обморок. Укол бициллина. В самолёт девочку заносили на руках. То ли сильнейший укол помог, то ли перепад давления благотворно сказался на её самочувствии, только в Москву они прилетели уже с температурой тридцать семь.

Дочь выросла и почему-то теперь от жгучих поцелуев горчичников испытывает почти неземное удовольствие. Город Сочи и вообще юг ненавидит. А образ девочки, стоящей в длинной белой сорочке на бетонном балконе южной гостиницы, преследует её всю жизнь.

Последняя порка

В школьные годы мама была круглой отличницей, председателем совета дружины, комсоргом и вообще вся была слишком правильная. Как сама говорила, «до тошноты». В кого удалась дочка? Возможно, в «ту породу», как сказали бы на деревне. Училась она спустя рукава. Не могла долго усидеть на месте, всё время мечтала, была невнимательна, ленива. Учителя так и докладывали маме: «Девочка способная, но ленивая до безобразия!» Табель за первый класс ещё можно было показать кому-то, не стыдясь: в нём было много пятёрок и несколько четвёрок. Ничего мудрёного: ведь девочка хоть и пошла в школу в шесть лет, зато, в отличие от своих одноклассников, уже умела читать и писать. Ей быстро стало скучно: сверстники учили алфавит, а она уже читала басни Эзопа в переложении Толстого. Книжечка такая замечательная у неё была, в холщовом переплёте, «Два товарища» называлась. Поэтому первоклассница наша старалась как-то развлекаться на уроках, быстро сделалась хулиганкой, рядом с пятёрками за знания стала получать неуды за поведение. Во втором классе съехала на четвёрки-тройки, а в третьем нахватала и «красных лебедей». Особенно дела не ладились с математикой. «Поезд вышел из пункта А в пункт Б» — нет ничего страшнее подобного условия задачи. А, стоп! Есть: «Из одной трубы вытекает…» Девочка обладала прекрасным воображением! Но она никак не могла представить себе пункт А и уж тем более пункт Б. Почему нельзя было написать, что поезд отправился из её родного города в Ленинград, к бабушке с дедушкой? Про трубы вообще молчим…

После родительских собраний мама бралась за воспитание из дочери сознательной ученицы. Точнее, за твёрдый чёрный ремень с тяжёлой бляхой, на которой были отчеканены молот и ещё какой-то непонятный инструмент. Как потом оказалось, это был ремень железнодорожника, невесть откуда взявшийся в их доме. Мама говорила: «Ложись. Я шлёпну тебя ровно пятнадцать раз по попе». Дочка ложилась. Мама порола её через одежду, не так чтобы очень сильно и больно, но ужасно обидно. Удары они считали вместе, вслух. После мама бросала ремень на пол, падала в кресло, хватаясь за сердце, на которое никогда в простые дни не жаловалась, и говорила: «Вот умру я как мамочка моя. Я её вот так же доводила! Вот у неё сердечко и не выдержало». От этих слов ревущая белугой дочь сразу замолкала. Неподдельный ужас сковывал её с ног до головы. Она своим слишком ярким воображением отчётливо представляла, как доводит мамочку до разрыва сердца. Зрелище это было столь невыносимо, что у самой девочки начинало колоть в левой стороне груди, и она разражалась громкими рыданиями и воплями: «Ма-амо-о-очка-а-а, прости-и-и-и!» Захлёбываясь крокодильими слезами, она бросалась обнимать ноги застывшей в кресле мамочки: «Ма-амо-о-очка, я больше не бу-у-уду-у-у!» А поскольку мамочка не реагировала и не шевелилась, девочка обмирала, думая, что и вправду довела родительницу… Значительно позже мама признается, что именно тогда возненавидела школу и не могла дождаться, когда

свободолюбивая и на этой почве конфликтующая с учителями дочка закончит её! Порка ремнём и в самом деле доставляла ей страшные душевные мучения. Экзекуции закончились, когда доча училась в третьем классе. Девочка к тому времени уже была ростом с мамочку, носила её обувь и одежду. И однажды, когда родительница в очередной раз за что-то замахнулась на ребёнка ремнём, детонька перехватила мамину руку и жёстко сказала: «Если ты меня ещё хоть раз ударишь, я дам тебе сдачи. Хватит. Я уже взрослая и всё пойму словами». Ремень торжественно убрали в кладовку. Обещание своё дочка сдержала. Правда, иногда, заигравшись, раздухарившись, девочка по-детски забывалась, но достаточно маме было спросить: «Ты мне что обещала?»—и прищурить глаза, как та брала себя в руки. Кстати, мамин фирменный прищур глаз и раньше разрешал многие конфликты в самой завязке. Она суживала глаза до колючих щёлочек и пристально смотрела на дочь, не произнося ни слова. Это был однозначный сигнал, что дочка ведёт себя безобразно. У девочки холодел копчик и мурашки бежали по спине. Ребёнок становился шёлковым. Без всякого ремня.

Важнейшее из искусств

Мама растила из дочери творческого человека. Сознательно и упорно. Нельзя сказать, что девочка очень уж этому сопротивлялась. Да и попробуй тут… Она ходила одновременно в музыкальную и художественную школы, пела в русском народном хоре, посещала кружок резьбы по дереву. Ни минуты без дела! Мама тщательно сохраняла все произведения дочки—от первых потуг на литературном поприще, самых примитивных детских рисунков и большой коробки пластилиновых персонажей до лохматых рулонов акварельных и карандашных натюрмортов, которые ученикам «художки» отдавали в конце года. Однако от столь насыщенной творческой нагрузки девочка совсем запустила общеобразовательную школу. Положительные оценки она продолжала получать только по русскому языку, литературе и рисованию. И однажды взмолилась, как старик перед золотой рыбкой: «Смилуйся, государыня рыбка!» Ой, извините!.. «Мамочка, можно, я буду ходить только в художку? Мне там по-настоящему нравится…»—«А музыкальная школа? А флейта? Ты сама хотела. Тебе же тоже нравилось! И теперь, через два года, бросишь?»—«Ну-у… мне как-то разонравилось в музыкалке… там скучно, надо эти гаммы учить…»—«Тебе просто лень, так и скажи».—«Не-ет, ну мамочка! Ну пожалуйста! Вот в художке здоровско!»—«Через год тоже бросишь?»—«Не, художку я не брошу, ты что… Просто мне даже гулять некогда стало. Три раза в неделю художка, два раза—хор. Я и так много в хоре пропускаю, руководительница ругается…»—«Значит, будешь петь и рисовать?»—«Да! Значит, можно?.. А можно, я тогда пойду погуляю, раз мне сегодня в музыкалку не надо?!»—«Так, ты ещё Лермонтова не выучила. Вот выучишь—пойдёшь…»

Но всё это были цветочки. Ягодки, как и положено, ждали впереди.

Мама на два года уехала учиться в Москву. На сценариста.

Возвратившись, она жёстко взялась за киновоспитание своей подросшей девочки. Федерико Феллини, Милош Форман, Андрей Тарковский, Динара Асанова, Ролан Быков, Константин Лопушанский…

Даже гораздо позже, уже повзрослев, фильм «Письма мёртвого человека» девочка пересматривать боялась. А тогда, в маленьком зале кинотеатра «Салют», ей была поставлена чёткая задача: «Надо смотреть, чтобы знать, как люди будут жить после ядерной войны».—«А разве кто-то выживет?»—«Обязательно кто-то выживет и будет искупать вину всего человечества».—«А что они будут кушать? И воды, наверное, не останется?»—«Всё увидишь… Если будет совсем страшно, можешь взять меня за руку».

Тем, кто этот фильм видел, наверное, можно не говорить, что дочка почти не выпускала мамочкину руку… она только сжимала её всё крепче холодеющими и одновременно влажными от волнения и страха пальцами. А сцена, когда герой Ролана Быкова идёт сквозь ужас, боль, нечеловеческий вой раненых и крики обожжённых детей, контузила бедного ребёнка на всю жизнь.

Когда мама и дочка вышли на вечернюю мирную улицу из адского кинозала, девочка всё не отпускала мамину руку. Обе молчали. А потом дочка с отчаянием спросила: «Но куда же они пошли? Ведь идти некуда! Вся Земля мёртвая…»—«Лучше двигаться вперёд, в неизвестность, чем сидеть и ждать смерти. Может быть, где-то на Земле всё-таки сохранился маленький островок жизни… они идут туда».—«А они дойдут? Ведь дойдут, мамочка?..»

Тихий провинциальный город пропах весной, цветущей черёмухой, влажной землёй. Кричали птицы, смеялись дети. Такие же дети, что только вот, час назад, горели на экране кинозала в невидимом радиоактивном пламени атомной войны… А те мальчики и девочки, одетые в лохмотья, бредущие сквозь ледяной ветер в темноту, в неизвестность, они были её ровесниками. И ей очень хотелось, чтобы они дошли до островка жизни, где, наверное, вот так же тепло, так же пахнет черёмухой и так же смеются беззаботные здоровые ребятишки.

Потом они с мамой ходили в этот же кинотеатр на фильмы «Пацаны» и «Чучело». Тоже было страшно, но немного по-другому. В «Письмах мёртвого человека» была первопричина, которая заставила людей стать жестокими: они выжили в чудовищной войне и вынуждены бороться за

дальнейшее существование. Подростки в «Пацанах» и в «Чучеле» были жестоки беспричинно. Во всяком случае, в свои девять-десять-одиннадцать лет, на которые пришёлся массированный обстрел её неокрепшей души киношедеврами, девочка ещё не умела разбираться в скрытых психологических истоках жестокости человека.

Не совсем понятные ей чувства двигали Сальери, который становился косвенной причиной смерти весёлого жизнелюбивого Моцарта в «Амадее» Милоша Формана. «Но почему Моцарт умер? Он что, испугался этой маски?»—«Его убило зло, которое носил в себе Сальери».—«А почему он так его ненавидел?»—«Завидовал его великому таланту, в том числе и таланту жить».—«Не понимаю…»—«Ну, вот кто-то в художке рисует лучше тебя?»—«Да все…»—«Ты завидуешь и хочешь рисовать так же, и тебе обидно…»—«Мне стыдно, что я рисую хуже всех, я никогда не буду рисовать как ребята, у меня не получается…»—«И вот ты начинаешь завидовать и хочешь, чтобы все, кто рисует лучше тебя, исчезли. Тогда рисовать будешь только ты, и сравнить будет не с кем. Тогда ты и станешь великим художником».—«Это же ерунда!.. Я же сама знаю, что рисую хуже всех, зачем тогда придумывать, что я великая?»—«А Сальери считал, что он талантливее Моцарта. Просто тот пролез вперёд и мешает».—«Мне почему-то очень страшно, что его похоронили в этом мешке, в яме… Он стал никому-никому не нужен».—«Это удел почти каждого по-настоящему великого человека. Важно то, как ты живёшь, а не как тебя похоронят».

В следующий раз они пошли на Тарковского. Мама об этом как-то особенно торжественно сообщила. Ехали на автобусе в другой конец города, в какой-то грязный неуютный район, в обшарпанный пустынный кинотеатр.

В зале, кроме них двоих, сидело девять человек. Когда стал гаснуть свет, мама шепнула: «Смотри внимательно. Что поймёшь, то поймёшь. Если совсем ничего—спросишь после кино, попробуем разобраться вместе».

Дочка старательно смотрела. Фильм назывался «Ностальгия». Непонятным было уже название. Минут через пятнадцать после начала из зала ушла молодая пара. Ещё минут через десять, недовольно и громко ворча, просмотр покинул пожилой мужчина. К половине фильма из первоначальных одиннадцати зрителей в зале остались сидеть пять человек, из них двое—мама и дочка. «Мама,—прошептала девочка, которая, в принципе, начала догадываться, почему люди не остаются до конца,—а почему они уходят?»—«Они ничего не понимают».—«А те, кто остались, понимают?»—«Остались те, кто должен остаться. Остались настоящие ценители искусства».—«Мама, а я, если честно, тоже не очень понимаю…»—«Тогда просто сиди и смотри, как снято, смотри, как на картины в музее».

Девочка запомнила только один красивый и тревожный эпизод, когда Олег Янковский—актёр, который ей нравился,—медленно шёл среди каких-то каменных руин со свечой в руках. Она не очень понимала, зачем надо ходить по улице, среди разрушенных домов, со свечой, которая, дураку понятно, погаснет от сквозняков. А Янковский ещё и загадал на смерть. И девочка думала, что если он не донесёт трепещущий огонёк, то сразу умрёт, и ей было жалко хорошего артиста.

По пути домой мама спросила: «У тебя есть вопросы?»—«Нет»,—ответила дочка. «Хочешь сказать, что ты всё-всё поняла?»—язвительно усмехнулась мама. «Это, наверное, не такое кино, ну, не обычное… его подружке не перескажешь. Надо просто сидеть и внимательно смотреть. Красивые есть места. И… наверное… надо посмотреть ещё раз!»

Больше всего ей понравились фильмы Феллини. Там тоже не всегда было всё понятно, но как-то всегда было весело, шумно, празднично. Мама это сразу усекла и выводила дочь на всю ретроспективу. «Восемь с половиной», «Джульетта и духи», «Репетиция оркестра», «И корабль плывёт…», «Джинджер и Фрэд», «Интервью»… Особенно ей понравились «Ночи Кабирии». Девочка плакала в конце фильма вместе с некрасивой и несчастной героиней. А когда мама сказала, что эта маленькая невзрачная женщина, которая так часто появляется в фильмах Феллини, ещё и его жена, удивлению и восхищению её не было предела.

А однажды вечером вконец озверевшая от успехов вживления киноискусства в неокрепший мозг ребёнка мама усадила десятилетнюю дочь, которая рвалась пойти рисовать своих зайцев, смотреть козинцевского «Короля Лира». То ли в этот вечер у девочки было совсем бунтарское настроение, то ли мрачность отечественной киноклассики, помноженная на мрачность классики литературной, доконала её, но только через пятнадцать минут она заявила, что смотреть это не будет. Зайцы жаждут быть нарисованными во время прогулки за капустой на соседнее поле. «Сядь на место и смотри!»—отрезала мама. У зайцев были все шансы лечь спать голодными. Но дочь заныла, что фильм скучный. «Это классика!—громогласно возвестила мама.—Что ты поймёшь в жизни, если не будешь знать Шекспира?!»—«Да всё же и так понятно!»—вдруг выпалила девочка и осеклась, поняв, что вляпалась. Мама фирменно сузила глаза и почти прошипела: «Хорошо… если ты скажешь, чем закончится фильм, я тебя отпущу…» В мозгу девочки от напряжения застучали молоточки, как при температуре сорок с половиной… Она на секунду зажмурила глаза и, придав своему тону всё презрение и независимость, какие только может нести людям до дна познавший жизнь человек, ответила: «Этот всё потеряет, заболеет, и бросят его

эти… А она пожалеет и вернётся!» В воздухе повисла пауза космической тишины и космической же протяжённости. На секунду показалось, что даже персонажи великого Шекспира, которых играли великие русские актёры, вдруг поперхнулись и обернулись с экрана маленького чёрно-белого телевизора «Рассвет» на младенца, глаголющего истину.

Мама тихо произнесла: «Иди рисуй…»

Девочка ушла постигать собственную удачу, ведь тыкала пальцем в небо, а попала в глаз. Мама, очнувшись, пытала её, спрашивая, не обманывает ли она: поди, посмотрела уже где-то втихаря и вот делает вид. Дочь гордо отмалчивалась. По-честному, она и сама испугалась, что её детское мироощущение вдруг пересеклось с мыслями великих классиков.

Девочка впервые осознала, что она потихоньку взрослеет…

Московская грусть

Но чем взрослее становилась девочка, тем реже мама бывала рядом, реже задирала ноги, чаще сидела за машинкой и всё задумчивее чистила картошку. Однажды она засобиралась на несколько дней в Москву, а дочка впервые настойчиво просила взять её с собой. Раньше такого не было: надо так надо, мама едет работать. А тут—просто до слёз! И чем больше мама не хотела её брать, тем настойчивее она просилась. Девочка стала подростком. Она впервые, едва уловимо, ощутила какой-то тайный смысл предстоящей поездки… и не хотела отпускать маму туда, *к кому-то*. Она хотела доказать себе, что на самом деле там *никого нет*. И для этого во что бы то ни стало она должна была поехать с мамой. «Ладно, завтра решим…»—отрезала та и отправилась к соседям, к которым ходила, только когда ей нужно было позвонить по телефону.

В Москве они бывали вместе и раньше, и не раз. Жили у хороших знакомых, ходили в театр и в зоопарк, гуляли по летнему городу, ели на лавочках в парке холодные сосиски с батоном и запивали их молоком из картонных столбиков, на которых по голубому фону были нарисованы овсяные колосья. И как-то мама рассказала, как из-за колбасы разлюбила мальчика, который ей нравился. Они гуляли вот так же целый день, только не по Москве, а по родному Ленинграду, устали, проголодались. Зашли в магазин, где мальчик купил в нарезку двести грамм варёной колбасы. Они пошли в парк, на лавочку. Он ел колбасу, а мама с отвращением смотрела на него и не понимала, как этот красивый умный мальчик, который ей так нравился, может сидеть на лавочке в парке, рядом с девочкой, и есть варёную колбасу! С этого момента она больше не любила его.

На этот раз Москва была осенней, серой и унылой. Мама—напряжённой, грустной и всё время отсутствующей где-то мыслями. Девочка пыталась разговорить маму, но та отвечала отрывисто и по делу. Они поселились не у хороших знакомых, а в огромной гостинице «Украина». Персонал был неприветлив, коридоры пустынны, номер холодный. Они спустились в пустующий бар на первом этаже, где заказали десять горячих сосисок и две чашки чая. Дочка несла чай, а мама—плоскую тарелку, на которую неустойчивой пирамидой были уложены парящие сосиски. Две из них упали на пол. Мама равнодушно донесла тарелку до столика, поставила и вернулась за упавшими сосисками. Она подняла их, обдула от невидимой пыли и, под презрительным взглядом тётки-барменши, вернула в общую тарелку. У дочки сжалось сердце от стыда и жалости. Мама, казалось, вот-вот заплачет. В такие моменты она никогда не смотрела прямо в глаза, а на переносице у неё складывалась морщинка. Они ели горячие сосиски, сразу перепутав, где упавшие, а где чистые. «Вкусно…»—сказала дочка. «Угу…»—кивнула мама. Всё в этой поездке было неуместно, неправильно, нехорошо. Главное, сама девочка была совсем некстати, и она это понимала, и злилась на себя и на маму за это, и жалела и себя, и маму. «Я купила тебе билет на вечерний поезд. Я буду очень занята все эти дни. Ты же не будешь одна в гостинице сидеть?»—проговорила мама, когда тарелка и чашки опустели. Дочь обиженно промолчала.

Вечером, провожая её на поезд, мама виновато сунула дочке маленькую коробочку с тенями для век. Это был дефицитный и дорогой подарок. «Спасибо»,—сказала дочка, не глядя маме в глаза, и села в поезд. Тенями этими она потом практически не пользовалась. Цвета были какие-то дикие: фиолетовый и зелёный. Мама не умела выбирать косметику и краситься. Да и в киоске гостиницы «Украина» в те нищие времена, наверное, просто не было никаких других теней. Но ещё она не любила этот подарок за то, что он причинял ей боль. Девочка стала подростком, девочка стала девушкой, и своим чувствительным сердцем она понимала, что с мамой случилось какое-то личное несчастье, неизвестный московский *кто-то* сделал её мамочку печальной и молчаливой. Вернувшись из столицы, мама, как всегда, привезла гостинцы, но радости не было. Она просто выложила их на стол, легла на диван и отвернулась к стенке. На три дня.

Младшая дочь короля Лира

Всё течёт. Всё изменяется. Если жизнь человека однообразна, подозрительно ровна и поверхностно спокойна, то нередко выходит так, что не радоваться этому надо, а пугаться. Стало быть, человек не растёт, не меняются ни его взгляды, ни его желания, ни его отношения с этим миром. Он, как хронический второгодник, сидит на задней парте в уверенности, что всё равно не выгонят, как-нибудь дотянет «свои десять классов», а там и на покой.

Учёба и два года жизни в Москве сильно изменили маму. К тому же именно в этот период в стране, которой теперь не существует на карте мира, грянула перестройка. Всё, что казалось незыблемым, закачалось и стало расползаться по швам.

Первым делом, вернувшись из столицы, мама уволилась из редакции, засела дома писать роман и замкнулась в своём мирке. К тому времени она обменяла однокомнатную хрущёвку на две комнаты в коммунальной квартире с соседкой-бабушкой, дочь перевела в школу поближе. Роман напечатали в толстом литературном журнале, и на гонорар — эх, товарищи, да, тогда гонорары были такие! — так вот, на гонорар она купила дом в родовой деревне, откуда почти сорок лет назад уехал её отец.

Мама с дочкой прожили чудесное лето в этом доме. Вывезли из него три огромных телеги разнообразных ненужных, поломанных, полусгнивших вещей и мусора, оклеили стены бумажными картами мира, внутренней белой стороной наружу. Только над кроватью повесили картинкой к людям и вечерами играли «в столицы». Ходили за грибами и на речку, пили натуральное молоко с вкуснейшим деревенским хлебом. Собирали цветы и лечебные травы, помогали соседям сенокосничать, мылись в бане по-чёрному. Готовили на уличной низенькой печке ароматный, с дымком, суп и банками поедали кабачковую икру. Кроме неё, в магазине можно было купить только червивый рис и железобетонные пряники. Пугались гроз, таких страшных и мощных на открытом деревенском пространстве, не загороженном высокими крышами городских домов, и после бегали босиком по тёплым лужам, по мягкой мокрой мураве, любовались радугой и загадывали желания.

Девочка была счастлива. Ещё никогда в своей жизни она не проводила столько времени, столько дней подряд вместе с мамой. Это был Рай. И ей, с её детской неопытностью, казалось, что теперь это навсегда. Что она дождалась свою мамочку, которая вернулась из командировки и больше никогда-никогда никуда не уедет… Но человека из Рая рано или поздно изгоняют, как «изгоняет» материнская утроба выросший плод, чтобы он родился на свет и стал человеком.

Девочку ждали испытания, которые в её возрасте проходит далеко не каждый ребёнок. С пятнадцати лет она фактически стала жить одна, потому что у мамы началась другая жизнь. И девочка — да какая уже девочка! взрослая девушка, уже не раз влюбившаяся, — совсем не вписалась в эту новую мамину жизнь. Были обиды, жестокие ссоры, годы непонимания и боли. Так материнская утроба «изгоняла» намертво прикованную пуповиной дочь в её самостоятельную жизнь. В родах мучительно обоим… Кто-то за несколько часов легко «выплёвывает» ребёночка на свет, кто-то мучается сутками. Так и дети: кто-то легко уходит от родителей в вольную жизнь, кто-то годами медленно, нестерпимо медленно пилит и пилит пуповину, боясь потерять единственную опору в этой жизни. Но все в момент страха, отчаяния, боли продолжают звать: «Мама! Мамочка!..» И так до последнего своего вздоха.

Повзрослевшая девочка всё чаще вспоминает то своё детское неожиданное прорицание о младшей дочери короля Лира. Вы же понимаете, что в десять лет она не читала это сложное даже для взрослого человека произведение, не смотрела одноимённый фильм Козинцева… Что за тревога посетила тогда её маленькое сердце? Что оно предчувствовало? Что оно знало о предательствах и прощении? Что оно понимало о верности и безусловной любви?..

Девочке нынче исполнится сорок лет, а по-прежнему поддерживающей напускной строгий вид, но нежной и очень ранимой глубоко в душе и всё так же до онемения обожаемой мамочке — шестьдесят пять… Мамочка до сих пор способна сесть на шпагат и ездит на лыжах. Она накопила восемь сундуков мыслей и продолжает их рождать. От руки мама теперь почти не пишет — оно и понятно, освоила компьютер, но если вдруг берётся за шариковую ручку, то дочка, не глядя в текст, уверена, что строчки в нём упрямо ползут хвостами вверх!

Моя неистребимо романтичная и оптимистичная мамочка, как же я люблю тебя!!!

Прочитав эти заметки, кто-нибудь да скажет: «Что и за мама такая? Да любила ли она своего ребёнка или только муштровала? Только ли бросала в воду — авось выплывет и научится плавать?» А самая отличная мама, такая, как надо! Попробуйте справиться с гиперактивным ребёнком-холериком, который в третьем классе вырастает больше тебя, несмотря на принадлежность к женскому полу, не желает вести себя скромно и послушно, играет исключительно в мальчишеские игры и дружит с пацанами. Только мудрая, строгая, терпеливая и неизменно любящая мама могла воспитать из такого дитяти приличного человека!

«Мама-а-а, кофта колется-а-а! А-а-а-а!!!.. О-о-ой, опять там до-о-ождь… Мамочка, мамочка, ты не будешь ругаться? Я Наташу со скамейки уронила. Мне её не поднять… О-о-ой, солнце прямо в окно-о-о, убери-и-и!.. А-а-а! Мыло в глаза! А-а-а, больно-а-а!.. Мамочка, не надо ногти стричь! Ты больно стрижёшь, не-е-ет!!!.. Это что, зима, что ли, опять?! Господи, когда же лето вернётся?.. Ух, мамулечка, какую ты мне клюшку здоровскую купила, ух как я тебя люблю!.. Мамочка, а что мне почитать? А нарисовать?.. Ай, у меня от этой твоей шапки волосы чешутся!.. Мамочка-а-а-а, прости… сти мен-ня, ма-а-амочка-а-а, я-а-а так больше не буду-у-у-у-у…»

*к 65-летию
со дня рождения*

Сергей Хомутов

За гранью…

● ● ●

Когда не надо было говорить—
Любая речь таит неосторожность,—
Она могла блаженно закурить,
Я не курил, и возникала сложность.

Большому чувству ни к чему слова,
Они порою всё некстати рушат,
И я смотрел, как за окном листва,
Осенняя листва под ветром кружит.

И становилось грустно оттого,
Что у листвы, у нежности, у счастья
Есть срок, и тяжело продлить его
Ценою состраданья и участья.

А листья всё кружили за окном
Отчаянно, бессмысленно, бескрыло…
Я думал о ненужном и больном,
Она молчала просто и курила.

За гранью…

Свод авторов, героев—странный:
То Мартин Иден, то Рембо…
А тут и вовсе безымянный
В пивнушке
        выкрикнул: «Слабо?..»
О чём и кто с ним спорить будет?
Кому здесь дело до него?
Нетрезвый люд его забудет,
Себя не вспомнит самого.
А я запомнил крик смутьяна,
И взгляд, и облик—
        хмур и дик.
Он жизнь постиг до дна стакана,
А может быть, и смерть постиг.
Но что в итоге получилось—
Вот эти пьяные стишки,
Да суд людской,
        да Божья милость
Всему, пожалуй, вопреки.
Опять я вижу кружку пива,
Рыбёшки сглоданной жабо,
Ристалище хмельного пира
И это мрачное: «Слабо?..»

● ● ●

Мои поезда на Сибирь и Байкал,
Где люд развесёлый краснуху алкал—
Портвейн всенародный,
        напиток простой,—
Давно отгремели, ушли на постой.
А выпали нам трудовые пути,
Не то что сейчас—кое-где не сойти;
Всем точные были задачи даны—
Не ради прогулочки на полстраны.
Надолго запомнились эти купе,
Билеты дешёвые с буковкой «П»,
Портвейн,
        заводные подружки-дружки
И встречных составов лихие гудки.
Открытые души, азарт на губах—
Я тою эпохой навечно пропах.
Огромной стране одержимо служил,
Не ради же смуты сегодняшней жил,
Где, в общем, и нужен двоим иль троим—
Друзьям да родимым и близким своим;
Да, может, завещанной
        милой земле,
Что в срок и надёжно укроет в тепле.

Возле рынка

Хмурый день, угрюмый, как с похмелья,
Да и сам ты, в общем-то, не краше,
Хоть давно дурманящего зелья
В рот не брал, и нет желанья даже.

Что мы наломали, нарешали—
Видимо, понять не сможем сами.
Для кого ж вознесены скрижали,
Сотни умных книг перед глазами?

Выйдешь с рынка, где кричат, считают,
Вешают враньё тебе торговцы,
И надежды благостные тают:
Все перемешались—волки, овцы.

Даже не предвидится просветов—
Берег, Волга, мокрые берёзы…
И каких ещё искать ответов,
Если не поставлены вопросы?

Болезненное

Наш город сплошь аптеками зарос.
Ужели так больны мы поголовно?
Ответа нет на простенький вопрос,
Хотя, по факту, это—безусловно.

Аптечный бизнес… Поглядишь—опять,
Ещё одна в бессчётных этикетках…
Вчера четыре было, нынче—пять;
Знать, все живут на мазях и таблетках.

С годами там заноет, здесь кольнёт,
Подымется совсем не то, что нужно,
Порою же и в три дуги согнёт—
И потребляешь внутренне, наружно.

И смотришь на других со стороны:
Хватают что ни попадя—мешками…
Ну явно—безнадёжно все больны,
Но чем—желудком, печенью, мозгами?

А здоровее прочих—мужички,
Что, выбирая, долго не хлопочут,
В карманы набивают пузырьки—
И через пять минут уже хохочут.

● ● ●

У ангелов моих и дьяволов моих,
Возможно, что одна забота на двоих—
Добраться до нутра, до сердца моего,
Ну а потом решить: кто я и для кого?
Им проще,
        только мне дышать сегодня как?—
Я свету присягал, а попадал во мрак.
Хотя бы чем-нибудь былое оправдать,
Иначе должен я на суд себя отдать.
Таиться и скрывать—
        пожалуй, смысла нет,
На всё у них ответ, отчётливый ответ—
У ангелов моих и дьяволов моих,
Поскольку только я один и создал их.

Измена

Прогоняла и опять звала,
То с мольбой, то яростно и властно…
Страсть была, да и любовь была:
Что сильнее—и самой не ясно.

Билась то в обиде, то в тоске,
В небеса и в пропасть с ним летела,
Наколола имя на руке,
Словно прописать в себя хотела.

Всё ему, казалось, отдала,
А теперь—лишь горькая усталость…
И наколку кислотой свела,
Да клеймо глубокое осталось.

● ● ●

Желать благополучия поэту
Нелепо и, пожалуй, невозможно—
Ему, приговорённому к ответу
За то, что в мире
        ложно и безбожно…
Где сатана всё так же правит балом,
Где горе матерей, детей бесправье,
Где страх и сумрак в человеке малом,
Ну а в большом—
        порочное тщеславье.
Хотя и сам я часто меру эту
Провозглашал,
        но всё ж сомненья были…
Желать благополучия поэту—
Как псу-бродяге, чтобы пристрелили.

Современная «Илиада»

Всё подвластно порядку ясному,—
Где расчёт иль хотя б аванс,—
Дайте сена коню Троянскому,
А иначе он скинет вас.
Или кинет, столь оборзели мы—
Сами часто в числе кидал:
Только сена, и лучше в «зелени»,—
То надёжней, чем пьедестал.
«Зелень» эту решили выгодно
Потихонечку распилить…
И Ахилл пятый день безвыходно
Пьёт, чтоб горе своё залить.
С беспредельностью откровенною,
Как в дешёвом каком кино,
Одиссей загулял с Еленою,
Пенелопу забыв давно.
И в итоге сражались попусту,
Зря на вражий напали стан,
Трою некому рушить попросту,
А конягу стянул цыган.
Не понять, кто кому завидовал,
Ревновал,—как-то всё не так…
Да и Трою-то эту выдумал
Бестолковый слепой чудак.

● ● ●

На закате всё длиннее тень
За спиною, если солнце ниже…
Утекает потихоньку день,
Темень подступающая ближе.

День уходит… Он пока со мной.
Только тень, что нависает сзади,
Всё длиннее за моей спиной,
За моею жизнью на закате.

к 60-летию
со дня рождения

Владимир Монахов

Под соединёнными штатами неба

Из книги «Братское кладбище»

На пляже

В толпе червяк становится драконом…
Из дневника

Мы познакомились у реки.
Она протянула мне яблоко.

— Мытое?—спросил я.

— Конечно,—улыбнулась ты,
но на всякий случай
протёрла плод влажной ладонью.

Я взял румяное яблоко и
надкусил его так сильно,
что даже тебе в лицо брызнул сок.

— Ой,—вскрикнула ты,—не ешь его,
там внутри червяк!

Я рассмотрел яблоко
и увидел уползающего червя,
который норовил спрятаться в мякоти.

— Это не червяк,—пошутил я.—
Это наш с тобой змей искуситель!

И ты одобрительно рассмеялась!

За стеной

А у вас тоже есть регулярно и громко
ругающиеся друг с другом соседи?—
спрашивает писатель Сергей Алхутов

Да… да… да…
Сначала она ругала мужа…
но вскоре муж умер…
потом ругала сына…
сына посадили в тюрьму…
сейчас она ругает внука…
Но каждый раз при встрече на улице
она всегда мне мило улыбается,
намекая, что я—не они, я для неё—другой!

Что у нас могут ещё быть приятные
во всех смыслах отношения…
Только мне верится в её искренность с трудом…

Я легко себе представляю, на какой день
она начнёт кричать на меня…

Я многим остался должен…

Деньги—вещь наживная.
Бери и не возвращай!
Боргил Хрованон

Я многим остался должен…
Теперь мои кредиторы регулярно
приходят на мою могилу
и смачно плюют на памятник…
А я доволен, что они могут хоть так отвести душу
после моей внезапной смерти…
……………………………………
(удалено автором по этическим соображениям)

А рядом могила добрейшего человека,
который ушёл из жизни,
никому ничего не задолжав,—
этот заросший одинокий холмик
не посещают даже дети…
……………………………………
И кроме такого мерзавца, как я,
о нём уже никто не помнит…

● ● ●

Человек жаждет Бога,
А природа в ответ,
Избежав диалога,
Говорит: Бога нет!
Владимир
Микушевич

под соединёнными штатами неба
наша планета—всего лишь
малая родина
где сердцебиение человечества
слабее тишины того света
душой прислушиваюсь
к молчанию Бога
но контакт заглушает
неутихающая болтовня дьявола
о
светлом
будущем
…*ада*
с которым люди
одной крови!

Молодой человек

Чем старше становлюсь, тем чаще в магазинах
женщины обращаются ко мне:
«Молодой человек!»…
И не потому, что так хорошо выгляжу,—они хотят, чтобы я
сделал у них покупку…
…………………………
А в молодости меня встречали словами:
«Привет, старый!»

Мёртвые новости мёртвых

…на экране диктор шепчет мёртвые новости.
Татьяна Виноградова

В комнате, где стоит выключенный телевизор,
каждую минуту хоронят мёртвые новости,
которые шлют нам со всего света
мёртвые и забытые корреспонденты,
про митинги,
войны,
цены на продукты.

Но мёртвые новости мёртвых идут сутки напролёт
по выключенному телевизору!
И только мёртвый Бог до сих не объявился
в чёрном квадрате экрана телевизора.
А ведь Ницше обещал продемонстрировать и доказать нам
главную в этом мире *смерть!*

Хотя для нас с тобой до сих пор
почему-то нет ничего страшнее ухода
родных и близких…

Люблю смотреть

Я гляжу на экран, как на рвотное…
Александр Галич

Люблю смотреть старые советские фильмы…
Заново переживаю время, когда меня тянуло только в будущее,
куда я наконец-то пришёл толстым, больным
и никому не нужным…

Разве только новому телевизору,
который всё чаще и чаще показывает
старые добрые советские фильмы
на плазменной панели… будущего.

Голос жены

Памяти Ирины

Свари себе суп. Накорми кота. Постирай рубашки.
Помой полы и протри пыль.
Заправь постель. Почисти ботинки. Выйди на улицу.
Милый, не сиди сложа руки, делай же что-нибудь,—
каждый день подаю себе команды
голосом умершей жены.

Счастливый путь

Отпуская ученика в люди, знающий всё наперёд наставлял:
— Иди по жизни, не расталкивая локтями других. Ты сильный — тебе и так уступят дорогу.
Прилежный ученик старался следовать совету.
Но каждый вечер смывал с натруженных рук чужую кровь, не понимая причины трагедии.
Мастер счастливого пути — не замечает своих жертв.

Моя соцсреда

Призрак недостатка
Бродит по России…
Евгений Брайчук

Я живу среди людей, которых не волнует падение акций на бирже
ценных бумаг, а также не беспокоит рост цен
на золото,
недвижимость,
автомобили,
меха,
турпоездки,
наркотики,
компьютеры…
Но они вздрагивают и поёживаются,
когда слышат от диктора московского радио
об очередном неурожае картофеля
и неуклонном повышении стоимости
буханки чёрного хлеба…
Только при этих цифрах у людей, среди которых
я продолжаю жить, сжимается сердце,
а душа уходит в пятки,
где от долгого хождения за хлебом насущным
её растаптывают
в кровь.

Зачем политика съела наш хлеб

Мы спрятались от политики на диване,
но она пришла сама—
криво усмехаясь, влезла в душу
уличными маршами мира,
парадами военными на красных площадях,
назойливыми телерепортажами про
невинно замученных и убитых,
она произносила речи и присяги,
полноправной хозяйкой теперь
прижилась в нашем доме во всех углах,
поедает наш хлеб насущный
и пьёт наше вино, как кровь,
выключает свет и включает телевизор,
забирается ночью к нам под одеяло
и без конца скрипучим голосом
«Машины времени» спрашивает:
а вы записались добровольцем?

Куда и зачем — не уточняет, но
ткнула отточенным штыком истории в область сердца…

Так смертельно! Так больно!!!

Елена Крюкова

Рай

Месяц первый

Зачатие

Я был двумя, и я был одним.

Разрезать тьму надвое тем, что у меня впереди.

Тёмный сгусток шевелится, колышется, буравит волглую, тёплую туманную слизь. Густота вспыхивает искрами пустоты.

Провалы разверзаются внезапно и весело, и я ныряю в них, падая смешно и бесповоротно. Повернуть уже нельзя. Я знаю, что возврата нет, всей кожей, всей плотью, а если точнее, тем невидимым, дрожащим и бесплотным, слишком ярким, что хранится внутри меня; я знаю, что́ это, но не знаю этому имени.

Дрожит и плавится слепота. Зрение пробивается хилым ростком и тут же умирает. Я вижу лысой гладкой безглазой макушкой, а безумный рыбий хвост неистово бьёт в плотный лёд надвременного воздуха. Воздух слоится и плавится, и я, глухой, оглушён. Между мной и колышущейся пеленой торчат кости и когти, скрещиваются деревянные и железные надолбы. Чужая материя плачет и просит выхода из моей тюрьмы.

Разве я — тюрьма? Я свобода!

Свобода, ты лжёшь мне. Ты лжёшь себе. Я — не я, а то, что пытается быть мной. Прикидывается искусно. Я сам, настоящий и незримый, управляю движением своего узкого, как у океанского чёрного малька, крохотного как пылинка, скользкого тельца издали, сбоку и сверху; густое варево плотского жара, в котором я плыву и бьюсь отчаянно, вдруг разымается створками раковины, плоскими ладонями, а после ладони опять сдвигаются безжалостно, и вот я зажат между ними, и всё плотней смыкаются они, и конец мне, я задохнусь и буду раздавлен.

Тишина! Красная тишина. Вынутые из мёртвых рыб длинные прозрачные хорды вьются, свиваются в тугие кольца, мерцают, пытаются обвить меня и задушить. Я ловко и стремительно проскальзываю сквозь них, а они загораются тусклым гневным алым огнём, пламя лижет меня, я становлюсь узким, тонким, игольчатым, нитяным, почти невидимым. Но странные огромные глаза поворачиваются в широких и бездонных, как страшные ямы, чужих глазницах; глаза меня видят, они видят сквозь меня, видят мои потроха и мои кости, моё время и моё безвременье, а я хочу ускользнуть от них, и не выходит удрать, исчезнуть бесповоротно: меня найдут везде, где бы я ни спрятался.

Надо выбраться на поверхность. Не надо уходить в глубину. Меня заметили. Я присмотрен.

Я обречён.

Вперёд, вперёд. Комок влажного тепла, багряный сгусток довременной мокроты, красная медленная слеза. Это всё я; я теку, и моё время обтекает меня, оно не течёт вместе со мной, оно течёт навстречу мне. Мохнатые хвощи расступаются и снова смыкают резные тонкие ветви у меня над юркой спиной. Плыть, плыть! Не останавливаться!

Чьи это хищные зубы, клыки, блестят за спиной?! Мой зрячий хвост видит всё. Моё зрячее брюхо мелко, постыдно трясётся — капля страха плывёт рядом со мной, одним гребком подплывает ко мне, нагло налегает на меня, жарко вжимается в меня. Обнимает меня. Проникает в меня. Вот я уже стал каплей страха. Где моя радость?! Говорят: жизнь — радость. Где моя жизнь?! Кровавая капля дрожит. Дрожит, не сдерживая боль и радость, мой слепой мозг, мои нелепые, торчащие серебряные плавники, мои перепончатые слабые пальцы, извивается тьма, не мной наречённая хвостом. Где перед, где зад? Я не знаю, убегаю я или прибегаю, жив я или уже умер. Всё двигается! Болит! Бешено боится! Перламутром будущего дождя блестит выгиб крошечного бока. Внутри меня, под тончайшей плёнкой оболочки, в сердцевине прозрачной живой плазмы, перекатываются шары будущих миров: кишки, печень, селезёнка, сердце мира. Переплетенья артерий обкручивают одинокую аорту. Какой чудесный сон! Разве мир устроен так глупо и сложно, что его так просто убить, пока он ещё не рождён?

Раздвигаются красные водоросли. Клонятся вниз, стелются багровыми бархатными коврами под моим дрожащим животом тончайшие, нежные струны кровавых побегов. Кровь — вода, её можно пить жабрами. Кровь — моё море, я плыву в нём, о да, я всё понял: я никогда не утону, это мой страх навек утонет, когда я в волнах красного моря встречусь с Единственной, что ждёт.

Кто тебя ждёт? Почему ты знаешь об этом? Ты ведь ничего не знаешь!

Он упал и взмыл, перевернулся в горячем мареве раз, другой — невидимой играющей рыбой, безудержной весёлой монадой. Он уже совсем близко был к той, что, колыхаясь слёзным маятником, терпеливо ждала его — единственного из всех, кто опередил всех; все погибли, а он не погиб, все умерли, он один не умер. День творенья, он запоминал его тонкой кожицей, нежнейшей смертной шкуркой. Не бойся! Ничего никогда не бойся! Вот она, твоя цель, твоя мать, твоя жена, твоя любовь, твоя молитва, твоя планета, твоя вселенная! Думаешь, она пожрёт тебя?! Вберёт в себя без остатка? Поглотит? А разве ты сам не хочешь быть съеденным навек, а потом рождённым навсегда?

«Я не два, я одно», — услышал он глубоко внутри себя, в сплетении паутинных оранжевых жил, удар крови. Сдвоенный толчок: раз-два — и кончено. Слишком близко он уже подплыл к бесповоротному.

Что такое туда? Что такое обратно?

«Прошлого нет, и будущего тоже», — снова ударила изнутри в него, конечного, бесконечно струящаяся кровь, и он хотел остановиться, но уже не смог. Слишком разогнался; слишком взбесился. Красные пальмы и багряные лианы закрутились вокруг, пытались схватить, сцапать, туже стянуть петли. И вдруг расступились, будто кто сильный, громадный жадно протянул призрачные щупальца и одним махом разорвал тайное бешенство, сумеречный наплыв водорослевой парчово-алой чащобы.

Пространство. Прозрачность. Окно. Воздух. Свет.

Свет подмял его под себя. Свет проник в каждый кусок его маленькой жизни. Свет выжег в нём всё мрачное, обидное, прежнее, одинокое. Свет залил его белым и золотым молоком, ярким кровавым шёлком, захлестнул ало-жёлтой ослепительной метелью. И он, становясь светом, понимал: он весь стал ртом и целует свет; он весь стал руками и ногами и обнимает свет; он весь стал вином и перелился в свет; он весь стал тёмным скорбным одиноким мужчиной и весь, до конца, перетёк в женский огромный, счастливый, торжественный свет.

И перестал быть одиноким.

Не два? Уже не два? Одно?!

Рыба метнулась, ударила колючим носом, растопырила жабры. Плавник стал лучом и пронзил густую мглу. Снег пошёл сначала медленно, нежно, потом повалил, потом закрутился, заплёлся в неистовые, дикие синие вихри метели. Красная морда хищника вылезла из-под схлёста тёмно-вишнёвых и жгуче-кумачовых хвощей; золото посылалось из прищуренных жестоких глаз, зубы ждали добычи. Деревья рушились, тяжёлые стволы падали справа и слева, слепо валились, задавливали чёрной тяжестью, брали в плен предсмертья. Кости хрустели. Дышать нельзя было, и то сдвоенное, чем стал он один, всё равно дышало — всей нежной, прозрачной, эфемерной кожей: кожицей винограда, сизым налётом сливы, пушком персика, чёрно-зелёной лимфой смородины. Раскрывались лёгкие, раздваивался воздух: раз-два, раз-два. Раз, другой, третий, вот и вход в бесконечность. Бесконечность? Что такое? Её можно почувствовать. О ней можно заплакать, ведь она недостижима. Ты будешь жить вечно?

Я? Я буду жить вечно?!

Я же ещё не живу!

Нет, ты уже живёшь.

…Два тела, мужское и женское, бились и сплетались, сквозь разорванную серую и грязную одежду просвечивала белизна. Тесто взошло и опало. Поднималось опять. Грязные раскалённые кирпичи печи медленно остывали. Мужчина уже долго был в женщине — и всё никак не мог добраться до последнего сдавленного крика, до последнего мгновенья, за которое не жалко и жизнь отдать. Тем более что жизни у них у всех уже отобрали силой, разом, бесповоротно. Длинное и жёсткое грубо и нетерпеливо вонзилось в мокрое, кровавое и разверстое, колотилось о стенки, о горячее сладкое дно. Вспоротая лютой болью плоть женщины всё сильнее, жарче сжимала жёсткую мотыгу мужчины — так потный кулак сжимает сломанную на ходу ветку. Войти и выйти, войти и выйти, да, вот так, и ещё так, и ещё.

Горячее сомкнулось с горячим. Мужчина всё ещё не выпускал наружу своё семя; не мог или не хотел? Женщина извивалась под ним, её тонкое тело превратилось в скользкое, долгое туловище хитрой змеи, и обе руки змеями ползали по спине мужчины, сминая и задирая рубаху, жестоко корябая ногтями кожу над рёбрами и лопатками.

А два горячих маленьких умалишённых тела, срамные придатки тел важных и больших, уже давно слиплись двумя кусками тёплой глины. Они, дёргаясь и скользя, приняли форму друг друга — круглое стало длинным, как время, длинное раздулось, соперничая с планетами и звёздами. Оба были залиты слепой густою кровью, но им это уже было всё равно. Соединяясь и бешено вращаясь, маленькие тела понимали: сейчас, вот сейчас они сомкнутся совсем, спаяются, сольются, и тогда уже не понять будет, кто первый из них родит свет — они оба набухли, набрякли светом, свет рвался изо всех пор, свет застилал все чёрные страшные дыры.

Неужели в мире есть только кромешная тьма? А свет хранится внутри тьмы, в её жадном, жестоком, жутком ларце?

Влажный шар чуть приоткрылся, и темя наглой, безумной кометы немедленно проскользнуло в подобие отверстия. Живые зубы мрака жадно и нежно прикусили полоумно катящийся небесный желток, пытающийся раздвинуть, разорвать шёлковую солёную завесу. Тесно переплётшиеся змеи крутились колесом, целовались, убивая. Смерть мерцала слишком близко. Её можно было увидеть, погладить ладонью, прикоснуться к ней щекой, животом.

Женщина изогнулась слишком сумасшедше, искрутилась похлеще циркачки: вывернулась наизнанку чулком, образовала вместе с хрипящим на ней человеком живую ленту Мёбиуса. И тогда внутри маленькой наглой золотой рыбы, всё бьющей и бьющей острой головой в кровавый бубен вечной тьмы внизу женского живота, оборвалась крепкая невидимая нить, удерживающая жидкость жизни. Взрыв выбухнул, порвал кожаные постромки и петли синих и алых сосудов; лава потекла радостно и освобождённо, вместе с гулким и звонким, потом страждущим, хриплым криком из расширившейся в торжествующей судороге глотки.

Вулкан жил. Он жил всего миг-другой, а женщине казалось — огненная река текла целую вечность. Мужчина не сознавал ничего. Он дрожал, кричал и рыдал. Весь перелился в то слепое и яростное, что сладко вырывалось из него, щедро вливалось в защищённую сильными ногами и мощным бугрящимся животом женскую ненасытную яму. Он думал — он изрыгнул целый горящий мир; а на деле он теснее и беспомощнее, будто малый ребёнок, ищущий защиты, прижался к женщине, живот к животу, и выплеснул внутрь её тёмного горького лона всего лишь маленький глоток несчастной, вкуса моря, жалкой серой слизи.

Он не знал, какая тяжкая работа сейчас начнёт совершаться в той, в кого он так стремился ворваться, на ком так резво и рьяно танцевал то ли ламбаду, то ли качучу, то ли безумное танго. Он ничего не знал; только потел и пыхтел и продолжал двигаться, всё медленнее и ленивее, всё сонливее, опьяняясь затихающим извержением, застывая в забытьи. Вулкан заворчал и потух. Ещё дрожали окрестные горы. Ещё дымился кратер. Уходила, утекала внутрь испепелённой земли алая, золотая лава. Вспыхивали костры. Гасли огни. Истаивали крики и стоны. Всё умирало. Растворялось в умиротворении. В горечи сожаленья. В лёгкой улыбке запоздалой радости. Полуулыбка, полуплач — он так и не понял, что изогнуло, искривило искусанные губы женщины, раскинувшей под ним руки и ноги, широко расставившей колени, колышущей его на мягком пьяном податливом животе, как в насквозь прогретой насмешливым солнцем старой лодке.

Два тела, всего лишь два тела. Они снова стали двумя. Всё обман, что двое в любви станут одним. Никогда. Этого не может быть никогда.

Мужчина скатился с женщины, откатился в сторону. Даже не поцеловал, не приласкал её. Отвернул тёмное небритое лицо. Смотрел в стену: потёки дождя, разводы сырости. И женщина сейчас разведёт сырость. Заплачет как пить дать. Этого не надо видеть. И её не надо утешать. Надо встать, обтереть от крови своё увядшее, опалое орудие, натянуть штаны, застегнуть ширинку, пригладить мокрыми ладонями волосы. И, не глядя на неё, молча лежащую на полу, выйти — а выход, гляди-ка, настежь открыт, дверь сорвало с петель, двери нет, а есть дыра, отверстая прямо во мрак.

После жизни

Она шла по дороге одна. На её ногах была дырявая ветхая обувь — значит, ей ещё повезло.

Если у тебя есть башмаки или сапоги, ты спасён. Ты можешь идти вперёд.

Босиком, понятно, тоже можно идти; но далеко не уйдёшь. Изранишь ноги в кровь, изрежешь мелкими осколками стёкол.

В дыры мужских, не по размеру, башмаков высовывались пальцы. Сиротки-пальцы выглянули из окошка, хотят увидеть милый мир.

А разве мир есть? Его же нет. Его же уже нет.

Женщина шла, медленно переставляя ноги, и мучительно вспоминала, как её зовут. Вспомнила. Её губы искривила странная улыбка. Так улыбались раньше, в другой, забытой жизни, призраки в страшных сказках или в жутких фильмах.

Женщина не думала, куда она идёт, зачем. Она теперь редко когда думала. Больше чувствовала: небогатый набор оставшихся в живых чувств заменял ей вспышку догадки или тяжесть долгого, длинного размышления. Она ловила себя на том, что забывает слова, забывает, как называется дерево, как зовётся валяющийся в пыли на дороге изломанный домашний инструмент.

Мир расстилался перед ней пустыней, хотя мир был ещё населён, ещё смотрел из-за сухих придорожных кустов насторожёнными, враждебными глазами, ещё звучал далёкими выстрелами или приглушёнными, гаснущими в тумане полей или между крошащихся на ветру руин, сдавленными криками. Люди или звери кричали? Женщина не знала. Она прошептала себе сухими губами: «Я Руди», — сделала шаг, другой, споткнулась о коварную железяку, незаметную в густой серой пыли, больно оцарапав большой палец, и поняла, что она очень хочет пить.

«Разве мертвецы хотят пить?» — удивлённо спросила она себя — и ответа не нашла.

Совсем недавно её звали Рудольфа Савенко, и у неё была профессия, какая — она забыла; и у неё был дом, и она забыла, какой он был величины

и какая утварь находилась в нём; она попыталась выбросить из головы малейшие остатки памяти о прежней жизни, ведь прежней жизни больше не было.

Ну хорошо. Прежней жизни больше нет. А что же у тебя было до этой жизни?

Она нарочно убивала в себе мысль, чтобы не думать об этом, и вот убила. Но иногда сквозь слепой плотный туман просвечивал слабый огонь, вспыхивали отблески пожарищ. Она морщила лоб, закрывала глаза и садилась прямо на дорогу, в пыль. Перед глазами возникало то, что никак не могло быть правдой. И она бормотала растрескавшимися пропылёнными губами: «Этого не было, не было никогда. То, что со мной творится, сон, и я сейчас проснусь».

Во тьме, под жаркими кожаными шорами дрожащих век, вспыхивала далёкая зарница. Слишком светлый шар. Женщина, похожая на неё, тогда приподнялась с кровати; босыми ногами прошлёпала к окну и подняла штору. Очень далеко поднимался, стеной вставал гул. Свет опережал звук, бежал быстрее гула. Световой шар разрастался стремительно, странный призрачный жар опалял лицо и руки. Женщина не слышала, что кричали домашние. И были ли они у неё? Родные люди, приручённые зверьки? За спиной раздавались невнятные панические возгласы. Крики ужаса. Да, кажется, кто-то вопил: «Руди! Руди! Не смотри! Ослепнешь!» А кто-то рядом визжал: «Бежим! Прячьтесь!»

Одно, два, три, четыре людских тела выметнулись вон из дома. Кто-то успел надеть обувку; кто-то вылетел на улицу босой, и это было самым плохим. Босой человек не пройдёт по раскалённой, пыльной, засыпанной осколками и заваленной прутьями арматуры дороге и десяти метров.

А из окон не будет раздаваться ни музыка, ни клёкот телепередач, ни хныканье младенцев, ни звонкий, взахлёб, девичий смех. Ничего. Молчание.

Но это всё ещё только будет. А тогда, в ту ночь, надо было просто бежать, и она бежала.

Как и когда похожая на неё женщина потеряла из виду родных? Она оглядывалась, звала—молчание смеялось над ней беззубыми ртами выбитых дверей, пустых оконных глазниц. Она обводила взглядом дома, пока бежала по улице,—у неё было чувство, что все уже исчезли, канули в далёкий жгучий свет, в бешеный шар огня, а она бежит тут одна, совсем одна. Это было обманчивое впечатление: когда она выбежала из посёлка, она поняла, что людей много, но что далеко они все не уйдут.

«И я тоже далеко не ушла. Хотя нет, я всё ещё иду. Где я теперь?»

Боль в сбитом пальце усиливалась; Руди села на поваленное дерево при дороге, согнулась, сгорбилась, сняла неуклюжий мужской башмак и подтащила руками голую ступню ближе к лицу, пытаясь рассмотреть рану. В пыль капала густая тёмная кровь. Руди беспомощно оглянулась. Осень, вон листья валяются на земле, целый толстый ковёр сухих листьев. Это твоя вата и твои бинты. Воспользуйся ими.

Она так любила осень. Не она, а та женщина, похожая на неё.

Она цапнула неловкими пальцами два-три кленовых листа. Грязные нестриженые ногти, цыпки от холода, кожа как наждак. С отвращением она глядела на свои руки. И на свои ноги. Одна в башмаке, другая без. Внезапно её обнажённая нога показалась ей беззащитным, лишённым шерсти, пойманным в капкан зверем; Руди наклонилась ниже и, пугаясь собственной слёзной жалости, погладила свою ногу, как гладят умирающую кошку, больную собаку.

«Что со мной? Я схожу с ума. Да у меня уже и ума-то не осталось, не с чего сходить».

Она плюнула на кленовый лист, растёрла слюну, плотно обвязала листом ранку, снова втиснула ногу в башмак. Встала, покачалась. Больно, но терпимо. Сейчас терпеть приходится всё. Всё, что ещё может произойти с тобой.

«А разве раньше не надо было терпеть? Разве вся жизнь—это не терпение и смирение?»

Она медленно переставила ногу, приставила к ней другую. Шаг, ещё шаг. И ещё один. Приставлять ногу к ноге—как всё просто.

Она думала, что она стоит, а она уже шла.

Костёр. Посреди улицы. И вокруг костра—люди.

Немного людей. Пятеро или шестеро, а может, больше; а может, меньше. Некогда считать. Они тянут руки к огню, греются. Или готовят на огне еду. Всё равно.

«Тебе уже всё равно. Они уже увидели тебя».

Люди смотрели на Руди.

Руди смотрела на людей у костра.

«Бежать? Не убегу. Не успею. Подойти? Что им сказать? Прикинуться жалобно блеющей овцой? Наврать, что за мной идут муж и три брата-богатыря?»

Руди переступила через свой страх и шагнула к костру.

Люди молчали.

Руди сказала негромко:

— Всем привет.

Ей никто не ответил. Лишь худощавый юноша, сидевший ближе всех к огню, поднял руку и слабо помахал ею женщине.

Она сделала ещё шаг, другой. От огня разливался ласкающий, забытый жар. Она, как и все эти люди, протянула к костру руки и закрыла глаза.

— У тебя есть еда?

Голос мужской, твёрдый.

Она открыла глаза.

— Немного.

— Это хорошо. Поделишься.

Мужчина сказал это утвердительно, чтобы ни у кого не оставалось сомнений.

Руди кивнула:

— Да. Конечно.

Она совсем рядом с огнём. Люди подвинулись, давая ей место. Она молча уселась на землю и стащила с плеч рюкзак.

Как ей было жалко её еды! Но она развязала тесёмки. Запустила в рюкзак руку. Вынула банку, вслух прочитала на ней надпись:

— Томаты. Пойдёт?

— Без вопросов.

Кудлатый, бородатый мужик, сгибая и разгибая застывшие пальцы, повернулся к ней и протянул руку. Второй руки у него не было. Пустой рукав заправлен в карман бушлата.

— Давай сюда.

Она протянула банку, и бородач цепко взял её и сдавил коленями. Услужливая рука протянула мужчине нож. Руди изумлённо глядела, как мгновенно, она и ахнуть не успела, он вскрыл консервы. Поплыли, выгнулись лодки рук. Шевелились просящие пальцы. Помидоры из банки исчезли так быстро, будто их и не было вовсе, жалких красных солёных шариков.

Люди облизывались возле огня, как волки.

Они все смотрели на Руди.

«Сижу, рюкзак снят, не встать, не удрать, сейчас всё отнимут. Так тихо, мирно ограбят».

Руди улыбнулась. Важно было улыбаться. Не показать отчаяния, огорченья.

«Что я буду есть теперь? Я не уйду отсюда никогда».

— Что ты улыбаешься?— спросил однорукий.

— Вкусные томаты,— бодро сказала Руди.

— Ещё!— повелительно выдохнул калека, и скрюченные пальцы протянутой к Руди руки угрожающе шевельнулись.

— А вы не всё возьмёте?— вырвалось у женщины.

Безрукий усмехнулся углом щербатого рта:

— Нет. Мы не разбойники. Всмотрись. Мы семья. Я хочу немного продлить жизнь своих. А ты, вижу, всех своих потеряла, если идёшь одна. Не жмись. Давай раскошеливайся.

Руди покопалась в рюкзаке и вынула оттуда обеими руками кукурузный початок в упаковке и железную банку ветчины. Обвела глазами сидящих у костра. Трое мужчин, старший, младше, ещё помладше. Две дико отощавших женщины. Они не двигались— у них уже не было сил шевелиться. Сидели, бросив макаронины-руки, вытянув ноги-деревяшки, и огонь лизал развалившиеся на кожаные полоски туфли.

И у самого огня сидел ребёнок. Маленький мальчик, лет трёх-четырёх. Он неотрывно, не мигая, глядел на разудалую пляску огня.

Руди глядела ему в затылок.

И что-то в ней хрустнуло и надломилось. Дрогнуло и поплыло.

Бородатый очень осторожно, будто боясь причинить ей боль грубым прикосновеньем, взял у неё из рук ветчину и кукурузу. Повертел, рассмотрел этикетки. Довольно хмыкнул.

— Спасибо. И как ты волокла такую тяжесть на горбу?

Кивнул на её рюкзак. Руди снова вымучила улыбку:

— Я сильная.

— Завязывай.

Она схватилась за тесёмки. И поймала взгляд мальчика.

Мальчик обернулся от огня. Он смотрел на неё.

Зрачки плясали. Огонь буянил. Глаза мальчика вошли в её глаза, пробуравили её мозг, упокоились глубоко в сердце.

Она медленно, как во сне, распустила тесёмки, наклонила рюкзак и высыпала на землю добрую половину своих запасов, не прекращая глядеть на мальчишку.

Люди у костра молчали по-прежнему.

Бородатый мужик легко, невесомо прикоснулся к её плечу. Сам завязал тесёмки её рюкзака.

Перед глазами женщины колыхались золотые флаги, синие стрелы. Скрещивались алые и зелёные сабли. Мир на миг стал цветной и весёлый, как раньше, до смерти. Мужчина оскалился сквозь бороду— он улыбался ей.

— Сиди. Не ходи никуда.

— Не уйду,— разлепила она губы.

— Мы напоим тебя чаем. Еду, что ты нам подарила, растянем надолго.

— Я рада.

— Можешь отдыхать. Спать будем все тут, у костра, когда он догорит. Так теплее.

— Поняла.

— Ты знаешь какую-нибудь песню?

Она удивлённо распахнула глаза. Её рот сложился в смешное сердечко. Вопрос бородача застал её врасплох. Она не знала, что ответить.

— Я…

— Ты тоже всё забыла?

До неё дошло. Все забыли всё. И песни тоже. Петь было не о чем. И незачем.

— Да. Не помню ничего.

— Ну и ладно. Извини.

Длинноносый мужчина, сидевший рядом с бородачом, заваривал чай в железной кружке. Насыпал из пачки в ладонь жменю, бросил в кружку, выхватил из костра обгорелый чайник, залил кипятком заварку. Руди поймала ноздрями забытый запах.

Скатерть… фарфор… тапочки… смех… камчатные кисти… розетка… варенье… свеча… вязанье… поцелуй… что-то ещё?.. ах да, звуки… плывут… голос… песня…

Она вытерла грязными руками лицо.

Длинноносый протянул ей горячую кружку. Она взяла и обожглась, сморщилась.

Она резко обернулась как раз в тот момент, когда её цепко схватили за локоть.

Она вывернула локоть. Её схватили за другой.

Мужчина и женщина, оба ниже её ростом, почти лилипуты, карлики, вцепились в неё — не вырваться.

— Эй, вы, — глухо сказала Руди. — Что вы? Пустите!

Люди крепко держали её за локти, с ненавистью глядели на неё снизу вверх и молчали.

— Что я вам сделала?!

Лысый карлик процедил на языке, не её родном, но похожем на её язык, и она поняла:

— Пища. Нам надо пищу. Ещё нам надо одежду.

«Ударить его ногой в живот?! Её — пяткой в рожу?!»

Женщина походила на лохматую собаку чау-чау. У мужчины на узкой тонкой шейке бессильно и сонно, как у китайского бонзы, болталась слишком большая, круглая, тяжёлая голова.

Чау-чау гавкнула:

— Давай! Живо!

— Что — живо?

— Снимай!

Карлица стукнула ногой по её башмаку.

Руди, как во сне, стянула ногой сначала один башмак насильника, затем другой.

Стояла босая на покрытом изморозью асфальте.

Чау-чау упрятала её башмаки в два кармана: в один и в другой.

И это китайский бонза, а не она его, ударил её ногой в живот так больно, что она заорала и скрючилась, и лямка рюкзака поползла вниз с плеча, и тяжко плюхнулся мешок с едой на камни, а женщина-собака прыгнула на него и придавила грудью.

Бонза выхватил из кармана нож и ловко разрезал ремень. Рюкзак был свободен от хозяйки. Он уже принадлежал не ей.

Руди стояла, держась за ушибленный живот. Слёзы текли по лицу.

«Стыд. Плачу. Две козявки ограбили меня! Уж лучше бы я всю еду отдала тем, у костра! Лучше бы я осталась вместе с ними!»

Она выпрямилась, зло сверкнула глазами. Сделала шаг к грабителям.

«У них нож, а у меня ничего. Голые руки».

И этими голыми руками она слепо полезла в карман брезентовой куртки. И выдернула оттуда зажигалку. Она никогда не курила, и это была не её зажигалка. Это была старая зажигалка отца. И, возможно, никакого бензина в ней уже в помине не было.

«Папа! Помоги!»

Крутанула колёсико. Раз! — не зажглось. Другой! — нет огня.

«Дай огня. Папа, дай огня. Дай!»

Третий раз.

Карлики смотрели как заколдованные.

Они не знали, что произойдёт.

Огонь пыхнул между пальцев Руди. Язычок огня. Язык пламени. Мощь света. Приговор. Обряд. Счастье. Горе. Торжество.

Она сунула пламя прямо в глаза китайскому бонзе. В один глаз. В другой.

Прыгнула к чау-чау. Ткнула горящей зажигалкой в спутанный лес её грязных волос. Волосы занялись, как сухая солома.

Чау-чау завыла, присела на корточки. Китайский бонза вопил, прижимая к обожжённым глазам кулаки. Руди подобрала с земли рюкзак и бросилась бежать.

Ледяной асфальт и острая щебёнка обжигали, кусали босые ноги.

Она не добежала далеко. Вытянув руки, полетела носом вперёд.

Через улицу была натянута тонкая леска.

Чау-чау, с горящими волосами, воя по-волчьи, подскочила к Руди, вскочила ей на спину и танцевала на ней страшный танец. Бонза кинул подруге нож. Женщина-собака, для острастки, резанула ножом по спине Руди — раз, два. Теперь закричала Руди.

— Не убивайте! Не надо!

Чау-чау, задыхаясь, встала на карачки на спине Руди и выкрикнула над её ухом:

— А мы и не будем! Мы только потешимся! Мы тебе ухо отрежем!

Выпавшая из руки зажигалка валялась на обочине.

Руди извернулась и сбросила с себя карлицу. Изо всей силы пнула её, как пинают футбольный мяч. Она чувствовала: по спине, по рёбрам течёт тёплая кровь. Больно не было. Было страшно и весело. Скрючив пальцы наподобие когтей, она побежала на карликов, устрашающе разинув рот и издавая звериный рык. Они повернулись и побежали прочь.

Бежала она. Бежали они. Они бегали быстрее. Круглая голова бонзы моталась из стороны в сторону. Чау-чау превратилась в живой факел. Она кричала непрерывно, на очень тонкой ноте, пронзительно и невыносимо.

Когда Лысая Башка и Горящая Голова скрылись за поворотом, Руди без сил села на землю и зарыдала сухо, без слёз.

Подобрала зажигалку. Крутанула колёсико снова. Снова зажёгся огонь.

Она смотрела на пламя.

«Гори, огонь. Гори снаружи. Гори внутри меня. Всё на свете огонь. Человек выпустил силу огня наружу, и сила убила его. Но тот огонь, что внутри, не убить. Я умру — а этот огонь будет жить. Милое пламя. Бедное маленькое пламя. Какое

ты крошечное, жалкое. Какое ты любимое. Как я люблю тебя».

Язык огня бился на холодном ветру.

Женщина улыбалась ему.

Она улыбалась ему улыбкой безумной и счастливой.

Когда огонь погас, женщина встала.

Медленно пошла по дороге, вдавливая босые ступни в изрытый трещинами асфальт.

Месяц второй

Страх

Слепота. Навек суждённая слепота.

Червь ловил первые толчки материнской крови. Это было так странно.

Тьма—мать.

Это он чувствовал всякий миг, он не стал бы с этим спорить, если бы имел разум.

Каждый раз это было так неожиданно.

Вот он ползёт, ползёт—и замирает. Хочет отдохнуть. Всё время двигаться нельзя.

Он замирал на века. На сотни столетий. Время переставало течь. Яма прекращала расширяться и сужаться. Верх и низ менялись местами. Голова обращалась в весёлый хвост.

Конечное становилось бесконечным.

Тьма расширялась до пределов ощущаемого мира.

И в тишайшей ласковой тьме рождалось биение.

Тук-тук. Тук-тук.

Это билось сердце матери-тьмы; и он, впервые поймав этот далёкий ритмичный стук, содрогнулся: пришло чувство, что вот сейчас на него накатит дикая красная волна, воздымется высоко над ним, потом обрушится на него, такого малютку, крошечного червячка, и смоет его в алый безбрежный, бездонный довременный океан.

Стук повторился. Червь дрогнул всей скользкой кожицей.

А может, я уже не червь? Может, я уже способен на большее?

На что? Кто ты, если ты только научился чувствовать? Кто ты, если ты слеп и слепа твоя мать, тьма, вокруг тебя?

Червь прислушался к себе.

И он ощутил в себе страх.

Страх. Он не чувствовал такого раньше.

Страх. Тёмный, темнее его родной ямы, страх.

Страх проникал под кожу. Забирался в тонкую вязь нитяных сосудов, в кровавую путаницу первозданных кишок. Было ли у червя сердце? Он не знал; он чувствовал: да, есть под кожей маленький тёплый комок, и он отзывается на удары тьмы извне; одно биение тьмы—десять биений булавочного сердечка между двумя содроганьями слизистых, скользких колец.

Откуда явился страх? Червь не знал. Он то сжимался, то разжимался, пытаясь страх побороть шевеленьем, движеньем. Страх не уходил. Он не давался червю; он был во много раз больше и сильнее червя, и червь ощущал: не надо воевать со страхом, надо впустить его в себя.

Чувство, не обмани меня. Чувство, не подведи.

Чувство, подскажи, как лучше.

Что лучше: сражаться или уступить. Напрячься или расслабиться.

Страх сдвоенным стуком тёмной крови ударил опять—и червь притворился слабым, вялым, сонным, плывущим по тёмной, непроглядной воде беспамятства.

Червь поплыл, стал невесомым, превратился во влажный плоский лист на поверхности темно, горячо бьющейся тьмы.

Яма вздохнула. Раз, другой.

Выдохнула из себя страх.

Волна страха накатила опять, и червяк, расслабленный, переставший быть червяком, ставший волной, ямой, кровью, тьмой, подплыл под волну, погрузился, потонул, и ему было уже всё равно, всплывёт он или нет, будет он жить или нет.

Раствориться во тьме. Растечься кровью по чужим чёрным жилам.

Распасться на искры. На вздроги. На страшные удары: тук-тук, тук-тук.

Он старался повторять ритм ударов. Он сжимался: тук!—и потом разжимался: тук… Он приспособился к биенью тьмы. Он приноровился.

Чувство: а если расслабиться так, чтобы открыться, чтобы впустить в себя мать-тьму?

Что, если самому стать тьмой?

И снова непобедимой волной поднялся страх.

Теперь уже не извне: изнутри него самого.

Страх слеп. Страх не может видеть.

Страх вечен: таков страх смерти.

Червь уже жил, и червь боялся умереть. Не быть.

Червь чувствовал, а когда взрывался страх, червь забывал чувство. Червь наслаждался, а когда краснота страха накатывала и топила его, он забывал, что у него есть радость.

Страх убивал всё, и, что странно, страх рождал всё. Дойдя до предела первобытного, безглазого, слепого страха—вместо глаз оскал зубов, вместо рта железная щель, вместо крика ползущая слизь,—червь сворачивался в кольцо, стремясь укрыться в самом себе,—и тут внутри него начинала раскручиваться огненная пружина: она разворачивалась, распрямлялась, и он распрямлялся вместе с ней, сбрасывая с себя страх, как старую кожу, как высохшую чешую, всё в нём дрожало, ощущая мир, тьму, жизнь, яму, мать по-иному; тук-тук, тук-тук!—билась кровь матери, и червь жадно ловил телом это струение, обещание будущей встречи.

Стук говорил ему: не бойся, это молот жизни стучит в тебя; первый сон стучит в твою тёплую кожу; это проблеск сознания напоминает о себе, потому что он помнит тебя, а не ты помнишь его. Не мать-тьма выбрала тебя; ты выбрал её, ты нашёл её из многих матерей, во многой тьме, и, слепни не слепни, ты однажды прозреешь.

Страх—рост живого, а ты живёшь, и ты растёшь. Ты увеличиваешься с каждым днём. Ты ещё не понимаешь, что ты набираешь силу,—за тебя это понимает мать. Ты ещё не выбрался из ямы—это твоя пещера, твой земляной храм, и ты в нём молишься лишь слепому, яростному току крови, ударам боли и страха. Ты не хочешь рождаться, тебе хорошо во тьме; но ты родишься когда-то.

И ты так боишься родиться!

Ты боишься рождения, ибо оно для тебя—смерть. Тьма бóльшая, чем та, в которой ты ползёшь, плывёшь, спишь и бодрствуешь сейчас.

Ты ощущаешь: в яме даже страх хорош. Всё можно вытерпеть.

Ты не хочешь вылезать из ямы. Это твой дом.

Ты готов быть всю жизнь слепым: так прекрасно не видеть.

Плод

У зародыша рождалась память.

Это было так непонятно, сумрачно, смутно.

Где-то далеко, на дне не прожитых им столетий, шевелились щупальца корней, лепетали детёныши вымерших животных. Синие молнии ударяли из туч, испепеляя камни. Он помнил кровью, а кровь помнила его. Возможно, он повторялся, и это зачатие было не первым в его судьбе; его зачинали другие отцы и вынашивали иные матери, и счастливо было заново биться булавочному сердечку, осознающему новую дорогу.

Он помнил то, чего помнить было нельзя: крики убийства и дикий хохот запретных ласк, хоботы странных громадных зверей и блеск широких, без берегов, слепящих, солнечных рек. Он помнил, что жил, но мыслей не было, равно как и воспоминаний; лишь одна память обнимала его солью и сладостью околоплодных вод, и он глотал память, насыщаясь впрок, чтобы потом, родившись на свет, забыть всё и начать сначала.

У зародыша возникало лицо.

Это было так странно и прекрасно.

Где рот, там и дёсны; где дёсны, там и зубы.

Это не настоящие зубы; это мечта о них, тревога о них.

Молния мысли—и твердеют кости. Нежные птичьи косточки, пух птенца, сочленения крыльев, тяжи и склёпки лап и суставов. У червя нет костей! Они есть только у человека.

А ещё? Ещё у кого живого есть первые, самые хрупкие, снящиеся кости?

Зародышу снилось: он выползает из оболочки червя, из змеиной кожи, и под уплотняющейся кожей застывают жёсткой музыкой косточки—на них потом жизнь сыграет симфонию боли. Сама кость не болит, там нервов нет.

А что такое нерв?

Это когда концом иглы дотронутся, а ты кричишь. Когда лезвием разрежут мышцы, кожу, красноту живого тела—а ты плачешь.

Зародыша ещё никто не пришивал к телу матери иглой боли. Он, лёжа в гибких красных ладонях плаценты, не знал, что такое боль. Он не знал, когда у него отпал хвост; а может, не отпал, а отломился; а может, не отломился, а превратился. Во что? В две скрюченные ножки?

Значит, надо проститься с червём. Всё есть постоянное и немедленное превращенье. Зародыш превращался ежеминутно и ежесекундно. Каждый миг становился другим. Иным.

Он себя не помнил прежнего. И мать не помнила.

Мать даже не знала, что он уже живёт в ней.

Про зародыша всё знали околоплодные воды.

Вода. Океан. Почему мы так хотим туда вернуться?

Потому что мы все вышли из довременного океана—из прозрачного пузыря, в котором мы плавали и плескались, стенки которого трогали кончиками слабых, как ростки ириса, пальцев; вынырнули из воды, питавшей нас и поившей.

Воды, в которых плыл зародыш внутри гибко и капризно меняющего форму пузыря, позволяли ему кувыркаться и вертеться—он всё равно был крепко привязан перевитой верёвкой пуповины к матке: не удрать, не вырваться. Воды плескались беззвучно, слоились, перекатывались, наклоняя малютку в разные стороны. Он переворачивался, светясь боками, головкой, ростками рук—так вспыхивает и светится плавающая морская звезда внутри ёлочного прозрачного шара. Для Бога он был игрушкой, но для матери всё было серьёзно и важно: её мозг не знал о нём, а матка знала всё—матка, жаркая печь, дышала и хранила, оберегала и грела.

Матка знала: до рождения мира под животом Бога качались и плыли околоплодные воды.

Как приятно, вольно двигаться в воде! Ты ещё зародыш или уже плод?

Ты уже вырастил себе ножки и ручки, и на них уже шевелятся маленькие смешные пальчики. Ещё не можешь ими хватать. Да и хватать-то в утробе нечего. Она так богата пустотой, твоя утроба. Твой прозрачный, полный, пустой дом, наполненный прозрачной солёной, сытной жидкостью. Пальчики, резвые пальчики! Это потом, о, потом вы станете ласкать и царапать, давать пощёчины и лепить снежки. Вы станете шить и пришивать—дыры

требуют заплат, а рваные раны — тугих швов. Но сейчас вы беспомощно шевелитесь в прозрачной воде, пальчики. Не пальчики, а плавники.

Можно взглянуть в его лицо. Оно прекрасно. Это уже не безглазая голова червя. Глаза, что торчали по бокам круглой тяжёлой слепой головы, медленно, неуклонно сближаются. Где веки? Их ещё нет. Крошечное личико, громадные глаза: лицу трудно нести на своей тонкой и лёгкой тарелке такие огромные плоды. Между глаз выступ. Это нос, и зародыш им уже дышит. Он дышит всем телом: вода вместо воздуха, и живая вода входит в каждую пору, в каждую клетку, втекает в глаза, забивает ноздри, укутывает в сонное солёное одеяло. Что ты там скорчил рожу? Что говорит твоё лицо?

Оно кричит: я уже не червяк!

Оно смеётся: ты же видишь, я уже могу улыбаться!

Это ещё не улыбка. Это её попытка.

Плод так веселится.

Его сердце бьётся часто и горячо, нельзя различить удары.

Сквозь невесомый шёлк полуулыбки просвечивают зёрнышки зубов. Губы, вы ещё не появились! Вы ещё только растёте! Это рот, что будут так страстно целовать, искать в темноте спальни. К нему будут приближать ухо, чтобы расслышать последнюю просьбу. Когда-нибудь, плод, ты станешь человеком на смертном одре. Бейся, сердечко! Тебе назначено так часто и отчаянно биться. Ты живёшь в Мире Ином. Плывёшь под водой и дышишь жабрами, и дрожит сердце, как цветок на ветру. Но ты ребёнок! Ты не игрушка! Тебя нельзя сломать, а потом починить! Ты уже перестаёшь быть зародышем. Ты превращаешься в плод. Висишь на ветке пуповины и зреешь; и вот уже нет червя, он уполз навсегда, а когда это случилось, никто не заметил.

А может, ты игрушка. В тебя играет жизнь.

В тебя играет равнодушное время, бесстрастно и бесконечно улыбаясь.

В тебя играет смерть, поднимая тебя на ночных руках, внимательно рассматривая: мальчик ты или девочка? Тебе это всё равно, а смерти не всё равно, кем ты будешь лежать в последней деревянной, обитой ярким атласом, жёсткой постели: в чёрном платье с кружевами или в строгом смокинге, в белом снежном саване или в смешном стареньком штопаном пиджачке. Что такое пол? У червя нет пола; он есть лишь у человека.

Вот они, очертания твоего страдания, если ты женщина.

Рисунок твоего счастья, если ты мужчина.

Раздвинешь ты ноги для горя или вытянешь струной для наслаждения — неизвестно.

Уплода, похожего на скрюченный стручок, ровно в середине стручка образовалась выпуклость. Через несколько дней она станет выступом, внутри которого будет жить слишком много жизней. Мужчина несёт в своём длинном сосуде миры; выплёскивая сперму, он дарит женщине потерянные времена.

Плод радовался тому, что он становится мужчиной. Точно так же он был бы счастлив, если бы коготь Бога процарапал внизу его живота женскую жалкую щель; бесполый червь обратился в мальчика, и мальчик торжествовал, чувствуя волю и власть.

Напрячь первые мускулы. Ощутить резкую, хлёсткую боль по ходу первых нервов. Обернуть под струящейся, голубой, серебристой, небесной водой едва рождённое лицо: плоский нос раздувает ноздри, под закрытыми веками сонно, грозно ворочаются огромные белки́, ямки ушей чернеют, готовясь к приходу слуха. И только рот скорбно молчит, сжимаясь в ниточку, немея, соглашаясь, заклиная.

Белка

...Она стояла в просторной прихожей. Вместо потолка — звёздное небо. Крыша обвалилась. Бессознательно щёлкнула выключателем. Тьма не рассеялась. Она усмехнулась: электричество умерло, как и всё остальное. Петля тоски быстро и бесповоротно затянулась на горле, и, чтобы не задохнуться, она позвала:

— Эй! Есть кто-нибудь?

Даже эхо не ответило. Женщина, поднимая ноги, будто шла по болоту и искала безопасную кочку, куда наступить, пошла по коридору. Дверь налево, дверь направо. Много комнат. Интересно, эта квартира для одной семьи, или тут жило много людей? Распахнутые двери кладовок, подсобок. На полу валялись велосипеды, колёса, старые телефоны, клубки медной проволоки. Лопаты. Грабли. Вёдра. Компьютеры. Погасшие экраны стеклянно отсвечивали, отражая старую мебель, сухие цветы, луну в окне. На боку лежал старинный латунный чайник, рядом с ним электрический. Руди, исполняя внезапное желание, вошла в открытую дверь и оказалась в комнате.

И оступилась, и чуть не упала.

Наклонилась. Под ногами валялась игрушка. Огромный белый плюшевый заяц. Она взяла зайца в руки. Подбросила в воздух. Поймала — так ловят, подбрасывая, ребёнка. Прижала к груди. Ей показалось — заяц жалобно пискнул. Она ещё раз крепко сжала игрушку в руках. Заяц молчал. Со вздохом Руди посадила зайца в кресло.

Огляделась. Она стояла посреди детской, полной разбросанных там и сям игрушек. На ковре лежали пластмассовые жирные гуси и резиновые гусеницы. Толстый и весёлый кот в сапогах восседал на пианино. На диване сидели, валились друг на друга матрёшки и ваньки-встаньки,

утёнок Доналд и длинношеие жирафы, королевны и королевишны в атласных платьях с кружевами, Дюймовочка и синьор Помидор, Питер Пэн и Мэри Поппинс. В углу торчала детская коляска, вся обвешанная разноцветными погремушками.

Женщина сделала шаг к пианино. Откинула крышку. Блеснули клавиши: белые—желто, мирно, медово, чёрные—дегтярно, угольно, угрожающе. Руди подняла руку и осторожно, нежно положила на клавиатуру. Потом её палец скользнул вниз. Она нажала клавишу и стала слушать, как рождается, потом гаснет тонкий, огненный звук в холодной ночи, в доме без потолка и без крыши; как он умирает, уходит, прощается с ней.

— Прощай,—сказала она звуку и другой извлекать не стала.

Опустила голову. Увидела у себя под ногами ещё одну игрушку.

Белка. Рыжая бархатная белочка с корзинкой, полной матерчатых орешков.

Наклонилась. Подняла белку с пола. Заглянула ей в чёрные бусины-глаза. Игрушка и человек с минуту смотрели друг на друга, и человек не выдержал первым. Руди уткнулась лицом в бархатную нежную белку. Она пахла забытыми женскими духами, забытой манной кашей, пылью и детским киселём.

Руди целовала белку, осыпала поцелуями и плакала. Она так плакала, как никогда в жизни; впервые плакала светлыми, ясными, настоящими слезами после прихода смерти. Прижимала тряпичную белочку к груди, обнимала—так горячо обнимают только живое дитя, живую мать.

Она обнимала и целовала, касаясь истлевшего, выцветшего бархата горячими губами, всех тех, кто жил когда-то тут, кто ушёл отсюда—вмиг или постепенно, без мук или страдая, теперь уже никто не узнает. Всех детей—и только одного ребёнка, кто нянчил эту белку на груди, кормил её манной кашей из своей ложки, укладывал с собой спать.

И вдруг ей губы обожгла боль. Она отпрянула. Отодвинула игрушку от себя. Из потёртого бархата высовывалась острая швейная игла. Возможно, белку уже использовали как держатель для иголок. А может, бабушка по нечаянности воткнула иглу, штопая внуку носочки, да так про неё и забыла.

По губам Руди, по подбородку текла кровь. Она вытерла её тыльной стороной ладони. Осторожно вынула иглу из белки. Воткнула в край ковра.

Игла пронзила белочкино сердце. И вот иглу вытащили. Теперь в сердце у милой игрушки рана. Она ещё чувствует. Она ещё живёт. А Руди?

Женщина улыбнулась уже спокойнее, встряхнула белку и поцеловала её в пуговичный нос. Выронила из рук на пол. Нагнулась, опять подняла.

— Белка,—сказала женщина игрушке,—ты не отпускаешь меня. Позволь мне переночевать у тебя в домике! Я тебя не стесню.

Она взяла белку на руки, укачивая, как сонного ребёнка, и, кажется, напевала ей колыбельную.

— Мы с тобой… вдвоём… очень весело… живём…

Так, с белкой на руках, она побрела по комнатам. Сначала не глядела по сторонам. Глядела под ноги.

Потом стала обводить глазами всё, что вставало вокруг.

Глобус. Ажурная мантилья на спинке кресла. Карта мира на стене. Старинный подсвечник на три свечи, а за ним—семисвечник, и огарок воткнут в центр. Свиной обгорелый хвост фитиля. Книжный шкаф. Разбитые стёкла. Книги вывалились, и вместе с книгами ноты, и ноты открыты, странные, длинные, как простыня, и сиеной жжёной оттиснуто на пожелтелой, как кожа старика, истончённой бумаге: «*Johann Sebastian Bach. Orgelwerke*». Чёрные муравьи нот расползались по нотоносцам, карабкались по скрипичным и басовым ключам, вылезали вон, за страницу, позли на паркет, на мусор, на пепел.

Руди присела на корточки. Крепко держа белку, вглядывалась в ноты. Когда-то её учили музыке. В другой жизни. А потом она умерла.

Она глядела, ноты ползли и плыли, вползали в пустые зрачки, и постепенно, такт за тактом, она начинала слышать внутри, под сердцем и под черепом одновременно, шевеление густых и нежных звуков. Тонко щебетали птицы. Ныла и плакала флейта. Басом пел старый печальный фагот, плелась вязь забытых вьюг и канувших во тьму метелей. Лилии снега расцветали и гасли. Мать укутывала ребёнка в серую козью шаль. Руди глубоко и прерывисто вздохнула, как после рыданий. Держала белку одной рукой, а другой гладила звучащую жёлтую старую простыню. Надо было перевернуть страницу, а она не могла.

И музыка угасла сама собой.

Женщина разогнула колени. Шла дальше по разбомблённому дому. Вещи обступали её. Гладильная доска, обшитая льняными полосками, и громоздкий утюг на ней. Из-под утюга до полу свешивается рубашка. Мужская чисто выстиранная рубаха в клетку. Ещё не выветрился фиалковый запах отдушки. За стёклами буфета сервиз. Небогатый, фаянсовый, со щербатыми тарелками и треснувшими чашками. Люди, кто жил здесь, любили застолья и не жалели посуду.

Одна из чашек на столе. Сбоку написано неумелой, самодельной кистью, масляной краской: «*Happy birthday to you*». Руди взяла чашку. Потыкала ею в морду белке:

— Пей, пей, дитя моё, чай горячий.

Колода карт. Бутылка вина. О, да тут их много. Целые и початые. Штук пять. Нет, шесть. Хорошее красное вино; судя по этикеткам, французское и аргентинское.

Женщина протянула руку. Бутылка сама скользнула в неё. Она пила долго, запрокинув голову.

Оторвала горлышко от губ с растерянной, сладкой усмешкой.
— Если есть выпивка, то есть и закуска.

Ноги сами выбирали дорогу. Перешагивали через кирпичную крошку и обнажённые трубы. Кухня, и полотенца на гвоздях, и распахнут шкаф, как взрезанный хирургом беззащитный живот. Руди хлопала дверцами шкафов, вслепую вела ладонью по полкам. Ничего. Ни пакета. Ни коробки. Ни мешка с крупой. Ни банки. Ни старого подсолнечного масла в немытой бутыли.
— Вино есть, а жратвы нет. Плохо дело, белка. Мне нечем тебя покормить.

Вела, вела глазами вверх и вбок.
— Как ты уснёшь голодная? Ведь не уснёшь же.

Наткнулась глазами на подоконник.

Под подоконником тоже шкаф. Он закрыт. Намертво? А может, это тайный подземный ход?
— Белочка, ты хочешь сказку? Я расскажу тебе сказку.

Женщина рванула ручку на себя.

И прямо ей на босые ноги вывалились коробки и банки, кульки и свёртки, о которых она несбыточно мечтала.
— О, вот это да…

Она посадила белку на подоконник.
— Сиди, зверёк! Поглядим на богатство!

Села на пол и стала подгребать к себе то, что продлевало ей жизнь.

Никому не нужную жизнь, и ей не нужную тоже; но при виде еды у неё потекли слюнки, и улыбка радости и благодарности покривила голодный рот, и, подмигнув белке, она выкрикнула:
— Сейчас! Быстро всё откроем! Нет проблем!

Консервный нож сам упал в руки с края стола. Белка пристально, холодно глядела, как дрожащая от жадности, голода и счастья женщина втыкает нож в серебристую жесть и кромсает её, режет, вспарывает, как брюхо толстокожей акулы.

Она глядела, как женщина, выковыривая из банки пальцами рыбье мясо в томатной подливке, жадно, давясь, ест, запихивая в рот всё новые и новые куски, блаженно жмурясь, урча и постанывая, шумно выдыхая, и опять запускает пальцы в красный соус, и облизывает их, плача и смеясь, и рыба падает у неё из рук на пол, пачкая ей завёрнутые до колен джинсы и брезентовую куртку, и валится на голую лодыжку, и падает возле босой ступни, и женщина, ахнув жалостливо, нагибается, поднимает уроненный на паркет красный кусок и отправляет в рот, и жуёт, и снова щурится, как от солнца.

А вокруг ночь, и звёзды на небе, в проёме разбитого взрывом потолка.

Белка терпеливо глядела, как женщина ест. Она дождалась, пока Руди наестся вдоволь.

Женщина поставила пустую банку на подоконник. Обрезала жестью палец. Слизнула кровь.
— Ох, я нечаянно. Воды нет, белка? Запьём вином.

Поднялась, шатаясь.
— А тебя-то я не накормила! Ах, какая плохая мамочка…

Открыла ещё одну банку. Кровь текла по запястьям, по наклейке: «*Золотая кукуруза*». И кукурузу ела пальцами, мурлыкая; и брала зёрна, и совала в бархатный ротик белки, насыщая её, угощая, приговаривая:
— Ешь ты, ешь, на том свете-то не дадут, а здесь нам повезло.

Жёлтый старый бархат пачкался кукурузным соком. Руди щедро натолкала кукурузных зёрен в картонную корзинку, рядом с тряпичными орехами.
— А где же твоё спасибо? Ах, уже сказала?!

Погладила белку между ушей. Подёргала за хвост. Сунула под куртку, за пазуху. Прошла в ту комнату, где она пила вино. Вина нигде не было. Ни там, ни сям.
— Что за чёрт! Не приснилось же! Я даже опьянела!

Ни одной бутылки. Ни полной; ни початой.

Мороз пробежал по коже. А может, это ледяной ветер дунул в руины.

Руди наклонялась, швыряла ноты, бросала мячи и мясорубки, расшвыривала подсвечники и клубки шерсти, журналы и кофты, портфели и ползунки. Вино исчезло! Вина не было больше.
— И не будет больше никогда,— сказала она себе и белке.

Некогда было думать, кто его взял. Она остановилась посреди комнаты и закрыла глаза. Вещи стали кружиться вокруг неё, водили хоровод, как вокруг ёлки. Она и была ёлка, и золотая звезда у ёлки на макушке, и дитя под ёлкой, и всё это было до войны, и вот оно, такое любимое Рождество, и она сама лепит свечки из душистого воска, и заливисто смеётся: «Папочка, давай повесим на ёлку настоящую рыбку, ну, которую ты поймал в ручье!» — а мать ворчит: рыба протухнет и завоняет, никто не вешает на ёлку ни рыбу, ни мясо,— и подходит на кухне огромный, величиной с дачный стол, пирог с вареньем, и вот чёрная ёлка тянет к ней растопыренные колючие грозные лапы, а они на деле нежные и мягкие, как мамины руки, и вот они с папой осторожно подкрадываются к этим тяжёлым чёрно-зелёным лапам и навешивают на них ослепительные шары и звонкие бубенчики, накручивают медную проволоку, на конце её то картонный подосиновик, то стеклянный фонарик, пристёгивают плоских картонных медведей и ежей, а вот золотые часы, они показывают двенадцатый час, скоро Новый год, он уже идёт, и что он с собой несёт? — а вот домик, заснежена крыша, посыпана зеркальной крошкой, колкими блёстками, а вот шишка, она топырит чешую, она разбрасывает по гостиной золотые и серебряные орехи, такую шишечку надо на видное место, чтобы все гости

её видели, чтобы все восхищались, чтобы все её трогали, все ей завидовали, все её… любили… все…

— Белка, спляшем?

Руди взяла белку за передние лапки и стала с нею танцевать.

Женщина наклонялась то вправо, то влево; приседала и вскакивала; крутилась на цыпочках, и белка крутилась на её вытянутых руках, и женщина хохотала, танцуя с игрушкой в разрушенном навеки доме. Хохот переходил в издёвку, потом в плач, потом в крик. Она поскользнулась на пыльном паркете и упала, и белка вырвалась из её рук и тоже упала, откатилась в угол.

Белка сломала лапку.

Лапка осталась в руке Руди.

Руди глядела на оторванную картонную лапку, обтянутую дырявым бархатом, и не могла дышать—рыдания забили ей бронхи.

— О… а-о-о-о-о…

На ладони, одинокую и крошечную, она поднесла лапку к глазам. Рассматривала. Маленькая и изогнутая. Как зародыш в утробе матери.

— Зародыш. Червячок. Белочка, ты теперь калека.

Она поползла по полу к лежащей в углу, среди пыльного хлама, белке.

Нащупала её. Из дыры на месте отодранной руки сыпались опилки.

— Дитятко моё… Это всё из-за меня. Прости меня. Прости мамочку.

Вытирала мокрое лицо, обильные слёзы о бархатный беличий хвост.

— Я тебя вылечу. Ты будешь как прежде. Как новенькая. Сейчас… сейчас. Ты поверь мне. Мамочка может всё. Всё.

Где та комната, с ковром? А может, и ковёр исчез так же, как вино?

Слепая от слёз, она шла, ощупывая стены руками: нет под ладонью мягкого, ворсистого, нет ковра. Кто его сдёрнул? Время?

А может, она у себя дома, а дом есть, а её нет?

А может, наоборот: она есть, а дом только приснился?

— Эй, дом. Ты снишься мне? Ах ты, подлец. Я-то тебе не снюсь. Ковёр, вернись! Прилети обратно! И мы с белкой сядем на тебя… и тогда уже взвейся… покинь эти развалины…

Дом услышал её. Подсунул ей под руку ковёр. Она погладила ворс. Белка и лапка лежали у неё на груди, под рубахой. Она нащупала воткнутую в ковёр иголку, вытащила нитку из кисти скатерти. Села, скрестив ноги, на продавленный диван. Пружины жалобно пропели новогоднюю песню.

Она мать, и она ёлка; она девочка, и она белка; она старуха, и она иголка; она клубок, и время разматывает её, и тянется нитка, и не хочет кончаться и рваться.

Повертела в руках лапку. Вздёрнула иглу вверх.

— Что, моя родная? Придётся потерпеть. Больно, я знаю. Но ничего не поделаешь.

Положила белку на колени, дырка в туловище зияла, опилки сыпались золотым и грязным зерном. Пришивала лапу, коротко и жёстко втыкая иглу в тусклый бархат; а потом вдруг, спохватившись, не вонзала её наотмашь, а вводила в ткань бережно и боязливо, шепча:

— Ну всё, всё… тише, тише… совсем немного осталось…

Стежок за стежком. Петля за петлёй. Туго стянуть. Ещё шов наложить. Ещё и ещё. Рана затягивается. Время рубцуется. Смерть зарастает. Игрушка рождается. Её надо полить мёртвой водой. И не будет видно грубого нитяного шва. Потом побрызгать водою живой. И что будет?

А ничего. Останется бархат, и картон, и суровая нить.

Но белка, белка откроет глаза. И улыбнётся ей.

— Всё! Лапка твоя живая!

Руди взяла пришитую лапу и помахала ею сама себе.

Нет, это белка махала ей. Она махала ей сама.

И это белка сама потянулась к ней, вытянула мордочку, ища носом и ртом её щёку; сама толкнула её лапами, сама взобралась ей на грудь, сама уткнулась холодным носиком ей в шею; и она прижимала белку к себе, всхлипывая, снова и снова целуя её, обливая слезами.

— Вот ты и здорова, дитятко. Здорова и цела. Всё как прежде.

«Всё как прежде уже не будет. Но она не должна знать этого».

И белка благодарно обнимала её лапками, и ласкала её взмахами тёплого хвоста, и тепло, сопя, дышала ей в сгиб шеи за ухом, под спутанными волосами.

И тут в сохранившееся оконное стекло стукнули.

Руди повернула заплаканное лицо к окну.

Стук раздался ещё раз.

Она, крепко сжимая белку в объятиях, вскочила и прижалась спиной к стене.

И ещё раз.

Она медленно двигалась вдоль стены, прижимаясь к ковру, пытаясь вжаться всеми костями в тёплый длинный ворс.

Стук!

Эхо страха в ушах.

— Кто здесь?

Беззвучный шёпот. Ты спрашиваешь самоё себя. Тот, кто за окном, не услышит тебя.

Только теперь она поняла, как замёрзла. Выпитое вино согрело её на час. Но в доме и на улице стоял одинаковый мороз, и у Руди стучали зубы громче заоконного стука.

Шорох. Странный шорох.

«Как жаль, нет оружия».

Она впервые подумала о том, как хорошо бы иметь пистолет в кармане.

— Белочка, на нас сейчас нападут…

Спрятала лицо в беличьем брюшке, под лапками.

Теперь белка была её матерью, утешала и охраняла её.

Белка стала огромной, а Руди стала очень маленькой. Меньше иголки, которой она пришивала красную лапку к красному тельцу.

Стук повторился. Руди до хруста в позвонках повернула голову, пытаясь разглядеть, кто стоит там, за окном. Бросает снежки? Палкой стучит?

Если бросит камень—попадёт ей в висок.

Внезапно женщине стало всё равно. Страх исчез так же внезапно, как появился. С белкой в руках она, не таясь, подошла к окну. Отбросила занавесь. Из тёмной комнаты хорошо было видно улицу. Поблёскивала изморозью дорога. Облепленные синим инеем ветви мотались на ветру.

Ветки. Голые ветки.

Ветки в сиротских шубенках инея.

Ветки в королевском белом горностае.

Ветки, они же живые, это они молотят воздух кулаками, бьют в стёкла голыми руками, рёбрами зимних ладоней. Господи, ветки!

Ветер опять налетел, сорвал дверь с петель, вырвал деревянную руку из инистой шубы, и тяжёлая чёрная ветка снова ударила в стекло. По стеклу пошла трещина. На этот раз оно разбилось. В комнату посыпались осколки. И ветер вошёл в рваную рану свободно и счастливо, и заплясал в комнате, вокруг застывшей у окна Руди.

Ей в глаза сверкнула молния. Какая молния зимой?

Она наклонилась, всматривалась, чуть не оцарапала щёку зазубринами разбитого стекла.

Прямо перед окном лежало тело.

Маленькое тельце.

Человек. Мальчик. Маленький.

Живой? Мёртвый?

— Господи, сделай так, чтобы живой…

Молнией, разрезавшей ночь, была железная заколка на его вязаной шапке-конфедератке.

С белкой в руках она ринулась вон из дома. Ледяной ветер обжёг ей щёки, шею и лодыжки.

Вот он, близко, рядом, лежащий. Ледащий парнишка, худой, как вяленая рыба, кожа и кости. В одежде—ещё не раздели, да некому тут было раздеть, здесь и мародёры все померли один за другим. Женщина положила пальцы на шею мальчика, пытаясь расслышать биение крови. Пульса не было. Она раскутала ему грудь, прижалась ухом. Тело холодное; но это ничего не значит. Кажется, дышит! Или ей самой хочется так? В дом! Скорее в дом. Она укроет его тряпками. Завернёт в ковёр. Согреет. Она сама ляжет рядом с ним, обнимет его, будет дышать ему рот в рот!

Подхватила под мышки. Поволокла. Боже, живое тело, тельце, человечек. Пусть даже мёртвый; она его оживит. Оживила же она белку; оживит и его. Скорее, скорей! Там их ждёт на столе новогодний пирог, с таким сладким и вкусным вареньем, какого не едал никто и никогда в жизни; там жареная рыба из ручья, наверное, это форель, там плюшки с сахарной пудрой и рождественский гусь с чесноком; мальчик будет есть все эти чудесные яства, жадно грызть, сосать, глотать, а она, весело смеясь, нальёт им в бокалы изумительного красного аргентинского вина. С Новым годом, цыплёнок, с новым счастьем! Смотри, какая у меня белочка за пазухой! Ах, чёрт, вернее, ах, Господи, она уже выпрыгнула мне на плечо!

Коготочками в кожу вцепилась!

— Потерпи… сейчас…

Перевалила через порог. Поднимала по лестнице. Взяла его под колени и под спину; тяжело, да ноша своя, ах, найдёныш, ты только оживи, не обмани.

Шапка упала на ступени. Руди наступила на неё ногой.

Поднесла к дивану. Опустила. Звякнули, пропели, весело и празднично прозвенели пружины.

— Ну вот мы и дома!

Лежал. Молчал. Задрал лицо. Бледное, голубое. Чёрные круги вокруг глаз. Синий нос. Синие пятна на щеках.

Она трогала его скулы, холодный лоб, виски кончиками пальцев, пытаясь ощутить тепло. Пальцы немели и застывали. Белка упала с её плеча пальчику на грудь. Раскинула лапки. Распушила хвост. Укрыла мальчишку теплом, сладостью, бархатом, запахом мандаринов, орехов и хвои.

Руди всё гладила, гладила мальчика по лицу, по груди, по рукам.

— Открой глазки… открой…

Не открывал. Её будто кто толкнул в спину. Она полетела вперёд, свалилась на диван, охнула, угнездилась поудобнее.

Легла рядом с ним.

И робко, тихонько, страшась, ласково, тайно обняла его.

…Руди встала на колени перед диваном. Прислонилась горячей головой к ледяному, усопшему, немому и глухому тельцу.

— Спишь? Спишь…

У неё закружилась голова. Вещи вновь пошли вокруг ёлки весёлым хороводом. Она села на диван, приподняла мальчонку, прижала к себе, взгромоздила на колени. Холодная голова легла Руди на грудь. Ледяное ухо обжигало ключицу. Она стала качать мальчика на руках, баюкать, нянчить, припевать. Губы сами находили сонный, древний мотив. Губы лепили рождественское тесто радости, прощались с обретённым, благословляли невозвратное.

— Баю-бай, баю-бай! Поскорее засыпай… Все котята спят, и мышата спят… все ежата спят… все козлята спят… Только белочка не спит, белка шишки шелушит… Быстро шишки шелушит… сядет, хвостик распушит…

Женщина пела мёртвому ребёнку колыбельную, пела посреди пустой ночи, в доме без потолка, насквозь продуваемом северным ветром.

— Баю-бай! Баю-бай… Ты печаль не вспоминай… Только счастье вспоминай… баю, баю, баю-бай…

Тяжёлая головка давила ей на плечо. Падала, катилась, скатывалась вниз. Она крепче подхватывала мальчика, сильней прижимала к себе. Слёзы текли по её лицу и капали на ледяное лицо умершего.

— Баю-бай! Баю-бай! Попадёшь ты прямо в рай! Прямо в дивный, светлый рай… Там живи, не умирай…

Она закинула шею. Поглядела на россыпь иглистых звёзд в зените. Сквозь руины хорошо просматривалось ясное, холодное сине-смоляное небо, усыпанное яркими равнодушными звёздами. Звёзды ничего не знают, что тут у нас случилось. А Бог — знает? Есть он, Бог?

— Ты живи… не умирай…

Тихо, очень тихо стала укладывать парнишку на диван. Он послушно соскользнул с её рук, как живой. Она встала и постояла над телом минуту, две. Она не знала, как надо правильно молиться при покойнике. Прошептала первое, что в голову пришло:

— Спи с миром, сынок…

Огляделась в поисках лопаты.

«Скорей всего, в кладовой. В подсобке; в прихожей».

Переставляя негнущиеся ноги, побрела по комнатам.

Шкафы мерцали корешками книг. Иные книги на полу валялись. Локтем задела книгу. Она упала на пол. Из неё заскользили, вывалились наружу фотографии. Старые фото. Женщина наклонилась. Фотографии, голубые и коричневые, призрачно светились. На одной она узнала мальчика. Он стоял в бархатной курточке с кружевным воротником. Как девочка.

Слабые пальцы подхватили с пола снимок. Заткнули за пазуху.

«Зачем он тебе? Низачем. На память? А разве у тебя есть память?»

В коридоре чернел черенок лопаты. Она не удивилась, не обрадовалась. Просто знала: ей помогут, всё покажут.

«Как же я буду рыть эту землю? Эту мёрзлую, слишком твёрдую землю… Прямо сейчас?»

С лопатой в руках она направилась обратно в гостиную, где на диване лежал мертвец. Пока шла, обернула лицо к странно, кроваво мелькнувшему во мраке блику.

Перед ней на голом деревянном столе стояли бутылки потерянного вина.

Все бутылки, до единой.

И, кажется, прибавились ещё две, а может, и три.

А может, она их раньше не заметила.

— Вино, — сказала Руди и протянула к вину руки, как к живому человеку, — на радость нам дано…

Приставила лопату к стене. Подошла и обняла ладонями бутыль, где на этикетке было написано по-испански. Вынула торчащую пробку. Пила из горлышка, не торопясь, смакуя, наслаждаясь, то нюхая густой и пряный аромат, то опять приближая губы к тёмному стеклу. Когда вино внезапно кончилось, она изумлённо разглядывала пустую бутылку.

— А чем же я угощу моего мальчика? Моего золотого мальчика…

Взяла со стола другую початую бутыль. Вошла с нею в гостиную, как с чёрной толстой свечой. А, свечи! Где они? А вот они! Она подожгла огарки зажигалкой. Языки огня рванулись, лизнули тьму, комната озарилась весёлым светом. Праздник, какой праздник сегодня! Смерть — это тоже праздник. Ничего не видеть, не слышать, не жить — вот истинный праздник. Сынок отмучился. Он в ином царстве. Но напоследок…

Женщина наклонила бутылку над ладонью и плеснула в ладонь немного густо-алого вина. Поднесла черпак ладони к немому мёртвому рту. Вино лилось мальчику на губы, на щёки и подбородок, и Руди тихо смеялась: он пьёт, он пьёт!

«Сегодня Рождество. Наше Рождество. Ты умер в Рождество — значит, ты родился».

Она вытерла красную винную ладонь о лоб мертвеца. У неё было чувство, будто бы она его крестила. Лопата молча ждала, подпирая разбитую стену. Руди взяла лежащую лапками кверху на диване, починенную ею белку, подбросила её в воздух, поймала и осторожно положила на грудь мальчику. Потом положила на белку, одну на другую, его тоненькие ледяные ручки. Будто бы он её обнимал.

В комнате пахло сладким вином. Запах быстро улетучивался, улетал на волю из разбитой каменной клетки. Женщина понюхала руку, испачканную в вине. Лизнула её. Закрыла глаза. Стоя с закрытыми глазами, она услышала голос. Будто бы немой мальчишка медленно, по слогам, говорил ей: *«Слушай себя. Послушай себя. Всегда слушай себя»*.

Она вытерла мокрую руку о штопаные джинсы и присела на краешек дивана, слушая себя. Не открывала глаз. Зачем он ей так сказал? И как она его услышала?

Бутыль на столе. Пробка скатилась на пол. Бархатная белка спит в шалаше мёртвых детских ручонок. Она, живая ёлка, — посреди гостиной,

как посреди прошлого. Надо слушать себя. Прислушаться к себе. Что творится внутри неё? Разве можно это узнать? Разве можно слышать ток своей крови? Боль души?

Она плотнее сомкнула веки и стала слушать. Кровь шла в ней медленным ходом, величественным круговоротом столетий. Она ощутила себя очень старой; такой старой, что память её — и та истончилась, превратилась в морозную звёздную паутину на пронизывающем ветру. А потом вдруг — маленькой, крохой, сестрёнкой почившего паренька; волосы заплетены в две тугие косички, щёки румяные, пышная накрахмаленная юбка не скрывает смешных кружевных штанишек. В одной руке кусок пирога, в другой горит тонкая свечка. Её надо приклеить, прикрутить к колючей еловой ветке. Девочка кусает пирог, по подбородку течёт варенье. Мать подскакивает и вытирает ей лицо кухонным полотенцем.

А потом внутри неё бьёт колокол, бьёт часто, бьёт тревогу: раз, другой, третий. И кровь быстрее течёт по жилам. Теперь она хорошо слышит её ток. В крови, как и на реке, бывает ледоход. Всю зиму она скована льдом ужаса и боли. И вдруг — жизнь! И ломается, трескается лёд, и кровь, освобождённая, плывёт, вольно идёт, счастливо, мощно течёт, омывая то, чего ещё нет и что уже есть, — лаская красными струями то, что внутри, но будет снаружи, невзирая на смерть, царящую вовне, не думая о жизнях, что ушли и уходят навек.

Лишь одну жизнь река крови держит на ладони, одну малую лодку несёт в океан. Почувствуй её. Ощути её вкус на языке. Услышь её дрожь в глубине, откуда в гибель нет возврата.

Руди прислушалась к ходу крови внутри себя и вздрогнула.

Она поняла, что кровь не выходила из неё на свободу уже долгое время.

Кровь целовала внутри неё того, кто уже жил; кого она не звала, а вот он пришёл.

И женщина протянула руку, не открывая глаз, пахнущей кровавым вином рукой коснулась распахнутых век мальчика и закрыла ему глаза.

Месяц третий

Рыба

Гибкое гладкое тело обтекала синяя, перламутровая вода. Раздувались жабры.

Вода и рыба, единое целое. Вода плавно перетекала в рыбу, принимала её формы. Плавники, и хвост, и серебрящееся, там и здесь загорающееся жёлтыми и голубыми огнями чешуи счастливое тело. Оно поёт, оно плывёт. И так же незаметно, играючи опять становится водой; растворяется в ней; искрится; гаснет.

На теневой стороне водяного шара рыбы уже нет. Спряталась. Не найдёшь.

Так бывшее становится ничем. А потом из ничего, при новом повороте дрожащего водного шара, возникает будущее.

Рыба плыла, неся в брюхе прошлое и будущее. Она плыла в настоящем, пронзая тупым наконечником серебряной головы грядущее, ударяя хвостом в ушедшее. То, что было вчера, забылось. Пусть это помнит рыбья кровь. Жабры вбирают и выплёскивают воду, жабры дышат водой, и водой насыщено всё драгоценное тело рыбы: она есть вода, а у воды есть память, а память текуча, она течёт и омывает всё сущее.

Иногда рыба недвижно вставала в тихой заводи. Она вставала и засыпала, слегка покачиваясь, чуть пошевеливая прозрачным веером хвоста. Она спала и слушала время воды. Вода медленно, неуклонно обтекала рыбьи бока, обводила вокруг рыбы круг, сжимала рыбу в кольцо; потом кольцо разрывалось, и вода с озорным журчанием убегала, утекала прочь — с тем, чтобы, испугавшись разлуки, внезапно повернуть, вернуться, обхватить, обнять.

Вечность воды, в которой жила рыба, не подлежала сомнению. Рыба каждой чешуйкой знала: она не умрёт никогда, и вода тоже не умрёт. Они обе царствуют, владычат.

Самой большой драгоценностью в рыбьем теле были жабры.

Жабры дрожали. Жабры алели. Жабры жадно глотали воду. Жабры вымывали вон из тела рыбы всё, что мешало ей жить и плыть. Жабры ловили, не пуская внутрь рыбы, то, что могло ей навредить. Жабры стояли на страже, и рыба горделиво поднимала и опускала их: так радостно дышала она.

Рыба могла знать, что будет, наперёд. В её теле зарождалась искра предзнания. Предчувствие сбывалось, и рыба открывала рот с золотыми пылинками зубов, пытаясь улыбнуться сама себе.

Она предвидела, что сейчас ей станет тепло; и становилось тепло. Она чуяла: вот наступает страх и голод, и сегодня вода не даст ей еды и питья, остынет и замрёт, превратится в солёные слёзы. Так и происходило.

Рыба дрожала от знания будущего; так в ней просыпалась интуиция, главный её праздник.

Чувство будущего оживало одновременно с пробуждением дыхания.

Вдох, глоток воды — рыба видит, что будет. Поток воды сквозь жгучие жабры — она слышит, что надвигается. Ритм дыхания странно совпадал с ритмикой видения. Рыба пыталась на миг остановить дыханье и перестать чуять время; ей это не удалось. Она сомкнула жабры и сложила плавники, закрыла глаза и стала ждать. И её сразу обняла такая беспросветная тьма, что в ужасе она распахнула круглые красно-серебряные глаза, разинула рот, и ей казалось, она громко кричала.

Крик поглощала беззвучная вода, смеясь над ней.

Она продолжала сосать жабрами воду. Вода из голубой становилась красной. Круглые, вытаращенные рыбьи глаза улавливали смену цвета. А может, вода просто играла с ней?

Рыба тоже играла с водой. Красная вода подбрасывала вверх серебряную рыбу; рыба, блеснув под струёй выгибом бока, переворачивалась вверх брюхом, взмывала головой вверх, изгибала спину, раскидывала вокруг тела алые весёлые плавники.

«Я—кровь,—шептала вода, вливаясь рыбе в жабры и в рот,—я твоя вечная кровь».

Плод

Он сжался в комок, потом разогнул спину, перевернулся и вытянул вперёд крошечную руку.

Плод впервые протянул ладонь.

Кому? Он знал только сладко-солёную родную воду вокруг.

Он ждал: может быть, кто-то Большой и Любящий положит ему в голую просящую ладошку самое дорогое.

Самым дорогим был сегодня он сам для себя.

Нет, ещё красные заросли, густые и тёплые водоросли плаценты, в которой он спал, где укрывался от первого горя и первых слёз.

Плод подержал перед грудью протянутую руку, потом плавно согнул, поднёс к личику, медленно-медленно засунул палец в открытый рот и стал сосать.

Что потревожило его? Что подплыло к нему незаметно и укололо его руку?

Он вынул палец изо рта, отдёрнул руку от невидимой иглы и раскрыл рот, бесслышно крича под водой.

Он кричал от боли.

Первая боль. Она слишком сильная.

Но там, внутри нежного водного шара, она забывается быстро и навек.

Плод испытал боль, и в первое мгновенье он не чувствовал ничего, кроме боли. Он сам весь стал сгустком боли, и судорога выкрутила его тельце, он скрестил руки и ноги, а потом неистово, разом их разогнул, выгнул позвоночник, закинул шею.

Боль ещё немного подержала его в безжалостном кулаке и отпустила. Он весь обмяк, руки и ноги болтались в воде не хуже длинных листьев кровавой плаценты.

Ещё через миг боль ушла, и он забыл о ней.

Конечности согнулись и разбросались вокруг тела, танцуя сонный танец. То мужское, что уже возвышалось внизу его круглого животика, тоже попыталось восстать; красный малёк хотел плыть, но был крепко привязан к причалу. Веки закрытых глаз дрогнули. Плод мог видеть всё с закрытыми глазами. На смуглой грудке явственно обозначились соски.

Он плыл внутри матки, скрючивая ножки и низко опуская голову к согнутым коленям. Будто сидел на корточках—и вот-вот встанет и побежит. Он наливался силой, спал и опять просыпался, спал наяву, и он уже мог чувствовать воду, какою дышал, на вкус. Мог знать, какой у воды аромат, когда вдохнёшь её.

Он сладко и глубоко дышал водой, и вода пахла лучше всего, что он уже знал в мире.

А ещё он чувствовал, как далеко, извне, из мира, которого он ещё не знал, с ним разговаривают, и кто-то огромный, неведомый ласкает его дом, прозрачный шар, теплом, нежным далёким жаром.

Это мать клала руку на живот, шёпотом разговаривая с ним.

Он слышал шёпот; это бормотанье было ему дороже всего; он ждал этих минут, когда снаружи, сверху или снизу—всё равно, донесётся, дотечёт до него эта ласка, это дальнее, невозможное счастье. Шёпот вис над шаром и гас в колыханьях воды. Мать умолкала и плакала, держа на животе замёрзшую руку. А ладонь горела, источала любовь, и плод ловил эту любовь, раскрывая рот широко и жадно, глотая её вместе с водой.

И настал день, когда плод осознал эту любовь.

Купаясь в тепле, он осознал: его любят.

Кувыркаясь в воде, он понял: его ждут.

А синяя вода успокаивающе журчала вокруг него: не надо никуда стремиться, не надо делать усилий. Мир—это покой, а покой—это счастье. Лежи. Улыбайся. Плыви. Скрести ручки на крохотной груди. Превыше всего недвижность и расслабленность. Учись наслаждаться не борьбой, а смирением.

Но плод не хотел смиренья. Он хотел попробовать мир и на вкус крови, и на сраженье. Ещё не рождённый, он уже хотел воевать.

За что? Против чего? Ему было всё равно.

Он ударял всем телом в прозрачную решётку, пытаясь бороться за волю. Он вращал слепыми глазами, пытаясь биться за то, чтобы видеть.

Он поворачивал огромную голову на тонкой шее, чтобы наблюдать опасность здесь и там.

Но спокойная синяя вода колыхала его на тёплых волнах, и плод охватывало умиротворение: зачем сражаться и погибать, когда мир—это рай, если тебе поют медовые песни, кормят с серебряных ложек счастья, а спишь ты под сенью сплетённых алых сосудов, твоих первых незабвенных деревьев в любимом, нездешнем лесу?

…Ты понял: твоя мать не на земле, не в воздухе. Она в воде, и она плывёт, как и ты. Только вокруг неё вода холодная, и всё крепче сжимается вокруг

её плывущего тела ледяное кольцо, а вокруг паникующей души — тиски страха.

Ты не знал, не помнил этой воды. Ты не понимал, почему у тебя так трепещет сердце величиной с комара. Ты растерялся. Ты хотел ей помочь! Но для этого надо быть рядом с ней, на земле.

Не на берегу; в иной, чужой, без конца и краю, гибельной воде.

Ты протянул руку. Ты согнул ноги и больно ими толкался. Ты дёргался, выставив острые локти. Напрасно. Ты понял: та бесконечность, в которой ты жил, наслаждаясь, — всего лишь тюрьма.

Ты ничем не мог помочь своей тонущей матери, любимой.

Ты ничем не мог помочь себе.

Вы страдали, боролись и ужасались вместе.

И ты вспомнил, что там, далеко, на земле, есть смерть и что раньше, далеко и давно, ты умер.

Калека

Схваченная морозом, земля уже не отдавала тепло. Иней при восходе солнца не таял, больно и ослепительно сверкал, разрезая ножами зрачки, в белых, будто седых лучах. Белое, седое, старое солнце издали наблюдало землю, не сдюжившую тяжести человека. Человек уничтожил сам себя, а ужасаться содеянному было уже некому. И только иней белым трауром охватывал необъятный чёрный земной гроб, в последний раз украшая бедность и нищету, давая живым осознать последнюю красоту.

Ни ручья. Ни озера. Сухопутная местность; а может, Руди просто не видела за деревьями, за оградами и стенами домов, заводов, станций блеска воды. Минеральная вода и соки, захваченные ею из мёртвого дома, когда-нибудь закончились. Руди соскребала иней с карнизов домов, с водосточных труб, подносила к губам. Когда случался снегопад — она жадно, горстями, хватала снег и ела его, погружая в него лицо. Ей было всё равно, отравленный он или нет. Многое, что существовало в мире до смерти, сейчас теряло смысл.

Наступала ночь. Ночлег заставал её где угодно, и она смиренно принимала всё, что обнимало её, вставало кругом, наблюдало за ней из тьмы жёлтыми, белыми, красными глазами. Животные и птицы погибли не все; наоборот, они размножились, стали принимать невиданные формы и очертания, менять расцветку. Женщина вытаскивала из рюкзака чужой спальный мешок — он был ей как раз по росту, — заползала в него и завязывала тесёмки. Она боялась нападения, но только когда засыпала. Заснув, уже ничего не ощущала. Спала, мирно открыв рот и слегка похрапывая, и на её щеках и груди медленно появлялись, просвечивая изнутри, тёмные пигментные пятна.

Однажды она так спала, и рядом с ней появился чёрный кот. Он, понюхав воздух, осторожно, мягко подошёл, сел, шевеля ушами и вытянув передние лапы; потом лёг рядом с Руди, посматривая на неё косыми золотыми глазами. Его зрачки из чёрных становились изумрудными, фосфорными, из круглых вертикальными, и жёлтые кабошоны широко и косо стоящих глаз опаляли спящую женщину подземным диким огнём. Потом кот медленно, лениво смежил веки и положил голову на лапы. Он делал вид, что спал.

А ближе к утру взял и прыгнул Руди на живот.

И глубоко впустил когти в пуховую подкладку спальника.

Женщина пошевелилась и проснулась. Увидела кота у себя на животе. Хотела закричать, но было поздно: чёрный кот сидел у неё на животе так мирно, так по-домашнему, как в жизни, и она улыбнулась ему, выпростала руку из мешка, протянула её и погладила кота между ушей.

— Кис-кис. Ты чей?

Кот всячески дал ей понять, что теперь он её, боднул её круглой чёрной головой и громко замурлыкал.

Руди выпростала другую руку. Взяла кота за бакенбарды. Потискала. Подтащила поближе к подбородку. Не удержалась, поцеловала в чёрный нос.

— Ах ты, животяга. Сейчас встану, дам тебе пожрать. Ах ты, ещё ночь! Коты ночью не спят. А люди, гады, спят. Дрыхнут.

Она, не вылезая из спальника, дотянулась до рюкзака — он всегда был у неё под головой, — вытащила маленькую банку и в лунном свете рассмотрела надпись: «*Шпроты*».

— Ах, золотые шпроты, парчовые рыбки. Кот, тебе повезло.

Потянула за жестяную петлю, крышка открылась. Кот тёрся крутолобой башкой о плечо Руди и фырчал. Женщина схватила пальцами жирные шпроты и вывалила на заиндевелую землю рядом с собой.

— Лопай. Проголодался!

Кот поедал шпроты с диким урчанием, когтил их, как дичь. Руди умилённо глядела на трапезу.

Покосилась на банку. Ей бы хватило на завтрак. Как раз её обычная порция.

Кот поднял голову и облизнулся. На земле расплывалось жирное пятно.

Женщина пожала плечами и поставила банку перед мордой кота.

Съев все шпроты, он вылизал банку, поранил язык, мяукнул, потёр морду лапами, поймал зубами блоху в шерсти и опять прыгнул Руди на грудь. Она рассмеялась, схватила кота за шиворот и утолкала себе в спальник, под тёплую подкладку с гагачьим пухом.

— Грейся, грейся, дурачок.

Кот всё понял сразу. Весь обмяк, не прерывая благодарственной песни, отяжелел, навалился на Руди нагло и радостно, и она с удовольствием

ощущала мягкое, бархатное тело зверька на себе: передние лапы на груди, задние у неё на животе, усатая морда напротив её лица, пасть раскрыта, наружу торчит розовый узкий язык.

— Кот, до чего ты красивый. Загляденье.

Кот урчал, соглашаясь.

— Как же я буду звать тебя? Я не отпущу тебя.

Кот запел громче.

«Нам еды не хватит. Я умру раньше положенного срока. Потом умрёт кот».

Морозы усиливались. Женщина не знала, на север она шла или на юг; в этих краях зима могла быть суровой, а могла и мягкой — в иные года здесь курортники загорали на снегу. Ледяной ветер опахивал лицо, колол кожу иглами, крутил волосы Руди, выбивающиеся из-под старой лыжной шапки. Она, для сохранения тепла, обвязала куртку самодельным поясом — шерстяным шарфом.

Рюкзак легчал день ото дня. Кот теперь почти всё время сидел у Руди за пазухой. Женщина старалась выбирать для ночлега пустые дома. Она уже так привыкла к безлюдью, что перестала бояться. Страх ушёл, уступив место спокойному ожиданию.

А потом она и ждать перестала.

Просто раскладывала на пыльном полу, на кухне или в сенях, в нарядной, с хрустальными люстрами, гостиной или в захламлённом коридоре, свой спальник, залезала в него, клала на живот кота и засыпала.

…Она задрала перед зеркалом свитер и рубаху. Разглядывала живот. Такие же пятна расползались под рёбрами, у пупка. Она глубоко вздохнула. На колченогом топчане горой лежали пахнущие землёй подушки. Кот сидел у её ног. Он ждал завтрака.

Ударом ноги выбили дверь.

Руди не успела закрыть одеждой живот.

Так и стояла с задранной к подбородку рубахой.

— Руки вверх!

Она медленно подняла руки вверх, и её капустные тряпки радостно скользнули вниз.

— Ложись! На пол!

Она не исполнила приказание. Медленно повернулась к тому, кто кричал.

В проёме двери, у притолоки, стоял человек в чёрной кожаной куртке, в чёрных обтрёпанных джинсах и в чёрной балаклаве. Он наставлял на Руди автомат. Ствол в его руках, обтянутых перчатками с обрезанными пальцами, не дрожал.

За спиной Чёрного она увидела ещё головы в балаклавах. Одна, другая, третья. А вот без маски, с голой головой. Парень. Совсем молоденький. Подросток. Лет тринадцати.

Руди нашла глазами глаза парня. Серые, большие, ледяные. До краёв, как рюмки водки, полные страха.

— На пол! — опять завопил Чёрный и чиркнул по воздуху стволом.

Она и не думала ложиться.

— Стреляй, — негромко сказала, усмехаясь. — Только наверняка.

— Жить не хочешь?!

Она вздохнула. Парень без маски поедал её глазами.

— Нет.

— А зачем тогда живёшь?!

— Жалеешь, что меня не убили?

Чёрный оглянулся на свою банду. Сделал шаг к женщине. Наступил ногой на распластанный на полу спальник.

— Еда есть?!

Сам нашёл глазами рюкзак. Глаза в прорезях балаклавы блестели страхом и ненавистью, и ненависти было меньше, чем страха.

«Ребёнок. Боится. Почему я не боюсь?»

Она прислушалась к себе.

Неправда. Она боялась.

Впервые за много дней она по-настоящему испугалась.

Не за себя. За того, кто жил внутри неё.

Блестящие злые глаза обдавали её страхом, и страх быстро, стремительно рос в ней, заполнял её, как водка пустой стакан.

— Ты же видишь.

— А ещё есть ты!

«Они не станут со мной церемониться. И лишь после этого они меня убьют».

Пятеро молодых голодных парней. Они хотят еды и сношения. Жратвы и женщины. Жизни они хотят. И готовы заплатить за свою — чужой.

Чёрный страх заполнил Руди до отказа. Парень с автоматом подошёл ближе и упёр ствол ей в грудь.

Руди не смотрела Чёрному в обтянутое чёрной шерстью лицо. Не смотрела на автомат.

Она косилась в зеркало.

В зеркале отражалось разбитое окно. Окно без стекла.

Кот жался к её ногам.

— Снимай шмотки!

Чёрный больно ткнул её стволом, как копьём.

Она медленно взялась за воротник свитера. Стянула свитер.

Под свитером у неё была кофта на пуговицах. Она медленно расстегнула одну пуговицу, другую.

— Живей! Я хочу тебя голую!

Парни, стоявшие за спиной вожака, шагнули вперёд, в комнату, и молча стали складывать оружие на пол и расстёгивать ремни и ширинки.

Третья пуговица.

Она сначала лодыжками и икрами, потом бёдрами, потом всем телом почувствовала, как стал горячим и напряг все мышцы кот.

Четвёртая пуговица. Не дрожат пальцы.

— Что она возится?! Парни, давай!

Чёрный отбросил автомат на топчан. Первым шагнул к ней.

Кот прыгнул незаметно и молниеносно.

Чёрная молния мелькнула в пыльном воздухе.

В дверном проёме висел столб света и отражался в зеркале, и пыль весело летала, искрилась, как золотая мошкара.

Кот всеми четырьмя лапами вцепился в лицо Чёрного.

Чёрный кот. Чёрная балаклава. Чёрная кожа. Чёрная сталь. Чёрное зеркало, отражающее чёрный мир и золотую пыль.

Режущий внутренности визг взметнулся к потолку, пробил штукатурку и кирпич, разбил стёкла, вырвался наружу. Зеркало треснуло.

Зеркало отражало рвущийся чёрный флаг, раскромсанное мясо, дымящуюся кровь, оскаленные зубы, крючья когтей, шерсть бандитской шапки и шерсть зверя — и снова красное, чёрное, дымное, визжащее, белое, золотое.

Вожак упал на пол. Катался по полу. Пытался отодрать от себя кота. Кот вцепился мёртвой хваткой. Руди схватила с пола спальник, рюкзак и прыгнула на подоконник. Тот парень, без балаклавы, с голой головой, не смог, не успел вскинуть автомат. И не хотел. Зачарованно глядел, как женщина, нагруженная скарбом, бесстрашно ныряет в прогал светлого воздуха, в утреннее золото.

Земля оказалась странно близко. Ноги сами спружинили. Рюкзак вывалился из рук, она подхватила его и побежала. Так быстро она ещё не бегала никогда. Лёгкий спальник волочился за ней по земле, как королевский шлейф.

Мимо уха сухо просвистела пуля, другая. В неё стреляли. Мимо. Опять промазали.

Она бежала, хватая ртом ветер, и он был странно сырой, пах водой и водорослями.

Потом раздался ещё один выстрел. Внутри дома. Всё в ней сжалось в холодный комок. И плод, что жил в ней и рос, тоже сжался, сжал ручки и заплакал.

Она бежала и не плакала, ей важно было убежать, а плод трясся внутри неё, повторяя дрожью испуга ритм её бега, сжимал руки с запястьями тоньше иголки, с кулачками меньше брюшка муравья, и плакал о маленьком чёрном коте, что спас его мать, а сам погиб, бархатный зверёк, смертью храбрых, как солдат на войне.

Она, бредя по полю, нащупывала подошвами кочки, вставала на них, взмахивая руками, чтобы не упасть. Шла как по болоту. Гиря рюкзака перевешивала, и она то и дело отгибалась назад и еле удерживала равновесие. Далеко перед ней в морозной мгле — поле дышало, над ним вился пар, как над спящим животным, — замаячила возвышенность: может, стог, а может, мёртвый зверь.

Лодка. Старая лодка.

Сколоченная из выгнутых струганых досок, крепко склёпанная, просмолённая лодка. Огромная, размером с маленький сторожевой катер. Лежала вверх дном. Будто беременная рыбой, воздухом, ветром. Рыбацкая лодка, Господи, да!

— С ума сойти…

Женщина сделала шаг к лодке, споткнулась о ком земли и неловко грохнулась на бок. Инстинктивно придержала, защитила от удара живот.

Так лежала, с ладонями на животе.

И в ответ из-под перевёрнутой лодки раздалось глухое, рычащее:

— Что ж не сходишь? Сходи! На здоровье!

Руди привскочила. Поправила измазанными грязью руками лямки рюкзака. Встала на ноги. Сделала шаг назад. И ещё шаг. И ещё.

— Что пятишься?! — зверий рык заставил её приварить ноги к земле. — Только попробуй удрать!

«Я стою так глупо, неподвижно. Надо улыбнуться. Надо не бояться. Надо ответить. Надо… спросить…»

— А кто вы?

Лодка дрогнула. Из-под днища показался сначала обрубок ноги, завёрнутый в тряпьё. Потом другая нога, целая. Потом культя. Потом высунулась другая, здоровая рука. Потом за искалеченным торсом постепенно вылезали плечи, шея, борода, беззубый рот, крючковатый нос, острые гвозди глаз, морщинистый лоб, истёртая меховая ушанка.

Человек весь вылез из-под лодки. Он не вставал с земли. Он просто не мог встать. Он подполз к Руди, цепляясь за землю уцелевшей рукой, отталкиваясь здоровой ногой, и глядел на неё снизу вверх, как побитая цепная собака — скалясь, ненавидя, прося, умоляя.

Руди закусила губу. Её зрачки прыгали.

Уйти? Грубо пнуть? Пожалеть? Накормить? Остаться с ним тут, под лодкой?

— Что, не видишь, кто я?!

— Вы тут давно…

Он заорал, перебивая её.

— Я отброс! Я дерьмо!

— Хватит кричать! — завопила она, перекрывая его хриплый вопль. — Бойкий нашёлся! Молчи! У меня есть еда! Я угощу тебя!

Сморщенная щека дрогнула и поползла к скуле, собираясь в издевательские складки.

— Я сам тебя угощу!

Он подполз к лодке и запустил руку во тьму. Потянул на себя. Вытянул из-под днища мешок. Зубами и пальцами быстро, хищно развязал шнурки.

— Гляди! Чего тут у меня только нет! Твой жалкий рюкзак…

Руди глядела остановившимися глазами.

Из мешка на мёрзлую землю, на снег валились, вываливались невероятные, забытые богатства. Ананасы. Икра в жестяных банках. Разделанные жареные куры в вакуумных упаковках. Мороженая вишня в пакетах. Суши. Роллы. Морская капуста. Коричневые кишки копчёных колбасок, покрытые сизой сливовой плесенью. Вяленые

бананы. Солёная красная рыба. И, о Боже, давно просроченный, но такой настоящий шоколад—в фольге, в цветных обёртках: с орехами, с изюмом, с цедрой, с клюквой.

И сухари, сухари, этим сносу не будет, эти хоть век будут храниться, если, конечно, хорошо хранить,—маленькие, как ёжики, и громадные, как пироги, и сладкие, и солёные, и ржаные, и сдобные,—а чудесный мешок всё не кончался, всё так же извергал забытую жизнь из ветхих холщовых недр, и Руди сначала вдохнула, а потом выдохнула коротко и потрясённо:

— О!

Протянула руки к великолепию. Зажмурилась. Открыла глаза. Сон не кончался.

— Что?! Зацепило?!

Стальные гвозди светлых глаз вбивались в неё по шляпку.

— Бросай поклажу! Садись! Солнце к закату. Ужинать будем!

«А если эта еда у него вся отравленная? Откуда она?»

Он угадал её мысли. Согнул в локте единственную руку, подгрёб к себе банку икры. Красные зёрна просвечивали сквозь затянутое инеем стекло.

— Открывай. У тебя наверняка есть нож. У меня-то нет,—он хитро глянул на Руди.—Открываю зубами. Уже последние выпадают.

«Врёт? Правду говорит?»

Руди присела на холодную землю рядом с ним. Калека ухмыльнулся и передал ей банку. Она вынула консервный нож из кармана рюкзака и мгновенно, ловко открыла банку. Не удержалась. Лизнула икру языком. Окунула в неё палец и слизнула алые скользкие зёрна.

— Камчатская,—процедил калека.—Высшего качества. Видишь, какая крупная. Бери сухарь! Мажь икрой! Наворачивай!

На руке калеки, чуть выше волосатого запястья, синела татуировка: морской якорь.

«Бывший моряк? Несчастный. Теперь никаких кораблей. А может, на подлодке служил? А теперь под лодкой век коротает».

Руди пальцем вывалила из банки икру на любезно протянутый ей сухарь. Всунула в рот. У неё было чувство, что она обедает в лучшем, самом изысканном ресторане мира.

«Чёрт, как я хочу жрать. Нет, это он хочет!»

Тот, кто жил в ней, радостно шевельнулся в животе.

— Спасибо! Очень вкусно!

Рот набит, не расслышать бормотанья.

«Шевелится? Или мне только кажется?»

Калека, криво ощерясь, не вытаскивал из неё гвозди глаз. Она чувствовала себя распятой; и как будто кровь лилась из её пробитых ладоней и ступней на укрытую жёстким снегом одинокую землю.

— Я ж говорю, на здоровье!

Женщина прожевала кусок, проглотила и спросила:

— Кто ты? Откуда у тебя еда?

Мужичонка лёг на спину. Только сейчас Руди разглядела, что поверх толстого рабочего ватника у него надет чёрный морской бушлат. А под ватником проглядывают полосы тельняшки.

«Моряк. Или речник. Всё равно».

— Рядом вода?

Он, лёжа на спине, не сводил с неё глаз, и ей становилось не по себе. Морщился старый лоб. Морщились, надувались и опадали в жестоком смехе щёки. Кривились бледные синие губы. Крючились пальцы, хватая еду; калека клал сухарь прямо на снег, и вытряхивал из банки густую кровь икры, и подхватывал, и заталкивал в щербатый рот.

— Всё так тебе и расскажи!

— Но ты же моряк!

Она внезапно схватила его за ворот, сгребла в кулак тельняшку у него на груди.

— Эй, полегче на поворотах! Я тебе не кролик! И меня не зажаришь!

Он тоже сложил руку в кулак и внезапно остро, резко, больно ударил её в грудь.

Она упала. Теперь она лежала на спине и злобно глядела на него.

«Мы как две рыбы, выброшенные на берег. Только я могу вильнуть хвостом и уплыть. А он—нет».

Сухарь, намазанный икрой, выпал из её руки и валялся в грязи. Она смотрела на разбросанную по снегу икру, и быстрая слеза стекла у неё по переносице.

— Дьявол тебя задери.

— Тебя тоже.

— Ты сломала мне ужин.

— Ты мне тоже.

— Если будешь послушной…

— Да я тебя одной ногой раздавлю! Я не твоя вещь! И мне не приказывай! Калека!

Как только она выкрикнула: калека!—он, лежащий на снегу, дёрнулся, сжался и застыл. Не двигался. Лицо застыло и вытянулось. Лежал, задрав голову, внимательно глядел в небо, рассматривал серое сено туч, что ветер метал в громоздкие мрачные стога.

Молчание убивало её больше, чем его вопли. Она села. Пощупала свой живот. Подтянулась на руках поближе к старику. Положила ладонь ему на лоб. Лоб поплыл под её рукой холодным изобильным потом, горячей пергаментной кожей.

— Прости меня. Ну прости меня. Я не со зла. Все мы теперь такие злые.

Калека осклабился. Закрыл глаза. Ей стало легче: он больше не протыкал её зрачками насквозь.

— Кто это все? А разве есть все?

Руди вздохнула. Она не знала, что ответить.

— Есть. Наверное, есть. Где-нибудь.

— Дура! Есть только мы. И больше никого. Слышишь? Никого!

Ветер завывал высоко в небе и свистел у неё в ушах.

Она плотнее запахнулась в куртку. Застегнулась на все пуговицы. Надвинула на лоб меховой капюшон. Просунула руки под спину калеки.

— Я тебя подниму. Только не кусайся и не дерись.

Она помогла ему сесть. Косилась на обрубок ноги. От обрубка, неряшливо замотанного разорванным на полосы старым бельём—кальсонами и майкой, доносилась вонь, как от тухлой рыбы. Руди преодолела отвращенье. Она знала, что делать. Но важно было получить согласие человека.

— Сиди спокойно. Я обработаю тебе раны.

Он застыл и не двигался, будто его облили водой на морозе и он превратился в ледяную гору. Женщина поискала в рюкзаке и вытащила бутылку минеральной воды, потом пузырёк спирта и флакон с йодом. Как хорошо, что она в мёртвом доме прихватила с собой все потроха аптечки. Вот шприцы, вот хлористый кальций, вот аспирин и акулий жир. Вот обезболивающие таблетки, вот лекарства, останавливающие кровь; вот средства, разжижающие её. Кровь! Засыхая, она плохо пахнет. Как эти жалкие обрубки.

Он позволил стащить с себя бушлат и ватник. Руди осторожно обнажила его другую руку, вернее, то, что от неё осталось. Размотала самопальные бинты. Короста покрывала чудовищную рану; загноившееся мясо вздулось, мышцы мокли, кожа пыталась наступать на поле сраженья микробов, заживая вторичным натяжением.

Поверх тельняшки на потемнелой цепочке мотался жёлтый кружок.

«Медальон. А может, брегет. Часы. Чёрт разберёт».

— У нас нет таза. Я не могу обмыть тебе культю в тазу. Вытяни её. Я полью сначала водой. Потом будет спирт. Потом йод, потерпи. Хотя чёрт с тобой, можешь орать.

Он приподнял культю. Руку оторвало чуть выше локтя. Он был похож на недолепленного снеговика. Женщина поливала гниющую плоть водой.

«Проклятье, драгоценная вода. Мне нечего будет пить».

Отщипнула вату от аптечного рулона. Полила вату спиртом. Тщательно протирала воспалённые ткани, очищая от коросты. В морозном воздухе запахло спиртовыми парами.

— Дьявольщина! Как мандарином пахнет.

— Нюхай. Полезно.

— А Новый год-то прошёл? Или нет ещё?

— Спроси что-нибудь полегче.

Она схватила пузырёк с йодом. Хотела обмакнуть в него вату. Раздумала.

«Лучше, если я залью всю эту гадость йодом».

У тебя же больше не будет йода, сказала она себе. Ну и наплевать, себе же ответила.

Отодвинулась, чтобы не запачкать куртку и джинсы. Поливала рваную рану щедро, красиво, как художник, льющий краску на холст. Калека даже не поморщился. Сидел с застывшим, каменным лицом.

И только сжимал и разжимал пальцы на здоровой руке; и билась, билась синяя жила чуть повыше синего тату, изображающего якорь.

Руди зубами надорвала бинт. Заматывала культю живо, умело.

— Эй! А ты не медичка?

Хриплый голос резанул по ушам.

— Нет.

— Талант пропадает.

— Ногу давай.

Снег летел с небес. Руди укутала калеку снова в ватник и бушлат. Распотрошила тряпки, накрученные на обрубок ноги. Отнята чуть выше колена.

«Здесь дело хуже, чем на руке».

Она не знала, что такое гангрена; она её почувствовала.

«Вот бы отпилить мёртвое мясо. Отрубить. Откромсать».

У неё не было ни пилы, ни топора, ни ножа.

И она не была хирургом.

— Что?—проскрипел старик.—Дрянь дело?!

Женщина постаралась улыбнуться ему. У неё это получилось.

— Не совсем. У нас ещё остался йод. Он нам поможет.

Она утешающе говорила ему: нам, мы, нас,—соединяя их, двух сирот, обещая совместную жизнь и общую смерть.

«А может, у него всё-таки есть нож?»

— Эй, ты! Есть у тебя нож? Ну хотя бы кортик?

— Кортик! Аха-ха-ха-ха!

— Заткнись. Я всё поняла.

Она проделала с его ногой всё то же, что и с рукой. На этот раз он скорчил адскую гримасу—не совладал с болью. Бледные губы разжались, наружу вырвался подземный хрип. Руди крепко, зло бинтовала обрубок. Накладывала бинт, один оборот, другой, третий, десятый. Давай, давай, заматывай его боль, его ярость, его последнее дикое поле, его лодку, под которой он сидит, как сыч, и будет сидеть, пока небо не обрушится на него ещё раз.

— Всё! Как новенький.

Она с сожалением посмотрела на пустой пузырёк, где был спирт, и на флакон из-под йода. Сложила бинт и вату в рюкзак. На дне бутылки ещё оставалась вода. Она хотела глотнуть сама, но рука протянула бутыль старику.

— Хлебни.

— Дьявол! Если бы коньяк.

— Какой ты лизоблюд. А у тебя в мешке коньяка нет?

— Выжрал давно.

Калека выхватил бутылку у Руди из руки и вылил воду себе в глотку.

Медальон пополз по чёрно-белой полосатой ткани, как золотой жук.

Мужчина сидел перед ней, и она глядела на него — теперь он был точь-в-точь тряпичная кукла: рука из ваты, нога из бинтов и марли. Женщина засмеялась, оборвала смех.

— Прости. Я не хочу тебя обидеть. Ты как новенький.

Старик молчал. Руди хотела было сунуть голову под борт лодки — поглядеть, что там, под её перевёрнутым днищем: может, ещё какие сокровища хранятся? Калека грубо дёрнул её за подол куртки, и она отлетела назад и упала ему на грудь. Он притиснул её к себе единственной рукой. А потом больно ударил забинтованной культёй.

— Куда лезешь?!

Она прижималась спиной к его груди и ощущала жадный жар, исходящий от его исковерканного тела. Он обнимал её уже по-настоящему.

«Да я справлюсь с ним одной левой».

— А разве мы тут не будем вместе спать?

Она постаралась, чтобы её голос звучал как можно мягче, а вопрос правдоподобнее.

Калека ослабил мускулы. Запах спирта и йода побеждал предсмертный смрад.

— А ты так хочешь?

Руди закинула лицо. Снизу она видела колючий подбородок калеки, серую мышиную щетину на его складчатых, как кожура печёного яблока, щеках.

— А как хочешь ты?

Вывернулась. Оттолкнула его. Усмехнулась.

— Я всё поняла. Ты одичал. Ты плохо пахнешь. Я и сама не хочу.

Встала. Легко подняла рюкзак. Взбросила на плечи. Тоскливо поглядела на роскошную еду, раскиданную по заснеженной земле. Погладила глазами бок лодки.

— Скажи мне спасибо. За помощь.

— Спасибо.

— Пока.

Повернулась. Зашагала прочь. Не оглядывалась.

Прямо перед ней текла река.

Её не сковал лёд — над водой поднимался, вился и висел густой пар, клубы пара заслоняли воду, будто закутывали в песцовую шубу. Руди немного постояла, прижав ладонь к глазам. В ночи река светилась изнутри. Женщина быстро сошла, почти скатилась по снежному склону к воде. Ржавь, гниль, масляные радужные пятна плыли по реке, она тяжело, обиженно несла на сером хребте грязь, мусор, клочки бумаги, пенопласт, отломанные доски. Течение у берега было быстрым, на стрежне ещё быстрее; вода, журча, жаловалась женщине на пожизненное сиротство, на безлюдье и отраву.

«Теперь больше никогда не будет ни теплоходов, ни кораблей. Ни лодок».

Она вспомнила лодку калеки и содрогнулась.

И обернулась.

И увидала баржу.

Баржа стояла у самого берега, привязанная громоздкой тяжёлой ржавой цепью за огромный трухлявый пень. В красном от ржавчины корпусе чёрными дырами зияли открытые иллюминаторы. Плоская необъятная палуба была пуста. Баржа сонно колыхалась на окутанной паром воде. В её трюмах когда-то возили нефть и уголь, а может, зерно или щебёнку, а может, лошадей или коров. Всё равно; баржа — это тоже дом, и на эту ночь это её дом, это её ночлег. Хоть немного поспать до рассвета. Рассвет же так близко, вот он.

Небо на востоке розовело, пляшущие умалишённую пляску тучи смахивали на кровавые лохмотья. Руди вспомнила культи старика, охнула и сморщилась. Подошла ближе к барже. Ни трапа. Ни доски. Как она на палубу запрыгнет?

«Только один выход — цепь. Карабкайся, ловкачка!»

Заледеневшие кроссовки заскользили по заберегу. Руди вцепилась в цепь. Её обветренные, в цыпках, руки крепко держались за ржавые звенья. Она карабкалась, ползла вверх, как обезьяна, а рюкзак тянул вниз, и далеко под ней чёрным маслом мерцала вода: если она сорвётся — утонет мгновенно, не успеет сбросить груз, а в ледяной воде человек, она помнила, погибает за три минуты.

«Всё равно страшная смерть. Уж лучше бы я сгорела во взрыве!»

Хватаясь за источенные ржавью релинги, она взобралась на палубу. Мёртвое железо. Мерцающие заклёпки. Покрытые изморозью доски. Изорванные сетки. На миг ей почудилось: палуба полна людей-уродов, и они корчат ей рожи, взбрасывают ноги в жутком танце, показывают ей голые зады и нагие животы, ходят колесом, прижимают к красным на морозе носам растопыренные пятерни. Страшные призраки становились смешными и жалкими, скалили ей зубы, плясали вокруг неё, у них подкашивались колени, и они грузно валились на обледенелую палубу, растягивались, разбросав по грязной стали руки и ноги, кувыркались через голову, прикрывали затылки ладонями в притворном, а может, в подлинном страхе.

Призраки бежали полоумным хороводом вокруг неё, и она слышала их крики: «Мы дураки! Мы идиоты! Мы были красавцами, а стали страшными, как смерть сама, страшнее смерти! Мы когда-то жили, а теперь не живём! Но мы пляшем! Мы танцуем, мы мастаки умирать! Мы мертвецы! А хотим жрать, как люди! И мы съедим тебя!»

Корабль мёртвых, так это корабль мёртвых, шептала Руди себе, зажимая ладонями уши, крепко зажмуривая глаза.

«Я просто очень долго шла и устала. Зачем я сюда залезла? Я здесь не усну!»

Уснёшь, ещё как уснёшь, только спустишься в трюм, там тепло и темно, там пахнет машинным маслом, и, может быть, там сохранились мешки с овечьей шерстью, а может, с сеном, а может, с гнилым картофелем, таким мягким, таким горячим. Ты ляжешь на горячий мешок и уснёшь сладко-сладко. И тот, кто живёт внутри тебя, успокоится и уснёт вместе с тобой.

— Дураки! Я вас люблю!

Она крикнула это помимо воли — крик любви вырвался из неё и полетел к небу, как взлетает с яркого синего снега вспугнутая чёрная ворона.

И призраки прекратили плясать. Наклонили к ней лысые головы и башки в колпаках. Обернули к ней голые, колючие, жирные, острые как тесаки, бородатые, детские и стариковские лица. Обмерли. Замерли. Выдохнули. Умерли?

Живые, повалились на колени. На колени перед ней.

— Дураки… какие же вы дураки…

Она шла по кругу, опять по кругу, и гладила дураков по головам, по голым лбам, по щетинистым щекам, по плечам в отрепьях, по замёрзшим рукам. Она озаряла их плывущей мимо них призрачной улыбкой, и лодка улыбки плыла, и дураки жадно провожали её, уходящую навсегда, собачьими глазами.

Она таяла. Они таяли. Под ногами у неё выросла крышка люка.

«Точно, ведёт в трюм. Попытаюсь открыть. Сил хватить должно».

Руди сбросила с плеч рюкзак. Расстегнула куртку. Обмотала руки носовыми платками, чтобы они не приварились на морозе к железу, чтобы не отдирать их потом с кровью. Ухватилась за квадратную ручку люка. Тянула вверх. Тянула изо всех сил. Приседала. Крякала, как мужик.

— Дьявол! — совсем как калека в тельняшке, душераздирающе крикнула в беззвучную морозную ночь.

Пар, шедший от воды, обволакивал её, заслонял от неё берег.

Сквозь пар она еле различала прибрежные кусты под слоем снега, деревья на косогоре, и ей казалось — она плывёт.

«Это всё шутки пара. Призраки рассвета».

Небо вспыхивало ярким розовым пламенем. Солнце поднималось из-за края снежной земли, каталось в серых сумасшедших облаках, как красный жемчуг в кислоте.

«Кажется, плыву. Чего только не привидится с голодухи на зимнем рассвете!»

Пар на минуту рассеялся, отодвинулся от неё, как густой белый полог, она осмотрелась и раскрыла рот, как галчонок, от изумления.

Она и правда плыла.

Ей не казалось.

Она плыла на самом деле.

«Мне не кажется! Я плыву! Баржа, что ты наделала?! Куда ты?!»

Цепь, которой баржа привязана была к ветхому древесному кнехту, свободно болталась, звеньями задевая ржавый якорь, и до ушей Руди доносился глухой звон. Будто далеко на берегу стояла под снегом безлюдная церковь, и ветер раскачивал одинокий колокол.

Но она не отвязывала цепь.

«Это не я отвязала цепь!»

В животе толкнулось. Раз, другой. Женщина согнулась, ухватилась за живот обеими руками. Оглянулась по сторонам. Дураки исчезли. Ни одного. Никто больше не плясал, изгаляясь, глумясь над ней. Баржа плыла медленно и важно вниз по теченью, и луна катилась в небесах над ней, с ней рядом, над её щекой и затылком, и летали высоко, громко галдя, ещё живые вороны и галки, несчастные, голодные, крикливые зимние птицы, и на пустой железной, затянутой плевой льда палубе грузовой баржи стояла женщина и обеими руками держала свой живот, как чашу с драгоценным питьём, как лампу с последним, погибающим светом.

Месяц четвёртый

Змея

Ползти, ползти вперёд.

Извиваться. Корчиться. Нащупывать теменем воздух и воду. Переплывать реки. Высовывать раздвоенный язык, предвкушая сладость, облизывая далёкую или близкую горечь. Блестеть глазами, грубо воткнутыми в расписную кожу, покрытую скользким цветным орнаментом, а он внезапно исчезает, когда выныриваешь из глубины на поверхность, и снова вспыхивает, резко и ярко, когда вода обнимает узкое верёвочное тело.

А когда устанешь, сворачиваться в кольцо. В спираль. В узорчатую канатную спираль; виток за витком она раскручивается в бесконечность, а потом опять скручивается в незримую плотную точку.

Змея. Вездесущая змея.

Пролезет везде. Укусит любого, кто на неё нападёт.

О нет, змея добрая. Она мудрая. Гады ползучие свиваются в клубок. Поднимают умные головы. Глядят на красавицу-змею, знающую то, чего не знают пауки, скорпионы и черепахи.

Водяная змея. Живёт в воде и дышит водой. Красная ползучая лиана — её подруга. Голова у змеи растёт не по дням, а по часам, она больше туловища, в ней сокрыта вся память земли.

Земля и змея. Змея и вода. Вся жизнь — голова, тело, хвост.

Созданы змеи, скорпионы и ползучие твари земные и водяные; они сделаны для того, чтобы гибкими, ветвистыми, быстрыми и гладкими телами обнимать круглую податливую землю, вонзаться в разымчивую тёплую воду. Доставать острой головой точку великой радости, чтобы мелкая страстная дрожь на мгновенье охватила всё, доступное объятиям, сжимающимся кольцам, виткам кометных хвостов.

Только ли для этого сотворены они?

Нагие змеи. И эта, единственная.

Она создана давным-давно, в незапамятные времена земли и неба; и она рождена для того, чтобы помнить и незримо, на расстоянии, передавать эту память тем, кто уже ушёл, и тем, кто ещё не пришёл.

Излучать в пространство то, что помнишь. Все мелочи. Все подробности. Все чудеса и ужасы. Раскрывать широкий улыбающийся рот, высовывать язык, повторяющий узкое длинное тело,—двузубую вилку, на неё подцеплять добычу памяти: ибо память вбирает всё главное и насущное, не гнушаясь всем мелким и ничтожным.

Искры твоей памяти поймают в будущем. Из них разожгут великие костры. А ты ползи. Ползи, не умирай. Змея живёт долго; она почти бессмертна.

Рептилии—древние боги. Раньше жили только они. Они были цари вод, и они прочерчивали по земле письмена власти. Красная иная змея, подруга, пуповина! Ты обматываешь меня, мы обнимаемся гибкими, любовно вздрагивающими телами. Тело и душа! Твоё длинное узкое тело, пронзая толщу беспамятства, превращается во всё помнящую душу. Ты помнишь то, что произошло не с тобой. И это уже твоё. Ты не отдашь забвению ничего.

Плод

Воздух и пища плоду подавались через толстый, пружинящий красный слой плаценты. Мягкий красный матрац, на нём так удобно прилечь отдохнуть, когда устанешь качаться на волнах туманного тёплого моря.

Живой матрац пульсировал и шевелился, обхватывал тело плода красными щупальцами, ласковыми присосками. Плод и плацента то сливались, становясь одним целым, то опять разъединялись, и тогда плод парил в серебряных водах, качаясь на канате пуповины, растерянно раскидывая тонкие ручки, а потом опять скрещивая их на груди.

Тело плода и тело матери соприкасались через плоть плаценты и толстую верёвку пуповины. Пуповина очень забавляла плод. Она вела себя непредсказуемо: то змеёй обвивалась вокруг его спины и живота, то ослабляла хватку, и тогда плод повисал в дрожащей воде, сердито хватая ручонками серебряные и жёлтые световые блики.

Откуда внутри околоплодного пузыря бился и исходил свет? Вспыхивал. Потухал. Сиял. Мерцал. Искрился. Золотые пятна беспорядочно, весело ходили по коричневому, будто загорелому тельцу, высвечивая смешной зад, белые сморщенные пятки, задранный подбородок. Плод не догадывался о природе света; возможно, свет принадлежал ему самому, и его источником были то дышащая водяной сладостью грудь, то торчащие колени, то надутые щёки.

Может, свет острыми, длинными копьевидными лучами бил у него из-под рёбер, а может, венчиком вставал над затылком. Он не знал. Он ловил свет беспомощными ладонями, неловкими сонными пальцами.

Он всё больше ощущал себя самостоятельным. Он чувствовал: вовне—мать, внутри—он сам. Два разных существа.

И всё же они были одним, их пока было не разнять. Мать просыпалась—пробуждался и он, потягивался, переворачивался, прогибал спину, чувствуя, как пружинит мягкий позвоночник. Мать засыпала—он плотнее прикрывал веки, и его охватывала истома, а перед глазами начинали крутиться перламутровые блики и синие сполохи.

А потом, когда наступало утро и мать снова открывала глаза, плод вздрагивал всем телом, и каждая клетка в нём становилась глазом, что распахивал веки и ресницы навстречу ослепительной жизни.

Однажды он испугался не на шутку. Кто-то, в далёком и неведомом мире, направил на живот его матери яркий сноп света.

Плод открыл рот в неслышном крике, взбросил руки, скрестил их перед собой и закрыл лицо руками.

И так висел в своей привычной невесомости, впервые догадавшись, что может ослепнуть.

Свет не исчезал; плод приоткрыл один глаз и, сощурившись, попытался поглядеть на свет. Ему это удалось.

Он открыл оба глаза и смотрел на свет.

А свет смотрел на него.

И они на миг стали одним.

Плод стал испускать лучи. Стал маленьким солнцем. Это принесло ему ещё не испытанную радость. Что сделать для выражения такой радости, он не знал; он отнял руки от глаз и сложил ладони у груди. А потом опустил голову почти до красной перевитой пуповины и коснулся её лбом: так он впервые молился.

Баржа

…Она рванулась, и ей под ноги полетел чёрный флотский бушлат.

Она запнулась и растянулась на обледенелой клёпаной стали, вытянув руки вперёд, будто пыталась дотянуться до несбыточного, навек уходящего. Она узнала бушлат.

«Как он дошёл сюда?! Как забрался?! Он же не мог дойти!»

Ей всё-таки пришлось оглянуться.

Калека, в тулупе и тельняшке, сидел в инвалидном кресле-каталке и, скалясь во весь щербатый рот, с торжеством глядел на женщину.

И золотым наглым глазом таращился на неё чёртов медальон на его полосатой груди.

— Ты?.. Откуда ты?.. Откуда кресло? Как ты...

Слова застревали в горле полосками ржавой жести.

Старик сплюнул. В его бороде застряли шарики жёсткого снега, как мелкие речные перлы.

— Ха-ха! Удивилась? Страшно?!

Она не смотрела на странный металлический блеск в его единственной руке.

И всё же пришлось посмотреть.

В кулаке старик крепко сжимал топор.

Ветер отбросил полу его тулупа. А может, он сам хвастливо отогнул её культёй.

Из внутреннего кармана тулупа, из мохнатых овечьих прядей нагло торчал длинный рыбацкий нож. Выблеснул мгновенной синей молнией.

«Вот почему он не пустил меня под лодку. Не дал поглядеть, что у него там. Провизией похвастался, а оружие утаил. И кресло тоже. Хитёр! Волк!»

Женщина вспомнила про тесак, взятый из разбомблённого дома.

«У меня в рюкзаке тоже нож. В кармане. Завёрнутый в простыню. На дне. Под банками с тушёным мясом. Кто кого?»

Калека, выкатив глаза, белка́ми в кровавых прожилках блестел на Руди, беззубо хохотал.

«Я не успею. Не успею!»

Старик крутанул колесо каталки. Серебряные спицы сверкнули, сливаясь в дрожащую ледяную парчу. Резина прошуршала по палубе, ветер ударил кресло в зад, колёса поменяли путь и завернули вбок, заскользили, ускоряясь, и старик проскочил мимо лежащей Руди и врезался в облезлый столб релинга.

— Дьявольщина!

Когда он уткнулся носом в релинг, женщина вскочила на ноги. Теперь всё решала быстрота. Счёт шёл на доли секунды.

Руди в два прыжка достигла рюкзака.

Калека развернул коляску.

Руди развязала тесёмки.

Калека дёрнул ручку.

Руди запустила руку в рюкзак.

Кресло покатилось.

Руди искала нож.

Кресло всё быстрее катилось по ледяному железу.

Руди выхватила из рюкзака тесак.

Калека опять проскочил мимо Руди и чуть было не свалился за борт.

Руди села на корточки, оскалилась, как зверь, и выставила тесак параллельно земле, лезвием к врагу.

Калека сунул топор под мышку, прижал культёй, развернул каталку и, одним толчком разогнав её, достиг Руди.

Огромное, как солнце, колесо, блестя всеми серебряными спицами, остановилось против женщины. По её обмороженной щеке ходили блики. Будто бы играла, отражаясь на лице, под солнцем весёлая вода.

Женщина не двигалась. Лезвие мерцало над её согнутыми коленями. Она не убирала с лица оскал.

«Он зарубит меня, освежует и разделает. Я для него еда».

— Ты моя еда!—он кричал то, что она думала.— Я вовремя явился!

Руди прянула вбок. Калека мгновенно развернул кресло. Чуть не задавил её колесом.

Она не спешила нападать. Выжидала.

И он, похоже, тоже выжидал.

«Отлично, он всё сказал. Правда лучше лжи. Это за то, что я его спасла!»

— Не гордись!—крикнул он надсадно.—Думаешь, такая беленькая?! Чистенькая?! В жизни всё не так, как тебя в школе учили!

«Сядь так. Вот так, ближе к нему. Поверни нож остриём вперёд. Не жди. Напади первой».

Она сделала согнутой ногой незаметный шаг к старику—так шагает краб под солёной водой, так медленно переваливается с бока на бок жаба, ловя жирную муху.

— А в смерти?!

Она не дала ему ответить.

Выпад был молниеносный и неуклюжий.

Она же не умела драться на ножах.

Хотела резануть его по кисти здоровой руки и сразу отрезать её, чтобы из крючьев-пальцев выпал топор.

Нож ошибся на два-три пальца.

Она ошиблась.

«Мне это будет дорогого стоить».

Лезвие полоснуло по голой коже между задравшимся рукавом тулупа и синим тату в виде якоря, неглубоко, неопасно. Хлынула кровь, заливая колени старика, затекая под тулуп и тельняшку.

— Ах ты, дьявол! Я тебя!

«Он изрубит меня в куски».

Топор взметнулся. Женщина еле увернулась. Страшный удар рассёк воздух. Лезвие топора мелькнуло мимо её виска и щеки. Чудом она вывернула плечо, и старик еле удержал в руке топорище, чуть не выпустив оружие.

«Спокойнее. Он просчитался. Теперь мой черёд».

Она снова выставила тесак лезвием наружу, держа его над палубой горизонтально, чуть им пошевеливая, словно дразня старика. Кто подсказывал ей эти движенья? Они были древнее,

чем тот погубленный мир, в котором они бились сейчас с калекой не на жизнь, а на смерть.

«Давай».

— Давай!

Руди хлестнула воздух безоружной рукой, отвлекая внимание старика. Он дёрнул головой: что это у неё в другой руке?! — и в это время она ткнула его лезвием в грудь, вложив в удар всю силу. Нож на этот раз вошёл глубоко, но совсем не в сердце, как наивно думала она: справа под ключицей. Тесак пробил моряку лёгкое. Он захрипел, вместе с кровью выплёвывая проклятья:

— Ах ты, дерьмо собачье!

— Я не твой ужин! И не твой завтрак! Выкуси!

Она только успела занести нож снова, как топор, взлетев над её головой, обрушился с невероятной яростью на её голову. И снова она отпрянула. У калеки было преимущество — быстро катящееся по наледи кресло; и у него была слабость — отсутствие второй руки.

«Если бы была другая рука, он бы давно схватил меня за шкирку и отсёк мне голову».

Руди разогнула ноги. Поднялась во весь рост. Она больше не вела бой вприсядку. Она поняла: надо встать, поднатужиться и выбить у старика из руки топор.

«Это надо сделать во что бы то ни стало. Иначе мне каюк».

Руди метнулась вбок, обманно, зазывно перемещая торс. Лезвие тесака сверкнуло в лучах туманного жемчужно-серого солнца. Тучи налетели, закрыли свет. В обрушившемся сумраке подслеповатый старик не увидел, что она собирается сделать.

Да она и сама толком не знала.

Тело всё сделало помимо её воли.

Левую, свободную руку она воздела над кудлатой головой старика, и он невольно поднял лицо к сжатому над его лбом кулаку. Быстро стрельнул глазами на другую руку женщины, зажавшую нож, и взмахнул топором. Поздно! Она опередила его. Локтем ударила его в переносицу, на миг ослепив. Он заорал от боли. Из его ноздрей потекла кровь, пачкая бороду и тельняшку. Рукоятью ножа Руди изо всех сил ткнула в плоскую плаху топора, выворачивая из руки старика топорище. Он крепче, цепче схватил его — и тут Руди жестоко, глубоко мазнула, как громадным когтем, по согнутым фалангам худых узловатых пальцев моряка.

Заорав от боли, калека разжал пальцы. Топор тяжело выпал из кулака мужчины и брякнул о сталь палубы. Он смотрел, как топор откатывается по скользкой палубе прочь. Как женщина снова садится на корточки, показывая зубы в злой улыбке, выставляя свой кухонный бездарный ножик лезвием к нему.

Баржа накренилась на крутобокой волне. Руди сожалеюще глядела на топор.

У неё-то ведь была другая рука, и вооружиться ей не помешало бы.

— Ах, ты так!

Моряк яростно дёрнул металлическую блесну ручки и направил каталку прямо на Руди.

Она прыгнула из-под колёс. Выдохнула, закусила губу. Старик выхватил из-за пазухи нож. Женщина скрестила тесак с его длинным селёдочным ножом. И ещё раз.

И ещё, и ещё раз.

Звон плыл над чёрной крутящейся водой, над ржавыми релингами, над ледяной палубой, под клубами дегтярных рваных туч. Звон — это жизнь. Они оба пока слышали, как звенят ножи. Пока ещё видели, как блестят в сумраке глаза.

«Я вижу. Я слышу! Я…»

Она услышала, как тот, кто жил в ней, шевельнулся — и забился, неистово бежал внутри, пытаясь вырваться наружу, добежать, успеть, спасти.

Она спасала его, а он спасал её.

«Милый мой! Кроха! Я выживу! Я даю тебе…»

Верёвка мысли оборвалась. Моряк взял реванш. Он изловчился, подкатился к Руди вплотную, и его нож оцарапал ей шею за ухом, скользнул по рукаву и воткнулся, сквозь все плотные ткани и шерсти, в левое подреберье.

— А-а-а-а! Попал!

Красный туман хлынул женщине в лоб, под череп. Под курткой и свитером стало жарко и мокро. Она успокаивала себя: рана не страшная, я не чувствую боли — значит, всё в порядке.

«И я могу ещё биться».

Она перестала ощущать себя женщиной. Чувствовала себя мужчиной. Ярость искажала черты, зубы то и дело скалились. Колёса каталки грозно надвинулись на неё. Сейчас они подомнут её. Она ослабеет. Не теперь, так через пять, десять минут.

Рука, сжимавшая тесак, медленно разжималась. Пальцы немели. Она чуяла, как плачет внутри неё плод. Она ничего, ничего не могла сделать.

«Напасть в последний раз!»

— Я убью тебя!

— Попробуй!

Хохотал хрипло, раскатисто. Ругался. Она уже не слушала. Не слышала. Показав все зубы, подняв тесак, ринулась вперёд.

И оторопела.

Она не ждала такого поворота.

Нож калеки лязгнул о палубу.

А её запястье оказалось в крепком кулаке.

И её нож упал из разжавшихся пальцев.

Звякнул о наледь.

Два ножа откатились в разные стороны.

Теперь у них обоих не было оружия.

Они сами себе были оружие.

Кулаки, мышцы, ноги, зубы. Этим тоже можно убить, если постараться.

Мужчина сжимал кулак. Стискивал железные пальцы. Лицо Руди белело. Она приоткрыла рот. Дышала с присвистом. Глаза её закрывались. Потом она расширила их, белые, страшные.

Высоко была воздета её рука, стиснутая клещами пальцев старика, над её растрёпанной головой.

«Где я потеряла шапку? Теперь уже всё равно».

— Ха! Я тебя перехитрил!

«Ты меня перехитрил. Но и ты теперь безоружен».

Он оказался гораздо сильнее. Она думала: калека, завалю его одной левой,—а он всё сжимал и сжимал пальцы, всё гнул её руку, заставляя её опуститься на колени, помогая себе забинтованной культёй.

«Я же бинтовала. Полдня назад».

Теперь глаза старика, выпученные, как у рака, мотались слишком близко.

Он выедал её глаза своими голодными зрачками.

Выжигал их кислотой ненависти.

«Надо с ним говорить. Говорить».

— Мне больно. Пусти!

— Ты скоро не будешь чувствовать боли. Ха!

— Где ты прятал кресло?! Под лодкой?!

— А то где же! Это же мои ноги! И мои руки! Я без него никуда!

— Как ты сюда забрался? Я-то еле забралась!

— Военная тайна!

Он перегибался к ней через огромное колесо, смеялся. Она видела его беззубые рыбьи дёсны. Изо рта у него пахло дорогим табаком и хорошим коньяком.

— Ты хорошо жрёшь! Где ты добыл такие чудеса?!

Она орала ему в лицо, брызгая слюной, стремясь перекричать жажду убийства в нём.

— Не твоё дело!

Он всё сильнее пригибал её к палубе. Она морщилась от боли. Из прокушенной губы по подбородку тёк ручеёк тёмной крови.

— Нет, моё! Если спросила!

— Ну так и быть! Скажу! Открою тайну! Я капитан!

— Ты? Капитан?! Капитан чего?!

— Вот этой баржи, дура! Вот этой баржи!

Женщина поднесла лицо ближе к беззубой роже калеки. Теперь он слышал голодный запах у неё изо рта. И женский, неистребимый, тонкий—за ушами. Остатки прежних духов. Воспоминание о празднике и любви.

— Этой баржи?!

— Да! А это мой паёк! Ещё старый! Ещё с лайнера!

— С какого лайнера?!

— Я был капитаном морского лайнера! Меня разжаловали! Услали на реку! Я ходил в круизы! По Атлантике! По Индийскому океану! Везде!

Они орали друг другу в лица так громко, будто бы стояли по обоим берегам чёрной реки.

— Ишь ты! За что тебя наказали?!

— За всё хорошее! Так тебе всё и расскажи!

Хищная хватка чуть ослабла.

«Вот так, так. Болтай с ним. Не прекращай. Не останавливайся!»

Руди слабо дёрнула онемевшую, затёкшую руку вниз. Тиски сжимались неумолимо.

Пальцы набухали и синели.

— Расскажи! Интересно!

Тиски чуть, еле слышно, разжались.

«Не дрыгайся раньше времени. Выжидай».

— Я утопил одну шикарную кастрюлю!

— С людьми?!

— А как же! Неужели я бы пустую калошу потащил через Атлантику?!

— Кто тебя знает!

— Я сам себя знаю!

Ощерился. Перекатывались булыжники грубого хохота.

Оборвал смех. Тиски сжались опять.

Рука Руди стала тёмно-лиловой.

«Сейчас пальчики лопнут, и брызнет кровь. Я лишусь правой руки».

— Тебя судили?!

— Пытались!

— Что, много народу погубил?!

— Сколько было, все на корм рыбам пошли!

— Ты крут!

— Уж какой есть!

Тиски снова чуть ослабли.

«Тише, не торопись. Задай ему один-единственный вопрос».

Мозг Руди, казалось ей, взорвёт картонный жалкий череп.

Она набрала в грудь ледяной колкий воздух, пахнущий ржавью, гнилью, битым кирпичом, болотной заводью, снегом, рыбой и песком.

«Вперёд. Обескуражь его! Обесточь!»

— И много ты убил таких, как я? Здесь? Сейчас? После смерти?!

Моряк дёрнулся, как под током, тиски дрогнули, и Руди рванула пленённую руку на себя, а другой, как кошка когтями, вцепилась ему в лицо, в глаза. Ногти, неистово скользя вниз, делали своё дело. Прогрызали в корчащейся, орущей плоти красные дорожки.

Безрукий старик орал, как боров, которого режут по осени в сарае.

Женщина вырвала руку из тисков. Сумела. Дикая боль в кисти и предплечье не помешала ей выставить вперед локоть и локтем, как пикой, сунуть моряку под ребро. Она попала ему в солнечное сплетение, и он скорчился и перестал орать—так сильно вспыхнула в нём боль и перекрыла крик.

Руди вскочила на ноги.

«Бежать! Рюкзак!»

Побежала по палубе, заскользила, раскинув руки. Подлетела к рюкзаку, валявшемуся поодаль. Подцепила его здоровой рукой и, размахнувшись, кинула за борт.

Рюкзак ушёл под воду с утробным бульканьем. Женщина летела по палубе вперёд. Наклонялась, чуть не падала, едва не уткнулась носом в стенку кубрика, качнулась назад, чуть не грохнулась на спину, затылком о промёрзшую сталь. Чудом удержалась. Опять бежала.

А за ней, сотрясая яркий солнечный день чудовищными проклятиями, катил в кресле-каталке калека. Оцарапанный глаз заплыл, опух. Он успел подхватить с палубы нож. Ехал, размахивая ножом.

«Он настигнет меня и всадит нож мне в спину».

Руди, выставив обе руки перед собой, затормозила около релинга, спружинила ногами. Моряк сбил её колёсами каталки. Она растянулась на зальделом, в звёздах заклёпок, наждачно-колком железе, уцепилась за сетку между релингами, подтащила к сетке туловище. Колесо наехало ей на ногу, придавило щиколотку. Она выдернула ногу из-под резины. Кость хрустнула. Ободранная кожа закровила.

Баржа плыла всё медленнее. Замедляла ход. Остановилась.

Села на мель? Зацепилась днищем о корягу, о железяку?

Журчало течение. Тихо пел стрежень.

Колесо откатилось, вывернулось, опять попыталось переехать её. Она подтянулась на руках. Ей удалось взбросить тело на релинг и перегнуться. Старик за её спиной хрипло дышал, кряхтел. Он прекратил сквернословить. Молчал. Она спиной, всей собранной в гармошку страха кожей увидела, как он вываливается, как мешок с картошкой, из инвалидного кресла и падает на неё всей тяжестью.

Упал. Руди выдохнула со стоном. Старик висел на ней живой дикой гирей. Она ворочалась под ним. Оба молчали, сцепив зубы. Оба мотались на релинге свежевыловленными рыбами. Женщина сделала попытку высвободиться. Моряк крепче прижал её всем обрубком уродливого, ополовиненного тела. Она ловила ноздрями запах коньяка, табака, йода и крови. Воздух кончался в её лёгких.

«Сейчас выдохну и не вдохну больше. Не смогу».

Выпустила наружу весь воздух.

Вдохнуть не смогла.

Задыхалась. Лицо синело.

«Всё. Это всё. Милый! Ребёнок мой! Не увижу тебя».

Глаза закатывались.

Живот вспучился, задрожал, мышцы над брюшиной крест-накрест свело судорогой.

Память высветилась изнутри мгновенной, бешеной вспышкой, опалив нечеловеческой болью мозг и пучки нервов вдоль хребта.

Слух гас.

До неё донеслись из безмерного далека бормотание ветра, шорох прибрежных оснеженных кустов.

— Всё!.. Кончено!.. Ты!..

Далеко, высоко в вечереющем небе крикнула падающая камнем птица.

— Добыча…

Баржа поняла, что она умирает.

Баржа услышала.

Баржа спасла её. Накренилась вовремя.

Как только судно наклонилось и под ногами поползла, катясь прочь, исчезая, обледенелая палуба, загремели по доскам выпавшие из ящиков швабры и лопаты, живой обрубок сполз с Руди чуть вбок, и лёгкое судорожно вдохнуло жизнь, и лёгкое расправилось, будто у новорождённого, и глотка захрипела, потом заорала, расширяясь, давясь гневом и безумием:

— А-а-а-а-а!

Женщина, будто она плыла под водой и сбрасывала с плеч саму баржу, навалившуюся на её лопатки всем плоским днищем, напряглась, изогнула спину и великим, неимоверным усилием скинула с себя человека, ставшего кровожадным волком.

Моряк выплюнул ругательство и повалился набок. Он сумел достать до бока Руди ножом. Лезвие прорезало мех куртки и глубоко вошло в тело под локтем, ниже лопатки. Нож скользнул по рёбрам. Руди обливалась кровью. Ей было всё равно. Она перегнулась через релинг ниже и ударила, не оборачиваясь, старика ногой. Попала ему в перевязанную культю. Он завыл. Она обернулась. Он уже царапался по палубной сетке, карабкался, цепляясь ногой и рукой, помогая себе обеими культями. Бинты развязались и мотались по ветру. Руди перевалилась через релинг и, растопырив руки и ноги, прямо в куртке и джинсах, в чём была, рухнула в воду.

Она плыла. Как было холодно!

Ледяная вода плескалась по ту сторону жизни. Посмертная вода.

«Как называлась, чёрт, эта река? В старых сказках. Река мёртвых».

Руки гребли. Ноги отталкивали холод. Кровь вытекала из её ран прямо в воду, и серая, коричневая, жёлтая там, где её пронзало солнце, вода окрашивалась в бледно-алый цвет.

Прямо под релингом висела шлюпка. Руди, отплывая от баржи, задрала голову и увидела, как на канатах шлюпка быстро опускается в воду.

Моряк знал, где дёрнуть за рычаг, где нажать кнопку. Он всё знал на своей родной барже.

Женщина плыла, уже не оглядываясь.

«Никогда не оглядывайся назад. Никогда не оглядывайся».

Она не видела, а уши слышали всё. Плеск воды за спиной. Дрожь лёгких волн. Рокот потока. Скольжение и брызги.

Старик плыл за ней вдогонку в шлюпке, без вёсел. Грёб рукой.

«Где вёсла? Какая разница. У него же одна рука. А у меня две».

Она сильно, широко взмахивала руками. Ей мешала меховая куртка. Она сначала надулась изнутри водой, а после, намокнув, плотно и тяжело облепила тело.

«Если куртка ещё наберёт влаги, я пойду ко дну».

Плывя, она изловчилась и вывернулась, выпрыгнула из рукавов.

«Мне надо на берег. Скорее. Он так близко. Близко».

Плыть, чтобы спастись. Плыть, чтобы добраться до жизни.

«Так вот как бывает. И после смерти жизнь нужна. Да не мне! Ему! Тому, кто…»

Плыла, задыхаясь. Холодом сковало спину. Тёплая кровь выходила из неё, и она испугалась, как бы вместе с кровью не вытек из неё тот, кого она кровью питала.

«Сколько в холодной воде живут люди? Пять минут? Десять? Две? Три? У кого на сколько хватит сил? На сколько хватит сил у меня? Огня…»

Широко, размашисто выгребала. Не заметила торчащий в воде железный штырь.

Штыком вырос штырь перед ней. Пропорол ей свитер. Она вовремя метнулась вбок, отгребла в последний момент.

«Если бы продолжала плыть вперёд—штырь проткнул бы мне беременное брюхо».

Горячий пот прошиб её даже в ледяной реке. Обогнув штырь, она гребла, гребла к берегу. Но плеск за ней слышен был всё явственней, всё громче.

Плеск воды и частое, хриплое, будто скребли железом по железу, прерывистое дыханье.

«Дышишь мне в затылок. Думаешь: кто кого. Я моложе! Сильнее! И я не калека! У меня две руки и две ноги!»

Шлюпка набирала ход. Старик уже почти догнал её. Руди плыла, зажмурившись. Она подгоняла себя, как лошадь. Обзывала, костерила, проклинала. Насмехалась над собой.

«Ты! Кляча! Сама плывёшь как калека! Как топор! Резаное порося!»

— Не уйдёшь!

Слишком близко раскатился над водой волчий рык. Старик вынул из воды руку, своё живое весло, и протянул к ней, к её голове, к волосам. Он хотел схватить её за волосы и втащить в шлюпку. Не рассчитал. Слишком тяжело навалился на борт. Лодка перегнулась низко, черпнула бортом воду, вода стремительно наполнила её, как коньяк широкий бокал, и она перевернулась легко, изящно и плавно, незаметно, будто стесняясь, стыдясь неловкого па, позорного коленца калеки, что хотел станцевать посредине реки хищный танец ужаса и убийства, стремясь сразу и навсегда скрыться под тёмным платом воды.

Руди доплыла до берега.

Когда она ощутила ногами под водой песчаное дно, она заплакала.

Выбралась на прибрежный песок. Галька, песок и снег перемешались в единое серое тесто с изюминами крупных гранитных сколов. Баржа вздрогнула, сдвинулась с места. То, что цепко схватило её за железный живот, отпустило её. Медленно уплывала баржа вниз по течению, растворяясь в вечернем тумане. Руди провожала её глазами—без мыслей, без воспоминаний. Она наслаждалась минутой. Тем, что жила. Выжила всё-таки.

Там, где утонул моряк, не было ничего—ни всплесков, ни кругов воды, ни пузырей воздуха. Безмолвие чёрной, медленно колыхающейся глади.

Надо было остановить кровь. И отдышаться.

Женщина стянула джинсы, оторвала от штанин обветшалые куски ткани, заметно укоротив их. Теперь джинсы ей стали по колено. Тканевыми обрывками она заткнула кровоточащие раны.

«Неглубокие. Царапины. Ерунда. Заживут как на кошке».

Ныряя, зажмурилась; погрузившись глубже, осторожно открыла глаза. Под водой было темно, но прозрачно. Надо спешить, ловить последние отблески туманного солнца, последние блики на воде. Вода просвечена умирающим светом. Но ещё видны затонувшие доски; и ржавые борта истлевшего старого катера; и чёрные крючья всаженного в песок якоря; и вот он, этот страшный штырь, что едва не проткнул ей живот.

Руди плыла очень медленно, разводя ноги и вяло пошевеливая ими, как ластами или плавниками, медленно раздвигала руками коричневые скользкие водоросли. Она искала глазами то, что сама же и утопила. Поворачивала голову. Волосы поднимались над головой, вставали дыбом, будто она испугалась. Ленивые зимние рыбы качались напротив её щеки. Внизу, на дне, она различила странные длинные чёрные верёвки. Потом увидела похожую на чёрный замшелый булыжник рыбью голову с пуговицами выкаченных, еле прикрытых веками глаз. Огромный сом, зарывшись в ил, спал и не спал: чуть подрагивал хвостом, слегка дёргались веки над жемчужными белками. Руди хотела погладить его по голове, но она слишком высоко плыла.

Рюкзака не было нигде.

«Всё, прощай, месяц моей жизни. Что ж, чем скорей, тем лучше».

И гнев, сопротивление, ярость охватили её огнём.

«А мой ребёнок! Моя другая жизнь! Мой маленький! Как я могу?! Я уже не себе нужна. Я—нужна—ему!»

Воздух в груди кончался.

«Ненадолго же меня хватило».

Она различила в дрожащей прозрачной мгле перевёрнутое брюхо шлюпки и поняла, что сейчас

увидит утопленника. Так и есть. Вот он, старый бешеный моряк, лежит на дне и руки разбросал. Он захлебнулся и пошёл рыбам на корм. И это сделала она, она.

Рот распялен в застывшем крике. Вода втекала в лёгкие беспрепятственно. Кожа на спине Руди от ужаса пошла мелкой рябью, как река под ветром. Вот и она так же могла бы лежать. Сейчас. И на неё так же тупо, глупо глядели бы лупоглазые рыбы.

Рывком подплыла к нему. На груди старика, поверх тельняшки, блеснул свет. Золотой мазок. Острый блик. Она протянула руку. Схватила. Отодрала. Порвала цепочку. В руке медальон.

«Зачем ты сделала это?! Какого чёрта?!»

Широко распахнутые глаза калеки глядели на неё. Как живые.

И она увидела в этих глазах то, чего не смогла увидеть, когда ела с ним и дралась с ним.

Глаза, по-рыбьи выпученные, говорили ей: «Я человек, я такой же, как ты, человек. Я хотел убить тебя. Чтобы жить. Ты хотела убить меня. Чтобы жить. Но ведь я—это ты. А ты—это я. И всё, что будет с тобой, теперь и со мной будет. Не уйдёшь от меня. Не спасёшься».

Она хлестнула воду упругой полуголой ногой. Изо рта её к поверхности поднялась целая гирлянда голубых пузырей. Она забила руками и ногами, пытаясь выплыть наверх. К воздуху. Хоть глоток! Маленький! Чтобы жить!

Рюкзак она увидела, когда тёмная пелена стала заволакивать зрачки, а заледеневшие руки и ноги перестали ей повиноваться. «Запомнить место. Я ещё вернусь. Я снова нырну». Она вытянула шею и запрокинула голову, направляя тело вверх, пытаясь представить себя брошенным кем-то очень сильным, тяжёлым копьём. Поднималась, рассекая всею собой неподатливую воду, а ей чудилось—она тонет, идёт вниз. Низ и верх поменялись местами. Она перепутала землю и воду. Берег и дно. Обречённость и надежду.

Кулак крепко сжимал поддельное золото чужого медальона.

«Я тону. Я задыхаюсь. Лучше бы умереть на земле!»

И внезапно внутри неё всё стало легко, тонко, ясно и прозрачно, она сама на миг стала водой, частью бездонного царства воды, плещущего по всей земле. Она увидела себя снаружи, извне—как изнутри: всю прозрачную, просвеченную до кровеносной жилки, до малейшего перекрестья, дрожащей сияющей сети синих, алых, белых сосудов и сухожилий. Внутри неё бился и горел целый мир, а она об этом не знала: она не думала о нём до сих пор и, уж понятно, никогда не видела его.

Кто вынул из неё зренье и поместил его вовне? Она сама была водой, переливалась и качалась, просвечивала насквозь и бросала блики на песок и остов погибшего катера, на днище утонувшей шлюпки. И в воде, в ней самой, плыл и качался, скрещивал ручки и ножки, чуть шевелился и крепко спал маленький ребёнок. Он спал и во сне улыбался. Щиколотки скрещены, и крест из запястий, сам себя охраняет, защищает.

Она смотрела на него и на себя со стороны, и лёгкая, сладкая и горькая, мысль светящейся рыбкой пролетела мимо глаз, мимо рта: «Если я так вижу его и себя, значит, я уже умираю. Улетаю».

И тут кто-то большой и сильный, много крепче и сильнее её, подхватил её под руки и будто насильно поволок наверх.

Она давила воду локтями, плющила её спиной и грудью. Поднималась пугающе быстро, и кружилась голова, кровь туго и звонко била в виски, выдавливала глаза. Внутренности закипали. Вынырнула, таращась, дико озираясь, ловя глазами берег, снег, кусты, первые звёзды. Всё как впервые. Всё—будто она только что на свет родилась.

«Так вот каково это—рождаться. Я побывала в логове смерти и вырвалась. Или меня выхватили?»

Никого не было ни в воде, ни на берегу. По реке плыл обломок нежной, прозрачной, как крылышко бабочки, льдины, кусок заберега.

«Неужели ты нырнёшь ещё раз?»

—Нырну,—сказала Руди себе вслух, громко и злобно,—ещ как нырну! Ведь я же увидела рюкзак! И он мой!

Швырнула медальон на берег. Он плоской монетой покатился по песку и застрял в камнях.

Набрала в грудь воздуха и погрузилась в воду.

Месяц пятый

Птица

Воздух и лёгкость.

Нежность и прозрачность обнимали летящую птицу со всех сторон. Она летела, расправив крылья, парила и наклонялась, и воздух внезапно становился слоистой и плотной водой, и втекал в раскрытый клюв, и вытекал обратно через ясно, пристально глядящие в синеву глаза. А потом вода опять обращалась в легчайшую взвесь воздуха, и птица, почуяв новую свободу, взмывала вверх, пыталась найти невидимое солнце.

Солнце. Оно грело крылья, но невозможно было поймать ту точку, то средоточие, откуда наотмашь били лучи. Источник света постоянно перемещался. Птица летела одна, но это было обманчивое впечатление: там и сям вокруг неё появлялись и исчезали птицы, они деликатно сопровождали её, издали следили за ней, летели сзади, чувствуя волны воздуха от её распущенного веером хвоста.

Побыть птицей. Это так счастливо! Полёт—самая сладкая свобода на земле. О нет, не на земле! Полёт—благодать небесной жизни. Мы все жили когда-то в небесах, а на земле оказались случайно. Но когда мы, рождённые из недр небес, ходящие

по твёрдой и жёсткой земле, ложимся спать и засыпаем, тогда, лёжа в своих кроватях в позе плода в материнской утробе, мы видим сны про то, как мы летаем.

Летаем! Мы летали когда-то. Ты, птица, летишь здесь и сейчас. Утроба распахивается до размеров небосвода, у неё исчезают шаровидные границы. Летит птица, и рядом летят стрекоза, бабочка, толстый смешной бочонок-жук. Насекомые тоже летают, они—свита птицы, птица повелевает ими, потому что она может лететь выше всех.

Выше птиц летают только ангелы.

Говорят, ангелы—это дети, погибшие в утробе. Как может погибнуть человек в теле матери? Очень просто. Его могут выковырять оттуда кюреткой. Обычно это делают по желанию матери; когда дело сделано, она часто плачет, но опустелое небо не слышит и не понимает её слёз, оно молчит и приглашает к полёту новые ангельские души.

Птицы парят, а бабочки далеко внизу порхают. Птица, лети, под тобой бабочки, они цветные и счастливые, а может, это просто искры, блики солнца на воде, а может, просто невидимое солнце взошло и снова кануло за край тьмы.

Кто ещё летает, кроме птиц? Летучие мыши? Летучие рыбы? У диковинных драконов тоже есть крылья; они живут в пещерах, откуда не видно небо, но у них яркие небесные глаза.

Помни цвет неба. Неси в сосудах небесную кровь.

Что это?! Ты падаешь! Стремглав, бесповоротно падаешь вниз!

Ты летишь… летишь…

…сейчас разобьёшься.

…переворачиваешься в полёте.

Тебя подстрелили? Подстерегли?

Клюв по ветру. Глаз горит. Крыло над красной водой.

Ты последняя живая птица, ты не успела отложить яйца в густой траве на берегу.

Плод

Он с каждым днём набирал силу. Он нравился сам себе.

Он глядел на себя сквозь закрытые веки: сейчас он обладал странным зрением—оно было далёким, поднебесным, будто бы он смотрел на самого себя из запредельной подоблачной дали. Глядел на тельце величиной с птицу. Длинное туловище, крылатые подвижные ручки.

Он шевелился, плыл как летел, и мать хорошо ощущала все его движения. Она могла бы точно сказать: вот плод скрючил руки и прижал их к груди; вот он расправил ножки и перебирает ими.

Всё больше энергии. Всё больше страсти и веселья. А что, если так появляется характер? Плод не любил бездействовать и отдыхать—он всё время что-то делал: поднимал то одно плечо, то другое, сгибал ножки, бил пятками густую синюю воду.

Иногда медленно-медленно поднимал крошечную руку и осторожно ощупывал маленькими, величиной с хлебную крошку, пальцами свою пуповину.

Щупал её, улыбался, беззвучно смеялся под водой.

Мышцы сжимались и разжимались. Плод запоминал кровью, каково это—напрячь руку или ногу, а потом расслабить её. Так он учился управлять своим телом, а тело летело, оно ускользало и не давалось приказу, не поддавалось осознанию.

Чем же он думал, если думал? Он думал всем собой. Думала кожа; думали кости; думала резво текущая по тончайшим сосудам кровь; думали лимфа и позвоночник, зрачки под выпуклостями век и испещрённые паутинными линиями ладони. Он различал звуки, что доносились снаружи. Слышал, как мать кричит и плачет. Как в тишине поёт ему песню, положив руку на живот, и сквозь кожу живота он всё яснее чувствовал нежное, родное тепло её руки.

Под черепом бился и жил таинственный мозг.

Иногда голова плода начинала просвечивать, как стеклянный шар. И тогда вся сеть кровеносных сосудов—артерий, вен, капилляров—переливалась и вспыхивала под тонкой черепной костью, и если бы чей-то глаз смог проникнуть сквозь толщу материнского живота, он увидел бы, как пульсирует, загорается, шевелится, гаснет и опять разгорается растущий мозг, похожий на изрытую волнистыми бороздами мякоть грецкого ореха.

Мозг морщился и расправлялся, как атласная лента; опять сминался, катился печёным яблоком. Что происходило внутри нежнейшей студенистой массы? Да, мозг мыслил, но ни одну мысль плод не запоминал. Он запоминал только удовольствие и обиду. Жгучий страх и сонную материнскую песню.

Мозг мог поймать впечатление, но оно тут же улетало птицей. Плоду нравилось сосать палец—он его сосал; и это губы, а совсем не мозг, запоминали, как это дивно и сладко—погружать палец в рот и тянуть из него невидимые соки. Ему не нравилось, когда мать стонет и охает от боли,—он не знал, что она подвернула ногу, но всё его тельце чувствовало, как ей больно идти, и он хныкал и стонал вместе с ней.

Глаза под выпуклым лбом готовы были к тому, чтобы видеть.

Но плод видел нутром, не мозгом, не зрительным нервом; он видел сердцем, и сердце было его главным, самым важным и зрячим глазом. Прислушиваясь к биению сердца, он видел всё, хотя ничего не мог объяснить—ни матери, ни себе. У него для этого ещё не было в сердце слов.

А сердце билось в нём уже так мощно, так громко и сильно, так неутомимо, что он понимал: мать уже слышит это биение, мать нарочно то и дело кладёт руку свою себе на живот, чтобы стук его сердца послушать.

И немного поплакать. От умиления. От счастья.

И от горя тоже.

Каждой клеткой он понимал, что он не только счастье матери, но и её горе; что, зачатый ею и вынашиваемый, он родится не в счастье и праздник — а во мрак, какого ни он, никакие другие люди на земле не ждали. И вот это пришло.

Он учился ловить мысли матери лёгким птичьим тельцем. Он знал, вот она думает сейчас: надо бы остановиться на привал, разжечь костёр и вскипятить воды, рядом такое красивое озеро, не может быть, чтобы оно было заражено, здесь же не было ни одного взрыва.

А вот теперь она думает так: зачем только я забеременела, зачем мне этот ребёнок, мы же и так все умрём, кому и для кого я его рожу, куда я с ним в брюхе бреду, куда глаза глядят, зачем это всё, зачем вся эта жизнь, ведь все мы знали, что так будет, что всё напрасно и что в жизни нет ничего, кроме смерти, и сами мы себе, люди, эту смерть на голову и навлекли. Мать думала так, и он отвечал ей на эти горькие, мрачные мысли беспокойными толчками локтей, коленей, темени.

И тогда, услышав плод, тревожно шевелящийся в ней, она переставала так думать.

И он успокаивался, и его прозрачный, дрожащий, вспыхивающий опалом мозг тихо говорил ему: вот, ты молодец, умница, что остановил мать, не позволяй ей так думать. Никогда не позволяй. Береги её.

И он запоминал не свою, а чью-то мощную, иную, чужую волю: *береги её*.

Жировая масляная смазка покрывала всё тело плода, и кожа блестела. Он сиял и горел, как звезда.

И у него быстро, весело и отчаянно росли волосы и ресницы.

Лепра

— Проклятье, — тихо и медленно сказала Руди.

Маленький человек стоял у самой воды. Женщине показалось: он сейчас вбежит в ледяную реку и уплывёт размашистыми, бодрыми сажёнками.

Лёд заберега под его ногами трещал.

Ноги обуты в разношенные ботинки. Шнурки так растрепались, что глядятся бахромой.

Руди выше перевела взгляд. Толстые шерстяные чулки собрались в гармошку, спадают.

Ещё выше. Клетчатая дырявая юбка. Похожая на шотландский килт. Из-под юбки торчат тёплые панталоны.

Ещё выше. Куртка в заплатах, расстёгнута.

И в распахе куртки — о смех и ужас — под разошедшимися в стороны полами — чисто-белая, как белый стерильный медицинский халат, рубаха, и под горлом — плотный узел атласного галстука, будто человечек нечаянно удрал с дипломатического приёма и для юмора или маскарада облачился в одежонку бродяги, подзаборника, клошара.

И ещё выше. Шапка на затылке. Похожа на митру. Плотно надвинута на лоб, на уши. К шапке прилипли перья. Будто на голове у малютки-человека сидели птицы и потом встряхнулись и улетели. И остался он одиноким ходячим гнездом.

Туман таял, расходился, взлетал в небо на белых слабых крыльях.

— Эй, ты, — сказала Руди и снова плюнула кровью. — Кто ты? Попробуй только ещё подойди!

Она, сжимая в кулаке консервный нож, пристально вглядывалась в то, что было под нахлобученной шапкой.

В лицо.

Вгляделась — и зажмурилась.

В лицо, наверное, не надо было смотреть. Но она уж посмотрела, и взгляд волей-неволей возвращался туда, куда глядеть запрещено; смотрела и чувствовала, как подкатывает к горлу тёплая гадкая волна, и боролась с ней, с наваливающейся тьмой, тошнотной мутью.

Прижала левую руку ко рту. Но взгляда не отвела.

Прямо на неё глядела морда льва.

Нет, конечно, это было человеческое лицо; но обезображенное до неузнаваемости.

Львиные щёки. Толстый львиный нос. Нет ресниц; нет бровей. Лев глядел упрямо и печально, сознавая своё уродство и не теряя своей врождённой царственности. Страшные багровые и коричневые шишки вздувались на лбу над бровями, покрывали тяжёлый подбородок. Складчатые веки наползали на угрюмые всезнающие глаза. Человек-лев глубоко вздохнул. Глупый атласный галстук на его груди дрогнул, и ветер игриво отогнул его. Бродяга с рожей льва и в белой праздничной рубашке, в кожаных древних ботинках, их можно сварить в супе вместо забытой курицы.

«Почему он лев, а не человек? Что с ним? Или с ней…»

Её ударило: а может, это женщина?! Девочка…

С торчащим в кулаке консервным ножом Руди сделала шаг к человеку.

Он всё так же, не двигаясь, стоял около воды, и прибой плескал и лился ему прямо в ботинки.

— Кто ты, я тебя спрашиваю?! Что ты за…

Она не знала, что такое проказа.

Человек разлепил шишкастый рот, разинул львиную пасть и беззубо улыбнулся.

Ткнул себя большим пальцем в грудь.

— Лепра.

— Лепра?

Женщина смотрела непонимающе.

Человек пожал плечами.

— Проказа.
— Что?!
Человек сел на корточки и слабо помотал странными, будто тряпичными или картонными, руками, не отрывая взгляда от Руди.
— Я ударила тебя ногами и повалила, чтобы ты руками не трогала меня. Не подходи ко мне. Заразишься.

Руки девочки странно висели вдоль тела. Туман исчез, и Руди рассмотрела руки.

Не руки, а культи. Половины пальцев не было. Те, что остались, не шевелились. Безвольно, плетьми, висели руки вдоль щуплого тела, прокажённая не поднимала их.

Не сгибала в локтях.

«Может, они у неё уже не двигаются».

Кожа на спине Руди пошла мелкой дикой рябью.

Она разжала кулак. Консервный нож упал на песок.

— Господи,—Руди будто со стороны слышала свой хриплый голос,—с ума сойти…
— Ну я же не сошла,—хохотнула больная.—Все мы не сошли. После того, что случилось.
— Да. Все мы не сошли. А лучше бы сошли.
— Да. Так было бы легче. Сумасшедшим легче всегда. А тем, кто в разуме, труднее.

Они обе стояли и глядели друг на друга, и Руди постепенно привыкала к её пугающему звериному уродству.

— Хочешь есть?
— Да. А у тебя есть?
— Да. У меня ещё есть еда.

Женщина полезла в рюкзак, изредка остро взглядывая на стоящую перед ней прокажённую. «Чёрт, должно быть, это опасно. Насколько опасно? Могу ли я её трогать? Или мне надо этого остерегаться? Я протяну ей пищу. Дам из рук в руки? Или разложу на песке старую газету и брошу на неё кусок? Банку открытую поставлю? Господи, сколько ей осталось на земле? Сколько осталось… всем нам…»

Руди развернула газету, разложила, как скатерть, на песке и прибрежных камнях. Подобрала нож. Ловко, одну за другой, открыла банку с ветчиной и банку с зелёным горошком. Это было царское угощение—ветчины осталось уже немного, всего четыре банки. А горошек и вовсе был последний. В лучах восходящего солнца горошины отсвечивали драгоценными нефритами. Руди вытащила из кармашка внутри рюкзака одноразовые ложки.

«Как же мы будем есть вместе? Запускать ложки в одну банку? Надо разделить еду».

Руди оторвала от газеты клок. Львинолицая девочка следила за её движениями. На оторванную бумагу Руди выложила полбанки ветчины, полбанки оставила себе.

— Горошек я сначала буду есть. Доешь ты. Не возражаешь? Извини, что так.

Девочка медленно согнула колени и опустилась на песок рядом с Руди. Её руки по-прежнему безвольно висели до колен.

— Не возражаю.

«Как же, чем же она возьмёт ложку?»

В груди разлилось горячее, горькое.

Прокажённая ясно и печально смотрела на неё.

— Давай я тебя покормлю,—сказала Руди хрипло.

Подсела к больной. Брала ложкой с газеты куски ветчины. Девочка послушно открывала львиную пасть. Руди всовывала белую пластмассовую ложку в беззубый рот и закрывала глаза. А потом опять открывала.

— Вот так, так, отлично… Молодец.

Девочка глотала. Руди заставляла себя спокойно смотреть, как она ест.

«Господи, сделай так, чтобы меня не тошнило. Сделай так, чтобы меня…»

Когда на газете оставался только один кусочек ветчины, Руди не совладала с собой. Скрючилась и еле успела откатиться по песку в сторону. Её рвало на песок, камни, гальку, плети хвороста неудержимо, рьяно. Прокажённая утёрла рот плечом, чуть выдвинув его вперёд, и грустно глядела на то, как корчится на песке сердобольная незнакомка, кормящая её таким вкусным, забытым мясом.

— Из-за меня? Тебе так противно?

Руди услышала. Её опять скорчила адская судорога. Изо рта выплеснулась желчь.

Она замотала головой.

— Нет… нет,—плюнула, крепко вытерла губы обшлагом куртки.—Не поэтому! Не думай! Я беременна.

Прокажённая расширила глаза.

— Что?
— Я жду ребёнка. Ну, ребёнок у меня родится, да. Так вот, беременных всегда рвёт. Поняла?
— Поняла.

Руди видела: она поняла, но не поверила.

Девочка отвернулась. Женщина смотрела, как мелко дёргается её спина.

Подавила в себе новые приступы рвоты.

«Хватит. Владей собой! Человек не животное! У тебя есть разум, чтобы себе приказать: не делай так! Победи своё поганое тело!»

О нет, подумала она тут же, тело не поганое, никогда так не называй его. Не унижай себя. Твоё тело—это *его* дом. И когда *он* будет рождаться, дом опустеет.

Руди справилась с собой, тряхнула головой и шагнула к больной. Положила руку ей на плечо.

— Видишь, всё прошло. Я больше не буду.

Девочка взглянула на неё безбровыми львиными глазами.

— Почему? Ты можешь делать всё что хочешь.

Перевела глаза на живот Руди.

Рассматривала её живот.

— Ой, и правда, он у тебя такой круглый. Толстенький уже.

Голос прокажённой был низкий, вибрировал густо.

«Красивый голос. Если бы её учить пению — пела бы хорошо. В школьном хоре. А потом в опере».

Чётко, ясно осознала: никакой оперы и нигде больше никогда не будет.

А что будет? Какой станет Земля, когда все они постепенно, понемногу, медленно, но верно уйдут с неё? Её заселят звери? Птицы? Или прокажённые?

«А разве прокажённая может родить? Почему нет, если её обрюхатить?»

Руки-плети, руки-верёвки всё так же безвольно, бессильно висели, мотались.

— У тебя они что, совсем не сгибаются? — осторожно спросила Руди и показала на свои собственные локти.

И тогда она увидела, как прокажённая хохочет.

Девочка обнажила в улыбке беззубые багровые дёсны, закинула голову, и из её горла, заросшего кожными шишками величиной с орех, вырвался птичий клёкот.

— Ха-ха! Ха! Сгибаются! Но плохо! Мне это стоит усилий!

Встала на колени. Как зверь, слизнула последний кусок ветчины с газеты. Прожевала.

Потом встала на ноги. Глядя прямо в глаза Руди, стала сгибать руки в локтях. Старалась: по её вискам из-под шапки потекли мелкие капли. Руди глядела изумлённо. Руки всё-таки гнулись, и было ощущение, что они железные, из цельного железа, как рельсы; и казалось, они трещали, сгибаясь. Наконец согнулись. Девочка глядела на них, сложенные ухватом. А Руди глядела на те места, где раньше были пальцы. Проказа съела их, и вместо них торчали крошечные крючки и отростки, похожие на разрезанные сосиски. А иных не было вообще, и наружу глядели либо ямки в коже, либо кости с подсохшей кровью. Культи слегка дрожали. Девочка перевела взгляд на Руди.

— Видишь?! Согнулись! Я даже могу остатками пальцев что-нибудь взять!

Она нагнулась и попыталась подцепить культями банку с последней ветчиной.

Руди громко крикнула, будто бы девочка была глухая:

— Оставь! Это моя порция! Я ещё не доела!

Прокажённая всё-таки подцепила банку за жестяную отогнутую крышку.

— Ха-ха! Я доем за тебя! Ты же всё равно блюёшь!

Руди бессильно наблюдала, как девочка запускает огрызки пальцев в банку и ест её ветчину, причмокивая, обсасывая культи.

…Молния ослепила. Грохнуло прямо над их головами. Небесный умалишённый огонь ударил ещё и ещё раз и бил уже отвесно, страшно, не переставая, — то розовый, то мощно-жёлтый, то дьявольски-зелёный; молнии падали на землю одна за другой. И гром гремел тоже без перерыва. Грохот слился в один нескончаемый гул; чудилось, он шёл не с неба, а из-под земли. Земля медленно, тоже как зверь, пошевеливалась под ними. Поворачивалась.

И они поворачивались на выгнутом страшном боке зимней земли — очень медленно, но ощутимо, от страха вцепляясь в неё, промёрзшую до дна и дотла, ногтями и культями, зажмуриваясь и опять открывая пробитые молниями глаза.

— Нас убьёт! — слабо крикнула прокажённая.

Молния сверкнула над ними, и Руди, защищаясь, подняла руки над головой, закрывая лицо.

Огонь горел на земле. Огонь полыхал в небе.

Огонь ударил сверху вниз, и девочка, сидящая перед костром, упала замертво.

Руди сидела, закрыв лицо руками.

Отняла руки от лица. Увидела: девочка лежит на песке.

Опять сверкнуло и громыхнуло. Молния с размаху вонзилась в реку. Руди показалось, что вода вспенилась и загорелась.

— Эй!

Она вдруг поняла, что не знает, как её зовут.

— Провались всё на свете!

Подкатилась, подползла к девочке, оставляя на песке след, будто большое животное. Затрясла её за плечо. Прокажённая лежала без движения. Молния ударила точно, будто была разумной и знала, что надо убить живое. Девочка вся обуглилась. Лежала чёрная, с чернильным личиком, исковерканным проказой. Печальный больной лев умер вмиг. Даже не понял, что произошло. Удар был очень силён. Дыхание остановилось сразу. Сквозь зубы чуть высунулся синий язык. Кожа на уродливых ручонках вздулась и лопнула, и на укрытый снегом песок лениво сочилась кровь.

А с небес шло, рушилось, текло, било снежное безумие. Ужас снега опустился низко, задавил, прижал к земле. Снег внезапно оказался тяжёлым, тяжелее воды; он хлестал наотмашь, и через белую, больно бьющую по глазам пелену была видна только несчастная, сжавшаяся в мёртвую птичью лапку собственная душа.

Выйдя из маленького села, где не жили люди, лишь в последней, у дороги, лачуге около крыльца ещё тлели горячие угли — видно, путник, до неё здесь прошедший, жёг костёр, — Руди приблизилась к лесу. Вечерело. Она не знала, большой лес или маленький. За сколько времени она пройдёт его насквозь.

На лиственных деревьях проклюнулись свежие липкие весёлые листья. Хвойные великаны стояли черно, угрюмо.

«Сосны густо растут. А там, дальше, ели. Чащоба. Сгину я здесь».

— Умирать. Чёрт! Умирать!

Она встала под старой корявой сосной и положила дрожащую руку на пахучую красную кору.

«Рюкзак совсем лёгкий стал. Запасы еды на исходе».

Эта мысль не напугала, не огорчила. Она сейчас всё воспринимала как должное. Повела взглядом вбок. Зрачки наткнулись на гнездо.

Странное, огромное, как чёрная копна, гнездо. Оно висело на широкой разлапистой колючей ветке совсем рядом с её лицом.

— Какая великанша тебя свила, гнездо? Да здесь можно и мне поселиться!

С восторгом Руди ощупывала гнездо. Ветки осыпались под её ладонями.

Огромная, величиной с человека, птица вспорхнула прямо из-под её рук, шумно захлопала крыльями, клювом, грудью отчаянно, испуганно продиралась сквозь сосновые и еловые ветви.

— Прости, подруга. Я тебя напугала. Я не нарочно.

Она встала на цыпочки и с любопытством заглянула в гнездо.

Там лежали шесть яиц.

И скорлупа от седьмого.

Первый птенец, что вылупился у спасшейся бегством матери, сидел в гнезде, голый, страшный, длинношеий, беспомощный, покрытый первородным жёлтым пухом. Вздрагивал зачатками крыльев. Руди вспомнила куриный бульон, что варила мать. Там плавали такие же голые, в пупырышках, цыплячьи крылышки.

Протянула руку. Вытянула палец. Осторожно, будто птенец был стеклянный, погладила его по лысой голове.

— Ах ты… Вылупился… Родился… Поздравляю…

«Неистребима жизнь. Землю убили, а она всё рождает. Может, всё возродится? Через года… через века?»

Она подняла ладони над яйцами и птенцом. Водила над ними, живыми, руками. Слёзы сами полились по её лицу

И внезапно, ярко и дико, она ощутила в себе, внутри себя лютый, чудовищный, необоримый голод.

Глядела на яйца. Глядела. Глядела.

Свежие яйца. Белок и желток. Вкусные. Дивные. Дорогие. Бесценные.

Она так давно их не видела.

Она так давно их не ела.

Разбить. Выпить. Насытиться.

Насытить — его! Того, кто в ней!

Рука сама решила за неё. Рука сама схватила.

Первое яйцо Руди разбила зубами.

Губы, вне мыслей, припали к расколу. Она вобрала в себя жидкость внутри яйца одним махом. Одним всхлипом. Будто плакала и всасывала обильные слёзы.

Она плакала по-настоящему. Рыдала и ела.

Жизнь потекла по пищеводу. Жизнь забытым детским вкусом втекала в желудок. Растекалась по жилам и рёбрам. Пропитывала голодные поры. Омывала железные кости.

— Как вкусно, — прошептал ошалелый рот.

Не думая, не чувствуя ничего, кроме голода, она схватила второе яйцо, разбила и махом выпила.

Третье. Четвёртое. Пятое.

Яйца исчезали с немыслимой быстротой.

Под ногами у Руди росла горка скорлупок.

Птенец сидел, взмахивал обрубками голых крыльев, беззвучно разевал ярко-жёлтый клюв. Смотрел на Руди. Косил чёрно-золотым выпуклым глазом.

— Что смотришь, дурачок?

Она сама не знала, как у неё это вырвалось.

— И тебя съем.

«Какая я разбойница!»

Наступила ногой на скорлупу под деревом. Раздался громкий хруст. Скорлупа была жёсткой и толстой.

На губах и языке таял терпкий вкус яичного желтка.

Женщина протянула скрюченные пальцы к птенцу. Он разевал клюв так широко, что была видна сине-алая гортань.

Схватить. Задушить. Свернуть шею. Изжарить на костре. Съесть.

«Это дичь. Я так давно не ела дичи».

Она взяла птенца в руку. Поднесла к лицу. Глаза медленно, жадно скользили по жалкому жёлтому пушку, покрывающему тщедушное новорождённое тельце. «Тут и мяса-то никакого нет. Что тут грызть?» Руди вертела птенца перед глазами туда-сюда. Обнюхивала, как собака. Воображала, как её зубы буду вонзаться в тонкую жареную шейку. Слышала хруст костей.

Птенец дёрнулся в её кулаке, и под пальцами она услышала, как быстро, быстрее трепетанья крыльев бабочки, бьётся крохотное сердечко.

Это биение маленького сердца пронзило её насквозь, сверху вниз. Как та молния, что ударила из мрачных туч в зимнюю реку. Её собственное сердце раскололось надвое. Одна половина жаждала, вопила, просила: «Есть!» Другая, истекающая тёплой кровью любви, тихо шептала: «Он же живой».

И тут в ней самой, глубоко, шевельнулся ребёнок.

Он пошевелился и застыл. Потом шевельнулся ещё раз — и опять замер.

Потом будто взвился; бился, как колокол.

Потом утих. Затаился.

Руди прислушивалась. Тишина. Молчание.

Ни шевеления. Ни биения. Ни порыва.

Ни еле слышного, в кромешной красной глубине, тайного вздрога.

Она чуть ослабила хватку. Птенец задёргал длинной шеей, сильнее выпучил глаза. Всё так

же раскрывал до отказа клюв и показывал Руди дрожащий в зеве огонёк языка и красную глотку. Она вдруг почувствовала себя его матерью — той птицей, которую она прогнала. Ощутила, что несёт в клюве червяка и толкает в клюв птенца. И радуется, видя, как он силится червя проглотить; и веселится, машет огромными крыльями.

Очень нежно, предельно осторожно, едва дыша, Руди обеими руками положила птенца обратно в пустое гнездо. Он сел, растопырив лапки с перепонками, закрыл клюв, потом опять раскрыл, и из клюва донёсся тонкий смешной писк.

— Да ты умеешь говорить!

Она засмеялась. Птенец запищал опять.

Щёки женщины снова стали мокрыми. Дорожки слёз блестели на впалых щеках в закатном свете. Стволы сосен бросали красные блики на её куртку и рюкзак.

Птенчик сидел в гнезде, единственный оставшийся в живых, а женщина стояла перед старой сосной и плакала бесконечно.

«Я стала сентиментальная. Нельзя столько рыдать».

— А что теперь можно?! Что можно?!

Ребёнок в ней толкнулся ещё раз.

«Ожил! А я уж думала…»

Впервые Руди подумала о том, что плод может умереть в ней, не родившись.

«Господи, отведи… Господи, не дай, чтобы так…»

Смотрела на птенца. Птенец смотрел на неё.

Пищал и хлопал голыми крыльями.

Его крылья напомнили ей культи прокажённой.

Окончание — в следующем номере

Евгений Минин

Намёк сверху

Про лажу

Боже, кто эту выложил лажу? —
навсегда, безвозвратно. Беда!..
Алексей Пурин

Всех огульно ругать я не буду,
в Интернет захожу иногда —
сколько лаж наложили повсюду,
не пройти, чтоб не влипнуть. Беда!..
Вот бы взять кого надо под стражу,
а не слать уговоры с мольбой.
И уж если ты выложил лажу,
будь любезен — смывай за собой.

Мухоловное

Если на меня садятся мухи,
неужели я совсем говно?
Олег Хлебников

Я сначала думал — это слухи,
от волненья даже занемог.
Стали на меня садиться мухи —
это сверху, видимо, намёк.
С мухами здесь нужно разобраться:
отчего затеяна возня?
Почему не на стихи садятся,
а садятся сразу на меня?

Сигнатура

Храни меня в сухом прохладном месте,
Бери меня четыре раза в день…
Анна Аркатова

В совете, милый, не ищи коварства,
Такой, как я, нигде не отыскать.
Бери меня, как ценное лекарство,
Четыре раза в день, а сможешь — пять.
Конечно, опасаясь женской мести,
Не зря же строчку вставила в строфу:
Храни меня в сухом прохладном месте,
Чтоб люди не застукали, — в шкафу!

Источное

И мутным потоком искусство
Из жизни наружу течёт.
Аркадий Сигал

Поэзии мутные строки
Из жизни наружу текут,
Поскольку есть критик жестокий,
Язвителен очень и крут.
Поэзия сточная льётся,
И все ожидают итог:
Когда ж пародист захлебнётся?
Когда ж его смоет поток?

Владислав Артёмов

Тень облака

Муза

Светить всегда…
В. Маяковский

Ночь темна, звезда горит в зените,
В окруженье псов сторожевых.
На земле поэтов не ищите,
Не найдёте их среди живых.

Я узнал об участи поэта,
Эта страсть коснулась и меня.
Драма в том, что не добудешь света,
Если нет внутри тебя огня.

Облака пылают рядом с адом;
На подъём тяжёлый, как металл,
Я огнём на эту землю падал,
Вспышкой света с неба облетал.

Кто сочтёт утраты и потери?—
Я швырял метафоры свои,
И они сгорали в стратосфере,
Рассекая плотные слои.

Я узнал, как страшно быть поэтом,
Обернулся—позади зола,
И за мной стелился чёрный пепел,
Выгорая в небе добела.

Скинул с плеч я смертную обузу.
Я живой! Душа во мне—жива!
Что ж ты плачешь, муза моя, муза?
Что ж ты ходишь в чёрном, как вдова?..

Тень облака

То тревожно мне, люди добрые,
А то весело в свой черёд.
Невесомо, как тень от облака,
Жизнь моя по земле идёт.

Позову—не услышу отклика,
Обернусь в осеннюю даль—
Невесомо, как тень от облака,
Отлетит от души печаль.

И споткнётся дорогая долгая,
Опустеют кругом леса.
И легко, словно тень от облака,
Отлетит душа в небеса.

Журавли летят

1.

Вот я ветер—и роюсь в огне и в золе.
Вот реву, как падающая в пропасть вода.
Я напрасно ищу тебя на земле,
Здесь уже не будет тебя никогда.

Ну и что ж я сквозь слёзы разглядел вдали,
Паутину смахивая со щёк?—
Чьи-то души по небу, как журавли,
Пролетели, за ними—ещё, ещё…

Ну когда же уляжется всё, наконец?
Беспокойная роща меня извела:
То оденется в золото, то в багрец,
То возьмёт и разденется догола.
Расцветёт и осыплется ясный цвет,
На лету превращаясь в прах и тлен.
Ничего-то здесь постоянного нет,
Кроме этих вот перемен.

Вот под белым пухом ворочается земля,
Всё покойной позы не найдёт никак.
Разрывает мне душу плач журавля:
«Ты зачем стрелял в меня, пьяный дурак?..»

2.

Слышу вой и свист, журавли летят.
Поглядел я на солнце и весь ослеп.
Я молчу, но губы мои дрожат,
И тоска крошится, как чёрный хлеб.

Что мне делать с собою и как мне быть?
Я как перст один на земле пустой.
Что ж, выходит, ничего нельзя позабыть.
Боже, душу мою от тоски отмой.

Ах, утихни, ветер, не вой, не свисти.
Дай расслышать слова, что мне скажет Бог.
Скажет Бог: «Чтобы душу твою отскрести,
Нужен лютый огонь да железный скребок…»

Хоть на час, а печали мои продли,
Я уже не плачу, вот молодец!
Жизнь моя пролетела, как журавли,
Я сквозь солнце ничего не смог разглядеть.

Разбойник

Когда-нибудь и мы с тобой уйдём,
Дадим покой своим усталым нервам.
Подельник мой был лёгок на подъём,
В любую дверь пройти старался первым.

Он и сейчас уходит налегке,
Без ничего! Оставил всё, что нажил.
Доволен, гад, а должен быть в тоске.
Каким вином он горечь разбодяжил?

Жил не тужил и помер в нищете,
Душа его ушла куда хотела,
Лишь, захрипев, повисло на кресте
Пустое остывающее тело.

Да он же сеял злые семена,
Блудил, и пил, и караваны грабил…
Его с поличным взял сам сатана,
Но почему-то жёсткий хват ослабил.

И разошлись пружины у замков,
Упали цепи зависти и злости,
Ушёл он, отмахнувшись от оков,
Плевать ему, что перебиты кости.

Ещё трепещут жилы на костях,
Ещё болит, а он уже смеётся.
Он плоть забыл, как старый плащ в гостях,
И вряд ли он за ней сюда вернётся.

Мы думали, что рай—сплошной елей,
Фигуры в белом, благостные песни…
А там, как видно, много веселей,
Трагичнее, страшней и интересней.

Бродячие собаки

Мы тут воюем из-за тёплых мест,
Мы зло своё срываем друг на друге.
Я оставляю тихий свой подъезд
И в ночь иду, глаза прикрыв от вьюги.

Через пустырь, хромая, поспешу.
Наперерез метнётся тень из мрака.
Остановлюсь и вежливо спрошу:
«Куда бредёшь, бродячая собака?..»

Не стало мира, где я в детстве рос,
И жизнь моя обратно не вернётся…
На мой нейтральный вежливый вопрос
Нехорошо собака усмехнётся.

Качнётся мгла в тревожный этот час,
Зашевелится улица пустая,
И слаженно и молча, как спецназ,
Со всех сторон меня обступит стая.

* * *

Перешёл я поле, встал я над обрывом,
Ветра нет.
Стал таким осенним, стал таким красивым
Белый свет.

Голубое небо сходится с землёю
Там, вдали,
И летят по небу прямо надо мною
Журавли.

На земле всё это было, было, было
Тыщу раз.
Но ни разу в жизни сердце не грустило,
Как сейчас.

Вот уж еле слышно голося́т-голо́сят
Журавли,
Будто за три моря жизнь мою уносят…
Унесли.

Братьям по ремеслу

Не ходи, художник, белым садом,
Не тревожь полёты мотылька,
Ибо всё, что ты заденешь взглядом,
Обратится в камень на века.

Не ходи, поэт, путём терновым,
Прикажи, пусть Муза замолчит,
Ибо всё, что ты зацепишь словом,
Целый век потом кровоточит.

Гроза

Посреди сияющей равнины,
Полной ветра, солнца и огня,
Облака брели, как исполины,
Равнодушно глядя на меня.

Я мальчишкой им махал с пригорка,
Заглядевшись в купол голубой:
«В этом мире больно мне и горько,
Заберите жизнь мою с собой!..»

Промолчали, усмехнулись грустно
И ушли, и с неба пала тень.
В чистом поле ветрено и пусто…
Обернулся—жизнь прошла как день.

Жизнь прошла, и канул век, как не был,
Я опять стою перед грозой,
Гром ревёт,
Я слышу голос неба:
«Собирайся, это за тобой!»

Анатолий Третьяков

Поддавшись первому порыву

● ● ●

Инне Ломакиной

Поддавшись первому порыву,
Преодолев привычный сплин,
Вы—равнодушны и ленивы—
Случайно чью-то жизнь спасли.

Нет! Это вовсе не случайно:
Отвага и геройства пыл
Дремали в вашем сердце тайно.
Дорогу случай им открыл.

А слава—нет её капризней.
Но, может быть, придёт она?
Один порыв! И радость жизни
Ворвётся в душу, как волна.

Сельская жизнь

Солнце светит, да не греет.
Иней искрами горит.
И, как яблоки, краснеют
В ветках сада снегири.

Облака пристыли к небу.
Ветра нет. Хороший день.
Петуха роскошный гребень,
Как пилотка, набекрень!

Поджимают лапки гуси,
Пар у сивки из ноздрей.
Вышел кот. Он явно трусит—
Трётся около дверей.

Девки с вёдрами. Колонку
Облепили… Смех да крик!
Ну а в доме вверх воронкой
На печи лежит старик.

Как медведя, не тревожит
Деда лютость холодов.
Может, мне на печку тоже?
Столько прожито годов!

Не вострю налево лыжи,
Мирно балуюсь чайком,
Подвигаюсь к свету ближе—
И читаю без очков.

Смерть поэта

Жестокостью и дикостью убитый,
Поэт умолкнуть может навсегда.
Не будет в нём «ни мысли плодовитой,
Ни гением начатого труда».

Такое время: льётся кровь повсюду,
Не утихают войны ни на час.
Но не нужны они простому люду—
За власть бороться надо палачам.

Поэт, конечно, мог бы гневным словом
Их заклеймить! Но что для них слова?
Грохочут взрывы, рушатся основы,
Безумие вошло в свои права!

Умолкли музы. Кто сердца разбудит?
Кто принесёт им избавленья свет?
Когда друг друга уничтожат люди—
Погибнет вместе с ними и поэт.

Взаимосвязь

Вновь ветер стаю облаков унёс,
Очистив купол неба золочёный.
Взлетел орёл могучий на утёс,
Где стал похож на горца в бурке чёрной.
Хоть не Кавказ здесь, а Сибирь, тайга,
Неукрощённый Енисея норов.
Ещё не скоро упадут снега,
Когда зверьё упрячется по норам.
Но хищникам и в зиму не до сна:
На час не прерывается охота!
Зима иль лето, осень иль весна,
День или ночь, но жертвой станет кто-то.
Таков закон природы! Свой удел
У каждого живущего на свете,
Никак нельзя остаться не у дел,
А человек за всё как есть в ответе:
За всех зверей, а также и за птиц,
За всех живых сородичей и павших…
Везде взаимосвязь, но нет границ
У счастья, у любви, у скорби нашей.

Думы

Как легко друзья становятся врагами!
Всё, что было,—рухнет навсегда.
Неужели всё же сердце—камень?
Чтó ему прошедшие года?

В человеке зверь живёт веками.
Совесть, может, вправду из химер?
Если брата убивает Каин—
Это нам из Библии пример.

Хоть и говорят, что люди—братья,
То откуда войны и вражда?
Гибли, уходили рать за ратью,
А была ли в смерти их нужда?

Мир подлунный до конца не познан.
Кто ответить может: почему
Для одних лежит дорога к звёздам,
Для других—с рождения в тюрьму?

Скажут: мол, у них судьба такая…
Не у всех стремленья высоки.
А нельзя ль, судьбе не потакая,
Жить её веленьям вопреки?

Ждать смешно разумного ответа.
Столько впереди лежит дорог!
Лишь одна из них твоя—и только эта,
И другой не будет, видит Бог.

Районная гостиница

Наш гостиничный номер. И в нём
Предстоит ночевать нам обоим.
Неуютно. Темно—даже днём.
Словно пятна—цветы на обоях.

Кто такие мы? Муж и жена?
Здесь не требуют штампа о браке.
Из картона, наверно, стена:
Слышно всё, и шумят, как в бараке.

А сортир—«украшенье двора»
(Дверь закрыта на согнутый гвоздик).
В нём, уже начиная с утра,
Через щели знакомятся гости.

Мы в районном глухом городке
Оказались с тобой не случайно:
Здесь от всяких проблем вдалеке—
Даже есть в нашем номере чайник!

О причуды дорожных страстей!
Все с дорожной любовью знакомы.
Будто едем с тобой из гостей—
И доехать не можем до дому.

Что нам ждать? Неизвестно пока.
Но не будем грустить. Будем живы!
Перед тем как вонзиться в бока,
Притаились матраса пружины.

Ресторан «Енисей»

В Сибири праздник—ресторан!
После войны, до «перестройки»
Здесь было место для попойки,
Где был как Бог официант.

Официантки—это племя
Затмить могло бы стюардесс:
Мечта героев и повес,
Они в цене и в наше время.

Но кто же душу знал её,
Официантки ресторана?
Дым коромыслом, воздух пьяный,
И всё мерещится жульё…

Колхозник, как дикарь, космат,
На колбасу корову сдавший,
В кальсонах выручку державший,
Припёрся поглядеть разврат.

Горняк норильский был тут к месту,
Застрявший по пути на юг,
Среди панбархатных подруг,
За «Журавлей» «башлял» оркестру.

И, свой имея интерес,
Могли куражиться без меры,
Подсевши к дамам, офицеры—
Дам ослеплял погон их блеск.

Здесь были бедные студенты.
На «выход» скинувшись сюда,
Пришли, экзамен трудный сдав;
Влюблялись, пользуясь моментом.

В законе вор, среди своих,
Был окружён большим почётом—
Все тюрьмы знал наперечёт он,
На всех озлобившийся псих.

Сей «Енисей» я посещал.
Официантке юной Клаве
В залог часы свои оставив,
В одно мгновенье я нищал!

Нет «Енисея»—сгинул он…
Теперь везде ночные клубы,
Где бюсты пышные и губы…
Туда ходить мне не резон!

Меня не тешат тут забавы,
Непринуждённость их чужда.
Мне здесь не встретить никогда
Официантки юной Клавы.

Михаил Синельников

Издалёка

Хроника

Ясное сознанье с болью жгучей,
Бессловесный год в параличе…
И придут народы чёрной тучей
Жечь костры, рыдать об Ильиче.

Горевать о том, кто взбаламутил,
Зазывая грабить у воров.
Мир безмолвен и морозно мутен,
Мерзнут слёзы в отсвете костров.

Произносит клятву новый гений,
Хромовые блещут сапоги,
Мертвецы грядущих потрясений
Красный гроб выносят из пурги.

Аул

Давний мир семейных башен,
Родовых селений быт
И приезжим чужд и страшен,
И потомством позабыт.

Только ветру отзвук чести
Никогда не надоест—
Скорбный голос кровной мести,
Плач похищенных невест.

Над расколотым кумганом,
Над каменьями оград
С гулом сиплым и гортанным
Вихри зимние летят.

Но внезапно, как мятежник,
Укрывавшийся во мгле,
Пробуждается подснежник
На оттаявшей скале.

И трава шумит, вставая,
Оплетая всё подряд,
Будто летопись живая
Выселений и утрат.

Словно выводок змеиный,
Вдруг тропинки расползлись,
И вздохнула над низиной
Неучастливая высь.

Издалёка

Никогда уж теперь не доеду,
Но в сиянии их седины
Эти горы и мне, домоседу,
Издалёка сегодня видны.

И холмы неотступные эти,
В неразрывный построившись ряд,
Розовеют на сонном рассвете,
На закате угрюмо горят.

Эта серая крепость самана,
Где, над детством склоняясь, цвела
Беззаботно и благоуханно
Золотая империя зла.

Донбасс

Там, гордясь годами стажа,
Всю-то жизнь бредут впотьмах.
В черноте, густой, как сажа,
Лишь помехой будет страх.

Расскажи, как юность губят,
Хвалят старость, гонят лень,
Как за глыбой глыбу рубят
И выходят в белый день!

В их тускнеющие лица
Въелась угольная пыль,
И в степи она клубится,
И садится на ковыль.

И лежат как на ладони
Эти хатки и дворы…
Ждёт штакетник в Краснодоне
Новой огненной поры.

Заглядевшись на шахтёрок,
Вдруг заметишь: весь горит
Этот край курганных горок,
Терриконных пирамид.

Каску старую оставил
И, нахмурен и жесток,
Резко в сторону отставил
Свой отбойный молоток.

● ● ●

Ещё вернёшься за своей потерей
И не найдёшь. Лишь вновь увидишь ты,
Как сыплется мозаика империй
И призраки встают из темноты.

Ночь протечёт, кругом заплачут дети,
Заблеет сумрак в глубине кошар,
И если в город выйти на рассвете,
Увидишь бодрый утренний базар.

Кузнечный стук, горячий дух ячменный,
То златодынный, то ковровый ряд.
И не враждебный, лишь недоуменный
Тебя и встретит, и проводит взгляд.

То хижина из глины и соломы,
То школа, то больница близ тюрьмы,
Наркобаронов пышные хоромы,
Окраины пустынные холмы.

Там тишина на брошенных могилах,
А за хребтом, где неба синий край,
Как приглушённый треск чешуекрылых,—
Снующий, шевелящийся Китай.

Два поэта

Рыхлый классик со спиной негибкой,
Злой и хмурый, в мире знаменит.
Хилый зек с угодливой улыбкой,
Как на «кума», на него глядит.

Оба пьяны, оба в чувстве слитном,
Но ещё недавний лесоруб
Всё каким-то скрытным дышит ритмом,
А начальник глуховат и туп.

Но меж тем остановилось время,
И на снимке праздничном застыл
Вялый опыт карцеров и премий,
Комсомольских строек и могил.

Чашка

Не собрать—всё вдребезги разбито,
Ничего ты уберечь не смог,
И прошёл, смешавшись, через сито
Мелкий сор мечтаний и тревог.

О, неужто жизнью было это?
Вспомнишь ли, как розовел залив,
Как струился первый луч рассвета,
Наготу заснувшей озарив?..

Но уже и нищенство не тяжко:
В Гималаях благодатный день,
Медная монашеская чашка,
Пустотой наполненная всклень.

● ● ●

В Ташкенте под куполом звёздным
Не выдохся и не затих
Ахматовой жаром тифозным,
Как вечностью, веющий стих.

Протянется с музой разлука,
Преданием станет война,
Но сила подобного звука
Сильнее, чем все времена.

И лишь современнику надо,
Чтоб издали в горестный час
Забытая пела эстрада
И выживший голос не гас.

Давно опочил пулемётчик,
Не будет с возлюбленной встреч,
Лишь синенький скромный платочек
Искрится и падает с плеч.

● ● ●

Заселяется чуждое племя,
И кричит во дворах детвора,
Начинается сызнова время,
И ушедшим забыться пора.

Но пейзажем они не забыты,
И внезапно выходят на свет
Незнакомые лица и плиты
В невесомости сдавленных лет.

Эти призраки всё заповедней,
Рядом с ними, как прежде, живи!
Так в любви узнаётся последней
Смутный жар отдалённой любви.

И ещё не истлела поэма,
Только пеплом покрылась она,
Пусть в грядущем минувшее немо,
Словно в землю ушли письмена.

Встреча

Где-то есть мимолётная встреча,
Что с улыбкой сквозь годы прошла
И теперь—ничего, что далече,—
Словно в юности, сердцу мила.

Это—памяти зной и прохлада,
Терпкий вкус молодого вина,
Это первый цветок винограда,
Не набравшая силу весна.

Быстро время моё убывает,
Мчатся вёсны, текут без числа,
Но в кувшине вино закипает
Оттого, что лоза расцвела.

Алексей Козловский

Мои дожди

Темнота

Отключили свет под вечер,
Неба съёжился лоскут.
Огоньками в окнах—свечи,
Словно с моря близких ждут.

Близких ждут не только с моря,
Ждут с хоккея, ждут с пивной…
Электричество, на го́ре,
Не горит порой ночной.

Что-то вроде не контачит.
Свечи в окнах. Тишина.
И настойкою коньячной—
Цвет полночного окна.

Сыпь лампад. Дома окраин.
Проходным иду двором…
И не здесь ли брат мой, Каин,
Притаился с топором?

Мои дожди

Как в лес, в ненастье заходи,
Как в темноту, под струи эти…
Мне кажется, по всей планете
Идут, зажмурившись, дожди…

И, натыкаясь на людей,
На их зонты, плащи, портфели,
Нас представляют, в самом деле,
И несуразней, и скучней.

Дожди плетутся наугад
Унылой длинной вереницей,
Как чьи-то выцветшие лица,
Идут который день подряд.

Всё мимо. Бог благословит,
И ничего менять не нужно…
Скрипит земная ось натужно…
Телега времени скрипит.

Р. Солнцеву

Все мы от веку парии,
Все мы рабы страстей…
В Северном полушарии
Мало погожих дней.

Впору сигналы бедствия
Сослепу подавать,
Времени равноденствия
Некуда отступать.

Чем бы смягчить характеры,
Сгладить обиды как
И углубить фарватеры
Рек, что текут в снегах?

Выпить вина ли, бария
За белизну полей?..
В Северном полушарии
Ночи светлее дней.

Весна

Суета, даст Бог, уляжется,
Стихнет боль—прошла зима.
Облака плывут, и кажется,
Что качаются дома.

Что плывут, как лодки, лоджии,
Плеск и шум со всех сторон,
Даже птицы осторожные
Так и лезут на рожон.

А окно твоё с приветливой
Запроточной стороны,
Среди многих неприметное,
Отделилось от стены

И, порхая вместе с птицами,
Под гудки, звонки, капель,
Машет створками и ситцами
В набегающий апрель.

Переселение

Г. Г. Батцу

С каким-то сдержанным нахрапом,
Вздымая твердь земли родной,
В Москву воскресшие этапы
Волна стремятся за волной.

По сопкам яростным накатом,
То вверх, то снова как под лёд,
Спешит безвинно виноватый,
Давно исчезнувший народ.

И днём, и ночью по Отчизне
От Колымы до Соловков
Идут, убитые по жизни,
Колонны хмурых мужиков.

Таких не остановят танки,
Ни пулемёты на бугре.
Бредут к насупленной Лубянке,
Как… к галактической дыре.

И пропадают в ней бесследно,
Уходят молча в никуда,
Хотя горит над этой бездной
Вполне московская звезда.

И свет её неугасимый
Мертвит на много лет вперёд
Своей российской Хиросимы
Почти космический исход.

Своей российской Нагасаки
Полузабытая слеза,
И чуткой лагерной собаки
В ночи звериные глаза.

В октябре

Гаснет медленно лесок,
Как спираль электроплитки,
От зимы на волосок
Наши поздние калитки.

От беды на волосок
Птицы, что не улетели.
Почерневшие качели
Чуть качает ветерок.

А под вечер вдоль дорог,
Словно грусть моя простая,
Кружит реденький снежок
И, считай, уже не тает.

Одиночество

Яблоко. Стакан вина.
Холодок грибной, дождливый,
Привкус недозрелой сливы…
И такая тишина,
Что настольной лампы свет,
Преломляясь в жёстких гранях,
Монотонным звуком станет
В череде тоскливых лет.
Всё объемлет этот час:
Звон стиха и гром победы,
Поражения и беды,
Грусть и блеск любимых глаз,
Омут чёрного окна,
Холодок сентябрьской ночи
И столбцы неровных строчек…
Яблоко. Стакан вина.

● ● ●

Легки осенние потери
На перекрёстке всех дорог,
Когда в распахнутые двери
Заносит мятный холодок
Обид, теперь уже не главных,
Отнюдь не суетных забот,
Не тайных встреч,
        разлук не явных—
Всё как-то походя идёт…
Да с тем, пожалуй, и проходит,
Не задевая струн души,
При мягкой сумрачной погоде
В сентябрьской ветреной глуши.
Легки осенние находки,
Скромны последние цветы,
А перевёрнутые лодки—
Почти как летние мечты.
Пустеет даль.
        За поворотом
Растаял день. И всё ж один
В холодном парке бродит кто-то,
Как тень Иуды средь осин.

Сергей Ставер

Грустных виршей командир

● ● ●

Не растеряй улыбки, мальчик,
Заветы мамы не забудь.
Ведь лёгкий путь всегда обманчив,
Но бессердечен, будто бунт!

Борьба — как бой, одно и то же.
За правду стой и ей внемли…
Когда тебя враги положат
На бруствер матушки земли!

Зароют в прах, смешают с пылью,
Залепят глиной сжатый рот…
Но жизни дух, расправив крылья,
Цветком сияющим взойдёт!

И, подлой силе уступая,
Ты не сдавайся никогда!
И разобьётся вражья стая
О монолит огня и льда.

● ● ●

Неулыбчив мир и странен,
Над любым довлеет мощью…
Вьюжный ветер впрягся в сани,
Разгулялся тёмной ночью…

Что ему, бродяге, надо
В деревеньке, прикорнувшей
На перине снегопада,
В час сплошного благодушья?

Налетел, как коршун, резко,
Ухватил, унёс — и долго
Трепыхалась занавеска
На окне родного дома…

Где мальчишкой жил я в прошлом,
Горя старости не зная, —
Облетела жизнь, как роща,
Снег замёл следы за нами…

● ● ●

Наши кони отскакали.
Милый друг, всё позади!
Не портвейн — слеза в стакане…
Скорбь живёт в моей груди.

Бедный месяц плачет с крыши…
Жёлт от горя… нелюдим!
О любви тоска напишет
И исполнит грустный гимн.

Грозный гром окончен, встали
Звёзды в стойла, ветер стих!
Закрывают зори ставни,
Засыхает в горле стих…

Не простит Господь нам тяжких
Прегрешений, брат, смирись…
Как полынь — с похмелья бражка,
Как костёр — мирская жизнь!

Не утешу, скорби много,
Слезой горю не помочь.
Без любви — как жизнь без Бога:
Света нет — всё время ночь!

● ● ●

Струны стоном огласили
Скорбный свиток чёрных дел;
По снегам родной России
Вдаль уходит добрый день.

А недобрый — рядом с нами:
Ест, и пьёт, и шебуршит
Иностранными деньгами,
Честь сменяв на барыши.

Совесть в гульбищах забыта,
Грех глядит на блеск монет.
У вселенского корыта
Опустился высший свет.

А не высший пашет в поле,
Сеет, жнёт… и так всегда!
Рядом с доброй — злая доля
И могильная звезда.

А небесная, мерцая,
Освещает даль и высь.
Мы отпели, отплясали…
По могилам разбрелись!

● ● ●

Я розы не сберёг, они завяли втуне
В кувшине голубом, сгорели от тоски!
Отравлен воздух злом, в нём много яда ртути;
А там, где ландыш цвёл,—пустыня и пески…

Не уходи, сестра, мы жизнь устроим сами.
И новый сад любви мы в сердце разобьём.
Ты в детство загляни: летят по небу сани,
И наш весёлый брат в свой барабанчик бьёт!

Прости меня, отец, но будь ко мне построже,
Я столько натворил и родину забыл!
Мне нечего теперь в графе любви итожить:
Я не построил дом и сад свой не разбил.

О матушка, не плачь, что одолело лихо;
Зелёный берег смыт, а дальше—полный бред…
Но солнышко взойдёт, и вызреет гречиха,
А ароматный чай нам души будет греть!

● ● ●

Звёздный купол сердцем вышит:
Звон приглушен, тишь да блеск…
Расцветают в небе вирши,
Серебром укутан лес.

В дымке ёлки блещут сталью,
Контур синих сосен сиз…
Я лечу по мирозданью,
Отгоревших клёнов лист.

Я на миг затих под елью—
Миру рад и с песней жив,
Ведь вчера, спасая Ельню,
Мой отец лежал во ржи…

А потом с врагами бился:
Ранен, выжил, победил!
Слишком поздно я родился,
Грустных виршей командир.

Мать, сражённая печалью,
Дождалась—сбылись мечты!
С нами связана лучами,
Молча смотрит с высоты.

Ей нельзя к себе ворваться,
В век двадцатый, в дом родной,
Обниматься, миловаться,
Слиться с милым и весной!

Да и мне к ним не вернуться:
Луч погас, а купол мёртв!
На заснеженное блюдце
Льётся детства горький мёд.

Шмель застыл, замёрзли лужи
Возле спиленных берёз…
Только ветер, плача, кружит
Там, где я когда-то рос.

● ● ●

Дорогая, себя порадуй
Красным солнышком, светлым днём.
Видишь, юность на арки радуг
Пролилась золотым дождём

И жарка́ми ожившей рощи,
Многоцветьем весенних трав…
Старой песни душевный росчерк—
Как бальзам от любовных драм!

Запах мёда в цветенье вишни.
За рассветом—с вином закат!
Пусть от ласки хмелеют крыши,
Что под солнцем веков лежат.

И поют лепесткам черёмух,
Чтоб цвели, не боялись бурь…
За тобой головой я в омут!—
Будто в мрамор алмазный бур!

Только б ты в милый край влюбилась,—
Что не сбылось, о том забудь.
Для печалей есть Божья милость,
А для счастья—заветный путь!

Всадник

Сон ли снится, или мне
Померещилось в тумане?
Скачет всадник на коне,
Как в придуманном романе.

Конь—огонь! Копыта—блеск!
Не картина—загляденье.
Всадник скачет к нам с небес…
Жаль, что это наважденье.

Я ладонь—под козырёк,
К картузу её пристроив…
Мыслю: это мчится рок
Из развалин мёртвой Трои.

Иль египетских жрецов
То наследник и посланник…
Время кончилось отцов,
Как забавы и желанья.

Беззаботно спят во мгле…
Сон всегда милее яви—
Всадник скачет по земле,
Чтобы их в романах славить!

Всадник скачет—не догнать…
У него главней дорога:
За Отчизну постоять
И вернуть России Бога!

Виктор Хатеновский

Придорожная ива

● ● ●

С утра расцвела придорожная ива.
Возможно, чужую предчувствуя боль,
Природа сегодня так красноречива,
Что я над собою теряю контроль.

Забыты тревоги, бег в поисках хлеба;
Надуманный страх безвозвратно исчез.
Мне только бы видеть бездонное небо,
Рассвет и с туманом флиртующий лес.

● ● ●

Сто тридцать восемь дней душа
Хандрит, безмолвствует. Не резкий,
Квартирный взмах карандаша
Раздвинет в полночь занавески.
Сроднившийся с корчмой невроз,
Рассеяв мрак прослойкой света,
На вновь поставленный вопрос
Не даст правдивого ответа.
Сквозь ржавый скрежет пустоты
Роскошным, мощным апперкотом,
Как лермонтовский Демон, ты
Судьбу поздравишь с Новым годом.

● ● ●

Голос, взгляд, походка, жесты—
Слепок жизненный… В Белграде
Смерть, схватив костюм невесты,
Льнёт к кладбищенской ограде.

Под стеклом расправив спины,
Подвывая: «Все мы смертны»,—
Розы, астры, георгины
Снова ждут сакральной жертвы.

Затхлый запах влажной тверди
Мозг взрывает криком: «Горько!»
Моцарт, Бах, Чайковский, Верди
Нагнетают страсти… Только

Оглашенным—страх неведом:
Растворившись на погосте,
Будешь скомканным портретом
Приходить к Отчизне в гости.

● ● ●

Октябрь. Слякоть. Листопад
Флиртует с ветром. День обвалом
Надежд отмечен. Двое спят,
Укрывшись плотным покрывалом.
Ночная мгла не так страшна
Содружеству… В застенках рая
Жена, как смерть, ему нужна;
Ей нужен муж, как боль зубная.
Так—было, есть. Так будет впредь.
Вновь умертвив в октавах звуки,
Она рискует—растолстеть,
А он—состариться от скуки.

● ● ●

Жизнь непроста.
Смерть многогранна.
С верой в Христа
Спит Дона Анна.
Спит Командор.
Скромно и смело
Спят с давних пор
Гамлет, Отелло.
В гроб Дон Гуан
Снёс васильковый
Модный кафтан.
Для Казановы—
Дочка, жена,
Сваха, невеста—
Где-то нашла
Тихое место…
Сколько их, Бог,
Тех, кто, из блюдца
Выпив, не смог
Утром проснуться?!
Выскоблив лбы
Жизненным стажем,
Скоро и мы
Где-нибудь ляжем.

Сергей Кузичкин

Моя Вероника

Когда стрелки часов приближаются к двенадцати и бледный месяц заглядывает в наполовину замёрзшее окно, Вероника, откинув одеяльце, осторожно встаёт. Крадучись, на цыпочках, чтобы не разбудить меня, она идёт в противоположный угол комнаты, туда, где возле телевизора стоит наша ёлка. Я не сплю: лежу с открытыми глазами и слежу за каждым её шагом. Подойдя к ёлке, Вероника садится на корточки напротив игрушечного Деда Мороза.

— Здравствуй, Дедушка Мороз! — обращается к нему вполголоса Вероника. — Мы с тобою не виделись долго-долго — целый год! Сегодня на тебе новая красивая шубка, совсем не такая, как в прошлом году, у бабушки. Ты снова принёс подарки? Не хитри, дедушка, не улыбайся, я уже не маленькая и знаю, что под Новый год игрушечные Деды Морозы оживают и раздают детям подарки. Пока дети спят… А знаешь что, дедушка: подари подарок и моему папе. Ну и что, что он большой? Подари ему жужжащую бритву, а то он бреется такой, которая режет лицо, и у него потом идёт кровь. Знаешь, какой мой папа добрый-предобрый, хороший-прехороший. Мы с ним ходили в парк, катались на карусели и ели мороженое, а потом он купил мне куклу Алёнку и маленькую кроватку. А летом мы с ним поедем далеко, на море, и папа покажет мне настоящего дельфина, а может быть, мы даже увидим большого кита… такого большущего-пребольшущего… Подари… Ладно?

Я представляю, как сейчас смотрит Вероника на игрушечного Деда Мороза: пристально, чуть прищурив глаза. Так смотрит она и на меня, когда что-нибудь просит купить. Причём просьбу она всегда заканчивает словами:

— А, папа?..

Папа… Подумать только, не прошло и полгода, а я уже привык, что меня называют папой. А тогда…

Тогда, когда я приехал в этот город…

Однако, чтобы было понятно многое, мне всё-таки лучше начать рассказ с дождливого осеннего сентябрьского дня, когда я познакомился с Надей.

Я хорошо запомнил тот день, ту долгую осень: большей частью тёплую, но иногда с продолжительными, по нескольку дней моросящими дождями. Осень, ставшую поворотной в моей судьбе.

Итак, была осень, конец сентября — время тихой светлой грусти и пожелтевшей листвы, когда думается возвышенно и непременно с оттенком чего-то утраченного безвозвратно, но больше всё же о хорошем: да, уже что-то прожито, но главное, лучшее и долгое в жизни, верится, всё же впереди.

В тот день я долго бродил по городу, а когда заморосил дождь, решил зайти в парк, надеясь переждать под крышей деревянной летней эстрады.

Ещё, казалось, недавно наполненный музыкой, гамом, криками детворы, скрипом качелей, теперь городской парк пуст и уныл.

Порывистый ветерок беспощадно срывает пожелтевшие листья с молодых тополей и кружит их по аллее, капли мелко моросящего дождя расходятся кругами в лужах на асфальте, и промокшие, озябшие воробьи жмутся под козырьком павильона.

Да, уже настоящая осень.

Я прохожу мимо застывшей карусели, направляюсь к летней эстраде; вот и она. Я поднимаюсь по ступенькам на сцену и вижу девушку, она тоже укрылась здесь от дождя, но не теряет времени даром — что-то одиноко и тихо поёт под гитару.

— Вам грустно? — спрашиваю я девушку.

Она поднимает голову. Пальцы уверенно продолжают перебирать струны. Русые волосы разбросаны по плечам, в больших голубых глазах лукавые искринки.

— Нет, — выдержав паузу, говорит она. — Просто сегодня мой день… День моего рождения.

— От души поздравляю! — я протягиваю ей ветку клёна с ещё не опавшими листьями. — Наконец-то и я отыскал человека, который родился со мной в один день…

Девушка благодарно улыбается, а я замечаю, какая красивая у неё улыбка.

— Спасибо, — говорит она. — Значит, мы с вами просто счастливые люди, ведь не каждому удаётся родиться в такой день — день увядания осени…

Я сажусь напротив.

— Хотите, я вам спою? — предлагает она.

— Хочу.

Она поёт весёлую шуточную песню, и мы смеёмся.

— Автор песенки Новелла Матвеева. Знаете такую поэтессу? — спрашивает девушка.

— Знаю, — говорю я. — Слышал даже кое-что в авторском исполнении. А хотите, я вам что-нибудь из Визбора спою? Слышали про этого автора?

— Слышала, — кивает она и напевает: — Милая моя, солнышко лесное…

— Где, в каких краях встретишься со мною?.. — подхватываю я, и мы поём уже в два голоса.

Гитара переходит в мои руки, потом снова к ней, затем опять ко мне…

Девушка поёт о куколке-бедняжке, а я всё смотрю и смотрю на неё и не могу насмотреться. Она красива! Как она красива! Как всё в ней красиво: и голос, и движенья, и песни, которые она поёт… А как она их поёт!

На душе у меня уже тепло, хорошо и спокойно, и мир, сжавшийся до размеров этой вот эстрады, становится светел и прекрасен, и притихает как-то сразу нудный дождь, не беспокоит прохладный ветерок, а тяжёлые свинцовые тучи на небе редеют.

— Давайте прогуляемся, — говорит она, когда наступает неожиданная минутка молчания.

Я соглашаюсь, хотя не очень-то хочется уходить с уютной эстрады опять под дождь.

— Давайте.

— Вот и хорошо.

Она берёт гитару, подаёт мне руку, и мы, спрыгнув на землю, идём по устеленной листопадом, умытой дождём мокрой аллее навстречу уже не так часто моросящему дождю.

Мы бродим по широким улицам большого города, промокшие, подолгу стоим у витрин магазинов и, смеясь, прыгаем через лужи на асфальте. Нам не надо никаких зонтов, мы просто не думаем о них, а пожилые прохожие, прикрывшись от дождя зонтиками, как рыцари от стрел щитами, смотрят на нас, и некоторые из них не скрывают улыбок… Наверное, они вспоминают свою молодость…

— Тебе не холодно? — спрашиваю я, когда мы выходим на центральную площадь города.

— Нет, ведь твоя рука крепко сжимает мою.

Как-то вполне естественно и незаметно мы переходим на «ты». Она называет своё имя. Оно коротко и красиво слетает с её губ, и я немного теряюсь, прежде чем произнести своё.

— Ну вот и познакомились, — говорит она.

Между тем, чтобы совсем не промокнуть, мы заходим в молодёжное кафе, что под городскими часами. Я заказываю две чашечки кофе и шоколад. Она, обжигаясь, пьёт горячий кофе, а я снова с восхищением смотрю на неё: лицо, пылающее розовым румянцем, руки, ещё не совсем согретые от холода; слушаю её голос и не могу представить, что знаком с этой девушкой всего каких-то полдня.

«Ты знаешь её давно… Очень давно… Ты знал её всегда, и она всегда была с тобой — в твоих мечтах и снах. Ты долго искал её, а она была рядом. Ты проходил мимо неё, но не видел. Ты искал и не находил… И вот наконец нашёл. Нашёл… Это именно она, та, что снилась тебе не один раз, приходила и оставалась с тобой до рассвета, а потом исчезала… И вот сейчас она рядом с тобой, наяву, и ты должен сделать всё, чтобы не потерять, не упустить её, не дать ей исчезнуть… Не упусти, слышишь? Не упусти!..» — шепчет мне голос ликующей души моей.

— Подожди минутку, — говорю я и, встав из-за стола, выбегаю на улицу.

Через минуту возвращаюсь с букетом гвоздик.

Она удивлена.

— Сегодня твой день, — стараюсь быть спокойным я.

— Однако у тебя тоже праздник, и половина букета по праву твоя.

Я беру её руку. Она смотрит мне в глаза, словно пытаясь что-то понять, а потом склоняет голову на моё плечо.

…………………………………………………………

Вот так я познакомился с Надей.

Я учился тогда на последнем курсе архитектурно-строительного института. В свои двадцать пять имел уже за спиной, как полагал, немало: три года детского дома, год работы на стройке, два года армии, — и вполне резонно считал, что кое-что в жизни уже повидал.

До тринадцати лет, даже почти до четырнадцати, я был обыкновенным, нормальным ребёнком, жил, как большинство детей, с родителями и даже бабушкой и учился в обычной школе. Правда, в нескольких обычных школах. Ничего необычного в то время не было в том, что родители мои были романтиками — строителями, вернее, мостостроителями, — и кочевали по стране в поисках духа романтики, строили железнодорожные и автомобильные мосты через большие реки Урала и Сибири и, естественно, возили меня с собой. До седьмого класса я сменил три школы, а родители построили несколько мостов. И отец, и мама работали, как они выражались, на переднем крае — на передовой — и порой не бывали дома по нескольку недель. Я рано привык к самостоятельности, воспитывался рядом с такими же, как и я, соседскими ребятишками — детьми мостостроителей. Бывало, жил в семье у соседей, а иногда случалось, что дети друзей моих родителей жили у нас.

Я учился в пятом классе, когда умерла бабушка, а потом, спустя два года…

Событие, изменившее всю мою дальнейшую жизнь, случилась, когда я перешёл в седьмой класс. «Производственная трагедия», как потом было написано в газете, произошла летом. В июне неожиданно в реку упал новый пролёт моста. Как потом установила приехавшая из Москвы комиссия, строители всё делали по технологии, нарушений

при монтаже не было, но установленный за сутки до трагедии и практически уже испытанный новый пролёт нового моста почему-то всё же упал. Рухнул он в самый разгар рабочего дня, когда на нём находились люди и некоторая техника. Видимо, не выдержал нагрузки. Среди работающих там в то время людей были и мои родители… Их так и не нашли. Ни отца, ни матери не было ни среди выплывших, ни среди тех, кого выловили потом, спустя несколько дней, ниже по течению. После трагедии на мосту без родителей, как говорили — сиротами, остались четверо детей. Самому старшему было пятнадцать. Паренька взяла под свою опеку бригада монтажников, устроив его в городское профтехучилище — учиться на монтажника. За двумя другими, братом и сестрёнкой, приехали родственники и увезли куда-то, подальше от места трагедии. А я попал в детский дом. Родственников, желающих взять меня на воспитание, не нашлось. Да я, откровенно говоря, и не знал, есть ли они у меня. Родители мои познакомились в начале пятидесятых. Отец потерял родителей в войну, в то же время жизнь разлучила его с единственным братом, о котором я только слышал в раннем детстве. А мама была единственным ребёнком у бабушки. После того как родители закончили учёбу и стали строить мосты (на стройке они и познакомились), а затем появился я, бабушка, выйдя на пенсию, оставила свой дом в деревне и приехала жить к нам. Других родственников я не знал. До пятого класса я всегда видел только её, а когда бабушки не стало, привыкал к самостоятельности, проводив родителей на стройку, один.

Смерть родителей и детский дом изменили мою жизнь, сделав из общительного в детстве мальчишки замкнутого в отрочестве человека.

Я не стану рассказывать подробно о моей жизни в детском доме, годах армейских и даже студенческих, ибо они, в общем-то, мало имеют отношения к этому повествованию. И думаю, что буду прав, если скажу, что упоминание о моём детстве и юности для дальнейшего рассказа нужно, но не более чем.

Наверное, с тех самых юных лет, когда я оставался надолго без родителей, мне стало нравиться одиночество, тогда и появилась привычка бродить одному по улицам города, один на один со светлыми мыслями. Эта привычка: думать о хорошем, прогуливаясь по городу, осталась у меня, и когда я стал взрослым. Иногда, когда ко мне приходило неожиданное вдохновенье, я записывал в тетрадку стихотворные строчки. Поэтом себя я не считал, желанием непременно почитать кому бы то ни было свои сочинения не горел, а потому никому не показывал свои вирши. Некоторые из стихотворений я пытался сопровождать аккордами под гитару и даже напевал негромко. Никому я не хотел демонстрировать и своего песенного творчества. А вот любовь к спорту я никогда не скрывал. Со школьного детства я любил бегать эстафеты, стайерские дистанции и играть в футбол. Футбол не оставлял ни в детдоме, ни в армии, а в институте даже играл за студенческую команду.

За время учёбы я ни разу ни с кем из студентов и студенток не поссорился. Может быть, потому, что с первого дня был избран старостой и имел определённый авторитет среди остальных — на два, а то и на три года помладше меня ребят. Может быть, потому, что был постарше, я так и не сблизился толком ни с кем из ребят своей группы ни в институте, ни в общежитии. Не складывались у меня дружеские отношения и с девушками. Правда, в то время в архитектуру и строительство девушки шли нечасто, всё больше предпочитали педагогику и медицину. Нельзя сказать, что я совсем не смотрел в сторону противоположной мне половины рода человеческого. Смотрел, и мне иногда нравились некоторые скромные на вид студентки и даже молодые преподавательницы, но не более чем нравились. Я продолжал сочинять стихи и песни. С возрастом они были всё больше и больше о любви. Однажды я понял, что делаю это только для того, чтобы встретить *её* и не пройти мимо. Я ждал *её* и знал, что *она* должна вот-вот появиться в моей судьбе, встретиться на жизненном пути и этой встречи мне никак не миновать. Несколько раз я приходил на студенческие дискотеки, но атмосфера их мне не очень нравилась, а потому в часы нахлынувшей меланхолии и светлой грусти я предпочитал вновь и вновь бродить по улицам и скверам города, часто ходил в театры, библиотеки, на концерты авторов самодеятельных песен — близких мне по духу людей. Но *она* не появлялась и не встречалась мне ни на пешеходных дорожках улиц, ни на скамейках скверов, ни в фойе или партере театров, ни в концертных залах, ни в библиотеках. Время шло, а *она* никак не появлялась. Но я упорно продолжал свои прогулки и верил, что предчувствие не может меня обмануть.

Нередко я заглядывал в городской парк, что был недалеко от медицинского института.

Как тогда, в тот день…

А Надя училась в медицинском…

Жила она с мамой, Ниной Петровной, в однокомнатной квартире панельного пятиэтажного дома. Нина Петровна работала медицинской сестрой в поликлинике речного пароходства, а Надя собиралась стать врачом-терапевтом.

Почти месяц после знакомства местом наших встреч был парк. Мы бродили по аллеям, ходили в кино и в театр, сидели в любимом кафе. Осень в тот год хотя и была затяжной и тёплой, но всё же медленно, но неумолимо катила к холодному и снежному ноябрю. В конце октября мы перенесли

наши свидания в кафе. Они стали короче. После часа-двух общения я провожал Надю до подъезда, ещё около часа мы стояли в подъезде, говорили, мечтали. Потом расставались и скучали до следующего свидания — до завтрашнего дня.

В канун ноябрьского праздника Надя решила пригласить меня в гости и наконец-то представить своей маме.

— Время пришло, — сказала она, улыбаясь.

Представился и повод: Надя купила новую люстру, и теперь нужно было сменить в зале старую люстру на новую. А я, как Надя объяснила Нине Петровне, понимал кое-что по электрической части.

Я никогда не причислял себя к людям из робкого десятка, но на встречу с Ниной Петровной шёл не без волнения. Причём волновался как никогда ранее. Видимо, не совсем привычно чувствовала себя накануне встречи со мной и Нина Петровна. Она встретила меня в прихожей, молча кивнула на приветствие и ушла на кухню. Я смутился ещё сильнее, но выручила Надя: потянула меня за рукав в комнату, напоминая мне, зачем я пришёл сюда и что пора браться работу. Люстра с тремя плафонами в виде раскрытых лепестков лилии уже ждала на диване.

Я быстро справился с работой электрика: новая люстра всеми тремя лампочками светила ярче старой, и Надя в благодарность при матери поцеловала меня. Как бы мимолётно чмокнула в щёку, похвалив:

— Молодец! Вот что значит мужчина в доме.

На этот раз смутилась Нина Петровна и снова заторопилась на кухню, пояснив на ходу нам: нужно приготовить чай.

Потом мы пили чай с пирожками, которые Надя напекла специально «к встрече электрика», говорили об учёбе, студенческой жизни. Я отвечал на вопросы Надиной мамы, рассказывал о себе: о детском доме, армии, институте. Нина Петровна осторожно поинтересовалась моими планами, и я ответил, что собираюсь после окончания учёбы поехать в Сибирь, на строительство комбината и нового города.

— А мы с Наденькой родились в этом городе и жить намерены только здесь, — сказала Надина мама, посмотрев при этом на дочь, и добавила: — До скончания века, наверное.

Но Надя, казалось, не заметила взгляда матери: в это время она листала страницы принесённого ею фотоальбома, в котором упорно искала какую-то фотографию.

— Здесь и бабушка Нади всю жизнь прожила, и дедушка, и мать бабушки… если уж всю родословную вспоминать… — продолжала говорить Нина Петровна, поглядывая то в мою сторону, то на дочь.

— А твой дедушка здесь почти не жил: железную дорогу строил, — сказала вдруг Надя матери, показывая на фото в альбоме. — Вот он какой… В форме железнодорожника. Ты сама рассказывала, что он только и делал, что по стране ездил — стальные магистрали строил.

— Ну, тогда другое время было… — быстро отреагировала на слова Нади Нина Петровна, подсаживаясь ближе к дочери. — Время строительства стальных магистралей…

— Каждое время другое, сейчас в стране тоже строек немало… — заметил я, и никто мне тогда не возразил, а даже, как мне показалось, и Надя, и её мама мысленно со мной согласились.

Как мне показалось, в тот вечер мы сидели за столом долго: смотрели альбом, несколько раз принимались за чай, слушали рассказы Нины Петровны из её молодости. Помню, что я засобирался, когда на улице стало смеркаться, и пришёл в общежитие, когда совсем стемнело.

С того памятного вечера я стал бывать в гостях у Нади. Нельзя сказать, что бывал часто, но один раз за две недели обязательно задерживался на вечерний чай, с обязательным просмотром фотографий. Единственный фотоальбом просматривался так регулярно, что вскоре я уже стал узнавать на фотографиях дедушку и бабушку Нади, её тётю, живущую где-то далеко — на Крайнем Севере. Узнавал и Надиного отца. Его фото хранилось отдельно, и о нём говорили всегда немного.

— Он погиб, когда я была маленькая… — объяснила мне кратко Надя, и больше никто на эту тему не говорил.

Надина мама теперь уже приветливо встречала меня и охотно общалась с нами, всегда умело поддерживала разговор, зная, когда лучше вставить реплику, когда оставить наши высказывания без комментариев, а когда надо уйти на кухню. За время визитов я узнал, что Нина Петровна умела хорошо заваривать чай и пекла очень вкусные пирожки с картофельной, капустной, грибной и рисовой начинкой, а также пончики с повидлом и вареньем.

— Наденька у меня опыт неплохо переняла, знает теперь, как стряпать и печь, и главное — умеет это так же неплохо делать, — говорила мне не без гордости за себя и дочь Нина Петровна. — А я, в свою очередь, у своей мамы научилась. Главное — тесто вовремя использовать. И запомните, молодой человек: стряпать из хорошего теста — это одно, а печь, постоянно поддерживая нужный огонь и нужную температуру, — это совсем другое. И то, и другое — искусство, а сочетание их даёт хороший результат. Как вам результат?

— Отличный результат! — воскликнул я под одобрительную улыбку Нины Петровны.

На пироги иногда заглядывала соседка по лестничной площадке, пенсионерка Марина Николаевна, много лет работавшая врачом-терапевтом в больнице речников. Марина Николаевна своим

неторопливым говорком (как она пояснила: «То ли вятским, то ли нижегородским, не знаю сама, рано оторвалась от родителей и жить начала самостоятельно») умела расположить к себе, как я впоследствии убедился, всех окружающих её людей. Разговор она начинала всегда с тем вроде бы обыденных, а потом как бы «по случаю» переходила, как говорила она сама, «на другую колею» и «по случаю и по теме» рассказывала нам какую-нибудь интересную историю. Часто — из своей медицинской практики. Рассказывала всегда забавно и всегда громко смеясь, так что слушающий её человек невольно поддавался настроению рассказчицы и сам начинал смеяться ещё до того, как понимал, над чем, собственно, смеяться надо. Каждый раз во время своих визитов или случайных встреч возле дома Марина Николаевна непременно спрашивала, что нового у нас с Надей и, как она говорила, «на ниве нынешнего образования».

Проявляла интерес к моей дипломной работе и Нина Петровна, она интересовалась современными направлениями в архитектуре. И, я думаю, делала это вполне искренне, потому что всегда слушала с интересом мои рассуждения на эту тему. Почти каждый раз, когда случалось заглянуть на чаепитие Марине Николаевне, она просила Надю спеть что-нибудь под гитару, и не было случая, чтобы Надя отказалась. Она послушно брала в руки гитару и пела песни из репертуара Новеллы Матвеевой, которые очень любила, а потом под одобрительные аплодисменты соседки передавала музыкальный инструмент мне, и я пытался развлекать женщин, исполняя им песни современных бардов, в основном Окуджавы и Визбора.

Обе женщины не возражали, если мы оставляли их компанию в разгар чаепития и уходили с посиделок в кино, на творческий вечер бардовской песни в архитектурно-строительном институте или даже (что случалось реже) на дискотеку. Куда идти, мы решали с Надей заранее, и разногласий у нас не возникало. Почти не возникало, а если мнения всё же расходились в чём-то, то мы, немного поспорив, быстро приходили к единогласию. Чаще побеждало её мнение. Я уступал не потому, что она была права, а потому, что не хотел видеть её милое личико хмурым.

А время шло, и защита моего диплома приближалась. Надя знала, что я не изменю своего решения ехать в Сибирь, и между нами уже было решено, что после того, как закончит учёбу, она тоже приедет ко мне.

Решение это далось нам вроде бы просто, и в то же время не совсем просто. Надя согласилась сразу, а вот её мама…

Чем ближе было прощание с институтом, чем чаще я стал бывать у Нади в гостях, тем яснее стал понимать, что с поездкой Нади в Сибирь могут возникнуть немалые проблемы. Нина Петровна становилась в своих разговорах всё настойчивее. Вначале она вроде бы только намекала мне — на аспирантуру, на возможность устроиться в этом городе «в строительный трест или в какое-нибудь архитектурно-проектное бюро», а когда поняла, что её намёки никак не могут повлиять на меня и я решения своего менять не собираюсь, то однажды открыто и просто сказала:

— Если вы, молодой человек, отправитесь на далёкую стройку, то о моей дочери можете забыть.

Произошло это за очередным чаепитием с пирожками, без присутствия Марины Николаевны.

Откровенно говоря, я уже был настроен на то, что однажды Нина Петровна заговорит со мной откровенно, ждал прямо поставленного вопроса и даже не один раз мысленно готовился к тяжёлому разговору, как уже полагал, с будущей тёщей, но всё же был застигнут заявлением Надиной матери, высказанным в такой вот форме, врасплох. Я ответил ей не сразу. И даже не ответил, а только попробовал объясниться.

— Понимаете, Нина Петровна… — начал было я.

— Я-то понимаю! — перебила меня хозяйка. — А вот вы, дорогой мой молодой человек, очень привлекательной наружности, такой привлекательной, что вам верить безоговорочно хочется, вы понимаете, куда зовёте и собираетесь увезти мою дочь? Она же ведь, кроме мамы, этой квартиры и этого города, ничего не знает… Она погибнет там! Просто погибнет. Погибнет вместе с вами! Я понимаю, что гены ваших родителей, страсть к перемене мест, эта ваша романтика зовут, даже манят вас в дали дальние, и вы не можете усидеть на месте. Но Надя другая. Другая! Неужели вы этого не видите?

Такого резкого выпада от скромной, на мой взгляд, женщины я не ожидал. После этих слов я хотя и понял, что противостоять сегодня мне Надиной маме нет никакой возможности, она не примет никаких возражений, но всё же попробовал, вначале робко, а потом немного увереннее, предпринять попытку если не переубедить, то хотя бы успокоить разволновавшуюся Нину Петровну. Я сказал что-то стандартное, что говорят обычно все в таких случаях: о том, что романтика помогает людям жить интересно, и о том, что молодым надо начинать с нуля, с самого начала и всего добиваться самим. Сказал об этом как-то несвойственно робко и почти сразу понял, что сделал это напрасно. После моей неуверенной речи меня, мягко говоря, попросту выставили за дверь.

Ни на второй, ни на третий день, ни неделю спустя эта дверь для меня не открылась, и в ответ на набранный номер телефона в трубке долго и протяжно гудело.

Я надеялся встретить Надю на улице, ходил возле мединститута, бродил по парку, но там, где

мы виделись раньше каждый день, она теперь не появлялась. Однажды, набравшись смелости, я пришёл к Надиному дому. Шёл туда решительно, намереваясь непременно увидеть Надю, обязательно поговорить с Ниной Петровной и получить ответы на мучающие меня вопросы. Поговорить не получилось, и ответов на вопросы я не получил. Возле подъезда мне встретилась Марина Николаевна и отговорила от «горячего», как она сказала, визита.

— Поймите, Саша, Нина Петровна одна, без мужа, воспитывала Надю. Всё это было на моих глазах. Мы вместе долго работали с ней в одной поликлинике, вместе переезжали в этот дом, построенный для медработников речного пароходства, вместе обживались на новом месте. Я помню Наденьку ещё дошкольницей, потом первоклассницей… В общем, знаю их семью хорошо… Нина Петровна делала всё, чтобы Надя училась и не чувствовала себя обделённой. У неё были свои планы, свои взгляды на будущее дочери, а тут вы со своим заявлением и своей непоколебимой решимостью непременно ехать в Сибирь. Конечно, маме не хочется оставаться одной, отпускать свою дочь куда-то далеко, очень далеко. Поверьте, она тоже очень переживает, что наговорила вам многое, что не было нужно, сгоряча, но она не могла себя сдержать. Поверьте, только поэтому, а не потому, что она относится к вам плохо. Очень даже не плохо. Я то уж знаю. Но боюсь, что если вы сейчас придёте и начнёте опять доказывать свою правоту, то она снова не сдержится…

— Я хотел Надю увидеть… Мне нужно ей хотя бы что-то сказать…

— Я понимаю вас, понимаю хорошо, очень даже хорошо. Но прошу вас, погодите и с этим. Вы можете поспешно всё испортить. Наденька, я знаю, тоже переживает. И за вас, и за маму… Я вижу, как она страдает, мучается… Она любит вас, поверьте, любит. Так, как она, могут переживать только влюблённые люди… Послушайтесь меня, потому что я хорошо знаю Нину Петровну, поэтому не советую вам искать сегодня с ней встречи, ни к чему нынче вообще затевать какой бы то ни было разговор. Вот увидите, она сама найдёт вас, сама придёт с разговором. До вашего отъезда ещё есть время, и я уверена: всё образуется, и всё у вас будет хорошо…

И я послушался добрейшую Марину Николаевну, поблагодарил её и вернулся в общежитие. Но тоска не оставляла меня, я не находил себе места. Мысленно едва ли не каждый вечер я прощался со своей любовью, рисовал себе самые печальные картины своего одинокого будущего, плохо спал. За неделю я исписал две тетради рифмованными строчками. Вечерами я писал стихи, ночами мучился от тяжёлых раздумий, а утро встречал с новой надеждой на встречу. Я жил Надеждой и с надеждой.

Как долго длился тот июль—
Его вторая половина.
К окошку тянулась рябина,
Туман качался, словно тюль.
Мне о тебе листва шептала,
Ночами тихо плакал дождь,
И знал я: где-то ты идёшь,—
Но так тебя мне не хватало!
Я жил предчувствием той встречи,
И ждал тебя мой дом и сад,
Дороги не было назад…
И больше века длился вечер!
И ночи не было конца…
И звёзды на реке купались,
И эхом в сердце отозвались
Шаги под утро у крыльца…
И ты вошла…
Дверь настежь отворила,
Ворвался август с ароматом трав…
И буднично сказала:
— Ты был прав…—
Как будто никуда не уходила…

Я терпел, верил и жил надеждой.

И не напрасно.

Насколько хорошо знает жизнь и людей Марина Николаевна, я убедился очень скоро. Примерно за неделю до моего отъезда Надина мама действительно нашла меня сама—она пришла ко мне в общежитие.

Нина Петровна ждала меня во дворе на скамеечке, и я, проходя мимо, даже не сразу узнал её. Поджидала она, видимо, меня не один час и проявила немалое терпение: я вернулся в общежитие из института под вечер, а она, как я потом понял, приехала после полудня.

— Молодой человек, моя дочь больна. Больна из-за вас,—сказала она, едва увидев меня.—Нам надо поговорить и что-то, в конце концов, решить.

— Давайте поговорим,—согласился я, приглашая её к себе в комнату.

Наш с ней разговор нельзя было назвать откровенным. Она в основном осторожно расспрашивала, было видно, боясь обидеть неделикатным вопросом, а я, в свою очередь, так же осторожно отвечал, опасаясь сказать лишнего и обидеть её.

— Наверное, всё складывается, как и должно быть: попробуйте пожить в разлуке,—сказала на прощание Нина Петровна.—Если у вас любовь, то вы выдержите данное вам испытание, а если… В общем, время покажет и всех нас рассудит: кто был прав, кто не прав…

Я не спорил и лишь согласно кивал головой в такт её словам. Можно сказать, что мы расстались по-хорошему и даже восстановили прерванные было отношения.

Провожать меня Надя пришла с Мариной Николаевной. Пожилая женщина вежливо сообщила мне, что Нина Петровна сегодня «неотложно занята и прийти к поезду не смогла», а потом деликатно ушла изучать расписание пригородных электропоездов, оставив нас с Надей наедине. А Надя сразу же, едва сдерживая слёзы, неожиданно стала говорить напутственные слова о том, чтобы я «обязательно зарекомендовал себя там с самой наилучшей стороны и сумел выдвинуться». Сделать это я должен был для того, чтобы, после того как она закончит учёбу, мы, поженившись, «сразу же получили бы ключи от квартиры, а не мыкались, как некоторые, по общежитиям». Я понимал, откуда шли эти наставления, так непривычно срывающиеся с Надиных губ, поэтому кивал, делая вид, что соглашаюсь, и успокаивал себя мечтою о том, что когда мы будем жить вместе, самостоятельно, вдвоём, всё у нас будет так, как было в первые дни нашего знакомства,—возвышенно и романтично, а о том недоразумении, как я считал—вынужденном, мы никогда и не вспомним.

...

Капельки горячих слезинок падают мне на руку и обжигают сердце.
— Но почему? Почему?—шепчут её губы.—Почему ты уезжаешь? Зачем?..
— Так надо, Наденька. Ведь я ненадолго, скоро мы опять будем вместе… Я, как только приеду на место, сразу же напишу… Обязательно напишу, ладно? Ты будешь ждать моего письма?

Она согласно быстро и часто кивает.
— Поезд отправляется!—кричит мне проводница, но я не слышу её.
— А теперь иди… Иди, пожалуйста. Поезд уже отходит…—шепчет она, а глаза наполняются слезами всё больше и больше. Кажется, вот-вот—и она разрыдается.

Вагон качается и медленно плывёт вдоль перрона мимо меня.
— Иди…

Ещё несколько секунд я стою в нерешительности, затем, обняв её за плечи, с силой прижимаю к себе и целую в горячие, дрожащие, солёные от слёз губы, а потом запрыгиваю в почти уже набравший ход поезд. Я запрыгиваю на подножку вагона и, держась одной рукой за поручни, другой машу ей. Машу до тех пор, пока проводница не втягивает меня в тамбур и не закрывает дверь.

...

Я уехал.

В Сибирь я ехал действительно по зову сердца. Гены моих родителей, видимо, и вправду не давали мне покоя, и я верил и даже предчувствовал, что маленький сибирский городок, расположенный на Транссибирской магистрали, ждёт меня, как ждали реки и мосты моих отца и мать. Я был уверен, что еду навстречу судьбе. Городок имел большие перспективы: на его окраине начинали возводить домостроительный комбинат, и строительство было объявлено всесоюзной стройкой. Я чувствовал, что вступаю в большую самостоятельную жизнь, может, даже во многом неожиданную. Предчувствие неожиданного не обмануло меня.

Подъезжая к незнакомому пока для себя населённому пункту, я из окна вагона с интересом рассматривал его улицы и дома. Отметил, что городок состоит в основном из небольших деревянных двухэтажных домиков, собранных из брусьев. Да и само здание вокзала небольшое и деревянное. Время было вечернее, и народу на перроне было много. Не знаю, может быть, от почти трёхсуточной езды, а может быть, от необычного таёжного воздуха, у меня, едва я ступил на перрон, слегка перехватило дыхание и закружилась голова. Но чувство необъяснимого буйного восторга уже наполнило мою душу, и сразу же уверенно подумалось, что я не ошибся в предчувствиях и этот город действительно станет моим.

На-все-гда!

Опьянённый предвкушением перемен, вокзальной суетой, запахом тайги и новостроек, я поправил гитару на плече, взял в руку чемодан и уже хотел было направиться вслед за приехавшими этим же поездом людьми к автобусной остановке, как вдруг услышал…
— Папа! Папа!

Вначале я не придал этому никакого значения: мало ли кого могут окликать на вокзале города, где у меня пока нет знакомых? Народ сновал по перрону, каждый был озабочен чем-то своим и почти не обращал внимания на окружающих. Ехавшие со мной в поезде люди слились с встречающими, и уже трудно было отличить, кто минуту назад был пассажиром, а кто пришёл их встречать. Кругом шумели и окликали по имени. Разглядывать кого-то, оборачиваться на оклики мне в голову не приходило. Но когда маленькая девочка лет пятишести со слезами на глазах подбежала ко мне и, обхватив ручками мои колени, стала говорить не кому-то, а именно мне:
— Папа, папа, я знала, что ты приедешь ко мне, папа!—я откровенно растерялся.

Я присел на корточки, стараясь внимательно разглядеть девочку. На ней было светло-зелёное платьице, поверх которого была надета лёгкая курточка синего цвета; из-под платочка в горошек проглядывали две косички. Глаза ребёнка были в слезах.
— Девочка, ты, наверное, обозналась?—попробовал вступить в объяснения я.

— Папа, папа, ты приехал! Пойдём домой, пойдём скорее… Бабушки уже нет…

Девочка обняла меня за шею и прижалась к лицу своей мокрой от слёз щёчкой.

Я не знал, что мне делать. Первым делом подумав о том, что она потерялась в толпе, отстав от своего папы, попробовал было поискать глазами человека, который мог быть отцом девочки, но напрасно: никто не давал мне ни повода, ни даже намёка, что ищет ребёнка. Напрасно я пытался успокоить девочку, говорил, что я не её папа, а её папу мы сейчас поищем и обязательно найдём,— она лишь крепче прижималась ко мне. Тогда я открыл чемодан, достал кулёк конфет, печенье…

Но всё это было напрасным, она не проявила интереса к гостинцам, а продолжала всхлипывать, никак не унимаясь, и всё время повторяла:

— Папа, папа, пойдём домой. Пойдём…

Вокруг нас стали собираться любопытные. Народ в большинстве своём продолжал суетиться, но некоторые уже стояли рядом и откровенно наблюдали, чем закончится моя встреча с девочкой. Мне даже показалось, что две или три женщины были готовы принять участие в том, чтобы я признал в девочке дочь, а одна даже предложила позвать милиционера. В этой непростой для меня ситуации смущение моё вдруг стало перерастать в любопытство. Девочка продолжала настаивать на своём, и мне оставалось только одно средство, чтобы утешить ребенка,— согласиться и пойти с ней.

— Хорошо, пойдём,— сказал я девочке, поднимаясь.

Она почти сразу успокоилась, вытерла слёзы, взяла меня за руку и уверенно повела к автобусной остановке.

События принимали интересный оборот. Я ждал романтики и неожиданностей от этого города и новой самостоятельной жизни, и вот они случились. Неожиданность случилась, едва я шагнул на перрон, причём неожиданность полная. И романтика в этом случае тоже имела присутствие. Своеобразное.

«Куда, интересно, приведёт меня судьба с помощью вот этой девочки?» — думал я, смирившись с обстоятельствами.

Мы обогнули здание вокзала и вышли к автобусной остановке. Среди ожидающих автотранспорта оказались и несколько человек из числа тех, с кем я недавно ехал в поезде в одном вагоне и которым говорил, что никого в этом городе не знаю и меня никто встречать не придёт. Одни теперь посматривали на меня с улыбкой, другие вовсе делали вид, что не замечают.

Автотранспорт не заставлял себя ждать: один автобус подходил за другим, только что отошедшим. И мы ждали недолго: сели в автобус, на переднем стекле которого выделялась цифра «1». Автобус прошёл несколько кварталов, примерно остановки через три девочка потянула меня за руку, давая понять, что надо выходить. Мы сошли у типичного двухэтажного домика, стоявшего несколько в стороне от других. Девочка, как и в салоне автобуса, продолжала крепко держать меня за руку и повела именно к этому одиноко стоящему дому. Мы вошли в подъезд, как оказалось — единственный в доме, поднялись на второй этаж.

— Позвони, папа,— кивнула мне девочка, показывая на дверь квартиры под номером восемь.

Я уже был готов, как мне казалось, ко всему и, не раздумывая, позвонил.

Дверь нам открыли сразу двое: молодая ещё женщина и мужчина в очках.

— Вероника! — не то радостно, не то удивлённо вскрикнула женщина и наклонилась, чтобы обнять мою спутницу.

Но та сделала шаг назад, крепко, что было силы в детской ручонке, сжала мою руку и уверенно проговорила:

— Это мой папа, и мы здесь будем жить!

Женщина на секунду застыла, а мужчина, глядя на меня, снял очки…

— Вы кто? — спросил меня мужчина.

Я не знал, что сказать.

— Понимаете… Я сейчас только с поезда… Приехал на строительство комбината… — начал было прояснять ситуацию я, но девочка решительно шагнула за порог, потянув меня за собой.

— Это же мой папа,— сказала она отчётливо, и мужчина с женщиной расступились, пропуская нас.

Потом началось выяснение, вернее, прояснение некоторых обстоятельств. Мне сказали, что Вероника сирота, что недавно умерла её бабушка, жившая в смежной комнате, не оставившая никаких сведений о родителях девочки, и теперь одному Богу известно, где они есть, и есть ли, и вообще были ли. Говорили о том, что хотели было взять девочку к себе — может, на время или как получится,— и даже ходили в городской совет и другие инстанции, но столкнулись с такой бумажной волокитой, что желание ходить по кабинетам у них быстро отбили. Меня пригласили на кухню, где мужчина признался, что теперь они находятся в ожидании, когда за девочкой приедут из детского дома.

— Уже решено: документы находятся на оформлении в детдом, но мы ей пока ничего не говорим. Не хотим травмировать. И так недавно с бабушкой рассталась, а теперь ещё… Там ведь для неё совсем другая жизнь начнётся…

— Ну а что прикажете делать? — спрашивал меня мужчина, по имени Геннадий.— Ведь она нам всё-таки чужая, а я собираюсь привезти сына от первого брака. Хотя, может быть, дети бы и поладили

между собой. У Аллы детей нет, а мы уже привыкли к девочке — до смерти бабушки жили рядом почти целый год, так что Веронику хорошо знаем: хорошая, спокойная девочка, очень послушная. Все последние дни жили мы спокойно, даже дружно, можно сказать, ладили с ней, как с родной нам. А сегодня утром Вероника потерялась, исчезла: как выясняется, ушла спозаранку из дома на вокзал… Видимо, почувствовала, что снова наступают перемены в её жизни. Дети, говорят, обладают предчувствием — иногда даже более острым, чем взрослые… Беду предчувствуют… Мы, поверьте нам, очень волновались, искали… В милицию, правда, не ходили, а так — где только не искали… Ведь жалко ребёнка… Сиротка теперь…

Потом женщина, по имени Алла, показала мне ордер на всю, как она сказала, жилплощадь, пояснив, что кое-что из мебели они уже перенесли в пустующую комнату, а бабушкину утварь вынесли в подвал: ведь занимать комнату когда-то нужно.

Алла смотрела на меня несколько виновато, будто ища сочувствия и поддержки. Я, впервые в жизни оказавшись в такой непростой ситуации и не зная, как вести себя, лишь несколько раз кивнул ей.

Всё это время Вероника старалась стоять рядом со мной, а когда я отходил от неё ненадолго, она испуганно хлопала ресницами своих больших глаз и умоляюще смотрела в мою сторону. Когда же хозяева пригласили нас в комнату и я сел на стул, она обхватила меня ручонками за шею и не отходила, пока разговор не закончился. При этом всё повторяла:

— Папа, папа, ты ведь не уйдёшь, папа?

По просьбе Геннадия и Аллы я остался ночевать. Мне постелили в комнате бабушки, Вероника улеглась на свою детскую кроватку, ещё стоявшую в этой же комнате. Вся ночь прошла в раздумьях и воспоминаниях. Я вспомнил своё детдомовское детство, попытался представить бабушку Вероники и её родителей, думал о том, как лучше написать об этой истории Наде. Вероника же, раскинув ручонки, крепко спала, улыбаясь во сне, и, казалось, губы её беззвучно шептали лишь одно слово: «Папа».

— Ну что делать будем с девчонкой-то? — спросил меня утром Геннадий. — Она в тебе папу признала. Тебе и надо что-то решать.

— А что решать? Раз признала — так тому и быть, буду папой, а там как судьба повернёт.

Геннадий покачал головой:

— Решительный ты парень, вот так сразу: вчера был свободный, а сегодня уже с ребёнком…

— Ну а вы как бы поступили, случись с вами такое?

— Не знаю, — смутился Геннадий. — Думаю, что со мной, во-первых, такого бы не случилось, а во-вторых, тут же сложностей много возникает: отцовство брать на себя в этой ситуации слишком ответственно, а если и взять, то никто не даст просто так — доказывать надо долго всем, походить по инстанциям… Разрешат ли?..

— Думаете, что в детдом отдать девочку лучше?

— Не думаю, но всё же… Ведь уже дело с детским домом почти решённое, инспекторша к нам приходила, забрала документы старушки и ещё какие-то бумаги, заставила нас копию свидетельства о рождении ребёнка сделать и заверить…

— Знаете что, Геннадий, я вас хочу попросить, если это понадобится, конечно, чтобы вы сказали, что я родственник Вероники. Или дядя, или двоюродный брат. Узнал, мол, о смерти бабушки и приехал.

Геннадий задумался.

— Ты думаешь, что нас могут привлечь к разбирательству?

— Ну, мало ли что может быть? Может, и потребуется какое-то разбирательство по этому случаю. Скажите хотя бы, что я вам назвался родственником.

— Сказать-то скажем… Правда, мы тебя совсем не знаем, но раз девочка признаёт, может, ты и родственник действительно… А может, и вправду отец? Скажи мне честно, как мужчина мужчине.

Геннадий засмеялся.

— Конечно, если потребуется, мы скажем, что вы представились нам как родственник Вероники, — вступила в разговор Алла. — Мы видим, человек вы хороший. Во всяком случае, впечатление на первый взгляд такое складывается… Но понимаете… — Алла замолчала, перевела взгляд на Геннадия, потом снова посмотрела на меня. — Понимаете, если окажется, что вы родственник, у нас могут быть проблемы с нашим заселением на жилплощадь покойной бабушки… При некоторых обстоятельствах комнату могут передать вам.

— Я обещаю вам, что на жилплощадь, переданную вам, претендовать не собираюсь и не буду, — успокоил я Аллу с Геннадием. — Мне, как молодому специалисту, приехавшему сюда по направлению, с красным дипломом, обещали сразу же предоставить жильё — комнату в общежитии. И предоставят, должны предоставить.

— Конечно, предоставят, — согласился Геннадий. — Вон сколько сейчас новостроек под жильё возводят. Я сам на стройке работаю, в строительно-монтажном поезде, инженером в плановом отделе. Мы производственные цеха, Дом культуры, больницу, стадион для комбината строим. У нас всех молодых или комнатами в общежитии, или квартирами-маломерками обеспечили, и в первую очередь тех, кто прибыл по направлению или, как говорят ещё, по путёвке.

— Возьмите вот это — тут какие-то вещи её и бабушки, — сказала Алла, провожая нас с Вероникой

до порога и передавая небольшую хозяйственную сумку.— И вот метрики — свидетельство о рождении Вероники. Тут фамилия родителей указана и как их звали. В милиции наводили справки о них, узнайте там. Может, ещё какие-нибудь родственники найдутся…

— Спасибо, я обязательно узнаю…— пообещал я.

Попрощавшись с хозяевами, утром нового дня вместе с Вероникой мы вышли из подъезда деревянной двухэтажки, бывшей для девочки до вчерашнего дня домом. Я обратил внимание, что она без сожаления расставалась с местом, где, как я понимал, прожила не один год. Она взяла с собой только куклу и бабушкины очки. Видимо, прав был Геннадий: потеряв бабушку, Вероника своим детским чутьём поняла, что для неё наступают не лучшие перемены, и место, где она жила с бабушкой, теперь перестало быть её домом.

Первым делом мы пошли в отдел кадров строительного управления, потом к заместителю начальника по кадрам и быту, затем к заму по производству и снова в отдел кадров. Изучив направление, мой диплом и выслушав историю с Вероникой, после нескольких долгих и непродолжительных бесед, объяснений, удивлений и консультаций по телефону нас отправили в рабочее общежитие, где добродушная и ещё не пожилая женщина — комендант Серафима Сергеевна — выдала мне ключи. Она же провела нас, попутно объясняя, где и что расположено, сначала по длинному коридору, а потом вверх по деревянной лестнице и снова по коридору в угловую комнату с одним, но зато большим, почти на всю стену, окном.

— Ну, располагайтесь,— сказала Серафима Сергеевна.— Постельные принадлежности получите у кастелянши, а если что надо будет ещё, какие вопросы решить, то обращайтесь или ко мне, или к дежурной.

Она подбадривающе кивнула нам и ушла.

— Ну вот, Вика-Вероника, здесь мы будем жить,— сказал я, поставив вещи к окну и присев на кровать.

— Одни?— спросила Вика-Вероника, несмело присаживаясь рядом.

— А кто нам ещё нужен?— улыбнулся я.

— Никто!— радостно воскликнула девочка и, шустро забравшись ко мне на колени, чмокнула меня в плохо побритую в утренней спешке щёку.

А потом мы долго бродили по городу, ели мороженое, кружились на карусели и смеялись, смеялись, смеялись…

Комнатка в двенадцать квадратных метров на втором этаже общежития оказалась уютной. Солнце с рассвета заглядывало в наше окошко, а на карниз открытого окна то и дело садились осмелевшие воробьи и, реже, голуби. Мы поспорили с Вероникой, были голуби дикими или ручными. Я говорил, что они ручные и, наверное, принадлежат кому-то из местных любителей, с детства обожающих этих Божьих птичек, а Вероника утверждала, что они прилетели из лесу, как предвестники хороших для нас новостей.

— Перед тем как тебе приехать за мной, папа, ко мне тоже прилетал голубь,— сказала она,— и поэтому я узнала, что ты приезжаешь…

Что можно было сказать в ответ на эти слова ребёнка? Я не нашёл ответных слов.

Вероника оказалась хорошей хозяюшкой. Я уходил на работу рано, когда она ещё спала, а она не только не боялась оставаться одной, но ещё и следила за чистотой и порядком в комнате, а вечером, когда я возвращался, кормила меня ужином. Помимо супа или каши, меня всегда ждали ещё салаты из огурцов и помидоров. Чаще со сметаной, как готовила ей когда-то бабушка, но иногда с подсолнечным маслом, как учил её теперь я.

Я начал работать мастером на строительстве городского Дома культуры. Строил его почти в центре города строительно-монтажный поезд, где работал бывший сосед Вероники Геннадий. Однажды мы встретились с Геннадием случайно в конторе смп, разговорились, и вечером он зашёл к нам в гости, а потом пришёл ещё раз, в выходной день, уже с Аллой и сыном — десятилетним мальчиком Витей. Складывающаяся дружба с Геннадием и его семьёй имела для нас с Вероникой немало положительного. Во-первых, они нам помогали в бытовом плане: стульями, скатёрками, наволочками, даже ложками и вилками, а во-вторых, я был благодарен Геннадию за то, что он помог мне остановить дело с оформлением Вероники в детский дом и устроил её в детсад неподалёку от общежития. А в-третьих…

В-третьих, а скорее всего, это и было во-первых, Геннадий сделал большое, я бы сказал — главное, дело. Он нашёл время, силы, проявил терпение и настойчивость и узнал кое-что о родных Вероники. Я сам не раз пытался узнать об этом, но в милиции мне долго обещали навести справки, говорили, что направили запрос или даже несколько запросов по месту жительства и работы родителей девочки, но ответы на запросы, очевидно, не торопились… Я подал документы на удочерение Вероники (меня поправили, сказав, что правильно будет: усыновление ребёнка), и долгий процесс рассмотрения моей просьбы начался. Где, в каких инстанциях проходило это рассмотрение, но оно тянулось месяц за месяцем, не давая никаких результатов. «Вот если бы вы были человеком семейным, то вопросов было бы к вам меньше,— говорили мне.— А холостому человеку, без собственного жилья, живущему в общежитии… В этом случае необходимо всё взвесить. Притом ребёнок с вами разного пола, тут тоже есть свои нюансы. Будет ли девочке удобно жить со взрослым мужчиной в одной

комнате? Ведь не будет она всё время ходить в детский сад. Дети имеют обыкновение подрастать и взрослеть…» В общем, препятствий, в том числе неожиданных, появлялось немало. Я особо не комплексовал по этому поводу. Нас с Вероникой никто не разлучал и даже не предпринимал попытку это сделать: наоборот, многие окружавшие нас люди всячески старались посодействовать, даже те, кто говорил нам о сложностях усыновления. А это было для нас главным. Хотя я не однажды выдвигал мысленно предположения, что о судьбе родителей Вероники мне просто не хотят говорить, но был спокоен и по этому поводу, полагая, что рано или поздно всё прояснится. Очевидно, глядя на мои переживания и видя, как мы с Вероникой всё больше и больше становимся привязанными друг к другу, Геннадий и проявил настойчивость. Узнал он немного, но в то же время достаточно, чтобы было понятно, что Вероника после смерти её бабушки действительно осталась одна на целом свете и жалостливое русское слово «сиротка», как это ни печально, больше других подходит к ней. Вернее, подходило, пока она не встретила меня.

Как я узнал из рассказа Геннадия, судьба родителей Вероники была очень схожа с судьбой моих отца и матери. Во многом, если не сказать—почти во всём. Даже в том, что жизни их так же оборвались неожиданно, в один день и очень рано. Они были археологами и по полгода, а то и больше времени проводили на раскопках, оставляя маленькую Веронику на воспитание бабушки—матери мамы Вероники. Скорее всего, Вероника не знала своих родителей,—просто не помнила. Когда девочке было два года, молодые археологи работали на международных раскопках в Южной Америке, часто летали самолётами, которыми управляли не профессиональные пилоты, а любители из числа учёных-археологов, что на Западе не редкость. И однажды спортивный самолёт, потеряв управление, врезался в скалу недалеко от места раскопок. Самолёт взорвался, и от него, а также от пилота и двух пассажиров мало что нашли. Вероника осталась у бабушки и всё время, сколько помнили соседи, жила со старушкой в доме, куда позже переехали Геннадий с Аллой. О других родственниках девочки никто ничего не знал. Геннадий сделал на этом основании вывод, что их просто нет.

— Старушка ни разу ни о ком из родных не вспоминала. Никому не писала писем, никто к ней в гости не приезжал, и она ни к кому не ездила и ехать не собиралась. Мы почти три года рядом прожили—хоть бы словом обмолвилась о ком-то. Про родителей Вероники говорила смутно, что они не приедут и ей самой поднимать ребёнка надо, и всё…—сказал Геннадий.—Та ещё партизанка бабушка была—слова лишнего не вытянешь…

Надо ли говорить какое впечатление произвела на меня история Вероники, её родителей и бабушки. Я был потрясён, кроме всего прочего, и тем, что судьба, по одной ей ведомым законам, свела именно меня, а не кого-то другого, с этой сироткой и доверила заботиться о ней. Мне нужно было сесть именно в этот поезд, хотя я мог поехать и несколькими днями позже, приехать в город именно в этот день, а Веронике в этот час оказаться на перроне и увидеть меня. Неужели это всё только совпадения? «Нет в мире ничего случайного»,—убедился я ещё раз и дал сам себе клятву: не оставлять бедную девочку никогда, ни при каких обстоятельствах.

В общем, жизнь моя на новом месте началась необычно, живо и, как я всё более убеждался, вполне закономерно, и я её принял такой. На работе дела шли у меня хорошо. Дело своё я знал и опыта набирался. Очевидно, встреча с Вероникой, частое общение с Геннадием и его семьёй повлияли и на мой непростой характер. Я стал более открытым. И на производстве, и в общежитии у меня появились новые знакомые—интересные люди из числа монтажников, инженеров, работников культуры, врачей, с которыми я часто бывал на различных культурно-массовых мероприятиях, во многих участвуя лично. На некоторые из них я брал с собой Веронику. С новыми друзьями мы всегда живо обсуждали успехи наших спортсменов на соревнованиях, говорили не только об этом и о прошедшем недавно в городском кинотеатре новом кинофильме, но и мечтательно заглядывали в недалёкое будущее, пытались представить наш город через год, полтора, два. Пожалуй, не было в городе жителя, кто бы с интересом не рассуждал на эту тему. Интересно, каким он будет, наш город, в недалёком будущем? Ведь всё меняется у нас буквально на глазах, и мы сами вершим эти перемены. И беседы на спортивные темы не заканчивались только разговорами. Спортивная жизнь в городе тоже кипела бурно, и я не оставался в стороне от неё. Ходил в спортивный зал и даже несколько раз участвовал в лыжных переходах на десять километров. Недалеко от Дома культуры заканчивалось строительство стадиона, там обещали соорудить ледовый каток, и я уже мечтал о том, как мы с Вероникой, среди шумной толпы взрослых и ребятишек, будем кататься на коньках под светом ярких фонарей и громкие музыкальные мелодии.

Всё складывалось и шло вроде бы неплохо, но было то, что всё время тревожило меня тогда: отсутствие каких-либо вестей от Нади.

Ответа на своё первое письмо, в котором я написал Наде о моих впечатлениях в новом городе: истории с Вероникой, работе, Доме культуры и общежитии,—я ждал почти три недели; потом написал второе, более подробное, и ждал ещё полмесяца. Я заказывал переговоры, но телефон далёкой от меня Надиной квартиры на

мои запросы отвечал лишь длинными, как мне казалось — необычно длинными, гудками. Я уже начал серьёзно беспокоиться: а не случилось ли там какого-нибудь несчастья с Надей и Ниной Петровной? Почему они молчат? Но буквально тут же вспоминал о Марине Николаевне и успокаивал себя: уж она-то бы точно сообщила мне, случись что. Но всё же что-то произошло опять с Надей, и она снова поменяла своё отношение ко мне. Я в этом был уверен. Иначе почему она не отвечает мне?

Прошёл ещё месяц, потом второй. За летом пришла осень, за сентябрём — октябрь…

Иногда вечерами, когда Вероника засыпала, я подходил к окну и долго смотрел на освещённый уличными фонарями двор общежития, проглядывающую из-за сосен часть улицы, где ходили автобусы и автомобили. Прибитые ветром или дождём к окну листочки берёзок, растущих во дворе, напоминали мне осень прошлого года и нашу встречу в городском парке.

……………………………………………………

Порывистый ветерок беспощадно срывает пожелтевшие листья с молодых тополей и кружит их по аллее. Капли мелко моросящего дождя расходятся кругами в лужах на асфальте, и промокшие, озябшие воробьи жмутся под козырьком павильона.

Я прохожу мимо застывшей карусели и направляюсь к летней эстраде, где одинокая девушка что-то тихо поёт под гитару.

— Вам грустно? — спрашиваю я девушку.

Она поднимает голову. Пальцы уверенно продолжают перебирать струны. Она красива! Русые волосы разбросаны по плечам, в больших голубых глазах лукавые искринки.

— Нет, — выдержав паузу, говорит она, — просто сегодня мой день… День моего рождения.

……………………………………………………

Примерно недели за две до её и своего дня рождения я отправил Наде подарочную бандероль, а утром в наступивший день рождения — поздравительную телеграмму-молнию, но ответа и на эти послания так и не получил. Всё чаще и чаще я задумывался о том, почему вначале вроде бы благосклонная судьба моя вывела ко мне на жизненную дорогу прекрасную девушку, дала возможность установить дружеские отношения, достичь почти полного взаимопонимания, а потом послала испытания в виде каких-то не совсем ясных преград. Может быть, всё дело только в моём не совсем решительном характере? Может быть, нужно быть более настойчивым и решить однажды всё одним махом — раз и навсегда? Я уже стал подумывать о том, чтобы отпроситься с работы — взять неделю за свой счёт и…

Но как быть с Вероникой? Навряд ли стоит её отрывать от детского сада и везти с собой. Оставить на Геннадия и Аллу? Конечно, ей там не будет скучно вместе с Витькой, но захочет ли она возвращаться в дом, где жила и откуда ушла с такой лёгкостью? Ведь я уже звал её несколько раз туда, нас приглашали в гости, но она отказывалась, и я один не шёл, а находил предлог. Геннадий и Алла, я думаю, понимали, в чём причина, и хозяин приглашавшего нас семейства в таких случаях всегда находил правильный выход:

— Ну, коль Магомед не идёт к горе, то ждите, гора сама нагрянет. Так и знайте: придём, и что есть в холодильнике из продуктов — ничего не оставим.

— Будем рады разделить с вами наши продукты питания! — поддерживал его инициативу я.

Вариант оставить Веронику на Геннадия и Аллу отпадал, как отпадал и вариант оставить её на милейшую Серафиму Сергеевну, так не похожую на типичных комендантов общежитий, которых нам показывают в кино. Вероника (я почему-то был уверен) не пошла бы и к Серафиме. И вообще никуда бы и ни к кому бы не пошла. Поэтому вариант был один: никуда не ехать и ждать.

И я ждал. Ждал. Ждал…

Как-то сразу и нежданно
Осень в двери постучалась.
Отворил — листвой румяной
На крыльцо она спускалась.
— Разреши, —
И в дверь впорхнула,
Краски мне перемешала,
Покачала абажуром,
Холодком в лицо дышала.
— Что молчишь? — меня спросила.
Я в ответ пожал плечами.
— Ту не жди, она забыла,
Там, за дальними холмами.
Улыбнулась:
— Я оттуда.
Без тебя легко, поверь, ей.
А с тобою было трудно —
Нужно адское терпенье:
Угождать, любить и верить
В те туманные мечты,
В те несбыточные цели,
Что выдумываешь ты.
То не каждому по силам,
В том с тобою мы сродни…
Подмигнула мне игриво.
Я ответил:
— Уходи…
Осень хлопнула дверями,
Рассердилась:
— Посмотри…
И дождями, как слезами,
Била в окна до зари.

А солнце становилось уже не таким ласковым и всё позже и позже заглядывало в окно, заставая нас с Вероникой дома только в выходные дни. Птички уже всё реже и реже садились на карниз, теперь окно было закрыто и даже утеплено нами на зиму, и Веронике приходилось открывать форточку, чтобы насыпать голубям, воробушкам и присоединившимся теперь к ним синичкам хлебных крошек или пшена и тем самым заманить к нам в гости. Дело кончилось тем, что из фанерки от посылочного ящика я соорудил небольшую кормушку, и мы пристроили её к оконной раме. Для этого пришлось взять большую лестницу у рабочих жилищно-коммунальной конторы.

Чем больше узнавал я Веронику, тем больше удивлялся её не по годам развитой деловитости и самостоятельности. Она сама собирала себя в детский сад: готовила одежду, без робости бралась за утюг и гладила платьица, колготки, юбочки, даже носовые платочки. Она бралась и за стирку, и за приготовление не только обедов, но и ужинов. Чистила картошку и лук и часто сама брала инициативу на себя по доведению супа или каши до полной готовности, а что она нередко ходила за хлебом, сахаром и другими продуктами в близкорасположенный от нас гастроном — и говорить не стоит. Как само собой разумеющимся можно считать её еженедельную субботнюю генеральную уборку всей комнаты. Во время уборки я нередко, бывало, играл, как говорят в театре, роль второго плана, выполняя приказания Вероники. А именно: приносил воду в ведре из умывальника, протирал пыль на гардине, полке с книгами, отодвигал шкаф и холодильник.

А по вечерам или выходным, когда у нас не было намечено культурного выхода в город, мы садились за книги. Я читал ей про Гулливера в стране великанов, про живущего среди зверей мальчика Маугли, о весёлых приключениях Тома Сойера и Нильса, путешествующего на диких гусях, про Карлсона, который живёт на крыше. Это были толстые, пока непосильные для неё книги, а вот детские книжки-брошюрки про царя Салтана и Мойдодыра Вероника уже могла осилить сама. Нередко она удивляла меня тем, что просила вдруг рассказать что-нибудь об авторах уже знакомых ей книг, и уверенно, даже без малейшей заминки, произносила имена и фамилии зарубежных писателей: Даниэль Дефо, Джонатан Свифт, Сэмюэль Клеменс, Редьярд Киплинг, Сельма Лагерлёф.

В один из длинных-предлинных (как любит говорить Вероника) вечеров закончившегося выходного, уже в начале ноября, я написал письмо Марине Николаевне, а в конце следующей рабочей недели, под вечер, меня вызвали на междугородный переговорный пункт. Надо ли говорить, что я не бежал, а летел по городу, мимо автобусной остановки, не дождавшись автобуса, отказавшись от услуг Геннадия, который хотел подбросить меня до переговорного на новеньких, только что купленных им «Жигулях» и уже пошёл было к автостоянке… Я бежал, не замечая знакомых, сокращая путь дворами, боясь только одного — опоздать. Примчавшись на переговорный за сорок минут до назначенного времени, я несколько раз надоедал телефонистке вопросом: можно ли соединить пораньше, если вызываемый и вызывающий уже ждут?

— Разговор может начаться позже намеченного времени, но никак не раньше, — отвечала мне русоволосая девушка.

После назначенного времени пришлось прождать ещё минут пятнадцать, и вот наконец…

— Вам в третью кабинку, — сказала телефонистка.

Она говорила ещё что-то, но я не слышал. Через несколько секунд, оказавшись в кабинке и взяв в руки телефонную трубку, я уже не слышал никого в этом мире, в том числе себя самого. Видимо, я кричал громко — не помню, видимо, мне делали замечание — не знаю, но успокоился только тогда, когда понял, что со мной говорит Марина Николаевна.

— Я восхищаюсь вами, Саша, — говорила она. — Вы молодец! Усыновить ребёнка, вернее, удочерить — в наше время это подвиг. Подвиг — поверьте мне. Наденька, она молода ещё, она ещё многого не понимает, но я уверена: она поймёт, поймёт, Саша. А вот с Ниной Петровной сложнее. Ей надо это всё перебороть в себе, передумать, понять, принять… Поймите и её тоже, Саша. Вы не так много знакомы с Надей… Вы старше её, и Нина Петровна вполне могла допустить, что у вас уже был ребёнок до того, как вы познакомились с Надей… Или от первого брака, или незаконнорождённый, как раньше говорили… Я-то понимаю, что вы не такой человек и обманывать никого не станете, тем более Наденьку… Но матери… Матери, имеющей единственную дочь и готовой сделать всё, чтобы дочь её была счастлива… Ей трудно понять, представить даже: мужчина с ребёнком — и молодая девушка, её дочь, почти сама ещё ребёнок… Саша, держитесь, крепитесь… Я думаю, разум победит — всё образуется… Передавайте привет от меня малышке… Напомните, как её зовут?

— Вероника. Спасибо за поддержку, Марина Николаевна, — поблагодарил я. — Спасибо, хоть вы меня немного успокоили… Теперь знаю: ничего страшного ни с Надей, ни с Ниной Петровной не случилось…

— Не случилось, Сашенька, не случилось. Живи, работай спокойно и верь, что Надя умная девочка и вы будете вместе. Все вместе: вы, Надя и Вероника… И Нина Петровна с вами счастлива будет. Вот увидите…

— Спасибо, я тоже верю и надеюсь: скоро это произойдёт.

И я верил и надеялся на свою Надежду.

Совсем стемнело. Дождь перестал, тучи рассеялись, и на холодном небе выступили по-осеннему крупные звёзды. Мы стоим на мосту, укутавшись в мой плащ. Под нами чуть слышно течёт блестящая река, а где-то далеко грохочет железнодорожный состав и виднеются огни светофора. Мы стоим совсем близко друг от друга и мечтательно смотрим на звёзды.

— Ты знаешь,— тихо говорит она,— я всегда восхищалась звёздами, их величиной и красотой, и в то же время боялась: боялась их холодного мерцания и недоступности!

Она вдруг замолкает и переводит взгляд на меня. В её глазах блестят прозрачные слезинки, в которых отражаются электрические огни. Я чувствую, как дрожит её тело. Букетик из гвоздик и клёна выскальзывает из рук и летит вниз, в холодную осеннюю воду. Она не замечает этого, уже положив руки мне на плечи и уткнувшись головой в грудь.

— Прости меня… Пожалуйста… Прости… Прости, что больше не встретимся… Прости, что не сможешь понять, как трудно мне прощаться со звёздами и шелестом листопада. Шумом осеннего дождя и безмолвием этой реки… Как больно ходить по земле, прыгать через лужи и скользить по мокрому асфальту. Не видеть больше знакомые лица, расстаться с родными, навеки потерять тебя… Прости…

Я ошеломлён. Я не могу понять этой резкой перемены её настроения, глажу её пушистые волосы и растерянно пытаюсь успокоить.

— Ну не плачь. Не надо… Зачем нам расставаться? Ведь всё так хорошо. Мы встретились. Я не знаю, что тебя беспокоит, но думаю, всё поправимо. Ведь правда же? Правда?

Она поднимает лицо, глаза полны слёз.

— Не спрашивай меня ни о чём, ладно?— её слабый голос дрожит.— Не спрашивай, Саша, ладно? Обещай, что не будешь ни о чём спрашивать.

Не в силах возразить — я обещаю.

— Мы больше не увидимся.

— Но… я никуда не отпущу тебя!..

— Сделаешь только хуже… И себе, и мне.

— Но почему?

— Не спрашивай… Ты же обещал…

Я опускаю голову. Она вытирает слёзы, пытается улыбнуться.

— Что-то я сегодня совсем дала волю слезам. А судьба всё-таки подарила мне счастливые часы. Жаль только, что под самый занавес…— последние слова она произносит как-то загадочно, с горечью улыбаясь.— Ты простил меня?

— Да.

— Как, однако, быстро летит время,— она смотрит на часы.— Поцелуй меня.

Мы стоим на шатком подвесном мосту. Прямо над нами горят звёзды, а под ногами серебряной лентой блестит река, и где-то уже далеко на её волнах качается ярко-красный букет.

Я просыпаюсь от непонятного мне страха и первые минуты силюсь понять: кричал ли я во сне? В комнате тихо. Со стороны Вероникиной кроватки слышится лёгкое посапывание. Значит, она спит и ничего не слышала. В прошлый раз, когда мне приснился похожий сон и я вскрикнул во сне, Вероника не просто услышала, но даже, проснувшись, пыталась меня успокоить. Не ребёнок, а чудо. Настоящая находка. А ведь и вправду — находка.

В глазах всё ещё стоит качающийся на волнах букетик из гвоздик и кленовых листьев, а в ушах слышится стук вагонных колёс мчащегося вдали поезда. Стук колёс и вправду слышен: день и ночь на стройку подают вагоны с оборудованием, кирпичом, железобетонными блоками. Подъездные пути проходят недалеко, примерно километрах в полутора-двух от нашего общежития, и ночью, когда стихает уличный шум, иногда слышно, как тепловоз катит вагоны, а особенно когда подаёт сигналы.

До утра мне, наверное, опять не уснуть. Когда некоторое время спустя сон не приходит, встаю осторожно, нащупываю в темноте ногами тапочки, надеваю их и, тихонько подойдя к письменному столу, зажигаю настольную лампу. Неяркий её свет сразу падает на толстую общую, как у школьников-старшеклассников, тетрадку. В неё я записываю мои стихи. Я открываю тетрадь на новой, не начатой пока странице в крупную клеточку и начинаю записывать пришедшие на ум строчки:

Сгорела осень золотая,
Пришла зима…
И снегопад
Шёл долго-долго, отдаляя
И разделяя нас… Назад
Ты не смогла уже вернуться,
И эти новые снега
Припорошили память, чувства,
Нас разбросав по берегам.
Остались письма без ответа,
И телефонные звонки
Тебя преследовать по свету
Не успевают… И гудки
Разрежут комнату пустую.
И разошьёт мороз окно…
И вновь по памяти рисую
Я, краски взяв и полотно,
Тебя… И имя повторяю…
Плохой художник и поэт…
Но не смогу…
И кисть роняю —
Вновь не окончен твой портрет.
Потом всю ночь гляжу на звёзды,
Не в силах справиться с тоской…
А утром покупаю розы
И целый день живу тобой!..

А на дворе уже декабрь. Снег лежит во дворе, на крышах домов, на карнизе, в кормушке, которая, благодаря Веронике не заледенела, постоянно пополняется кормом и собирает птиц. Окно подёрнуто ледком, и через проталинки смотрят в мою тетрадь со стихами тихие звёзды. Если бы я не был строителем, то, наверное, стал бы художником.

Но декабрь не всегда балует ясной звёздной ночью. Чаще стоят короткие морозные белые дни и холодные, красные от встающей над лесом зорьки рассветы, синие недолгие вечера и тёмные снежные буранные ночи, когда ветер стучится в окно с завыванием, похожим на безутешный долгий плач.

Дни коро́тки—
  словно точки,
Ночи дли́нны—
  как тире…
И морзянкой в одиночку
Воет вьюга во дворе…

Однажды в субботнее зимнее утро, после того как мы с Вероникой навели порядок и, вымыв полы, сели на диван, чтобы позаниматься азбукой, в дверь постучали, а затем резко открыли. Открыли так резко, что я даже не успел надеть тапочки, встать и подойти к двери. А когда встать попытался, то не смог.

На пороге стояла Надя. Зимняя новая шубка, меховая шапка под чуть рыжеватый цвет шубы, румянец на щёчке.

—Не ждали?

Оставив дверь раскрытой, не дождавшись от меня никакой видимой реакции на её появление—ни моего кивка, ни моего приглашения, Надя энергично вошла в комнату, решительно подошла к столу и, выдвинув стул, сначала поставила на стол дорожную сумку, а потом села напротив нас.

Мы с Вероникой растерянно смотрели на неё.

Да, это была она—Надя! Надя!!!

Сердце готово было вылететь из груди, чувства рвались за ним наружу. Что касается души, то она уже парила где-то под самым потолком, только я сам продолжал сидеть на месте и смотреть на долгожданную и нежданную в этот день и эту минуту гостью.

—Ну что же ты сидишь?—спросила Надя, глядя на меня.—Не рад мне, что ли?

—Что ты, Надя! Рад я, конечно. Просто не могу опомниться, ты появилась так неожиданно…

Быстро встав с дивана, я подошёл к двери и закрыл её. Повернувшись, увидел на ещё мокром полу свежеотпечатанные следы.

—Раздевайтесь, Надежда Павловна. Пожалуйста, будьте как дома,—проявил я готовность помочь снять гостье пальто, подойдя к ней.

Но Надя с интересом продолжала осматривать нехитрый интерьер нашей комнаты. А я смотрел на неё. О, она была красива, как фея! И новое пальто, и длинный вязаный шарф, и такая же вязаная шапочка, и даже пышный, живой румянец на щёчках—всё это невероятно шло ей!

—Неплохо устроились,—после паузы проговорила наконец гостья.—А я, собственно, за вами.

—За нами?..—не понял я.—А куда нам? Ехать или идти?

Вопросы мои, видимо, звучали нелепо.

—Какая милая девочка!—словно не слыша меня, Надя перевела взгляд на Веронику.—Иди, девочка, поиграй во дворе, побегай с ребятами, на санках покатайся. А мы поговорим немного с дядей, а потом все вместе пойдём погуляем: ты, я и дядя,—а может, даже поедем на автобусе за город.

—Ты, я и папа?—поправила Вероника и, отложив азбуку, посмотрела в мою сторону.—А мы тоже собирались за город. Правда, папа?

Я кивнул.

—Папа?!—удивилась Надя.—А я, признаться, никогда бы не подумала, что у такой взрослой девочки может быть вот такой молодой папа.

Она посмотрела на меня, мне показалось, не совсем по-доброму, а затем, попытавшись улыбнуться, снова обратилась к Веронике:

—Ну хорошо, пусть будет так: ты, я и твой папа.

На лице Вероники засияла улыбка, она взглянула на меня:

—Папа, можно пойти погулять?

Я кивнул:

—Только недалеко от дома.

Прежде чем Вероника побежала одеваться, я заметил, с каким любопытством и настороженностью Надя поочерёдно взглянула на нас с ней.

—Да у вас тут, я смотрю, просто идиллия. Полное взаимопонимание! Ну, Саша, ты делаешь успехи. Причём огромные и быстрые успехи. За такое короткое время приручил ребёнка. У тебя, вернее, у вас, Александр, бесспорный педагогический дар. Может, даже более, чем у Макаренко. Бросайте свою стройку и айда в школу. Воспитывать молодое поколение.

Мне показалось, что в словах Нади звучала ирония. Заметила это, видимо, и Вероника. Она остановилась у двери возле вешалки и, взяв в руки пальто, посмотрев на Надю, сказала:

—Меня никто не приручал…

Надя смутилась, но ненадолго.

—А взрослых перебивать нехорошо. И в разговор, который они ведут между собой, встревать тоже детям не следует,—сделала она, уже с более добродушным тоном в голосе, замечание.—И вообще, с незнакомыми или малознакомыми взрослыми дети твоего возраста разговаривают лишь после того, как их о чём-нибудь спросят.

—Извините,—сказала тихо Вероника.—Но вы неправильно говорите: детей не приручают, приручают животных, чтобы они в цирке выступали…

— Какая ты умная…— снова заметила, и снова не без доли иронии Надя.—Не девочка, а просто вундеркинд.
— Вундеркинды на пятёрки учатся, а я только на следующий год в школу пойду,—снова не удержалась от ответа Вероника.
— А я уже сейчас вижу, что ты самым умным ребёнком в классе будешь…— сказала Надя уже более спокойно. Как мне показалось, сбавляя колкость в голосе.

Я проводил Веронику до порога и едва только закрыл за ней дверь, как снова почувствовал не совсем доброе отношение к себе со стороны Нади. Повернувшись ко мне, она осмотрела меня с ног до головы. Осмотрела очень внимательно.
— Ты вообще-то на что-нибудь способен?—спросила она.

Я пожал плечами:
— Не понимаю. Что ты имеешь в виду?
— Почему ты не можешь сделать всё сам? Почему я должна ехать к тебе за тысячи километров только для того, чтобы пристроить в детский дом привязавшуюся к тебе девчонку?
— Какой детский дом? Надя, ты о чём говоришь?!
— Что Надя? Что Надя?! Ты думаешь, что она вечно будет жить с тобой?
— Я не знаю… Может быть, потом и отыщутся родители.

Надя с силой задвинула стул, подошла ко мне, глядя прямо в глаза. Я попробовал обнять её, но она отстранилась.
— А я знаю. Никаких родителей у неё нет и не было. Тебе её специально подбросили. Да-да. Спе-ци-аль-но. Видят: простачок такой, спокойный, давай ему подбросим ребёнка, нам гора с плеч…
— Да что ты такое говоришь? Кто мне кого подкинул! Ты знаешь, скольких мне усилий стоило, чтобы разрешили оставить ребёнка? Чтобы Вероника осталась со мной…
— А ты не перебивай меня! Мне и знать этого не надо, понял? Ты думаешь, что только у тебя одного и есть сострадание к другим? У меня тоже есть. Есть! И мне жалко эту девочку, но пойми, у нас у самих будут дети. Как они будут относиться к ней? Как она будет относиться к ним? Да и вообще… Вообще, мы с тобой ещё молоды, чтобы иметь такую взрослую дочь. Сколько ей лет, кстати?
— Скоро будет семь.
— Вот видишь! Мне только двадцать три, тебе двадцать шесть… Мама говорит…
— Я так и понял, что без мамы дело не обошлось! Это она тебе советовала не отвечать на письма?
— Я сама не маленькая! И мама ни при чём!
— Знаю я, как она ни при чём…

Надя замолчала, села на диван, и мне показалось, что она, словно мёртвая царевна, проснулась от долгого тяжёлого сна и теперь приходила в себя, изучая окружающий её мир.
— Знаешь, как я устала, Саша…— сказала она, и я почувствовал, что передо мной сейчас та самая девушка с мокрой эстрады из того сентябрьского дождливого дня, оставшегося далеко-далеко в прошлой жизни.

И вот она, жизнь та, и та девушка возвращаются ко мне.
— Вижу, Наденька, вижу…

Я присел рядом. Она склонила голову мне на плечо.
— Как думаешь, мы будем счастливы?—спросила она.
— Конечно,—ответил я уверенно.—Нам много для этого не надо. Лишь бы взаимопонимание было.
— И я тоже об этом,—встрепенулась Надя.—Давай, чтобы у нас во всём было взаимопонимание.
— Давай…
— Тогда ответь мне на один вопрос. Ответишь?
— Отвечу.
— А почему Вероника сразу стала называть тебя папой?
— Да откуда мне знать?.. Наверное, она никогда не видела своего папу и решила, что папа должен быть таким, как я.
— А почему она выбрала именно тебя?
— Ну выбрала и выбрала!—сказал я уже громче обычного.—Хорошо, что меня, а не другого. Теперь я даже рад этому. Зачем ты задаёшь эти вопросы?
— А может, она больна? Может, у неё с головой что?—спрашивала больше себя, чем меня, Надя, уже отстранившись и не глядя на меня.

Она встала, подошла к окну.
— Ну ничего, в детдоме её обследуют.
— Надя!—выкрикнул я уже раздражённо.—Как ты можешь так говорить? Ни в какой детский дом я ребёнка не собираюсь отправлять и не отправлю! Я хочу, чтобы ты об этом знала точно.
— Я прошу тебя, не повышай на меня голос. Ты раньше никогда не был таким. Я тебя таким не видела… Моя мама и то…
— При чём тут твоя мама?! Ну при чём тут мама?!— не в силах больше сдерживаться, выкрикнул я.
— Не кричи, понял? Не кричи,—Надин голос дрогнул, казалось, она вот-вот заплачет.

Мне стало жаль её, и я виновато опустил глаза.
— Ты тоже раньше не была такой. И я тебя такой не знал…
— Какой такой?
— Жестокой! Вот какой! Когда я писал тебе письмо и рассказывал о Веронике, я думал и не сомневался даже, что ты меня поймёшь, и не думал даже, что у нас будут какие-то проблемы с Вероникой. Раздор из-за ребёнка.
— Но ведь это не наш, не знакомый нам ребёнок. Неизвестно чей. Ты не боишься, что вдруг найдутся её настоящие родственники и обвинят тебя в том, что ты украл их ребёнка?

— Если бы они были, то уже нашлись бы. Так что не найдутся. А если и найдутся, навряд ли будут претендовать…
— Саша, извини, но мне иногда кажется, что ты не совсем здоров…
— Ты что имеешь в виду? Мои умственные отклонения? Так их нет. Я совершенно здоров.
— Ну извини, извини, я не хотела тебя обидеть…
Она подошла ко мне, снова присела рядом, коснулась пальцами моих волос.
— Ну как ты не понимаешь, Саша?—голос её стал мягким, почти бархатным.—Ну подумай хотя бы обо мне. Я ведь никогда не смогу полюбить чужого ребёнка. Тем более её… Мне не полюбить её насильно. Да и она тоже никогда не будет относиться ко мне как к матери… Видишь, какая она…
— Какая?
— Настырная. Слышал, как она мне ответила? Какое замечание сделала?
— Ты же её приручённой назвала, вот она и обиделась. Она ведь почти взрослая. Всё понимает.
— Вот видишь, всё понимает, всё помнит, и сегодняшний день запомнит, и не простит мне никогда мои нечаянно вырвавшиеся сравнения.
— Да откуда ты знаешь? Откуда у тебя такие предположения? Ты ведь не знаешь Веронику совсем! Видишь её сегодня в первый раз… Она добрый, ласковый ребёнок. Вы поладите… Поймёте быстро друг друга. Вот увидишь…
Я взял Надю за руки—ещё холодные от мороза.
— Почему ты не сообщила, что приезжаешь? Хотела сюрприз?
— Хотела!—воскликнула Надя, отдёрнув руки и снова поднимаясь.—Об этом потом поговорим. Сейчас главное—девочка…
— Да с девочкой всё в порядке,—я тоже поднялся.—Отличная девочка Вероника. Отличная девушка Надя. Всё отлично! Сейчас будем пить чай, раздевайся, давай к столу. Мы вчера суп вкусный сварили. Сейчас разогреем…
Я достал из холодильника кастрюлю с супом, включил электроплитку. Надя продолжала стоять. Она подошла к окну и смотрела теперь во двор.
— Ну давай раздевайся, давай,—я снова подошёл к ней, и на этот раз без усилий шуба оказалась в моих руках, а затем и на вешалке возле двери.
Надя молча отошла от окна, села за стол.
— Неужели ты хочешь, чтобы у нас из-за неё были постоянные ссоры?—спросила неожиданно она, когда я ставил на стол кастрюлю с разогретым супом.
— Ну что ты всё выдумываешь? Никаких ссор не будет у нас.
— Ты оптимист… Оптимист…—вздохнула Надя.—Я тоже совсем недавно была оптимисткой… А теперь…
— А что случилось теперь?—я сел рядом.—Что там без меня случилось?
— Без тебя ничего не случилось… Всё случилось раньше… При тебе или с тобой… Как правильно и лучше сказать, не знаю… Когда ты стал настаивать в разговоре с мамой на своём отъезде в Сибирь, я вдруг поняла, что я тебя совершенно не знаю. Не знаю, какой ты… Тот наш порыв, та наша встреча осенью на эстраде, тот дождь—всё это было так неожиданно и романтично, и казалось, что это любовь…
— А что, если не любовь? Я уверен, что это и была, и есть любовь…
— А я теперь не уверена… Не совсем уверена… Ты понимаешь?..
Предчувствие неладного вдруг колыхнулось во мне.
— Тебе встретился кто-то другой?—спросил я, не дав Наде договорить.
— Нет, нет!—она взяла меня за руку.—Кто мне мог встретиться? Живу без тебя отшельницей и думаю только о тебе… Но какие-то сомнения подступают иногда. А вдруг это нечто другое—наши с тобой отношения? Вдруг они не любовь? Вдруг это романтическая дружба, а любовь мы ещё настоящую не встретили? Ни ты, ни я… Если мы ошибаемся? Что тогда?
— Мне сердце подсказывает, что я не ошибаюсь,—сказал я.
— Будь умником! Я специально разузнала, что недалеко, километрах в пяти-шести отсюда, в селе есть детский дом. Директором там мамина одноклассница. Мама написала ей письмо, и я уже побывала там, договорилась. Поехали сейчас. Все документы мы оформим позже. А пока пусть девочка поживёт там, привыкнет.
Всё сказанное Надей не укладывалось в голове. Я закрыл лицо руками, пытаясь сосредоточиться. Надя осторожно коснулась моих волос.
— Ну, соглашайся, Саша, соглашайся. Ради нашей любви! Поедем, пожалуйста. Автобус туда четыре раза в день ходит, так что часа через два-три будем уже здесь. Вдвоём. Возьмём шампанское, я торт привезла. Посидим славненько. А?
Я молчал. Надя решительно встала, сняла с вешалки куртку и стала одевать меня.
— Ну хорошо, езжайте вдвоём. Так даже будет лучше. Отвезёшь и пообещаешь ей скоро приехать. А я пока здесь похозяйничаю.
Она потянула меня за руку, поставила, словно манекен, на ноги, застегнула куртку, надела шапку и, дружелюбно похлопывая по плечу, подтолкнула к двери.
— Сейчас до автостанции, а потом на автобус в Берёзово. Там найдёшь детский дом, спросишь Тамару Васильевну. Передашь привет от меня, ну и объяснишь всё, конечно. А потом… Потом мы обсудим наши дела.
Она вытолкнула меня в коридор, подбадривающе кивнула и захлопнула двери.

Вначале я по инерции брёл по узкому коридору, затем спустился по лестнице, постоял в вестибюле. Наверное, вид у меня был не самый лучший, потому как вахтёрша, с которой я поздоровался, посмотрела на меня сострадательно. Выйдя из подъезда, я увидел на скамейке Веронику.

— А где та тётя? Она что, не пойдёт с нами? — спросила она.

Я посмотрел на девочку, молча взял за руку, и мы пошли. Мы шли к автобусной остановке. Итак, как я понял, мне предстояло выбирать между Надей и Вероникой. Только так и не иначе. Ну откуда, откуда у Нади такая жестокость? За тот небольшой промежуток времени, что мы прожили вместе, я привык к Веронике и теперь даже не представлял, как буду без неё. Кто будет помогать мне мыть посуду на кухне и подметать в комнате? Кто будет читать выученные в детском садике стихотворения и петь детские песенки? Надя, милая, неужели это ты? И что тому причиной — снова наставления матери или уже собственная инициатива?

Автобус долго ждать не пришлось. Он подошёл сразу и, что самое удивительное, несмотря на выходной день, был почти пуст. Я посадил Веронику на сиденье, а сам встал напротив на задней площадке и, глядя в окно, продолжал размышлять. О Веронике, о Наде, о себе. Время, однако, шло. И автобус медленно двигался вперёд, удаляя нас от нашего дома. Когда он сделал очередную остановку, никто из него не вышел и никто не зашёл.

— Папа, следующая «Парк», — сказала Вероника.

Я посмотрел на неё и промолчал. Её взгляд был по-детски печален.

— «Парк», — некоторое время спустя сказала женщина-кондуктор. — Следующая — «Автостанция».

— Папа, мы сходим? — снова спросила Вероника.

Я молчал.

— Поехали! Никто не сходит! — крикнула кондукторша водителю автобуса.

Одна створка задней дверцы захлопнулась, а вторая осталась открытой, словно приглашала выйти. Внезапно шальная, даже безумная мысль нахлынула на меня. Страшная мысль о том, что если мы не сойдём с Вероникой из этого автобуса сейчас, то не выйдем из него никогда!

Никогда!

Не знаю, какая сила управляла мною в тот момент, но я, схватив Веронику на руки, быстро устремился к полуоткрытому проёму двери. Автобус, уже было тронувшийся с места, снова притормозил, и я услышал, как вслед нам закричала кондукторша:

— Пьяный! Ей-богу, пьяный! И как только таким детей жёны-то доверяют?!

Вероника смотрела на меня удивлённо.

— Ты не испугалась, Вика? — спросил я её.

— Не-а. Нисколечко, — ответила она. — Я сильно не хотела ехать на автостанцию. А теперь ведь мы не поедем туда, да?

— Нет. Теперь-то уж мы поедем домой, — убеждённо сказал я.

...Когда дверь в нашу комнату открылась и Надя увидела нас с Вероникой, то от неожиданности выронила из рук вазу с яблоками. Яблоки рассыпались по столу, сбив фужеры, несколько штук упали прямо в торт, а остальные, упав на пол, покатились к нашим ногам. Одно, второе, третье...

— Мы будем жить втроём, Надя, — отчётливо выделяя каждое слово, произнёс я.

Вероника, прочитав вполголоса игрушечному Деду Морозу стихотворение, встаёт, на прощание машет ему рукой и, пожелав спокойной ночи, направляется к окну.

— Что там, Вика? — спрашиваю я её тихонько.

— Идёт снег. Пушистый-препушистый, — говорит она, повернувшись ко мне вполоборота. — А ты что, не спишь, папа?

— Нет.

— Тогда можно я лягу к тебе?

— Можно.

— И возьму свою куклу?

— Бери.

Я представляю, как на лице Вероники вспыхивает улыбка. Она подбегает к своей кроватке, берёт куклу и, радостная, бежит ко мне.

— Мы сегодня ещё поспим, а завтра будем сидеть долго-долго, пока часы не пробьют двенадцать, а потом ляжем спать, а когда проснёмся, то Дедушка Мороз уже положит нам под подушку свои подарки. Правда, папа? — говорит моя лепетунья, укладываясь поудобнее.

— Правда, — я глажу её по пушистым длинным волосам. — Спи, Вероника.

Рядом на стуле лежит её белое платье Снегурочки. Завтра Вероника наденет его, и мы отправимся на детский утренник. Она будет читать стихи, петь новогодние песенки и кружиться в хороводе. А я, выбрав время, куплю ей новую куклу, большую шоколадку и школьный букварь. Ведь на будущий год Вероника пойдёт в школу. А себе наконец-то куплю электробритву. И всё это после незаметно положу под подушку.

Но это будет завтра, а пока, обняв куклу и прижавшись ко мне, моя Вероника крепко-крепко спит.

Эдуард Русаков

Хеппи-энд Казановы

Нежеланный, ненаглядный

1.

— Папа, ты что, так и будешь держать меня здесь взаперти, на этой даче? Как зверя в клетке?!
— Так и буду, сынок. Уж прости меня, ради Бога. А чем тебе тут плохо? Еда в холодильнике, туалет, ванна с душем, даже телевизор есть…
— Телефона нет! И компьютера!
— Телефона — нет. И компьютера… Чтобы не было соблазна.
— И свободы нет!
— А свободы нигде нет. Так что, сынок, ты уж потерпи. Скоро я умру, тогда и освободишься…
— Это бред! Папа! Зачем на окнах решётки?!
— Ты сам знаешь зачем… Зачем задавать глупые вопросы?
— Папа… ты… ты… ты сошёл с ума! Хоть ты и психиатр, но ведёшь себя как… как…
— Ну — договаривай.
— Папа, выпусти меня отсюда! Я буду кричать, на соседних дачах услышат!
— Не услышат. Стены обиты звуконепроницаемым материалом. Да и не захочешь ты кричать — я ж тебе дал с водой транквилизаторы… Ты скоро успокоишься, сынок.
— А ты не отравишь меня, папа?!
— Ну что ты такое говоришь?.. Господь с тобой. Я желаю тебе только добра, мой любимый, мой ненаглядный…

2.

А когда-то — мой нежеланный.

Да, было такое, было. Всё помню, ничего не забыл. Четверть века тому назад, когда жена вскоре после свадьбы заговорила о ребёнке, я был категорически против, хотел даже с ней развестись, потому что считал себя правым и отчасти обманутым: ведь накануне свадьбы мы с ней оба твёрдо решили, что первые пять лет не будем даже заикаться о ребёнке, так как надо сперва встать на ноги, укрепиться, купить квартиру, машину, да мало ли что, — и вот, после первой же брачной ночи, жена забыла про наш договор и стала канючить: хочу маленького, хочу сыночка… А когда я пытался её урезонить, сменила тактику на более агрессивную и заявила, что всё равно, в любом случае она заведёт ребёнка, даже если я буду продолжать противиться, она сделает это сама, без меня… «То есть как это — без меня?!» — возмутился я. «А вот так, — спокойно сказала жена. — Раз не хочешь ты, я найду другого, кто сделает мне ребёночка…» — «Да ты думаешь, что говоришь?!» — «Я только об этом и думаю…»

Так она меня победила, сломала, и я, не желая уступать роль отца никому другому, сам выполнил эту роль, предназначенную мне законом и самой природой.

И родился в положенный срок мой нежеланный сын Юрик, на которого я поначалу смотрел с отвращением, затыкал уши от его крика, брезгливо брал на руки это маленькое пахучее тельце и спешил поскорее от него отделаться, скрыться. Первые дни после его появления в нашем доме я старался задерживаться на работе подольше, придумывал всякие предлоги и отговорки, лишь бы исчезать в выходные из дома, лишь бы не оставаться вдвоём с этим человечком, нагло вторгшимся в мою вольную комфортную жизнь.

«И для этого — надо было жениться?..» — горько думал я, оказавшись в ловушке, в которую меня, как и миллионы прочих, загнала коварная природа. Мышеловка захлопнулась — обратного хода нет.

3.

Но это было ещё не всё!

Очень скоро я с ужасом понял, что, помимо своей воли, всё крепче привязываюсь к нежеланному, ненавистному мне младенцу. И я сам не заметил, как сердце моё оказалось пришито к ребёнку стальными нитями любви и нежности. Ух, как я проклинал себя, прижимая к груди это крохотное драгоценное тельце… Как я ненавидел своё рабство!

Но бороться с любовью к сыну я был не в силах. И недавнее отвращение сменилось трепетным обожанием и постоянным, круглосуточным страхом: как бы с Юриком чего-нибудь не случилось! Как бы он, проклятый, не простудился, не отравился, не подавился, не ушибся, не выпал бы из окна, не свалился с балкона… О, как бы его не покусала во дворе злая собака! Да как бы он не попал под колёса случайного автомобиля! Нет, не надо ему купаться в озере — это опасно! И долго загорать

под солнцем — тоже опасно! И есть вишни опасно — можно подавиться косточкой! И играть с мальчишками в футбол очень, очень опасно… и даже в прятки играть опасно — ведь можно так спрятаться, что тебя никогда не найдут…

Вся моя жизнь была переполнена страхом за Юрика. И чем старше он становился, тем я больше за него боялся. Пока он учился в школе, я втайне от него встречал его после уроков и, следуя за ним чуть поодаль, провожал до дома, боясь, чтобы Юрик меня не заметил. А когда он поступил в университет, я следил за тем, как и с кем он проводит свободное время, требуя, чтобы он звонил мне через каждые два часа.

А когда он однажды не пришёл домой ночевать (остался у друга), я чуть с ума не сошёл, я всю ночь не спал, я приехал под утро к этому его другу и не успокоился, пока сам не удостоверился, что Юрик и впрямь в безопасности.

Боже, как я боялся случайных связей, заразных болезней, спида, сифилиса…

«Папа, хватит уже меня опекать», — ворчал сынок, защитивший диплом и собиравшийся начать самостоятельную жизнь.

«Да, я знаю, знаю, что ты хочешь жить отдельно от нас с мамой, — говорил я ему, — и я помогу тебе в этом деле… Но где бы ты ни был, я всегда буду за тебя волноваться!»

«Оставил бы ты его в покое, — кривилась жена, — он же взрослый уже мужик!»

«Да какой он мужик!»

«Папа, с тобой бесполезно спорить, — снисходительно отмахивался от меня, как от больного, Юрик. — Горбатого могила исправит…»

Да, он прав. Мой горб — это моя любовь.

«Ты бы рад меня вообще на привязи держать!» — усмехнулся Юрик.

И тут он был прав. Я бы рад был держать его на привязи. Говорю это совершенно честно и прямо.

4.

В свой первый отпуск Юрик отправился путешествовать — полетел в далёкий Киев, к девушке Юле, с которой познакомился через Интернет. За две недели, которые он отсутствовал, я весь извёлся от страха, не спал ночами, меня преследовали кошмары, ужасные видения… То мне чудилось, как неведомая виртуальная Юля принуждает Юрика к женитьбе, то я видел в горячечном бреду моего сына, тонущего в Днепре, то мне слышался его голос: «Папа… папа… спаси!..»

Я звонил ему по сотовому днём и ночью, потом Юрик отключил телефон, тогда я послал ему паническую эсэмэску: мол, немедленно вылетаю в Киев, — и Юрик сжалился надо мной, вернее, испугался моего постыдного для него приезда — и сразу же позвонил мне сам: «Всё в порядке, папа, через три дня вернусь!»

5.

И вернулся. Я встретил его в аэропорту — и на своей «хонде» доставил на купленную мной заранее, специально для этой цели, загородную дачу, где отныне Юрик будет проживать под моим круглосуточным неусыпным надзором. Да, его потеряют и безутешная мать, моя взбалмошная жена, и товарищи по работе, и коханая Юля в далёком Киеве не дождётся от него ни письма, ни звонка… Он исчезнет из этой опасной жизни! Отныне он будет жить в золотой клетке, мой ненаглядный сыночек, он будет жить здесь и только здесь, а я буду его навещать, и кормить, и лечить, и не выпущу его за пределы этой дачи, уж я знаю, как можно усмирить его строптивый нрав, ведь я врач-психиатр, и в моём распоряжении имеются все необходимые лекарственные средства, нейролептики и транквилизаторы, способные благотворно влиять на хрупкую психику инфантильного романтика-идеалиста.

Да, пока я жив, мой сынок будет находиться в этой уютной, тёплой, благоустроенной, безопасной тюрьме. И никто его тут никогда не найдёт, потому что никто сюда не заходит, никто, кроме меня. Здесь есть всё — и книги, и телевизор, и музыкальный центр, и диски с его любимой музыкой и любимыми фильмами (а я знаю вкусы своего сына), здесь нет лишь телефона и компьютера, нет Интернета…

— Папа, пожалуйста… Если любишь меня — отпусти!

— Да, люблю… Но любовь — это болезнь, сынок. Неизлечимая болезнь. И я излечу тебя от этой болезни. Сам себя не смог вылечить, но уж тебя — обязательно!

6.

И я вышел прочь, и захлопнул за собой дверь, и запер её, и бросил у порога в прихожей старый овчинный полушубок, и улёгся на нём, поджав ноги и тихо скуля и вздыхая, как старый сторожевой пёс.

Хеппи-энд Казановы

Эпистолярный роман

1.

2 января 2014 года

Дорогая Светланочка!

Шлю тебе в Абакан это письмо с горячей надеждой не просто на отклик, но на помощь, в которой я так нуждаюсь. В этом доме-интернате для психохроников я чувствую себя хуже, чем в тюрьме. Это просто кошмар! Не хочу даже и описывать «прелести» здешней жизни… Приезжай — увидишь сама. Но не просто приезжай, а забери меня отсюда, Светланочка!

Как я тебе уже писал, жена моя давно меня бросила, дети мои от меня отказались, одна ты у меня осталась надежда, светлая моя, дорогая моя, драгоценная моя Светлана! Помнишь ли ты, как нам улыбалось счастье в далёком 1970 году, когда я был в Абакане в командировке, и мы с тобой встретились, и полюбили друг друга? Я не забыл ту нашу любовь, я всё помню, каждую минуту, каждую сладенькую секундочку наших тогдашних свиданий. Ты была лучшей и самой сильной любовью всей моей жизни, клянусь!

Ради всего святого, Светланочка, приезжай и забери меня отсюда!

Крепко любящий тебя и никогда тебя не забывающий—

вечно твой
Эдгар Попков.

2.

3 января 2014 года

Дорогая моя Катюша!
Шлю тебе в Москву это письмо с горячей надеждой не просто на отклик, но на поддержку и помощь, в которой я так нуждаюсь. В этом приюте для хронических психов я чувствую себя хуже, чем в тюрьме. Это просто кошмар! Не хочу даже и описывать «прелести» здешней жизни… Это просто фильм ужасов! Это кошмар! Впрочем, это я уже говорил. Мои «деточки» запихали меня сюда, чтобы избавиться от меня навсегда, но я хочу вырваться на свободу. Надеюсь, что ты сможешь приехать и освободить меня из этого ада.

Свет моей души, ненаглядная моя Катюша! Ты, конечно, помнишь наши встречи в Москве, возле Центрального телеграфа, в кафе «Мороженое»? А помнишь, как мы гуляли по столице в дни Олимпиады 1980 года? Разве можно забыть эти сладостные минуты? А как мы проводили вечера в Центральном парке культуры и отдыха имени Алексея Максимовича Горького? А наши с тобой экскурсии в зоопарк и в планетарий? Разве можно всё это забыть, моя сладкая Катенька?

Приезжай и выручи меня из этого вражеского плена!

С нетерпением жду—

вечно твой
Эдгар Попков.

3.

4 января 2014 года

Майне кляйне, майне либе мэдхен Лизочка! Шлю тебе в Берлин это письмо в надежде получить не просто ответ, но и спасение. Выручи меня, моя ненаглядная, из этого плена. В этом вонючем клоповнике я задыхаюсь, моя утончённая душа погибает в этом смрадном каземате, где меня содержат помимо моей воли и не понятно за какую вину. На тебя последняя надежда, моя дорогая Лизхен.

Ты, конечно же, помнишь наши встречи в Берлине в 1999 году, когда я приезжал к вам на какой-то симпозиум, уж и не помню тему. Да и как можно было запомнить что-либо, кроме тебя? Ты затмила всё-всё, моё солнце, моя звезда, моя драгоценная Лиза! Разве можно забыть наши с тобой прогулки по Унтер-ден-Линден, по тенистым аллеям парка Тиргартен, по берегам озера Ванзее? А помнишь ли ты, моя сладкая Лизхен, как мы провели целый день в Потсдаме, а потом вернулись в мой отель и заснули в жарких объятиях друг друга? Ты мне снишься каждую ночь, моя дорогая!

Умоляю тебя, приезжай как можно скорее—и забери меня из этого интерната. Как хотелось бы мне провести вместе с тобой последние дни своей жизни—в тени клёнов и лип, на берегу романтичного озера Ванзее…

До скорой встречи!

Твой вечно любящий тебя
Эдгар Попков.

4.

5 января 2014 года

Добрый день или вечер,
моя любимая подруга Надя!

Шлю тебе в Козульку это письмо, этот крик отчаяния, этот глас вопиющего в пустыне. Только ты у меня осталась, моя последняя Надежда (во всех смыслах этих двух слов). Как я счастлив, что в далёкой Козульке, некогда воспетой бессмертным Чеховым (а ты и не знала об этом, моя прелесть?.. Да-да! Антон Павлович воспел и тем самым обессмертил твою замечательную Козульку!), так вот, как я счастлив, моя дорогая, что в далёкой Козульке живёт и, надеюсь, здравствует отрада моей души и маяк моего сердца—ты, Надежда!

Я уже писал тебе, Наденька, что мне остопи… пардон—осточертело париться в этом дурдоме, именуемом домом-интернатом для психохроников. Ну какой же я психохроник?! Ты же очень хорошо меня знаешь, ведь правда же? И ты знаешь прекрасно, что я совершенно психически здоров, а если иногда на меня и накатывали волны праведного гнева и умеренной агрессии, то это было вызвано подлым влиянием окружающей среды. Я ненавижу окружающую среду! Она меня зае… заела! Да! Среда меня заела! И мой гнев—абсолютно адекватная реакция на окружающую среду. Не надо меня окружать! Я сам могу окружить кого угодно! Но я окружаю любовью и лаской, и ты это знаешь прекрасно, моя драгоценная Наденька.

Помнишь ли ты, как мы с тобой гуляли по живописным окрестностям Козульки, как романтично

свистел проносящийся вдали поезд, как чирикали воробьи, подпевающие нашей с тобой любви? Такая любовь не проходит, Надежда! У меня она не прошла, а у тебя? Почему-то хочется очень верить, что ты тоже не забыла те вечера, те прогулки, тех воробьёв и те наши объятия в стогу сена, когда ты смеялась и жаловалась, что сухая солома тебе исколола всю жо… извини, всю твою нежную попочку. И признайся, Надежда, что, несмотря на все причинённые этой сухой соломой временные неудобства, мы были тогда очень счастливы, да так счастливы, что я хоть сейчас готов бы отправиться с тобой снова в тот же самый стог сена. А ты, а ты?

Ради Бога, Надежда, ради всего святого—приезжай скорее и забери меня из этого проклятого места, возьми меня к себе в свою замечательную, воспетую Чеховым, Козульку, где мы проведём с тобой остаток своих золотых дней, вспоминая молодость и перечитывая Антона Павловича.

Надежда, ты—моя последняя Надежда. Ты—мой компас земной.

Жду тебя, моё солнце!

Твой вечно
Эдгар Попков.

5.

6 января 2014 года

Буон джорно, моя драгоценная
и ненаглядная подруга Бьянка!

Пишу тебе из далёкой холодной Сибири в солнечную Венецию—и надеюсь на искренний отклик, ведь я хорошо знаю твоё горячее отзывчивое сердце. Отзовись же, моя сладкоголосая кареглазка! Больше нету сил прозябать в этих психиатрических застенках! Спаси меня, прэго! Пожалуйста!

Ты мне снишься здесь каждую ночь, и я постоянно вспоминаю наши чудесные встречи в Венеции осенью 2003 года, когда я отдыхал в Италии по туристической путёвке. А ты, Бьянка, помнишь ли ты меня? Уверен, что да! Разве можно забыть те свидания в нашем отеле, когда мы спешили урвать свои крохи счастья, боясь, что посторонние нам помешают?.. А разве могу я забыть ту ночную прогулку на чёрной гондоле по Гранд-каналу, когда мы сидели на корме, обнявшись и закутавшись в тёплый плед, а молодой гондольер распевал свою чудесную песню, и мы были уверены, что поёт он только для нас? Впрочем, так ведь оно и было, не правда ли, моя бесценная Бьянка?..

В этом мире, похожем на огромный супермаркет, всё имеет свою цену, всё вписано в прейскурант, только наша с тобой любовь, дорогая Бьянка, не имеет цены, она воистину бесценна! Всё имеет цену—вода и солнце, луна и звёзды, хлеб и вино, модные духи и туфли, сыр и колбаса, власть и слава—всё, всё имеет свою цену в рублях, долларах или евро… Но только не наша любовь! Наша любовь бесценна!

И поэтому я надеюсь, моя любимая, моя дорогая, моя бесценная Бьянка, что ты услышишь зов моего несчастного сердца—и прилетишь ко мне, и спасёшь меня, выручишь из этого плена… И всё будет бэниссимо! Всё будет прекрасно!

Ариведерчи, Бьянка.

Жду тебя с нетерпением,

Твой вечно верный
Эдгар Попков.

6.

— Зря стараешься, Эдгарчик,—сказала немолодая, но ещё в теле, синеглазая санитарка Маруся, принимая от старика очередное послание даме сердца.—Мне-то что? Мне на почту зайти не трудно…

— Вот и зайди! Зайди!

— Так ведь сколько уж писем ты разослал во все концы света,—и Маруся сочувственно вздохнула.—Ну и где результат? Результат—ноль!

— Почта медленно работает! Они там совсем распустились, Маруся! Им на почте платят мало—вот они и не хотят работать!

— Утешай себя, утешай… Меня одно удивляет, Эдгарчик: зачем ты так далеко закидываешь свою удочку? Берлин, Москва, Венеция—это ж фантастика! Где Венеция—и где Кырск? Кто же в этакую даль поедет?

— Если любит—поедет!

— Любовь-морковь… Любовь, Эдгарчик, тоже цену имеет в том прейскуранте… Нет, не зря тебя всё-таки в психушку упрятали… Оторвался ты от реальности, бедный романтик,—она посмотрела на него с искренней симпатией, смешанной с лукавым расчётом, и вдруг спросила:—А хочешь, Эдгарчик, я тебя к себе заберу? Опекунство оформлю, всё как положено…

— Ты не шутишь?—и старик встрепенулся.

— Какие могут быть шутки?.. Вполне реально. Лучше даже, если жить мы будем не у меня, а у тебя, в твоей однокомнатной… А то у меня тесно, и дочке надо замуж выходить. А в твоей квартирке нам было бы хорошо. Если, конечно, твои сыновья не будут против…

— Да я им! Да я их! Да это моя квартира! Моя! Ты только, Маруся, оформи опекунство, чтоб всё как положено, по закону…

— Ну я же сказала. Зачем мне тебя обманывать? И я буду за тобой ухаживать как за родным… А там—посмотрим.

— Какая ты добрая, Маруся!

— Вовсе я не добрая. Я отзывчивая. Просто ты мне очень понравился. Если хочешь знать, я тебя с первого взгляда полюбила!

Гордая мама

Моя мама никогда ни у кого ничего не просила.

Она с детства была приучена немилосердной судьбой к тому, что не стоит ждать от людей поддержки и помощи. Надо во всём рассчитывать только на себя.

Ей было четыре года, когда мой дед, её отец, умер от туберкулёза на германском фронте. Он был ветеринарным фельдшером, и когда началась Первая мировая война, его призвали в кавалерийские войска—лечить лошадей. Лошадей он лечил хорошо, а вот за собственным здоровьем не уследил. В ту пору не было ни ПАСКА, ни фтивазида, и поэтому дед мой прекрасно понимал, что он обречён. Месяца за два до смерти он выпросил увольнительную, чтобы съездить домой и проститься с женой и детьми. Сохранилась фотография, на которой изображены смертельно больной дед с вымученной улыбкой, печальная бабушка и четверо детей, среди которых можно видеть и мою маму—маленькую, с короткими растрепёнными волосами, насупленную и даже сердитую. По этому снимку можно понять, что маме уже тогда не нравилась предстоящая жизнь.

Мой дедушка, её отец, умер вскоре после возвращения на фронт, летом семнадцатого года. Там, на западе, и был похоронен. В ту лихую революционную пору никакой поддержки от государства ждать не приходилось. Власть менялась неоднократно, и разномастным представителям этой власти было не до молодой вдовы и её осиротевших детей. И моя бабушка осталась одна с четырьмя детишками на руках. Один сын, три дочери, средняя—моя мама. Но бабушка выстояла, вырастила всех четверых, работая учительницей начальных классов, выкормила, вывела их в люди. Впрочем, мама моя уже со школьных лет привыкла сама зарабатывать, чтобы помогать семье.

Мама была пионеркой и комсомолкой, звонко распевала вместе со всеми «Взвейтесь кострами, синие ночи», хотя в комсомол её приняли не сразу, как члена семьи социальных лишенцев—ведь отец бабушки был деревенским священником, и поэтому ей и её детям нельзя было ни участвовать в выборах, ни поступать в вуз без рабочего стажа. Вот и пришлось маме сразу после окончания школы отправиться на Север, в деревню Ворогово, где она три года проработала учительницей в местной школе. В те годы голод добрался и до Сибири, и мама подкармливала своих сестрёнок и братишку, посылая им с попутными пароходами свежесолёную рыбу, топлёное масло, муку и прочие необходимые для выживания продукты.

Обеспечив себе рабочий стаж, мама поступила в Ленинградский институт народного хозяйства, сдав все вступительные экзамены на «отлично». После окончания института она поехала по распределению в Магнитогорск, и вот там познакомилась с моим отцом, который был на комбинате большим начальником. Дальше всё понятно: любовь, планы на будущее. Молодые влюблённые стали жить вместе, обзавелись хозяйством. У меня дома от тех маминых юных лет сохранилась вилка из нержавеющей стали и стеклянная вазочка в стиле модерн (явно дореволюционная). Даже сплю я на той самой кровати с никелированными шарами на спинке, на которой когда-то спали мои родители и на которой я был зачат в Магнитогорске... Но тут началась война—и отец мой стал рваться на фронт, хотя у него, как у большого начальника, была бронь. Мама очень переживала, ведь она уже была «в положении», и ей, конечно же, не хотелось остаться одинокой вдовой с ребёнком на руках. Но гордость мешала ей просить отца остаться, да это было бы всё равно бесполезно.

«Роди мне сына!»—кричал отец, высовываясь из вагона, когда мама его провожала. «Рожу, не сомневайся!»—отвечала она, не вытирая слёз. «И не плачь!»—кричал отец. «Я вовсе не плачу!—отвечала плачущая, но гордая мама.—Это ветер!.. А я не плачу!»

Она была гордой, а он был порывистым и торопливым. Они даже расписаться в загсе не успели. Поначалу маме казалось, что это всё равно: ну какая разница—расписались, не расписались? Но вскоре она поняла, что разница большая—потому что если бы они расписались, то мама получала бы от отца аттестат, то есть деньги. А так она не получала от него никакого аттестата, и деньги он ей присылал нерегулярно и понемногу. И гордая мама ничего не писала ему об этом. А он тоже об этом ничего не писал, но зато каждое его письмо было переполнено объяснениями в любви и обещаниями грядущего счастья. Мама вскоре вынуждена была уехать из Магнитогорска и вернуться рожать меня в Кырск, к своей маме, вернее, к своей младшей сестре, которая охотно её приютила. По вечерам они читали друг другу письма от своих мужей. И если в письмах мужа младшей сестры были постоянные упоминания о денежном аттестате и напоминания о заготовке на зиму дров, картошки и прочих домашних делах, то в письмах моего отца были только бесконечные объяснения в любви и мольбы простить его за какую-то давнюю, не понятную мне вину...

Когда спустя много лет мне довелось прочесть все эти письма, я с жуткой ясностью понял, что больше всего моя гордая мама страдала от унижения, от роли приживалки, нахлебницы в доме родной сестры. Это она-то, привыкшая быть в семье главной добытчицей, быть всегда и во всём свободной и независимой, вдруг по вине моего отца стала... да, да!—нахлебницей, приживалкой, незаконной женой, нерасписанной матерью-одиночкой. Именно это терзало её уязвлённую душу

куда сильнее, чем разлука с любимым… Да и таким ли уж он был любимым, мой бедный отец?

Когда я всё это понял — мне стало так жаль их обоих… Особенно, конечно, её, мою бедную гордую маму! Бедная, бедная мама…

Но когда я перечитываю письма моего отца с фронта — мне жаль и его. «Здравствуй, моя „сердитка“…» — вот как он к ней обращался. «Буду верен тебе до последнего вздоха. Твой „страшненький“…»; «Прошу тебя, не рискуй здоровьем, береги ребёнка и нашу любовь…»; «Моя любимая, ты стыдишься перед своей мамой за свой „поступок“?.. Напрасно. Скажи маме только правду: что, мол, всё произошло по обоюдному согласию, как мы хотели вместе с тобой. Ведь это правда. Мама тебя любит и поймёт…»

Уверен, что бабушка, мамина мама, всё понимала прекрасно. И нисколько их не осуждала.

Но письма мамы к отцу становились с каждым разом всё более злыми и ожесточёнными. И наконец она совсем перестала ему отвечать.

Два с лишним года — вы только представьте! — отец ей писал, умолял о прощении, о пощаде… Хотя, если уж совсем честно, в чём он был виноват? Только в том, что слишком поторопился на фронт, не успев узаконить их отношения? А на фронте он, между прочим, ежедневно рисковал жизнью… Два с лишним года — с ума сойти! — он писал ей, писал, писал — и не получал ответа. Мама, мамочка, почему ты была так к нему жестока?.. Ведь могла бы и пожалеть, и простить.

Отец не вернулся с фронта, пропал без вести, скорее всего — погиб.

Бедный, бедный отец. Бедные мы люди.

Бедный я, сирота-одиночка.

Бедный Боженька — не может дать бедным людям хоть капельку счастья. Не может или не хочет?

Если мы созданы Им по Его образу и подобию — значит, Он так же несчастлив, как и мы все?

Такой же гордой, независимой и одинокой мама оставалась всегда. Ни разу не вышла замуж. Никогда ни один мужчина не переступал порог нашего дома. У неё никогда никого не было — это я знаю точно, потому что мама всегда была со мной, я всегда был при ней, с ней рядом. Я был вечным её стражем, спутником и невольным свидетелем её вечной верности, моей гордой мамы, хотя никогда и не задумывался об этом. Мне казалось это само собой разумеющимся: мама только моя! И ничья больше! Ничья рука не смеет коснуться моей мамы! И не касалась никогда.

«Ты никогда ни в чём не сможешь меня упрекнуть», — сурово нахмурившись, говорила мне частенько моя мама. Да, жила она только ради меня. И я её ни в чём не упрекаю.

Она была гордой и независимой даже в последние дни своей жизни, когда категорически отказывалась от врачей, от больницы. Никого не подпускала к себе. Никого, кроме меня. А разве мог я остановить смерть?

Мамы нет уже много лет, но она всегда рядом, всегда со мной.

Её фотографии передо мной, её вещи нетронуты, даже любимое её сиреневое платье с брошкой из чешского стекла висит в шкафу — и будет висеть там, пока я жив. И все её безделушки, сувениры и фарфоровые статуэтки — стоят на полках, и даже значок «Ворошиловский стрелок» лежит там же, напоминая о том времени, когда мама, на зависть всем мужчинам, выбивала в тире центрального парка десять баллов из десяти… Она очень метко стреляла, моя мама! И я до сих пор пью из маминой серебряной рюмки и ем маминой вилкой из нержавеющей стали, на которой отчётливо видно клеймо: «Нерж., Магнитогорск, 1937 г.». Да что вилка! В той самой старинной вазочке из фиолетового стекла до сих пор стоят три засохшие хризантемы, поставленные туда мамой незадолго до смерти. И я до сих пор сплю на маминой кровати с никелированными шарами на спинках, на той самой кровати, на которой когда-то я был зачат…

…Я до сих пор слышу мамин голос, я вижу её, она снится мне каждую ночь — она учит меня, как надо жить, чтобы не терять своего достоинства и свободы, хотя жизнь моя тоже ведь скоро кончится.

Мама, мама, ну хватит же, хватит учить меня жизни. Научи меня лучше, как умереть достойно.

Мама… мамочка… оставь ты меня в покое, ради Христа.

Семён Каминский

Урюк

Папе

В Самарканд ехали долго, иногда в вагонах, а иногда на каких-то открытых платформах, часто пересаживаясь с одного поезда на другой. Когда начинался налёт, мама сразу же крепко хватала Гришку за руку, прижимала к себе и старалась не отпускать ни на секунду: пару раз он уже убегал стрелять по самолётам из толстой палки, которую таскал с собой. Звук строчащего пулемёта он изображал ртом очень здорово — научился незадолго до отъезда, когда возле их дома на Чечелевке играл с пацанами в войнушку. Нужно было прижать язык изнутри к стиснутым зубам и с силой выдувать из себя воздух; если долго так делать, то начинала немного кружиться голова. А палку он потом потерял — забыл возле скамейки на какой-то станции, где они, расположившись со всеми своими чемоданами и узлами, ждали очередного поезда. Гришка дремал, а младший мамин брат Ёська вдруг примчался и закричал:

— Давайте скорее, на пятом пути уже отходит на Ташкент!

Все побежали, дедушка потащил сонного Гришку на руках, и про палку Гришка вспомнил уже тогда, когда поезд тронулся. Палку жалко, она была замечательная — почти ровная, с двумя сучками, как рукоятки у автомата.

На третий день после того, как приехали в Самарканд и сняли две комнатки, дочку хозяина дома ужалил в ногу скорпион. Дочку звали Маликой, они играли, сидя вечером на корточках на тёплой утоптанной земле двора, и скорпион, похоже, выскочил откуда-то из-под камня. Гришка его даже не рассмотрел как следует.

Ой, как Малика орала! Её папка прибежал со стеклянной банкой, стал мазать укушенное место каким-то лекарством из этой банки, а мама Малики принялась поить её молоком, заставила выпить целых три стакана, и они, все сразу, что-то громко говорили по-узбекски. Пока это происходило, Гришка околачивался рядышком, посматривал то на них, то на банку: там в прозрачном масле плавал другой, коричневый, дохлый скорпион, и ужасно хотелось его получше разглядеть… А Малика — ничего, на следующий день они уже опять играли во дворе.

С собой из дому они привезли много ненужного — миски, кастрюли, подушки, а вот палку он потерял, и большую пожарную машину мама с собой брать не захотела, как он ни упрашивал. Правда, лестница у машины была отломана, и красная краска немного ободралась, но всё равно оставлять её фашистам было очень жалко. Бабушка же больше всего переживала за свои тарелки с золотым ободком и всю дорогу причитала:

— Как там наша посуда? Как посуда? Осенька, не бросай так чемодан! Маня, осторожно! Осторожно! Всё разобьётся! С чего мы будем есть? Нам же нельзя с некошерной посуды!

И пока тарелки не распаковали и не водрузили стопкой на шкаф, не успокоилась. Теперь дедушка или Ёська доставали их оттуда перед обедом, а после еды, когда бабушка их перемоет, так же аккуратно составляли назад. Старый хозяйский платяной шкаф с широкой зеркальной дверцей стоял в комнате у бабушки и дедушки, там же спал Ёська, а Гришка с мамой помещались вместе на одной кровати в смежной каморке без окон.

Хотя ночами мама плакала тихо, Гришка просыпался. Он знал, что писем уже давно не было, и боялся что-то спрашивать, только лежал, притаившись в темноте, и слушал, как мама вздрагивает и глотает слёзы. Внутри всё у него становилось сильно колючим, он думал, думал, но потом опять крепко засыпал. И никогда не слышал, как мама уходила утром на работу, хотя он очень хотел сказать ей «с добрым утром» и вообще что-нибудь.

Иногда дедушка устраивал весёлое представление. Он усаживал Гришку в определённом месте комнаты, близко к шкафу, на колченогую табуретку и приказывал не вставать. А сам надевал соломенную шляпу и заходил за противоположный угол шкафа, с той стороны, где зеркальная дверца, но прятался не полностью, а так, что его голова и туловище оставались видны ровно наполовину. Затем дедушка прижимался носом к углу шкафа, смешно надувал щёки, выпучивал глаза, взмахивал руками и… взлетал. Ноги его удивительнейшим образом отрывались от земли, шляпа тоже приподнималась и повисала над головой. В первый раз от такого зрелища Гришка был просто в восторге, но, даже поняв, в чём

фокус, с радостью смотрел этот трюк ещё не один раз. С того места, где стояла табуретка, не было видно, что правая дедушкина нога стоит за углом шкафа на полу, и его правая рука, невидимая для Гришки, приподнимает шляпу. Дедушка отрывал от пола только левую ногу и махал в воздухе только левой рукой, но зеркало, в котором отражались и нога, и рука, и шляпа, создавало вторую половину его тела, и возникала полная иллюзия отрыва дедушки от земли и старой шляпы — от его головы.

И ещё на шкафу, рядом с тарелками, в белом полотняном мешке хранился урюк. Его купили на базарчике, понемногу доставали из мешка и тогда давали Гришке полакомиться. Но хотелось больше. Когда в комнате никого не было, он забирался на ту же самую табуретку и, еле дотягиваясь до мешка, таскал урюк через проделанную дырочку. В течение нескольких дней ему это удавалось, но вдруг, во время следующей попытки, он сделал неловкое движение, потерял равновесие и, схватившись за мешок, падая, потянул его вниз. И тут же со шкафа полетели вниз одна за другой и драгоценные бабушкины тарелки…

Бабушка в это время сидела во дворе, недалеко от открытого окошка, разговаривая с мамой Малики. Услышав жуткий грохот и звон, она, держась за сердце, вбежала в комнату. За ней — дедушка, мама Малики, Малика, Ёська…

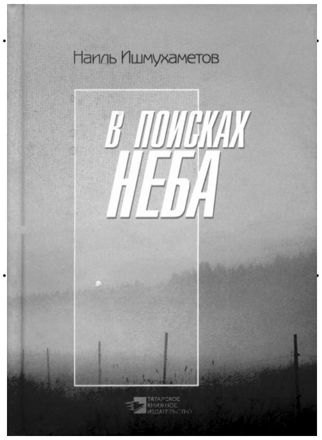
Обалдевший Гришка сидел на полу среди осколков с золотым ободком, перевёрнутой табуретки, оранжевых шариков из разорвавшегося мешка и во все глаза смотрел на бабушку. Он уже смирился с тем, что сейчас его убьют.

Но тут в тишине послышались быстрые шаги, и в проёме двери появилась мама.

— Он живой, — как-то очень чётко проговорила она, не обращая внимания ни на Гришку, ни на тарелки, ни на урюк, и показала зажатую в руке бумажку: — Видите, он живой!..

Какие-то тарелки бабушка потом очень удачно купила у бухарского еврея по имени Сулейман. Тот усердно клялся, что они кошерные, кошернее не бывает.

ДиН ревю



Казань: «Татарское книжное издательство», 2014

Наиль Ишмухаметов
В поисках неба

● ● ●

Родина — это не там,
Где и без нас хорошо,
Где по заморским кустам
Тёпленький дождик прошёл,
Где на роскошных цветах
Жирной пыльцы порошок…

Родина — здесь, за окном:
Кислой смородины куст,
Ветки сиреневой хруст,
Нивы ржаной полотно
И незатейливый сон
Под звёздами тихих ночей,
Где воду на жизни моей колесо
Льёт безымянный ручей…

● ● ●

Загляну в глаза Казани на заре
в них
и Рим
и Тадж-Махал
и Назарет
Междуречье
стоязыкий Вавилон
а над ними
Гжели русской небосклон

поутру в глаза Казани загляну
я у этих глаз в пожизненном плену

● ● ●

Неба свинцовый камбий.
Срез годовых колец.
Саженец — белый камень.
Мокрый от пота отец.

Яма под боком у сына.
Улыбка отца светла.
Плачь об отце, осина.
Плачь о сыне, ветла.

Геннадий Васильев

В театре

Из цикла «Рассказы о чудесном»

Мы с Артуром жили в театре.

Ах, какое это было благословенное время! Дело происходило на большой ударной стройке, последней комсомольской стройке в истории СССР. Будущее строили все, кроме нас, хотя у нас тоже были «корочки» плотников-бетонщиков третьего—начального—разряда. Мы не работали, свято полагая, что рыть траншеи и укладывать бетон или класть кирпичи, получая за это увесистый рубль,—на это энтузиастов найдётся. За тем они сюда и приезжают, в маленький сибирский городок. Мы же—выше всего этого. Если выражаться образно, как положено в художественной прозе, мы глубже траншей и сложнее бетона. Мы—структура неоднородная, материя тонкая, нам творчества подавай, подавай нам театр, поэзию—словом, даёшь высокое искусство! Мы ему станем служить. А насущное… ну что ж: есть кому о нас позаботиться. Городок был тогда городом общежитий, общаг, в общагах жили наши поклонницы. Они кормили. У Артура поклонниц было больше. Ещё бы: высокий, голубоглазый, кудрявый, с чувственным ртом, взор с поволокой, цитирующий наизусть Блока, Мандельштама, умеющий сыграть, дать идею режиссёру, в конце концов—сам поставить спектакль… талант, чего там! И стихи писал—странные, туманные, прибалтийские… В общем, он—в авангарде, я—сбоку припёка, в хвосте. Свита. Незнамов и Шмага. Мы так и играли в отрывке по Островскому: он Незнамова, я Шмагу. И реплика: «Мы—артисты, наше место—в буфете!»—стала для нас коронной, долго вела нас по жизни. В общем, его кормили и привечали за талант, меня—как его, таланта, друга. «Альфонсизм в чистом виде!»—смеялся Артур, когда мы оставались одни. Нас не смущало, что жили альфонсами. Правда, Артур ещё подрабатывал некоторое время тем, что раз в неделю разносил телеграммы на почте. Этого «заработка» нам хватало на чай и сахар.

В театре мы стали ночевать, когда больше было негде. Общаги давали только тем, кто трудился на стройке. Театр этот мы строили сами, своими руками. Режиссёр, дама наших лет, по-актёрски экзальтированная, по-деловому пробивная, добилась в профкоме выделения под театр красного уголка в одном из общежитий. Помещение дали, материалов—нет. Мы ночью тайком воровали стройматериал на ближайших строительных площадках, таскали на себе брёвна, доски для строительства сцены, купили на выделенные скудные профсоюзные деньги рулон мешковины—и обили ею все стены. Из мешковины же сделали задник, занавес, арлекин. Вышло по-мейерхольдовски вызывающе и стильно—так нам, по крайней мере, казалось.

Костюмы тоже шили сами: не мы с Артуром, конечно,—девушки. Этих костюмов, плащей разных было в театре много—на них мы и спали. Сдвигали стулья, сооружали широкое ложе, стелили плащи и ими же укрывались. Тьма в театре стояла непроглядная: окна мы закрыли щитами, свет снаружи не проникал,—и утро для нас наступало всегда по-разному. Мы вставали, шли в общий санузел умываться, в буфете покупали себе какие-нибудь булочки на деньги, которыми нас спонсировали наши сердобольные поклонницы,—и день начинался. Были репетиции, обсуждения, мы просто шлялись по городу, ходили на озеро купаться… Богема, словом.

Вечером после спектакля или репетиции все уходили, а мы оставались. Писали что-то, читали друг другу или тем, кто хотел нас слушать. Выпендривались, искали необычные формы, экспериментировали. Я однажды сочинил маленькую поэму—по содержанию она была насквозь советская, ударная, комсомольская, по форме—необычная: в ней рифмовались первый слог последующей строки с последним слогом—предыдущей. Артур одобрил, сказал: «Растёшь в исканиях!» Он относился ко мне покровительственно—я соглашался. Мне казалось, он талантливее меня и пойдёт дальше. Что касается таланта—так оно, наверное, и было, а вот со вторым… но не стану забегать вперёд.

Однажды случилось вот что.

В театре был проигрыватель, и наши доброжелатели натаскали нам груду пластинок. Было там много всякой ерунды, но случались и действительно хорошие записи. Однажды, перебирая пластинки, Артур вдруг охнул:

—Йохайды!..—он ругнулся по-прибалтийски, повернулся ко мне—огромные голубые глазищи

сверкали восторгом и каким-то особым волнением.— Моцарт, «Реквием»! И дирижёр — Мравинский! И царапин совсем нет, как новенькая. Откуда?!

Я не знал. Я не помнил, чтобы кто-то принёс эту пластинку.

Артур вдруг почему-то разволновался. Он ходил по залу, двигая стулья, садился, закуривал, что-то бормотал бессвязное, как будто вспоминал. Я смотрел на него с тревогой.

— Что такое, Артур? Почему на тебя так подействовала эта пластинка?

Он посмотрел на меня рассеянно и странно.

— Я не знаю, рассказывать ли тебе… Давай сначала послушаем.

Он бережно поставил пластинку на диск проигрывателя, опустил иглу.

Музыка была действительно прекрасной — и голоса, и оркестр. Но что творилось с Артуром, пока звучала пластинка!.. Он бесконечно курил, закрывал глаза, дирижировал рукой в такт — и плакал. По щекам его непрерывно катились слёзы, он даже не думал их утирать. Когда закончилась одна сторона, он только посмотрел на меня умоляюще — я перевернул пластинку. И снова — слёзы и бессвязное бормотание… В этот момент я всерьёз забеспокоился: не сошёл ли мой друг с ума? Искусство, случается, и не такое свершает… Нет, он был вполне нормален. Когда музыка кончилась, он открыл глаза, вытер слёзы, посмотрел на меня просветлённо.

— Какая музыка!.. Ничего не понимаешь, конечно? Ладно. У тебя ещё остались какие-нибудь деньги?

Я молча выгреб из кармана всё, что было. Он посчитал, вернул часть:

— На портвейн хватит. На остатки закуски купи в буфете. Я сейчас.

Вот это было посильнее «Реквиема» Моцарта. Дело в том, что в тот период мы с ним не пили. Совсем. Даже в праздники старались как-то обходиться. Считали, что алкоголь дурно влияет на творческую потенцию. О другой потенции мы в то время ещё не заботились, с ней всё было в порядке. Пока Артур бегал в ближайший магазин за портвейном, я вышел в буфет, купил скудной закуски. И приготовился услышать что-то необычное.

И услышал.

Артуру, на удивление, хватило не на портвейн — он вернулся с бутылкой водки и банкой рыбных консервов.

— Земляка встретил, перехватил у него,— объяснил он.— Давай наливай.

После первой в голове с отвычки зашумело. Зато мир в одно мгновение стал ещё прекраснее.

— Давай сразу по второй, и расскажу тебе…

Закусив, Артур закурил, посмотрел задумчиво на сигарету и стал рассказывать.

В Латвии, откуда он приехал, была у него, оказывается, жена. Они поженились совсем молодыми, она была из богатой семьи, он, в общем, тоже не бедствовал, мама — заслуженный врач республики, известный человек. Жили в отдельной квартире, всё у них складывалось хорошо. Жена профессионально занималась музыкой, пела в опере, ей обещали большое будущее, её сопрано замечали на многочисленных конкурсах. Однажды они с женой поехали в Ленинград — просто так поехали, отдохнуть, на выходные. Взяли напрокат лодку — покататься по Финскому заливу. Отгребли довольно далеко от берега, налетел ветер, лодка черпнула воды, жена испугалась, вскочила и, не удержав равновесия, упала за борт. Плавать она не умела… Артуру, прекрасному пловцу, удалось её спасти, но к тому времени она уже успела нахлебаться воды, потеряла сознание. Пока он грёб до берега, пока с лодочной станции вызывали скорую, всё это время она была без памяти…

— Она выжила. Но память к ней так и не вернулась,— Артур смахнул слезу.— Наливай давай.

Я плеснул, мы снова выпили.

— Она так и живёт теперь в Лиепае, у своих родителей. Как растение… Ничего не помнит, никого не узнаёт. Вот уж сколько лет… «Реквием» Моцарта — наше любимое. Она исполняла там партию сопрано. Я был на премьере — это было потрясающе!

Мы долго ещё сидели, водка всё как-то не хотела кончаться. То ли с непривычки, то ли от волнующего рассказа я очень скоро захмелел. Артур, впрочем, тоже. Мы всё-таки допили, он ещё повздыхал, поплакал, потом кое-как постелили на стульях. Перед сном он снял пластинку с проигрывателя, бережно упаковал её в конверт, спрятал.

На ночь мы оставляли свет в будке осветителя — вместо ночника. Там горела тусклая лампочка, это позволяло в случае, если приспичило, пробираться ночью на выход не совсем на ощупь: туалет располагался в общем коридоре.

Среди ночи я проснулся, как будто меня ударили. Мощный хор пел:

> Domine Jesu Christe, Rex gloriae,
> Libera animas omnium fidelium defunctorum
> De poenis inferni et de profundo lacu…
> Господи Иисус Христос, Царь славы,
> Освободи души всех верных усопших
> От мук ада и бездонного озера…

Ничего не поняв спросонья, я подскочил на постели. Тусклая лампочка в будке осветителя мне показалась зловещей. Артур спал, беспокойно раскинувшись и постанывая во сне. На диске проигрывателя крутился «Реквием» Моцарта. В ночной тишине звук казался очень громким, пение — особенно прекрасным и внушительным. Я растолкал Артура:

— Зачем ты включил музыку? Ночь ведь.

Он дико на меня посмотрел:

— С ума сошёл? Ничего я не включал.

Мы уставились друг на друга. Музыка между тем продолжала звучать. Вдруг Артур вскочил.

— Ты слышишь, что они поют? «Да светит им вечный свет, Господи, со святыми Твоими вечно, ибо Ты любвеобилен. Покой вечный даруй им, Господи, и вечный свет да светит им»…

Мне и в голову не могло прийти, что мой друг так свободно может переводить с латыни.

— Ты слышишь? Боже… Она умерла…

Артур сполз с постели, встал на колени, обхватил голову руками — и завыл, раскачиваясь.

И вот тогда я испугался по-настоящему. Только теперь я осознал окончательно, что музыка заиграла сама собой, хотя я помнил ясно, что Артур упаковал пластинку перед сном. Но ещё сильнее напугало меня то, как он выл и раскачивался. Ничего страшнее этого я, кажется, не видел ни раньше, ни после. И я не знал, что мне делать. В нашем маленьком городе тех времён вызвать среди ночи скорую было целым делом: телефон по ночам в общежитии вахтёры отключали, а бежать до больницы было далеко.

Всё, однако, разрешилось очень скоро. Артур перестал выть и раскачиваться так же внезапно, как начал. Он поднялся с колен, посмотрел на меня мутным взглядом. Потом подошёл к проигрывателю, снял пластинку, убрал её в конверт. Водки у нас не осталось, но я сделал крепкий чай, почти чифир, налил ему. Он выпил глоток, закурил, снова взглянул на меня внимательно. Глаза обрели привычную голубизну, взгляд — осмысленность.

— Я не знаю, *что* это было, — медленно произнёс Артур. — Я только знаю, что *она* — умерла.

…Весь следующий день он разносил телеграммы на почте. А вечером пришёл в театр — репетиций в этот вечер не было, — молча сунул мне казённый бланк. «Сонечка умерла. Похороны…» — дальше я и читать не стал.

— Вот видишь, — устало сказал Артур, лёг на стулья и отвернулся.

В тот же день из театра мы перебрались к нашему приятелю-художнику в служебный вагончик, служивший ему и мастерской, и жильём. Ночевать дальше в театре было невыносимо.

Потом наши с Артуром пути разошлись. Я занялся журналистикой, скоро получил приглашение в престижную газету в большом городе, переехал, стал понемногу писать новую страницу биографии. Писал с ошибками, многое приходилось потом перебеливать — всё же что-то вышло. Мог бы сейчас для художественной цельности соврать, что Артур стал известным поэтом, или артистом, или даже режиссёром… Ничего этого не случилось, увы. Он что-то пишет и теперь изредка, но этого не видит, кажется, даже его жена Юля. Почему? Я не знаю. Я только догадываюсь — почему.

…Много лет спустя я случайно узнал, что никакой первой жены у Артура не было. То есть она была, но очень недолго и совсем неофициально: они не расписывались. Когда он уехал строить светлое будущее для других, их отношения сами собой прекратились. Она вскоре вышла замуж, вполне благополучна, живёт в Риге, воспитывает детей. Она, конечно, не умирала, ни на какой лодке по Финскому заливу в Питере они не катались, она не тонула, и он её не спасал. И с ума она не сходила, памяти не теряла. Вся история была ложью, выдумкой — от первого до последнего слова. Кроме одной детали: она действительно пела, и ей правда сулили большое будущее. Не случилось.

Узнал я это от настоящей жены Артура Юли, давней и теперь уж, наверное, вечной его спутницы, с которой вырастили они хорошего сына — крупного, самостоятельного, уверенного в себе и будущем. Хотел назвать Юлю «его несчастной женой» — но какое же тут несчастье, если уже тридцать лет с лишним она, безропотно или ропща, но смиряясь, принимает всё, что он ей подносит, — «и радости, и муки»? Судьба, какое тут несчастье…

— Как же телеграмма? Он же показывал мне… — спросил я Юлю, хотя уже понимал — как.

Она пожала плечами:

— Очень просто. Надёргал слов из чужих телеграмм, наклеил на бланк — вот тебе и телеграмма. Ты же не читал внимательно: откуда, кем отправлена? Ну вот…

Артур был большой выдумщик — кажется, таким и остался. Он всю жизнь играл, играет и теперь, постаревший, седой, близорукий, почти лысый, великий актёр домашнего театра. Раньше ему верили, потом кричали по-станиславски: «Не верим!» — теперь уже никто не верит и не кричит. Пусть играет. Чем бы дитя ни тешилось — лишь бы жило, пусть даже на радость одному себе. В конце концов, и это — зрелище.

И как ни странно, он и сегодня остался моим другом.

А ему хватает. Хватает мимолётного внимания, случайной работы ненадолго — долго он нигде не задерживается, не может, и не потому, что пьёт, — просто не может подолгу делать одно и то же. В театре ли, на стройке — всё равно. Только вот из города этого крошечного вырваться никак не может. Не хочет, что там — «не может»…

И ангел его хранит. С ним всё время что-то приключается. То бадья с раствором, сорвавшись с крюка, пролетела буквально в миллиметре от него, стоящего на стене из бетонных блоков на высоте трёх метров; если бы задела (две тонны!), звучал бы не Моцарт — Шопен, и не как воспоминание, а как напутствие. Впрочем, задела ведь: только когда спустился, бригадир, с лицом белее извести,

подошёл и пальцем оттопырил вырванный клок на рукаве робы: «Ни царапины—подумать!..»—и выматерился виртуозно. То перила лестничной клетки в строящемся доме под рукой вдруг уходят, и он летит вниз головой с высоты второго этажа на бетонный пол, а все, кто вышел вместе с ним покурить на площадку, обмирают и боятся подойти к краю: какое удовольствие—смотреть на того, кто только что был жив, сипло травил анекдоты и смеялся вместе со всеми? А он сидит внизу на заднице, ошалело вертит неповреждённой башкой и машинально докуривает чудом уцелевшую сигарету.

В театре только с ним никогда ничего плохого не происходило. Театр для него—святое.

…Но «Реквием»—его-то я помню точно! Пластинка звучала, крутилась сама по себе—как это?! Кому звучал «Реквием»? Кому вослед печально глядел великий Моцарт? Кому пророчил, если оба мы—живы и каждый по-своему счастлив? Отпевал ли он нашу бесшабашную, бездумную, беспардонную молодость, нашу доморощенную богему, наши бессовестные скитания по казённым общаговским душевым и чужим постелям? Кого, что он отпевал?

Я из маленького городка уехал в краевой центр, у меня не сразу, но как-то в конце концов всё сложилось—и в журналистской профессии, которая худо-бедно кормит, и с литературой отношения в конце концов налаживаются, меня начали печатать и даже приняли в творческий союз, и в семье всё хорошо. Артур остался там, где мы были с ним вместе,—в прошлом. Когда я приезжаю к нему или к другим (мало осталось друзей, мало…) в маленький городок, я испытываю разные чувства. Сильнее всех—одно: *его*, *их* настоящее—моё прошлое. Иногда невыносимо зудит внутри—так хочется в это прошлое, обратно, жить так, как сегодня живёт Артур. Это, конечно, театр, но почему-то в его театре меньше условностей, чем в моей—настоящей, сложившейся жизни. Так хочется!..

Только делать-то там, в этом прошлом, нечего.

Прошлое—оно прошлое и есть.

И реквием по нему—отзвучал.

ДиН пародия

Евгений Минин

Если вдруг поедет крыша…

Обкашлянное

Решили с другом съездить в Подмосковье—
пособирать осенние опята,
по лесу побродить да жизнь обкашлять.
Максим Лаврентьев

Обкашливали жизнь мы всю дорогу,
промокшие изрядно, без таблеток,
и, лагерное детство вспоминая,
несли погибель разным сыроежкам,
но заблудились—нас нашли по кашлю
из МЧС весёлые ребята,
поили водкой—не чайком с малиной,
и с пневмонией отвезли домой,
где я на карантине, словно Пушкин,
живописал трагедии лесные
стихом, конечно, белым, не верлибром,
и опус напечатал в «Зинзивере»,
чтоб вы мои обкашляли стихи.

Подарочек

Как раньше жить уже не сможешь.
Я ночью в сон к тебе приду.
Любовь Галицкая.
Из книжки «Нежданное»

Поскольку дружим лет немало
И дружба крепче с каждым днём,
Я книжечку свою прислала,
Читай в постели перед сном.
Знай, что подарка нет дороже,
Но, прочитав, поймёшь беду:
Как прежде спать уже не сможешь.
Я в каждый сон к тебе приду.
Мои стихи любовью дышат,
В них небо, солнце и ручьи…
А если вдруг поедет крыша,
У вас—хорошие врачи!

Евгений Мамонтов

Каждый вечер, кроме понедельника

Будда

Я умер и рассмеялся.
В. Хлебников

Один крановщик был буддистом, но не знал этого. Он сидел и не мог написать объяснительную, почему он прогулял свою смену в прошлый четверг.

Раньше он страдал одной нестрашной фобией. Он боялся, что после смерти попадёт в домоуправление. Будет пасмурный день в середине марта, электрический свет в тесном коридоре, надпись «Вытирайте ноги» и, конечно же, очередь. Может быть, это будет призывной пункт или паспортный стол. А скорее—всё вместе. Иногда эта нелепая фантазия принимала характер неприятной уверенности, подкреплённой, кажется, самыми посторонними, не имеющими отношения к предмету вещами: вот этот бетонный столб с обрывками объявлений, два железных гаража, серый панельный дом и две трубы ТЭЦ—укрепляли его предчувствие. Где бы ни находился крановщик торгового порта Лифанов, чем бы он ни занимался—повсюду он был незримо связан с местным военкоматом, домоуправлением, налоговой инспекцией… Если он переезжал, то и документы его передавались по новому месту жительства. Поэтому у него возникла уверенность, что после смерти его учётную карточку тоже передадут куда-то, где ему придётся заново становится на учёт. А потом у Лифанова появилась даже собственная теория или, вернее, гипотеза. Он прочитал где-то, что ежегодно десятки тысяч людей в мире пропадают без вести. Раньше Лифанов, как все, считал их жертвами несчастных случаев, стихии или маньяков-людоедов. Но маньяков регулярно разоблачали, жертвы стихийных бедствий шли на учёт в соответствующую графу, тем более несчастные случаи в тайге или при альпинистском восхождении, где народу раз-два и обчёлся, не могли идти в расчёт и как-то объяснить огромную—в десятки тысяч—дань, которую человечество ежегодно платило Непознанному.
—А что, если это как в древности,—сказал Лифанову приятель,—когда ежегодно отправляли двенадцать человек в жертву Минотавру? Только раньше об этом говорили, а теперь не говорят, чтобы не беспокоить…
—Может быть,—равнодушно ответил Лифанов.

Его собственная гипотеза выглядела куда оригинальней. Лифанов предполагал: а что, если эти люди сами исчезли, нарочно, чтобы сбить со следа Домоуправление? Тогда ведь можно после смерти попасть в рай! Конечно, он никому этих своих мыслей не рассказывал. Тем более что такое даже смешно назвать мыслями, слишком для мыслей это нестройно и алогично. Это было только ощущение, которое преследовало Александра Лифанова.

В прошлый четверг он не пошёл на работу, потому что рассматривал обыкновенную столовую вилку. Солнце играло в её стальной впадине и на четырёх острых зубчиках. Не хотелось прерывать гармонию… И сейчас, глядя, как горит на солнце круглый бок латунной пепельницы, Лифанов чувствовал отголосок того сладкого переживания.
—Ну пиши уже скорее,—сказал бригадир, давя в пепельнице окурок.

Полтора месяца назад в середине смены стал козловой кран на семнадцатом причале, провозиться пришлось до вечера.
—Эй, Сань, ты чё?—крикнул напарник Лифанову.

Лифанов стоял на самом краю консоли и смотрел, как внизу у причала блестит похожее на мятую промасленную бумагу море.
—Ничё. Иду!

Бригадир участка сказал вечером:
—С той недели будешь один работать.
—Почему?—спросил напарник.
—Саню забирают на переподготовку,—ответил бригадир.—Верно, товарищ старший сержант?
—Верно,—ответил Лифанов, стряхивая пепел в латунную гильзу от восьмидесятивосьмимиллиметрового снаряда, которую кто-то подобрал в куче металлического лома на причале.
—У тебя какая военная специальность?
—Связист.
—О! Три солдата из стройбата заменяют экскаватор, а из связи пять солдат заменяют весь стройбат!—хохотал бригадир.

Вернувшись через месяц с переподготовки, хмурый, простуженный и больше обычного убеждённый во всемогуществе Домоуправления, Лифанов сидел на полу в своей съёмной квартире, разбирая ящик с инструментами,— надо было починить вентиль на кухне. За окном шёл дождь. Всё казалось ещё бессмысленней, чем обычно. На самом дне ящика, среди мелких гвоздиков, гаечек, кусочков канифоли, он увидел крохотную лампочку для электрического фонарика, с потемневшим от времени цоколем, достал её, посмотрел на свет, цела ли спираль,— собирался выбросить. И вдруг всё остановилось. Взошло солнце, и сердце наполнилось райской пустотой.

С этого всё и началось.

— В детстве мастерили самодельные фонарики, приматывали изолентой такую лампочку к короткому контакту квадратной батарейки, потом нажимали на длинный контакт, и лампочка зажигалась. Помнишь такое?— спрашивал Лифанов напарника.

Ему хотелось услышать подтверждение своей радости со стороны.

— Не-а, мы в сплуп играли,— отвечал напарник.

— Что такое сплуп?— спросил Александр.

— Помнишь, раньше клей БФ продавали в таких тюбиках продолговатых?

— Ну.

— Ну вот, мы в автобус пацанами садились, особенно когда давка, час пик, тюбик отвинчивали и кому-нибудь втихаря на пальто— сплуп-сплуп клея.

— И всё?

— Всё.

Лифанов стал зачищать контакты реле.

Бригадир пробежал глазами объяснительную.

— «По семейным обстоятельствам…» Пьяный был?

Лифанов кивнул. Раньше он, бывало, вмазывал по выходным, но теперь в этом отпала необходимость.

— Ну пошли, кран стоит…

Это был последний рабочий день Лифанова. Работал он медленно, постоянно отвлекался, не слышал, как снизу кричали:

— Вира помалу!

Бригадир, надрываясь, свистел в тренерский свисток.

— В жопу его себе засунь и свистни!— зло крикнул ему из кабины Лифанов.

А в конце смены он разворотил трубой большого диаметра капитанский мостик теплохода «Чкалов». Был вечер, и на острове Скрыплёва уже зажёгся маяк. Лифанов засмотрелся на него во время поворота стрелы. За борт полетели вырванные с мясом леера и осколки выбитых иллюминаторов. Труба, ухнув о фальшборт, сошла в воду. Сверху было особенно красиво.

Бригадир трясся, что допустил похмельного крановщика к работе, но анализ не показал алкоголя в крови Лифанова. Лифанов сидел в медпункте и улыбался, пока у него брали кровь. Эта улыбка особенно взбесила бригадира:

— Чё ты лыбишься, как Будда?!

— У него просто стресс,— сказала медсестра.

После этого случая Александра перевели разнорабочим на тарировочный склад, и за ним закрепилось прозвище— Будда.

В супермаркете Александр купил себе набор пластмассовой посуды. Всю остальную спрятал в шкаф. В последнее время ему было трудно мыть посуду, журчание воды и блеск металлических вилок завораживали, и несколько раз он приходил в себя только тогда, когда вода из раковины начинала бежать на пол, ему на ноги. Он перестал принимать ванну— боялся утонуть. Мылся только под душем. Эйфорическое безволие всё чаще накатывало на него, и Лифанов бежал из дому на улицу, любил сидеть в парке, потому что там как раз вскрывали асфальт и на аллеях гремели отбойные молотки.

Злую усмешку вызывали у него листовки на стенах, приглашающие всех желающих научиться искусству медитации. И однажды, подвигаемый ненавистью, нарочно пришёл по указанному адресу. Семерых новичков рассадили на циновках, включили специально подобранную музыку для релаксации. Наставник в оранжевом одеянии говорил:

— Почувствуйте тепло. Оно движется вверх от кончиков ваших пальцев. Пропустите его выше. Пусть струится к плечам…

«Ерунда какая,— думал Лифанов,— всё это не так накатывает!» И, абсолютно трезвый, рациональный, сидел с улыбкой блаженства от собственной трезвости. Улыбкой настолько счастливой, что после сеанса оранжевый гуру отозвал его в сторону.

— У вас хорошо получается,— сказал он.— Занимались раньше?

— Немного.

Скоро этот тантрический салон стал его единственным убежищем. Лифанова забавляли все эти менеджеры и домохозяйки. Пока они входили в транс, он блаженно от него освобождался, его распирало желание бежать на работу, домой, к знакомым, чтобы восстановить все разрушенные связи, навести порядок, снова окунуться в суету и морок земной тщеты. Но он знал, что как только выйдет за порог, мир вокруг станет сном и любая из его причудливых завитушек сможет поработить его, как было с той шляпкой гвоздя, вбитого в забор, которую он рассматривал до самого вечера на одной из улиц.

— Вы необыкновенно способный ученик!— сказал оранжевый гуру.— Кто был вашим учителем раньше?

— Никто,— ответил Лифанов.

Гуру воспринял этот ответ как классический буддистский коан и с этого дня позволил Александру жить в помещении студии.

«Тут уж домоуправление меня не найдёт»,— думал Лифанов с ухмылкой. Прежние страхи казались ему теперь нелепыми. Просиживая в пустой студии долгие ночи, он прочитал все тамошнюю библиотеку. Узнал, кто такой Будда. Наставник даже поручил ему рассказывать новичкам нечто вроде вводного курса в историю буддизма. Но бывший крановщик вёл свои лекции так, будто, вернувшись с зоны, учил, как правильно играть в буру краплёной колодой. Слова «махаяна-хинаяна» были у него чем-то вроде нецензурного присловья. А объясняя новичкам, как пройти в туалет, он указывал пальцем: «Аватамсака»,— цинично унижая этим величайшую буддистскую сутру. Он ненавидел буддизм, как болезнь, но только в стенах этой маленькой школы чувствовал себя нормальным человеком. До наставника доходили и вовсе дикие слухи о том, что некоторых неофитов Лифанов отправляет в магазин за водкой. А тех, кто не хочет идти и покупать на свои деньги, обвиняет в том, что у них сильно развита тришна — привязанность к деньгам, и это станет причиной их страданий. Терпение наставника иссякло, когда однажды утром, открыв своим ключом дверь в студию, он обнаружил на полу среди пустых бутылок спящего Лифанова в обнимку с какой-то непотребной, испитой бабой. Она ретировалась быстро, а Лифанов цеплялся за дверные косяки, когда его выталкивали на улицу, и с трусливой злобой кричал:

— Да я хоть сегодня нирваны достигну! Дай хоть похмелиться напоследок!

Высосав из горлышка оставшееся на дне бутылки, Лифанов разбил её о порог и, разорвав на себе рубаху, «розочкой» процарапал у себя на груди слово из трёх букв.

— Вот тебе — просветление!

Оказавшись на базаре, Лифанов сел на землю, прислонившись спиной к фанерной стенке овощного киоска, и решил, что всё — теперь будь что будет. Покупатели пугались и обходили стороной всклокоченного окровавленного бомжа. Только одна сердобольная женщина пошла за милиционером. Лифанов в полудрёме пустого нарастающего блаженства уже не помнил себя и был золотой статуей Будды в храме Ват Таймит в Бангкоке. Проходящих мимо него людей он воспринимал как бесконечную вереницу пришедших на поклонение и улыбался сонной улыбкой просветлённого блаженства. Патрульным было нелегко усадить его в милицейский «уазик».

— Да что же вы меня бьёте? Я же Будда, а не Христос! — наконец возмутился очнувшийся Лифанов.

Портовские знакомые теперь частенько видели в районе вокзала долговязую фигуру в свитере под горло, с обтрёпанными рукавами, из-под которых выступали крупные худые кулаки со сбитыми костяшками, перемотанными грязным бинтом. Лифанов питался из мусорного бака за рестораном «Сиам», спал среди картонных ящиков за тем же рестораном, помогал разгружать подходившие к чёрному ходу фуры всего за чекушку, а когда и вовсе за так, и давал жестокий отпор бомжам, желавшим занять его место. Некоторые из прежних приятелей не брезговали, подходили. Разговор заводили деликатно, наученные кто на флоте, кто на Севере признавать право человека на любую судьбу.

— Нормально,— отвечал на их вопрос Александр, почёсывая небритую щёку чёрными ногтями, зна́ком отказываясь от предложенной сигареты и не выказывая ни малейшего смущения своим нынешним положением.

— Если что, заходи ко мне на тарбазу,— говорил знакомый, прощаясь.

Закинув руки под голову, нежась на пригреве среди удобно обмятых, пролёжанных картонных коробок, он иногда улетал, как прежде, в светлую пустоту и снова был золотой статуей, встречая застывшей улыбкой вереницу паломников; или птицей высоко в небе; или столбиком пепла на ароматической палочке, за миг до того, как ему упасть на серебряный поднос в старом храме; или просто никем. Теперь это было не страшно. Уходить было хорошо, и возвращаться тоже. Ничего плохого больше просто не было. Правда, когда начались холода, Лифанов отморозил ноги. Он ходил в кедах, которые нашёл на улице. Носков у него тоже не было. Пальцы ног распухли и почернели. И в больнице, куда его, хоть и с неохотой, приняли, Лифанову ампутировали несколько пальцев. Но поздно. Гангрена пошла выше. Зато боль прошла. Иногда ему казалось, что останавливается дыхание. Никто из персонала не беспокоился особо о судьбе какого-то бродяги. На койке по соседству умирал старичок. К нему приходила женщина, возможно дочка, Лифанов не уточнял. Звали вроде бы Света. Схоронив старичка, она стала приходить к Лифанову. Приносила домашние пирожки с чёрным вареньем внутри. Когда санитары пришли, чтобы освободить от Лифанова палату, Света предложила Александру остаться у неё. Деваться ему было всё равно некуда, и он согласился.

— А ты кем работаешь? — спросил Лифанов Свету.

— Паспортисткой в домоуправлении…

Лифанов засмеялся.

— Чего ты?

— Ничего,— сказал он,— так… Колесо сансары…

Инструмент

Один писатель мечтал написать прекрасное художественное произведение. Вообще он считал, что

уже создал несколько гениальных вещей. Правда, пока не оценённых современниками в должной степени. Но это сейчас не важно…

Ему хотелось сделать что-то такое, что было бы совсем не похоже на всё, что он писал раньше про всякие там брутальные похождения и цинизм нашего времени. Нет. Хотелось другого. Поэтому он часто вспоминал своё детство, когда всё было по-другому. Ему казалось, что в этих мысленных вояжах в прошлое он сможет обрести некий инструмент, необходимый ему теперь для новой книги.

Он даже специально приехал к себе на родину и бродил там по улицам своего детства, злясь оттого, что всё так изменилось, и жалея потраченных денег.

У него хорошо получилось написать несколько абзацев о том, как всё плохо. Но это он умел писать и раньше. Он научился это делать, ещё когда все старались писать о том, как всё хорошо. А теперь все писали про плохое, и довольно неплохо. Но ему осточертело. Ему хотелось написать хорошо про хорошее. Есть художники, которые не умеют рисовать руки. А он не умел писать нежно.

— Нет!—говорил он, глядя вокруг.—Это не жизнь, а фильм Райнера Вернера Фассбиндера!

Он возненавидел свой ноутбук и стал писать карандашом в блокноте, прямо на улице делая пометки. Но ничего не выходило. «Не умеешь ты этого чувствовать, скотина!»—ругал он себя. И смотрел на детей, небо и собак. Была весна, снег сошёл, и город выглядел особенно грязным. На ум приходило только одно: как они все здесь живут? Зачем? Проще было бы сразу удавиться.

Стоя посреди пустой спортивной площадки со сгнившими трибунами, под которыми жильцы устроили свалку мусора, он вспоминал далёкий летний день, жёлтый песок, футбол, содранное колено и не верил сам себе. Но не так, как не верят другие люди событиям своей жизни, потому что они произошли слишком давно. Он не верил себе профессионально. Футбол, песок, колено—всего этого могло не быть. Что, если это только набор писательских штампов, которым он сейчас поспешно пытается подменить настоящее воспоминание?

— Не знаю, не знаю,—говорил он, сунув руки в карманы пальто.—Что были эти же ворота—помню, а там—кирпичная стена пожарной части. Зимой её заносило снегом до середины. Прыгали сверху в эти волнистые сугробы…

В какой-то момент на одной из внутренних улочек он особенно почувствовал весну как приближение, когда всё вдруг распахнулось, оказалось рядом: музыка из окна, запах оттаявшего мусора, разметаемые тёплым ветерком рваные пакеты и бумажки, мат прохожих, водянисто-лазоревая, словно разбавленная, полоска неба в просвете между облезлыми стенами. Ему показалось, что вернулась та отчётливость зрения, что была у него когда-то в детстве. Но теперь она была безрадостна. И отвернуться было некуда.

Увидел крысу, пробежавшую от мусоропровода на газон, чувства дёрнулись лёгким механическим омерзением, но уехали совсем в другую сторону, когда он фокусно вгляделся в маленькое: эти камешки, корни, бугорки с первыми травинками,—увидел их так близко, как в детстве, когда часами что-то рыли, закапывали под битыми зелёными стёклышками фантики. Маленький мир, где жила крыса, был детским, и он пожалел, что крыса так скоро скрылась. Подумал о ней сказочно, с нежностью. Как будто там, куда она убежала, сохранился в неприкосновенности мир его детства с музыкой новогоднего «Щелкунчика». Но пролезть туда вслед за крысой он уже не мог и только искал глазами ту щель, куда она юркнула. Остановился и стоял на месте, чтобы не прошло, не рассеялось это чувство, уже слыша, как оно слабеет, и улыбаясь ему вдогонку беспомощными, остановившимися глазами.

Он пошёл вниз по улице, надеясь отыскать магазин «Кулинария», где продавались ватрушки, всегда особенно вкусные после купания летом. Магазина больше не было. Перейдя через дорогу, он без дела вошёл в магазин канцелярских товаров, рассматривал витрину. Вспомнил, какими ручками писал в детстве.

Это были чернильные ручки со стальным пёрышком, разделённым тонкой прорезью на две округло равные половинки, в сумме напоминавшие остренький птичий клювик. И в самом деле остренькие, если колоть ими указательный палец, после чего на нём появлялось фиолетовое пятнышко. Писать в школе разрешалось только фиолетовыми чернилами. Чернила продавались в симпатичных кубастеньких пузырьках толстого стекла, и если у вас была дорогая ручка, то она заправлялась посредством поршня, и можно было следить за количеством чернил внутри прозрачного баллона. А дешёвые заправлялись через приделанную к ним пипетку. На качестве письма это никак не сказывалось. Были ручки с царапающим бумагу пером, были со слишком щедрой подачей чернил, мазали бумагу. Высохшие чернила отливали сухим золотом.

В большинстве своём ручки были безымянны. Но случались исключения. Запомнилась белая с надписью славянской вязью «Ярославна». И ещё другая, с золотыми буквами напутствия «Учись на отлично». С каждой новой ручкой, что покупали родители, у него были связаны надежды на некое волшебное преображение. Вот этой ручкой он наконец напишет диктант на «отлично» или хотя бы на «хорошо». Новая ручка и новая тетрадь всегда были началом новой маленькой жизни. В душе он всегда относился к ручке как к волшебной палочке,

которая когда-нибудь поможет ему создать его настоящий мир.

Отец обожал ручки. У него была экзотическая бамбуковая. Была подаренная на приёме у японского консула двуцветная чудо-ручка, рассматривая которую, взрослые дивились, каким же образом в ней происходит всегда правильный (такой, как вы и хотели) выбор цвета, если кнопка у неё всего одна, а цветов два. И приходили к выводу, что она «на фотоэлементе». Было и отечественное чудо техники — толстая ручка с фонариком. В неё, помимо стержня, вставлялись две пальчиковые батарейки. Была розовая ручка с колокольчиком и ручка с присоской — словом, целый театр ручек, взывавших к созданию, каждая своего, мира.

— Выбрали что-нибудь? — спросила продавщица.

— Пачку твёрдых карандашей «Stabilo». Заточенных.

Продавщица прошла в конец отдела, нагнулась, вынимая из ящика карандаши. Он разделил пачку, разложив карандаши по карманам.

— Да, — сказал себе, выходя на улицу, — ты сам простой, как карандаш… жаль, что по своей природе ты уже никогда не сможешь написать нежной и чистой истории — пусть короткой! — к которой влечётся звонкое сердечко ручки с колокольчиком…

— Нежности, нежности, свиньи! — кричал он вечером, когда двое официантов выталкивали его из ресторана «Галилей»» на улицу, уже по-ночному пустую, нежно-прохладную.

Усевшись на асфальт, он подозвал пробегавшую мимо собаку и разговорился с ней. Ему нравилось говорить с собаками. Собачка слушала, склоняя голову набок, пока не подошли двое парней.

— Отдыхаешь? — спросил один из них, широко улыбаясь.

— А я мага хеле…мля, — сказал литератор, безвольно сунув руки в карманы пальто.

Мальчики помогли ему встать. Он широко улыбался.

— Амы-кудамы? — весело вопрошал, пока один парень тянул его за руку, а другой толкал сзади в спину.

Подворотня была узкая, и под ногами скрипело битое стекло.

— Ты чё? — спросил первый парень, видя, что второй упал.

И тут же сам задохнулся.

— Тише, тише, — успокаивал его писатель, поворачивая и выдёргивая. — Вот.

И тот действительно замолчал с открытым ртом.

Литератор вышел на улицу, дошёл до гостиницы пешком. Липкие карандаши выбросил в урну по дороге. Понял, что один так и остался торчать там — в горле, под кадыком. На руках было немного крови, и он вымыл их в луже. Вспомнил, что когда-то в этой же подворотне он нашёл часы марки «Луч». В третьем классе, кажется. Очень тогда обрадовался.

Каждый вечер, кроме понедельника

Режиссёр театра музыкальной комедии Мавракевич любил шампанское и классическую оперетту. В свои лучшие годы он блистал на профессиональной сцене в роли Бони в «Сильве». Сопровождая шампанское эпикурейскими закусками, он располнел, но танцевал с прежней лёгкостью и с удовольствием кидался на сцену показывать, «как надо это делать по-настоящему». Он был из числа тех людей, которые согласны работать бесплатно.

В его кабинете висели репродукции картин Дега и Тулуз-Лотрека. Перед премьерой он неделями жил в театре и спал здесь на диване. На стене в фойе были фотографии артистов в театральных костюмах. Прогуливаясь мимо них, Мавракевич улыбался, останавливаясь то перед одной, то перед другой. Женщины, одетые по моде конца девятнадцатого века, воплощали его представление об идеале.

Это был особый мир, без страданий, без боли, без смерти, и Мавракевич предпочитал его всем прочим. Более того, он считал, что если рай существует, то это оперетта. У Бога достаточно сил, чтобы поддерживать это лучистое и хрупкое очарование вечно. Мавракевич своими скромными усилиями создаёт его лишь на два часа, каждый вечер, кроме понедельника. Но в целом усилия обоих совпадали.

Его кумиром была Аннелизе Ротенберг, которую он ещё мальчишкой видел в роли Сильвы во время гастролей Баварской государственной оперы.

Мавракевич был холост, так как оперетта была для него не только профессией, но философией жизни. Трудно было найти женщину, которая могла с этим примириться. Людей, произносящих слово «оперетка», Мавракевич считал напыщенными дураками.

Мавракевич не носил бороды и усов, но за чёрные густые брови и низкий голос его прозвали в театре Карабасом-Барабасом. Его любили, и он любил своих артистов и страшно ревновал. Героя-любовника Самсонова переманила красноярская музкомедия, и Мавракевич страдал, переживая это, как другой переживал бы измену. Актрису Люсю Голубкину, блистательную Розалинду в «Летучей мыши», увлёк и бросил хамоватый выжига Перфилин, владелец щебёночного завода. Голубкина отравилась. Мавракевич поднял на ноги врачей, оплатил отдельную палату в больнице, навещал её и плакал у кровати Голубкиной, как ребёнок над сломанной куклой.

Перфилина он приказал не пускать в театр. Если бы это был девятнадцатый век, он просто убил бы его на дуэли.

Только пошляки могли шушукаться по поводу Мавракевича и Голубкиной. К тому же все в театре знали: главный заводит роман только с Сильвой.

Это был некий пунктик Мавракевича. В разные годы у него были Сильва из одесского театра, Сильва из харьковского, из хабаровского… и ещё несколько женщин, не имеющих отношения к театру, но достойных по своей внешности и характеру быть Сильвой Вареску. Последнее время ему всё реже встречался этот пленительный тип. И даже актриса гастролировавшей у них прошлым летом труппы оставила его равнодушным. «Это не Сильва»,—сказал он после спектакля, пожимая плечами. Про себя он считал это ещё одним доказательством того, что мир идёт не в ту сторону и человеческая порода вырождается. «Ещё чуть-чуть—и Сильва выйдет в джинсах,—говорил он обречённо.—Хотя,—усмехался,—наверняка уже выходила у кого-нибудь, да только я не видел, Бог упас».

«Юлий Маркович,—обращался он к администратору, высокому худому человеку по фамилии Риф,—вот скажите: какой, по-вашему, должна быть Сильва?» Администратор хмурился, улыбался и говорил. Он вообще славился своими необыкновенными ответами. Так, однажды на гастролях, когда его спросили, будут ли, наконец, рабочие монтировать декорацию, Риф ответил: «С рабочими я договорился. Рабочие не придут».

«Сильва—это дразнящее обещание счастья»,—говорил Риф. «Хорошо, пусть так»,—морщился недовольный этим выспренним ответом режиссёр и начинал свой излюбленный исторический экскурс, в котором он подробно перечислял все мало-мальски заметные постановки великой оперетты.

Мавракевич никогда не говорил о погоде, о ценах, о политике. Он мог говорить только о театре. Если речь заходила о футболе, он вспоминал, как в семьдесят девятом году коллектив драмтеатра устроил товарищеский матч с артистами музкомедии; если об автомобилях, то ему вспоминался случай, как главный дирижёр оперного театра пригласил однажды покататься с ним молоденькую хористку. Весь мир, с калейдоскопом событий, вращался у него исключительно вокруг сцены. Мавракевич был убеждён, что если где-нибудь на Кольском полуострове, в какой-нибудь экспериментальной шахте, добывается некая уникальная руда, то в конечном и своём высшем смысле это тоже служит торжеству и утверждению театра.

Мало кто знал о том, что этот жизнерадостный толстяк, говорун и бонвиван по предписанию врачей должен придерживаться особой диеты и не совершать резких движений: «Какое уж там танцевать с вашим сердцем…»

Но многие помнили сокрушительный приступ, когда в фойе театра он упал навзничь и его увезла скорая. Врач сказал, что ему нужно оставить хлопотливую должность главного режиссёра, если он хочет ещё пожить. «Без театра не хочу,—сказал Мавракевич.—Вот поставлю ещё раз Сильву, а там…»

Каким образом этот человек мог выйти на сервер знакомств? Может быть, он искал в сети материалы о Даниэле Миле, исполнявшей партию Прекрасной Елены в одноимённой оперетте Оффенбаха, и ввёл неверный адрес? Маловероятно. Но… на одной из страниц сервера перед ним вдруг предстал именно тот тип женщины, который он давно искал. Мавракевич взволновался, как Карабас при виде золотого ключика.

Он немедленно списался с синеглазой незнакомкой. Просто для того, чтобы убедиться в её реальности. И эта реальность немедленно его очаровала. Удивительная девочка знала, кто написал «Весёлую вдову». Для Мавракевича уже этого было, в принципе, достаточно, но провидение оказалось щедрее, чем он мог надеяться. Оказалось, что Лина сама занимается танцами и любит театр. Она перечислила ему несколько московских премьер этого сезона, на которых побывала, когда навещала своего дядю. Мавракевич писал ей каждый день и не переставал восхищаться.

Но свидания он ей не назначал. Как ни странно, он боялся её увидеть. Он не боялся показаться ей старым и неинтересным. Ему было страшно за созданный идеал, который может быть разрушен всего лишь одним жестом. Дело в том, что Сильва не должна была делать очень многих вещей. Она не должна была лузгать семечки; сморкаться на землю, зажав одну ноздрю большим пальцем; разговаривать по телефону, сидя в туалете; носить кеды; говорить слово «жопа»; пить пиво (особенно из горлышка); курить, если сигарета не вставлена в красивый мундштук; носить бейсболку.

Все свои спектакли Мавракевич ставил в состоянии влюблённости. Каждый из них можно было считать посвящённым той женщине, которой он был увлечён в период постановки. И вот теперь он, кажется, нашёл музу для последней в его жизни «Сильвы» и очень боялся, что какой-нибудь пустяк может разрушить очарование. Поэтому он не хотел видеть Лину.

Он спускался по улице, и плотное зимнее пальто казалось уже тяжёлым; с крыш капало, и вся улица блестела и пахла по-весеннему. И эти запахи он ловил с той же радостной остротой, что и в детстве, когда на этом самом месте, возле подворотни, отец, прогуливаясь с ним за руку, встретил молодого дирижёра Омелянского и надолго разговорился с ним о будущей постановке «Риголетто», а шестилетний Мавракевич ковырял палочкой душистую весеннюю грязь и даже успел соорудить небольшую запруду на одном из ручейков. Он остановился, и на миг ему показалось, что с тех пор он не сходил с этого места, а просто пронеслось

каким-то образом пятьдесят лет. Но, скорее всего, это иллюзия, и не было никаких пятидесяти лет, потому что пахнет совершенно так же, и те же выщербленные кирпичи темнеют на своде старой арки. И Мавракевич захлебнулся этим горьким и чарующим, и стоял без шапки, заглядевшись с искажённым лицом на сверкающую лужу…

На следующий день, проходя мимо театрального буфета, администратор Риф увидел, что главный беседует со стариком Кондратьевым. Кондратьев был последним представителем уникальной в своём роде династии театральных буфетчиков. С двенадцати лет он помогал своему отцу, который держал буфет ещё в театре Мейерхольда, и прекрасно помнил, что именно имели обыкновение заказывать Бабанова или Эраст Гарин. Кроме этого, он прекрасно помнил все постановки во всех театрах, а их было больше двадцати, фамилии всех режиссёров, актёров, балетмейстеров, художников и даже костюмеров. Специалисты, писавшие книги по истории театра, благоговели перед стариком, доподлинно знавшим, с каким именно кремом пирожные предпочитала Зинаида Райх.

Мавракевич всегда приходил побеседовать с ним, просто так, про старые времена. В этих разговорах он черпал вдохновение перед новой работой. Своим простым, без всякого пафоса, рассказом Кондратьев, подобно шаману, вызывал тени великих. Мавракевич сладко содрогался, чувствуя себя, пусть лишь чуточку, крупицей, причастным им по ремеслу, и заряжался этим метафизическим соприкосновением.

«Будет ставить»,—заключил про себя проницательный Риф.

На премьеру Мавракевич пригласил Лину. Теперь было можно. Она ответила в письме, что с удовольствием придёт, и он оставил для неё пригласительный. Контрамарка лежала на служебном входе в театр. Кроме того, Мавракевич приказал вахтёру лично проводить Лину к любому из билетёров, который уже отведёт её в директорскую ложу.

Сам он никогда не смотрел свои премьеры из ложи, занимал какое-нибудь место в партере, чтобы лучше видеть реакцию публики. Дали третий звонок, а Лина всё ещё не появилась. Наконец, когда стал меркнуть свет в зале, Мавракевич увидел, что опоздавшая девушка заняла своё место. Он не мог разглядеть её толком и, выждав время, шёпотом попросил театральный бинокль у соседки.

Бледненькая, совсем без косметики, с тёмными, но отнюдь не чёрными, как на фото, волосами, туго стянутыми в хвостик на затылке. В какой-то футболочке на плоской груди. Самая обыкновенная. «Да,—сказал он, возвращая бинокль.—Хорошо, что заранее увидел». За пять минут до конца первого действия он поднялся к себе в кабинет, нужно было сделать один звонок. В коридоре его на секунду остановил главный художник театра Зотов: «Степан Аркадьевич—аншлаг!»—«Да»,—улыбнулся Мавракевич. «Я там свою племянницу в директорскую провёл, ничего? Было одно место». Мавракевич не сразу сообразил: «А-а, ну да, конечно…» Спустился на вахту служебного входа. Контрамарку никто не забирал. Но сейчас ему было некогда об этом думать. Предстоял ещё второй акт.

На банкете в честь премьеры он теперь делал не больше глотка сухого вина. Когда все разошлись, вышел ещё раз в фойе второго этажа, смотрел на город. Где-то за спиной уборщица домывала пол. Старик Кондратьев надевал пальто, запирая буфет.

Что делает Бог, когда он не ставит оперетты?

На столе стояли пластмассовые стаканчики с недопитым шампанским и бумажные тарелки. Поблёскивало несколько нитей серпантина.

Комод

Аркадий Пантелеев решил, что теперь ему надо совершать только хорошие поступки. Эта мечта, достойная пятиклассника, пришла ему в голову первого января, что отчасти её объясняет. Тем более что Аркадий тут же о ней забыл, когда произнесли следующий тост, и вспомнил только седьмого, под Рождество. Так было даже лучше. Потому что мысль—жить по совести—особенно, должно быть, остра и чиста именно в такой день. Вернее, был уже вечер. Заря догорала. Именно так хотелось выразиться от полноты чувств, глядя на сиренево холодеющий запад; запрокидывая голову и разворачиваясь, чтобы без шапки, вот так, вдохнуть в себя всё небо.

По глубокой дорожке, пробитой между сугробами, Пантелеев медленно шёл, улыбался, вспоминая детство с таким свежим новогодним чувством, какого давно не испытывал. И жить хотелось легко, как в детстве. Очень просто жить.

На столе дома его ждал большой, разрезанный надвое апельсин. Тоже очень простой.

В восьмом часу позвонил Ярошенко, приятель Пантелеева. Грубо и весело кричал в трубку. Приглашал отмечать. Пантелеев напрягся, чтобы в тон ему, так же убедительно и жизнерадостно, соврать что-нибудь, но осёкся и сказал просто:

— Извини, сегодня не хочется, не то настроение.

Ярошенко, разумеется, не принял такого ответа, настаивал, но объяснить как-то иначе Пантелеев не мог. Повторил и положил трубку. Простые вещи трудно объяснять.

Аркадий слышал, будто бы в Италии на Новый год люди выбрасывают прямо из окон на улицу старые ненужные предметы, вплоть до мебели.

У него тоже был, стоял поперёк, большой не то сервант, не то комод с антресолью, с тусклым зеленоватым зеркалом, резной и по-своему уникальный, драгоценный. Всё, что Аркадий делал,

он делал в обход комода: шёл ли он позвонить по телефону, выпить чаю, втолкнуть штепсель в розетку — всё нужно было делать, протискиваясь, изгибаясь, ударяясь локтем или коленкой об это сооружение. Воздуха и света в комнате почти не было. Двустворчатые лёгкие комода поглощали его, зелёное стекло гасило.

По вечерам, когда закатный луч, проходя в окно, ударял в старое зеркало на чёрной вычурно-резной дверце, на потолке образовывалось зеленовато-золотое отражение, и казалось, что это комод мечтает.

Вот так же и в личной жизни Пантелеева была женщина — Вера Сергеевна. Прекрасная женщина, перегородившая его жизнь, как плотина. Всё, что делал Аркадий, — работал, откладывал какие-то деньги, ездил на рыбалку, посещал боулинг, встречался с друзьями — было ручейками, секретно текущими в обход этой плотины.

Верой Сергеевной восхищались все. Умные люди и дураки, пошляки и воспитанные, интеллигенты и пролетариат, русские и иностранцы. Аркадий понимал их правоту, но порой именно это раздражало. Наверное, по этой причине из всех комплиментов, отпущенных в её адрес, Пантелееву запомнился один, самый грубый. «Жопа у неё как комод!» — сказал с циничным любованием Рудик Коркия, эрудированный пошляк смешанного происхождения, сам не догадываясь, насколько плотно он связал этой фразой две совершенно разные вещи в голове Аркадия.

Вера Сергеевна не любила комод, зло смеялась над ним и от этого, наверное, особенно часто ударялась об него в квартире Пантелеева. Комод мстил. А может быть, она была просто слишком крупная женщина. Её статной фигурой всегда любовались.

На следующий день утром Пантелеев вышел на свежую улицу, по-праздничному пустую и нарядно белую. Полосы света лежали на снегу через равные промежутки между аккуратными двухэтажными домами пригорода. Снег не плавился от солнца, только блестел и скрипел под ногами. День был морозный, и клей плохо брался к бумаге, бумага — к стенам. Аркадий развесил простые объявления: «Отдам сервант в хор. сост. бесплатно».

Потом дважды приходили, интересовались, но комод смотрел так сурово, что люди отказывались.

— Натуральное дерево, не дсп, — агитировал Аркадий, стучал пальцем.

Но люди уходили, и комод усмехался скрипом неожиданно открывшейся дверцы.

Третьим пришёл высокий лысый человек с чёрной острой бородой. Таких комод ещё не видел и затих вместе с хозяином. Бородач крепко пнул в боковину, пробуя дерево одновременно на крепость и звук. Стенка выдержала удар, и бородатый сказал:

— Грузим.

В комнате стало так просторно, что она казалась чужой. Аркадий понял, что боится в ней уснуть. Переночевал у приятеля. Потом два дня прожил у Ярошенко, который бурно отмечал день рождения своей собаки.

Вернулся домой днём, надеясь до вечера привыкнуть. Открыл дверь. Сел на стул. Казалось, что в квартире кто-то умер. Пантелеев снял трубку и пригласил Веру:

— У меня для тебя сюрприз.

Вера Сергеевна любила сюрпризы и приехала под вечер, большая, красивая.

— О-о! — Вера засмеялась грудным волнующим смехом, оглядывая пустую, посвежевшую комнату.

Открыли шампанское. Пробка отрикошетила от потолка и закружилась на просторном полу.

Ночью, открыв глаза, Пантелеев увидел в темноте на потолке знакомое зеленовато-золотое пятно. Посмотрел на спящую рядом Веру и понял, что это её сон дрожит там, переливаясь.

На другой день, проводив Веру, Пантелеев набрал оставшийся в сотовом номер мебельного барышника. Договорились встретиться. Аркадий разыскал указанный дом. Это оказался низкий, тёмный внутри пакгауз или что-то вроде того. Бородач, похожий на Ивана Грозного, сидел у задней стены в чёрном деревянном кресле с высокой резной спинкой. Пил чай из стакана в подстаканнике. Жестом предложил Пантелееву сесть.

— Я вам сервант отдавал, помните? — спросил Пантелеев, озираясь.

— Хотите забрать?

— Нет.

В помещении не топили, и на бородаче была старая шуба поверх рыбацкого свитера.

— Ещё мебель? — спросил хозяин.

— Нет.

От чая шёл пар.

— Вам не нужна женщина? — сказал Пантелеев. — Натуральная блондинка, не крашенная.

— Надо посмотреть, — сказал бородач.

— Конечно, я понимаю, — кивнул Пантелеев.

— Оставьте адрес.

Мечтатели

— Андрей, — спросила завуч Зинаида Ивановна, обращаясь к Андрею Шубину по-взрослому, отчего тот невольно переглотнул, — у тебя есть мечта?

Андрей поглядел на шторы в кабинете завуча, фотографию Макаренко, цветок на окне. Мечты у него не было.

— Да, — сказал он.

— Это хорошо. Какая?

— Я хочу стать моряком.

— Я помогу тебе.

На секунду маленький Шубин испугался, что теперь ему действительно придётся быть моряком и уже никем другим.

— Морякам особенно необходимы география и точные науки — математика, физика.

Шубин послушно молчал.

— Я рада, что мы поговорили по душам, — сказала завуч. — Теперь у нас всё пойдёт на лад, правда?

— Да, — резво кивнул Андрей.

Выйдя из кабинета, он успел в коридоре переброситься парой слов со своим другом Санькой Тарапатовым.

— Чё было? — тревожно прошептал Санька.

— Про мечту спрашивала.

— Ну и ты чё?

— Сказал, моряком хочу.

— А она?

— Нормально, похвалила.

Санька, тревожно щурясь, кивал. Из кабинета раздался голос: «Ну где там второй?»

— Александр, — сказала завуч, — о чём ты мечтаешь?

— Я мечтаю стать моряком, Зинаида Ивановна! — бойко выпалил Санька.

Завуч нахмурилась.

— Каким моряком? — спросила она тихо.

Санька растерялся. Про это он у друга не спросил.

— Иди и подумай о своём поступке, а завтра придёшь с родителями.

В десятом классе, пристально глядя на Андрея Шубина, печально отложив в сторону бумагу из милиции, завуч сказала:

— А ведь у тебя была мечта, Андрюша! Ты помнишь о ней?

— М-гу.

— У тебя сейчас есть мечта?

У Шубина теперь была мечта, даже две.

— Нету, — сказал он.

— Вот видишь, — сокрушённо покачала головой Зинаида Ивановна.

Одну мечту Шубин уже почти осуществил, когда позавчера угнал мотоцикл. Но теперь его вернули владельцу. Второй мечтой была Люся Голубева. И это было труднее, чем мотоцикл. Потому что он её тоже осуществил. Люся была щедра, и с ней многие осуществляли свою мечту, а Андрей хотел быть единственным. Об этом было стыдно сказать кому-нибудь, но так оно и было.

— А ведь я могла бы тебе помочь.

Андрей уже привык к тому, что всё, что говорит завуч, директор и подобные им люди, не имеет никакого смысла.

— Вот ведь твой друг, Саша Тарапатов, нашёл в себе силы, исправился. Прекрасно учится. Всегда опрятен.

Шубин невольно улыбнулся. Он знал о Саньке немного больше, чем завуч.

— Чему ты улыбаешься?

— Я не улыбаюсь.

Вечером они пошли в кино. Люся была в белом платье в чёрный горошек. На каблуках. Совсем взрослая. Андрей вспомнил все похабные комплименты, которыми обычно награждали её парни, его приятели. Они умели говорить только так.

— Откуда у тебя эти серьги? — спросил он.

— Мамкины.

Он мог вспомнить, как всё начиналось. Это было тогда, когда он мечтал уничтожить Англию. Не то чтобы она ему как-то особенно досадила. Просто так случилось, что с детства он решил стать военным. Может быть, после того, как папа дал ему выстрелить из ружья. Он уже знал, что будет морским офицером. Но сначала нужно было окончить школу. В школе ему никак не давалось «з». Он не знал, куда его ставить. Это было не русское, а английское «the» — определённый артикль. На какое-то время он вообще перестал считать англичан за людей. Ему так объяснили в школе. Не про самих англичан, конечно, а про их грамматику. Сказали, что у них четыре настоящих, четыре прошедших, четыре будущих и ещё четыре чёрт-те каких перфектных времени. И он понял сам: они — не люди. В лучшем случае — марсиане. Но даже после этого Англии ещё ничто не угрожало. Он терпел. Он же решил стать офицером. Посещал секцию гребли и военно-стрелковый кружок. Усердно учил английские слова и делал вид, что понимает грамматику. В конце каждой четверти учительница могла с чистым сердцем ставить ему твёрдую тройку. Но этому относительному благополучию пришёл конец, когда в седьмом классе его посадили за одну парту с Люсей.

У неё были вишнёвые хулиганские глаза и стрижка под модную в ту пору Мирей Матьё. Ни то, ни другое не могло отвлечь будущего моряка от созерцания учительского карандаша, ползущего по списку в журнале. На середине этого движения должна была сегодня сдетонировать его фамилия. Он был сейчас капитаном, ведущим свой крейсер через поля минных заграждений. И в этот момент Люся брала его руку и клала её себе на ногу выше колена. Потом она своей рукой везла его обморочную, вялую, как дохлая рыба, ладонь немного вверх, так что он слышал звук, с которым скребли нажитые в секции гребли мозоли по прохладному капрону, и видел её лукавую улыбку. По вечерам накануне английского урока он мечтал, чтобы она перевелась в другую школу, заболела, умерла. Но Бог миловал от осуществления этих мечтаний, и история повторялась.

Поэтому, когда на очередном занятии в военном кружке отставной кап-3, без эмоций излагая тему, сказал: «Подводная лодка проекта 667-А-16 одним ракетным залпом может уничтожить такую страну, как Англия», — он понял, что ему придётся именно так и поступить. Выбора не оставалось. Не убивать же заразу Люську.

Перед фильмом он забил в скверике папиросу, и они вместе покурили, чтобы смотреть было интересней.

— М-м,— сказала она, затягиваясь и задерживая.

— Санька привёз,— ответил Андрей.

Потом они смеялись, глядя на экран. Люся смеялась даже в том месте, когда следователь водил фонариком по стенам в квартире убитого.

Вышли жиденькой толпой на тёмную улицу. В ночном воздухе слышнее пахли акация и шелковица. Скоро улица опустела, и они шли вдвоём мимо закрытого гастронома, аптеки, поликлиники, банка, речного вокзала, стоянки такси.

— Хочешь ко мне?— спросила Люська.

— У тебя ж мать.

— Она сегодня к деду поехала. С ночёвкой.

— А когда приедет?

— Утром.

— Во сколько?

— Да ты не бойся, у неё вообще одна мечта…

Против течения шла баржа с чёрным лесом и зелёным огоньками. Другой берег был совсем тёмным.

— Какая?— спросил Андрей, улыбаясь.

— Дурацкая. Замуж меня поскорее выдать.

Они вошли в лифт. Потом Люся открыла дверь в тёмную квартиру. Шубин аккуратно вытер ноги. Он ещё ни разу не был в квартире завуча и не знал, что их мечты так похожи.

Мнения

Пётр Кузьмич считал, что люди произошли от инопланетян, но при этом оставался простым человеком, сажал картошку, вообще любил заниматься хозяйственными делами — например, искусно вытачивал на станке дверные ручки. Космическая гипотеза происхождения жизни на земле не зародила в нём ни высокой меланхолии, ни озорного нигилизма. Ему было уже за шестьдесят, и «инопланетян» он держал просто в качестве темы для беседы с умным человеком.

Алевтина считала, что если благоустроить городские скверы, то выйдет очень красиво.

Её брат Александр считал, что если у человека есть деньги и при этом он несчастлив, то он дурак.

Недаром Пётр Кузьмич считался в семье интеллектуалом и даже как бы со странностями.

Лазарев считал, что он гений и что в жизни нет смысла.

Полькин — что блондинки холоднее брюнеток.

Полковник Сорока верил в еврейский заговор и считал, что президентом управляет международный жидомасонский комитет. «Значит, и тобой тоже управляет,— сказал ему геолог Тимофеев,— ведь президент — наш верховный главнокомандующий».— «В этом трагедия России!» — ответил полковник.

Хологодов верил, что все люди братья, потому что все они негодяи и жулики.

Отец Георгий считал, что нужно больше думать о смерти.

Пётр Кузьмич любил людей, независимо от их происхождения, пускай даже инопланетного.

Алевтина тоже любила людей, если только они не делали ей замечаний.

Её брат Александр был добродушным человеком по природе, особенно когда выпивал.

Лазарев был законченным мизантропом и только терпел людей из воспитания.

Полькин любил женщин, к остальным проявлял, подобно Лазареву, тактичное равнодушие.

Полковник Сорока любил русского человека.

Геолог Тимофеев много общался с «русским человеком» в экспедициях и знал его слабости.

Хологодов любил, когда кого-нибудь разоблачили.

Отцу Георгию нравилось исповедовать умирающих.

Однажды Полькин познакомился с блондинкой, которая поколебала его убеждения.

Лазарев встретился с Алевтиной, которая во время прогулки сказала, что если этот парк вычистить и благоустроить, то получится замечательное место.

Брат Алевтины Александр встретился с человеком, который дал ему хороший заказ на поставку генераторов.

Полковник Сорока узнал, что в его часть прибыл новый офицер по фамилии Магазинер, и пошёл на него посмотреть.

Геолог Тимофеев, вернувшись из экспедиции, ушёл в запой и постоянно с кем-нибудь встречался, но ему всё казалось нереальным.

Отец Георгий встретился с однокурсником по семинарии, рукоположенным в архиереи, и подумал: гореть тебе по смерти в аду.

Хологодов встретился с женщиной и пригласил её домой, а наутро у него пропал кошелёк.

Пётр Кузьмич, по идее, должен был бы встретиться с инопланетянами, но не встретился.

Пётр Кузьмич знал, что Пушкин гений. Но не читал его. Верил на слово. Проверить лично было некогда.

Алевтина знала, что у Пушкина была красавица-жена, из-за которой его убили на дуэли.

Её брат Александр считал, что Пушкин жил слишком давно, чтоб об этом стоило говорить.

Лазарев сочувствовал Пушкину, как гений гению.

Полькину казалось, что в прошлой жизни он был Пушкиным на всех этих балах. Он знал несколько строф из «Евгения Онегина» и при случае декламировал дамам.

Полковник Сорока знал, что Пушкин гений, так же точно, как то, что генерал Карпов является начальником округа.

Геолог Тимофеев любил читать научную фантастику.

Хологодов знал, что Пушкин был ловкач.

Отец Георгий считал, что Пушкин был срамник.

Лейтенант Магазинер перечитывал «Маленькие трагедии».

Блондинка, с которой познакомился Полькин, знала наизусть стихотворение Пушкина «К Алине», потому что её тоже звали Алина.

Пётр Кузьмич никогда не размышлял о счастье, он предпочитал делать что-нибудь, а не размышлять, и был счастлив, когда получалось.

Полькин был постоянно счастлив. Он не помнил, с какого момента это началось. Вернее, это начиналось заново каждый день. Вот он просыпался и шёл в булочную, небольшой подвальчик, три ступеньки вниз, свет падает из окон, золотит душистый воздух. Поджаристые корочки сдобы, продавщица в белом, сама румяная и сдобная. Полькин улыбается. Счастье преследовало его даже в самые неподходящие минуты. На похоронах, в неровно сбившейся вокруг могилы толпе, происходила некая осечка, и вместо горя Полькин чувствовал широкий, как вид на побережье, прилив удивительного света, свежести… «Так здорово быть мёртвым!»—подумал он, радуясь и завидуя покойнику.

Алевтина была счастлива, когда видела, что она нравится мужчинам.

Её брат Александр был счастлив, когда зарабатывал много денег и потом мог хорошо отдохнуть, тратя эти деньги.

Полковник Сорока вообще-то не имел права на счастье в то время, когда жидомасоны глумились над его родиной. Но всё-таки был тихо счастлив, когда уезжал на рыбалку.

Геолог Тимофеев был счастлив многообразно: когда входил с мороза в тёплое помещение, когда удавалось вытянуть застрявший в болоте тягач, когда покупал новую книжку,—но почти никогда не признавался себе в этом.

Хологодов считал, что счастье—это когда не поймали.

Отец Георгий знал, что счастье бывает только после смерти.

Лазарев был счастлив, когда ложился спать и во сне забывал, что он гений.

Александр, брат Алевтины, надеялся, что выгодно продаст генераторы.

Пётр Кузьмич надеялся, что урожай будет хорошим и картошки хватит на зиму.

Полковник Сорока мечтал о пенсии и пробуждении национального самосознания русского народа.

Лазарев рассчитывал, что его имя останется в веках.

Алевтина надеялась, что Лазарев будет любить её всегда и они вместе станут гулять по красивым благоустроенным паркам.

Отец Георгий надеялся, что в раю его отличат от прочих священнослужителей.

Хологодов надеялся, что женщина, у которой он вытащил кошелёк, не опознает его на опознании.

Геолог Тимофеев привык надеяться на самого себя, а Полькин ни на что не надеялся, потому что был счастлив.

Пётр Кузьмич иногда жалел, что жизнь его уже прошла, но он был ею доволен, поэтому сожаление быстро сменялась светлым воспоминанием о чём-нибудь из прошлого. Например, о том, как служил в армии.

Алевтина жалела, что ей уже тридцать лет и она поправилась на три килограмма и что городские скверы и пляжи такие неблагоустроенные.

Её брат Александр жалел, что не так выгодно купил новую машину, как это можно было сделать, и что заказ на мотопомпы ушёл в другую фирму.

Хологодов жалел, что приходится тянуть срок за такой пустяк.

Лазарев жалел, что жизнь не имеет смысла.

Отец Георгий жалел, что он не архиерей.

Полькин жалел об упущенных возможностях, вспоминая нескольких шатенок.

Полковник Сорока жалел русского человека.

Геолог Тимофеев говорил, что ни о чём в своей жизни не жалеет: раз случилось—значит, так было надо.

Лазарев стыдился своей гениальности и не любил, когда его просили почитать стихи.

Полькин иногда стыдился того, что он всё время счастлив.

Алевтина стыдилась того, что немного поправилась.

Её брат Александр не стыдился вообще.

Геолог Тимофеев смущался в женском обществе и начинал вести себя нарочно грубо.

Отец Георгий смущался своего прошлого и говорил, что раньше он был биологом.

Хологодов не смущался своей статьи.

Полковник Сорока краснел, когда его распекало начальство.

Пётр Кузьмич смущался, когда смеялись над его версией происхождения человечества.

Лазарев написал стихотворение о старой заводской трубе из красного кирпича, которая смотрит в небо днём и ночью, чувствует каждый свой кирпич, помнит старых рабочих. Вверху плывут облака, говорят: «Привет»,—а потом: «Пока». В августе ей в горло падают звёзды. Жюль-верновская пушка,

телескоп и каменные глыбы Стоунхенджа ей как сёстры. По роду она женщина, по Фрейду—скорей мужчина, скучает по юности, вспоминая запах дыма. Быть выше других—ужасное одиночество, а искорка, некогда упавшая в неё с неба, давно смешалась с мусором на дне.

Алевтина сделал новую причёску, накрасила ногти перламутровым лаком, надела открытое летнее платье, туфли на высоком каблуке и вышла проверить, как всё это работает.

Полькин, увидев её на улице, был совершенно потрясён, познакомился с ней и даже хотел немедленно сделать ей предложение. Так у него часто бывало. Но вместо этого сделал ей другое предложение.

Геолог Тимофеев уехал в экспедицию на Крайний Север и познакомился там с шаманом, старым якутом.

Отец Григорий с удовольствием отслужил заупокойную службу и поехал ужинать.

Хологодов попал под амнистию.

Часть полковника Сороки отличилась на стрельбах, дав залп по своим. Был строго наказан лейтенант Магазинер.

Пётр Кузьмич поехал продавать картошку и больше не вернулся. В тот вечер в небе видели светящийся сигарообразный объект.

Что же ждёт остальных?..

Лабрадору Монти

Алексей Гонтарев любил разговаривать со своей собакой. Это был золотистый лабрадор, который сидел и внимательно слушал хозяина. Очень молодой пёс с трогательными рыжими ресничками. Он слушал, иногда моргая. Солнечный луч, падавший сквозь кухонное окно, ложился на золотистую шерсть и краем подсвечивал тёмную глубину собачьих глаз. Пёс никогда не отвечал хозяину. Как не отвечают нам мерцающие звёзды, каменные изваяния древних богов и лучезарные топ-модели на глянцевых обложках.

Он рассказывал собаке обо всём на свете: о политике, искусстве, науке, о своей жизни. Характер у хозяина был артистический, поэтому порой выходили смешные монологи. Например, хозяин любил гротескно изобразить в лицах третий съезд РСДРП и знаменитую полемику Ленина с Мартовым.

Вечером собака забиралась к хозяину на диван, и, обняв пса, Алексей слышал, как бьётся его маленькое сердце. Он вспоминал своё детство и рассказывал.

Древние люди верили в то, что неживой природы не бывает. Есть только огромный, не говорящий по-человечески мир—и другой, очень маленький, говорящий. Когда Алексей говорил, то через собаку его слова попадали из маленького мира в огромный, но никогда не смогли бы его наполнить, расположившись лиловыми рядами отсвечивающих сухим золотом ученических чернил от Земли, через прочерченные пунктиром орбиты планет, до Солнца и дальше в бесконечность. Но иногда ему казалось, что эти строчки всё-таки наверчиваются вокруг Земли, уже бросили свою узорчатую тень на жёлтую Луну и ползут выше; а порой даже чудилось, что все эти звёзды, кометы, планеты, туманности—словом, всё-всё-всё—он сам себе наговорил.

Поздним вечером, слегка под хмельком, Алексей Гонтарев выходил прогуляться со своей собакой вдоль путей старой железнодорожной ветки. Справа за забором сутками монотонно шумел завод, слева на пустыре были поломанные деревья и старые автопокрышки. Он поднимал голову, смотрел на все эти на разной глубине всаженные в небо звёзды и улыбался. Как будто сам их сделал.

И ещё была одна вещь, которой он не замечал. Он тут же забывал всё, о чём рассказывал своему псу. Этот эпизод как будто заливался густой чёрной тушью в его сознании. Становился похожим на не занятое звездой место в небе. Таким образом, маленький говорящий мир выливался из него, а большой и молчаливый вливался. Как будто, зажигая звёзды снаружи, он гасил их внутри. Придёт время—иссякнут и политика, и искусство, и география, и сама жизнь некого Алексея Гонтарева. И вот тогда снова соединятся, сравнявшись в молчании, хозяин, и собака; и пирамиды, и каменные изваяния под мерцающими звёздами.

Дмитрий Миронов

Пирамида

Сорок дней

В комнате с занавешенным зеркалом молодой человек читает стихи. У слушателей потрясённые лица, задумчивые взгляды, девушка на подоконнике плачет.

…Вновь, в который раз,
Пара чьих-то глаз
Смотрят в мои окна
И не знают, что хотят увидеть в них,
А я им не скажу, что я курю сижу
И что на них я не гляжу!

В тёмном коридоре Боба Шутов разговаривает по телефону:

— Да, в девять на кладбище, потом банкет…

Тусклый вечер, искусственная тишина, молчат телевизоры и музыкальный центр. Столы на кухне заставлены кастрюлями без крышек, в них ещё не перемешанные салаты. Бабушка Настя и соседка тётя Галя смотрят в духовку.

— Работает, а то я уж испугалась.

— Свинину давай в раковину, пусть тает, и водку спрячь, сейчас Герка проснётся. Картошку завтра поставь варить часов в десять, пока то да сё, фарш накрутишь сразу с молоком и хлебом, яйцо добавишь, приправу. Майонезу в салат побольше клади, за мясом поглядывай, поливай жирком, сочнее будет, духовка мне не нравится…

— Компоту кастрюли хватит?

— До компоту им будет-то?..

Дядя Гера спит на детской кроватке, длинные ноги на полу, кисть руки ладонью вверх — тоже на полу, рядом, аккуратно друг к дружке, пара кроссовок «Hero way». Маленький Андрейка ткнул пальцем в усы спящего:

— Это для детей комната!

Кирилл включил свет. Дышать нечем от перегара и духа кроссовок «Героический путь».

— Пошли на кухню посидим.

— Там жарко.

Раздался грохот в прихожей, стихи в большой комнате оборвались.

— Столы принесли…

Народ на цыпочках высыпал в коридор. Тихо расставляли тарелки, рюмки, бабушка Настя считала людей, последние помощники ушли далеко за полночь.

Кладбище, поздняя осень, равнодушный водитель автобуса, воронъё и жирные кладбищенские коты. Где-то далеко взвизгнула, отчаливая от платформы, электричка…

Подъехали Шутовы — Боба и Полина, не торопясь вылезли из тёплой машины, у Полины сноп гвозди́к, шёпотом поздоровались, и все колонной двинулись между могил на южную сторону.

Поп долго переодевался, долго разжигал кадило, долго читал. Катя, вдова, стараясь не шуршать пакетами, разворачивала закуску, достала водку, стопку пластиковых стаканчиков. Запахло свежими огурцами. После «аминь» батюшка скомандовал:

— А теперь помянем усопшего.

Все перекрестились, полезли за сигаретами. Старухи загалдели:

— Гере, Гере…

Дядя Гера дрожащими руками принял полный стакан, залпом выпил.

— Боба, Серёжа! Берите давайте.

Шутов с Катей едва не чокнулись, быстро опомнились. Вдруг завыла мать, её усадили на скамейку, в руках опытных старух замелькали пузырьки с лекарствами, все снова притихли…

В автобусе Гера подсел к водителю:

— Да я, на, двадцать тонн, бу-бу-бу, бригадир, бу-бу-бу, двадцать тонн, я говрю, пошёл на…

Во дворе уже стояла машина Шутовых. Последний перекур у подъезда. Кто-то спросил:

— В магазин надо?

— Не, всё есть.

Соседка Галя на кладбище не ездила, накрывала на стол. Андрейка округлил глаза:

— У кого день рождения?

Хлопнула в последний раз дверь в ванну, отскрипели стулья, все упёрлись глазами в тарелки, мать почему-то улыбалась. Тишина пузырём повисла над столом, кто-то должен хлопнуть в ладоши! Все поглядывали на Бобу Шутова.

— Друзья. Вот уже сорок дней нет с нами нашего друга и великого поэта…

Полина обняла Катю, Кирилл закусил кулак и отвернулся к окну.

Дяде Гере не повезло, он по запарке уселся между бабушкой и соседкой тётей Галей, которой «нельзя».
— Тамара Сергеевна, я предлагаю выпить… спасибо вам за вашего сына…

За Катей ухаживал Боба, братья Высоцкие опять шипели друг на друга. Замелькали тарелки, вазы с салатами. Полчаса пролетели в неловкой тишине, лишь стук вилок и шёпот по углам стола.

Бабушка Настя поставила ещё несколько бутылок.
— Ребята, если курить хотите, на кухне можно.

Народ, покашливая в кулаки, высыпал в коридор. После перекура стол разделился пополам — на мужскую и женскую половину. Женщины отвлекали Тамару Сергеевну от воспоминаний, чтобы опять не завыла.
— Как Таня?
— Плохо. Вышла замуж за старого, думали — богатый, ещё и орёт по ночам.
— Орёт?
— Ну да. Вот так спит, спит, а потом как заорёт!
— Воевал, наверное…
— Наверное. А может — идиот. Скоро третьего родят.
— А мне героину! — сказала бабушка.
— Героину, героину, — поддержали соседки, — и медаль.
— Нет, медаль за четвёртого дают.
— У Риты четверо, и медаль есть, и удостоверение — мать-героиня. Тоже ещё хотят парочку.
— Сумасшедшие.
— Ты мужа видела?
— То ли грузин, то ли бандит…
— Лазарем их, — предложила бабушка, — лазарем всех черножопиков…

Гера уговаривает тётю Галю намахнуть, Галина отворачивает измученное лицо к женщинам, но у тех тоже налито, хоть и сухое вино, и по рюмкам.
— Ребята, вот оливье ещё…

Еда на столе не убывала, баба Настя ловко, как заправский официант, меняла посуду, подкладывала, подливала в графины, «подреза́ла» хлеб и булку. Курить ходили уже парами или поодиночке. Андрейка прилёг на диван, свернулся калачиком, Кирилл присел рядом.
— Когда папа придёт?
— Подожди немного…

Женщины вспоминали усопшего.
— Стихи сочинял, вон Коля все их помнит…
— И мальчишку-то пожалеть некому, родители — геологи, погибли где-то на Севере. Интернатовский…

А на кухне и читали те самые стихи. Коля Высоцкий с пафосом, во всю глотку, махая руками, орал:

> Ты! Любишь деньги, шмутки, рестораны!
> Ты любишь всё, что нету у меня!
> Так лучше уж зависнуть вверх ногами,
> Чем любить такую, как тебя!

Аплодисменты. Кто-то даже присвистнул.
— Давай обличительные! Про рэкет!
— Хорошо, давайте.

> Выставился с пивом?
> Хочешь жить красиво?
> Плати!..

Народ косел. Галя всё-таки намахнула, это сразу стало заметно: глаза сплюснулись в злобном прищуре, — и повторяла неизвестно кому, куда-то под стол:
— Всё понятно…

Герка, сделав своё подлое дело, рухнул рядом с Кириллом на диване, захрапел, Андрей скинул на него подушку.

Пришла ещё одна соседка — пожилая интеллигентная Софья Прокопьевна, женщина трезвая, тоже соседка Галины по коммунальной квартире. Женщины загалдели, появилась на столе чистая тарелка, булькнуло вино в рюмку. Галя мгновенно ещё больше замкнулась, ей наливали уже на равных с мужиками.
— Как Михаил?
— Я в больницу теперь каждый день, всё так дорого…
— Что врач говорит?
— Ой, я теперь каждый день, уколы сама…

Галя запила водяру лимонадом, громко брякнула стаканом о стол:
— Сюзанна грёбаная сидит!

Все сделали умные лица, как будто Гальки вообще нет.
— …Столько денег сейчас всё это. Лекарства, бельё, апельсины…
— Сюзанна грёбаная сидит.
— А дорога? Маршрутки по сорок рублей, всё сама…

Никто не заметил, как исчезли братья Высоцкие; они долго жевали зубы, ёрзали задницами на своих стульях, пошли курить и пропали. Из маленькой комнаты раздался визг, грохот, как будто шкаф упал, мат, глухие удары о стенку, опять визг. Никто не обращал внимания, все знали.
— Теперь будут до смерти.

Гера проснулся, вскочил, выдернул из рук Шутова рюмку, налил и выпил. Грохнулся на колени перед бабой Настей:
— Да я за вашего сына! Знаете, какого сына вы воспитали?
— Да иди, балбес, спал нормально.

Гера уронил голову бабке на колени и завыл:
— Что теперь будет?! Я никогда, слышите, не забуду…

Он рухнул на пол, обнял ноги Анастасии Алексеевны, его кое-как поставили на задние копыта и бросили опять на диван. Гера ещё долго хныкал, потом притих. Софья Прокопьевна предложила:

— Настя, Тамара, пойдёмте ко мне, пусть молодёжь без нас.
— О, Сюзанна грёбаная…
— Галина, прекрати!
— Я дочь кузнеца, и мне всё по…

Чья-то рука рубанула музыку на всю катушку; женщины встали и ушли, кроме Кати, Гали и Полины.

Шат ап анд слип виз ми,
Комон, вай донт ю слип виз ми?
Ша тап анд слип виз ми,
Комон, аха анд слип виз ми.

Дядя Гера вскочил с дивана, как будто не спал! И пустился в пляс-перелом, выкидывая далеко вперёд свои нижние конечности.

Танцевали все! Братья Высоцкие с распухшими мордами, брызгая воду с мокрых волос, Галина Ивановна, хлопая ладонями по пяткам, маленький Андрейка на подоконнике.

Ю а янг, ю фри-и,
Вай, донт ю слип виз ми.

Пришли какие-то люди с водкой.
— О-о-о!!!

Один чел был на костылях. Он танцевал, как игрушечная обезьяна из фильма «Приключения Электроника». Хоп, кувырок назад, между своих костылей, хоп ещё! Кто-то крутанул «нижний брейк», зацепил, кувырнул журнальный столик, хлеб рассыпался по полу. Тёте Гале разбили голову, уволокли домой, этажом выше. Катя пропала с Шутовым, несчастная Полина вызвала себе такси…
— Люди! Пойдём на Пятак!
— На Пятак, на Пятак! Я шавермы хочу!
— Сейчас ларьки будем переворачивать!

Люди, спотыкаясь и хохоча, вывалили в прихожую, одноногого передавали на руках на лестницу, через головы летели его костыли, кто-то блевал, дядя Герман одевался, лёжа на полу…

Кирилл вышел в коридор, снял телефонную трубку, набрал номер. Теперь не страшно. Теперь можно.
— Аллё? Алло-о-о!
— Здравствуй.
— О Господи, ты где? Ты куда пропал?
— Никуда, всё в порядке.
— Подожди, я телевизор потише сделаю…
— Ну, рассказывай, где ты шлялся больше месяца? Вместо тебя какой-то мальчик сидит…
— Понравился?
— Чукча. Что там за шум?
— Родственники веселятся, меня никто не жалеет.
— Я теперь каждый день работаю.
— Мы не увидимся больше.

Пауза. Едва слышны незнакомые голоса сквозь треск эфира.
— Я всё поняла…
— Не надо…
— Тебя стало плохо слышно!..
— Значит, мне пора. Подожди! Я буду любить тебя вечно! Алло?

Гудки.
— И ждать…

Кирилл вернулся в комнату, сел за разграбленный стол, его рюмка стояла на краешке скатерти, рядом блюдце с остекленевшим оливье и кусочком подсохшего хлеба. В серванте газета. Статья. «Известный поэт-песенник, автор нашумевшей поэмы-бестселлера «Маленькие хачики чешут свои мячики», сбивает на автомобиле ребёнка насмерть и сам погибает, врезавшись в тополь!»

Двери в квартиру настежь. Вошли два милиционера, они поднимались на лифте и разминулись с толпой. Снизу, на лестнице, эхом доносились вопли, ржач. Один милиционер заглянул в комнату.
— Свадьба, наверное.
— Соседи сказали — сорок дней.
— Ладно, пошли отсюда.

Потом вошёл человек в грязной брезентовой куртке, бородатый. Кирилл его сразу узнал, хоть и раньше никогда не видел. Они поздоровались.
— Я за вами. Где Андрей?
— В соседней комнате, телевизор смотрит.
— Ты зачем ей звонил?

Кирилл пожал плечами.
— Вот так и рождаются сказки об измерениях.

Андрейка бросился к отцу на руки и сразу уснул…

…Она так и стояла у окна с телефонной трубкой в руке, в своём любимом ситцевом халате, когда он, пролетая яркой кометой, взмахнул серебряным шлейфом, прощаясь, и навсегда исчез в чёрном небе.

Пирамида

По Владимирскому проспекту, сметая пластмассовую мебель уличных кофеен, бежит человек. Глаза круглые, рубашка расстёгнута, он задыхается. За ним ещё двое: один — во фраке, с полотенцем, намотанным на кулак, второй — лысый, в двубортном костюме, с бейджиком на груди. Эта пара бежит легко и непринуждённо, как спортсмены. Скоро всё закончится. Так близко от меня, ярко и неожиданно — я даже на какое-то время забыл, зачем сижу здесь и кого жду. Это он, сомнений нет. Сказал же один талантливейший «пейсатель»: «…как горящей головешкой в муравейник моей памяти».

Пальцы ищут авторучку, блокнот уже на столе, побежала первая строка, за ней вторая; официант, ещё кружечку, пожалуйста…

…Однажды утром, после дождя, я стоял у дверей парадной, курил, ждал, пока Валик спустится по лестнице, он не поехал со мной на лифте, на всех

обиделся. Потому что ночью собака опять гавкнула матерным словом. Но моя жена решила, что это доносится из детской комнаты. Утром она сначала допрашивала сына, потом получил и я, сообщив, что пёс частенько ругается по ночам.
— Ему надо подстилку поменять,— говорю.
— Меньше надо по рюмочным с ребёнком шляться. И не забудь в садике квитанции забрать. Чтоб я больше ничего подобного не слышала, поняли? Оба? Идите.

В общем, утро испорчено. И вот стою, курю, слушаю шаги моего ребёнка по ступенькам, весна, первый дождь прошелестел этой ночью. Вдруг из-за мусорных бачков:
— Не двигайся!..
— Чего?
— Ты один?
— Почти. Игорян!

Он вышел из-за помойки, застегнул ширинку, посмотрел на Валика, оглядел меня, будто начальник отдела персонала.
— Ну, как дела?
— Держусь. Вот в детский садик собрались.
— Это далеко?
— На Бармалеева, соседняя улица.
— Замечательно, я тоже с вами прогуляюсь, хоть и времени в обрез.

Сдав ребёнка воспитателям, пошагали к станции метро «Петроградская», заняли столик в кафе на последнем этаже Дома мод. Мужчина за стойкой и официантка смотрели телевизор. Игорёк щёлкнул пальцами:
— Как обычно.
— А как обычно?— удивился бармен.
— Новенький,— пояснил мне Игорь.— Ладно, сам схожу.

Наш столик— у стеклянной стены, здесь такие окна огромные, до самого пола. Там, за пыльным стеклом, крыши, блестящие от недавнего дождя, дальше, далеко за крышами, прямо на линии горизонта— прожекторные вышки стадиона «Петровский», внизу шуршит автомобилями Большой проспект. Я огляделся: посетителей мало, в дальнем тёмном углу стоял бильярдный стол, там шевелились тени, стучали шары, кто-то отчаянно проигрывал. Бар работал круглосуточно.

Игорёк вернулся с графинчиком коньяка, официантка несла рюмки и два блюдца с порезанным лимоном и бутербродами.
— Приятного аппетита.
— Спасибо, и вам. Бильярд давно занят?
— Эти с трёх часов играют.
— Значит, скоро закончат. Иди, дорогая, тебя позовут.

Официантка ушла. Игорёк наполнил рюмки, понюхал бутерброд.
— Люблю шары погонять, американочку, пул. Я обычно в «Сиреневый туман» хожу. Вздрогнули?

Дзыньк, лимон потёк у меня по пальцам, про салфетки забыли.
— Коньяк с утра— замечательно. Правда?
— Чего не звонил?— спрашиваю.
— Дела. Большие дела!
— Да ну?
— Ты сейчас сколько зарабатываешь?
— У меня график— два через два, ну, шестнадцать тысяч, бывает двадцать, если с переработками.
— М-да. И долго это будет продолжаться?
— Что именно?
— У тебя же семья, дети.
— Да всё нормально. А что, есть какие-нибудь предложения?

Он посмотрел в окно, взор его был мудр, какой бывает только у бездомных псов и алкоголичек.
— Помнишь Эдика с нашей группы?
— Ну?
— Ну. Я его недавно к себе взял, сейчас на «вольво» ездит.
— Так расскажи, может, я пригожусь!
— Может, и пригодишься. У тебя костюм есть или хотя бы брюки приличные? Придёшь в джинсах и кроссовках— с тобой никто даже разговаривать не будет.
— Найдём брюки. Что делать-то надо?
— Люди зарабатывают...
— Не хочешь— не говори.
— Что ты нервничаешь? Не так всё быстро, сначала надо представиться, на тебя посмотрят, жену возьми.
— Зачем?
— Так солидней, люди там серьёзные.

Я разлил остатки коньяка по рюмкам, чувствовал, как во мне опять и снова, в который раз, растёт уважение к этому человеку. Мы выпили, доели бутерброды. Игорёк встал из-за стола, давая понять, что аудиенция закончена. Что ж, он имеет право командовать, пили мы за его счёт, я сразу предупредил, что денег у меня с собой нет.
— Пойдём, я тебя провожу, я ещё в бильярд порежусь.

Его кто-то окликнул из темноты, он обернулся.
— Сейчас!

Там почему-то засмеялись. Уже на улице он сказал:
— Я позвоню тебе вечером. Может, зайду как-нибудь на неделе, соберёмся, поговорим, презентация у нас каждую субботу. Ну, пока, привет семье.
— Пока...

Жена как-то сказала:
— Давно заметила, что все сумасшедшие принимают тебя за своего, хоть ты и не безумен.

Откуда она знала, что я здоров? Кто из нас вообще может определённо сказать, что он не безумен?

В тот год с женой мы хреново жили, часто ругались. Сначала всё было хорошо, меня все

любили — Света, её сын, её мать и пожилая овчарка, которая умела во сне говорить плохие слова. Я отдавал всю зарплату, покупал здесь уют, кормили вкусно и много, тёща любила выпить, я с удовольствием бегал в магазин, сам тогда начал частенько закидывать за воротник.

Когда никого не было дома, с Валькой играли в хоккей.

— Теперь ты вратарь!

— Нет — ты!

— Получи по башке!

— Дурак…

Соседи жаловались, вечером — скандал:

— Конечно, это не твой ребёнок.

Я обижался. Валька был друг и, может, самый родной человек в этой квартире. Когда я забирал его из садика, у меня всегда было с собой два червонца: один — на пиво, другой — на «Радугу фруктовых ароматов».

— Тебе и мне, да?

— По-братски.

— По-брацки…

Летом он уехал с садиком на дачу в Зеленогорск. Через месяц мы поехали к нему на родительский день. Я его сразу разглядел среди детишек в одинаковых шортах и майках. Его позвали, он побежал к нам, мама и бабушка бросили сумки: Валечка, — он, не глядя на них, прыгнул мне на руки.

Потому я и ушёл из этой семьи летом, когда он был далеко. Господи, что мы творим?

С Игорьком мы вместе учились в одной путяге на Ржевке. Нельзя сказать, что близко дружили, ведь он был секретарь комсомольской организации, носился по коридорам с папочкой под мышкой и очень нервничал, почему я ещё не с билетом.

— Ты, что в загранку не хочешь? Давай заходи на следующей неделе.

Я всегда соглашался: мол, да, конечно, пора вступать, год собираюсь. ПТУ наше было от Северо-Западного речного пароходства, но на третьем курсе мне уже было наплевать на дальние страны. Я играл на гитаре, сочинял песни, тусовался на «Маяке», и меня любила девочка с дискотеки «Красное знамя».

Потом мы все ушли в армию, в стране грохнула перестройка, и комсомол весь куда-то пропал, будто его и не было, вместе со своими дворцами, значками, билетами.

Чуть ли не каждый день я получал письма от кореша по имени Шляпа. С этими пацанами я познакомился в очереди на такси у Балтийского вокзала. Помню, ещё днём позвонила одна знакомая, имени сейчас уже не помню:

— Поехали вечером на Болты? Сегодня «Секрет» приезжает, они пластинку записали в Эстонии!

…Около часа топтались в очереди Леонидов, Мурашов, Заблудовский и мы, несколько встречающих; за Фоменко приехала жена, забрала прямо с перрона. Макс рассказывал, как им дали двух звукорежиссёров, которые по-русски ни слова, что не пустили на пластинку песню про Алису и «Джаз». Подошли две девчонки, взяли у Макса автограф и убежали, очередь перед нами растаяла, я разменял этому человеку пять рублей, они уехали. Мы пошли к метро; толстый мальчик, которого все звали по фамилии — Кулькис, предложил поехать на «Маяковскую», там можно сбегать в «Елисеевский», если что.

Когда поднимались наверх, со встречного эскалатора нас окликнул парень с чёлкой жёлтых крашеных волос до самого подбородка.

— Крысе на Климате по башке настучали, он к «Сайгону» побежал!

— Шляпа, подымайся, мы тебя ждём!

— Вэл!

Он загрохотал вниз по ступенькам…

Это были времена, когда на Невском все знали друг друга в лицо; я тусовался с этими пацанами до самой отвальной, обычная «центровая» компания с улицы Марата, а-ля «я видел тех, кто видел Цоя».

Дружбан Шляпа не забывал меня, в каждом письме он повторял: играй каждый день, пиши тексты, у тебя есть два года, не потеряй их, дружище. У нас будет команда! Поступим в «джазуху», потому что джаз — это основа! Молодец, думаю, ему там легко советовать, гитару я в руки взял только через полгода службы. Шляпа сам в армию не пошёл, какие-то проблемы со здоровьем.

Были и списки необходимого, когда я приду на дембель: гитара акустическая, звукосниматели, драм-машина, хорошие микрофоны две штуки, Кулькис поможет, он передаёт тебе привет. Я отвечал: продам шапку ондатровую — двести рублей, бабушка отложила мне на одежду триста — уже пятьсот. Чем они там занимаются, я не спрашивал, боялся околеть от зависти.

…Как изменился мир за два года! На Московском вокзале ларьки-киоски ни хрена не «Союзпечать», завешаны «варёными» тряпками, футболки с портретами Берии и Троцкого. Неподалёку — гопники, не по-местному загорелые, в кожаных куртках и жиганских кепках. Один, сидя на корточках, елозил перевёрнутыми стаканами по коврику:

— Кручу, верчу, обмануть хочу!..

Рядом диковинная машина ВАЗ-2109 без номеров, вся чёрная, даже стёкла.

Билетная касса у входа в метро. Бум-с. Стою как вкопанный, глаз не свожу с афиши: четыре взъерошенных портрета, смотрят решительно, чёрные рубашки, поднятые воротники. Внизу скромное русское слово, четыре буквы: «Кино». Дворец спорта «Юбилейный». Двенадцать дембельских рублей должно хватить, протягиваю в окошко кассиру:

— Один билет на «Кино»…

— Да нет билетов.

Ну конечно. Ещё бы.

Позвонил матери, сказал, что через час буду дома.

— У нас новую станцию метро открыли, прямо около дома, езжай до конечной, если заблудишься — позвони, я встречу.

— Да ладно, уж как-нибудь...

«Проспект Просвещения» — новая станция; вокруг ларьки, ларьки, ларьки, тряпки, цветы, жвачка, я и вправду чуть не заблудился. Вдруг — музыка-будка, очень напоминающая деревенский сортир, фасад стеклянный, изолентой к стеклу — списки, пожелтевшие от солнца листки бумаги. Тут было всё! В алфавитном порядке, от «Аббы» и так далее, «Битлз», «Ах-а», «Секс Пистолс», «Еллоу», «Фэнси», «Диджитл Эмоушнс», весь рок-клуб, все альбомы «Аквариума», последний писк — толстыми буквами, фломастером: «Ласковый май». Здесь же продавались чистые кассеты. Внутри этой чудо-будки сидела бабуля, читала «Аргументы и факты».

— Простите, а можно «Пет Шоп Бойз»?

Бабуля сняла очки, отложила газету.

— Конечно, мой хороший. Кассета есть?

— Нету...

— Тогда червонец за кассету и три рубля запись.

— Вот зараза, у меня только двенадцать...

Бабуля оглядела мои дембельские погоны, шапку с кокардой, чемоданчик-дипломат, махнула рукой:

— Давай, рубль завтра занесёшь. Как ты сказал? «Пэд... Шоб...», дальше? «Бойзз», восемьдесят восьмой и восемьдесят седьмой год. Правильно?

— Верно...

— Приходите завтра с этой бумажкой, будет готово.

— И все?

— Всё. А что ещё?

Так просто. Нет, мир определённо если изменился, то в лучшую сторону. Следующим утром я позвонил Шляпе, он тоже был пьян и весел.

— Вернулся?!

— Ну да...

— Сегодня, — говорит, — отменили закон о тунеядстве, официально. Теперь можно не работать, прикинь!

Договорились встретиться вечером на Сенной, «всё обсудить».

Вечером я вышел пораньше, хотел прогуляться по городу. Толпа на Невском вся «варёная», в растопыренных джинсах с египетской символикой на задах, шапки из жёсткого меха, усы, смех, много нерусской речи. Кооперативная торговля, «Найдёнов и компаньоны», шмотки в «Гостином дворе» по безумным ценам, кооперативные, одноразовые, по пьяни шитые. На Пятаке все одинаковые, как куклы: «пропитка», зелёные слаксы, белые носочки и ультрамодные туфли с «лапшой».

— Уе-е-еи-и-и...

— Дарагой, нужен «пирамид»? Чесный, югославский...

Я понял, что никогда не напялю на себя — вот эти голубые галифе и армянские тапки с лапшой. Сами жрите.

На Климате — какие-то балбесы в эсэсовских кепках; в «Сайгоне», правда, без изменений, всё те же слоёные пирожки с мясом и гуммозные личности с сумками от противогазов через плечо.

...Долго не обнимались, Шляпа сразу повёл в подворотню у магазина «Океан». Мужик в спецовке и нарукавниках отдал нам авоськи, набитые бутылками.

— Спасибо, Миша.

— Тебе спасибо, заходи ещё.

— Нормально, — говорю. — Думал, сейчас полдня простоим.

— Мы же не алкаши — деловые люди.

Очередь в винный магазин тянулась до Московского проспекта. Тут же, в переулке Гривцова, вошли в парадную, поднялись на последний этаж, Шляпа надавил на нужную кнопку. Дверь быстро открыли.

— Проходите, друзья.

Шляпа нас представил, человек по имени Босс отобрал наши авоськи с портвейном, пропустил вперёд. В комнате было тесно, человек двадцать стояли с гранёными стаканами в руках, как на фуршете, обернулись.

— О, Панама!..

— Здравствуйте, здравствуйте...

Стол заставлен всё тем же: «Кавказ», «Анапа», «Агдам»; музыка — как и во всех лучших домах: «Наутилус Помпилиус». Мне сунули в руки стакан, наливал весёлый усатый дядька, он всё бубнил про новую эру свободы.

— Говорил же я вам...

— Ну, ладно, за победу, друзья!

— За победу!

— Ура!

Я выпил, не касаясь стекла губами. Кто-то перемотал кассету, и магнитофон снова завыл: «Ален Делон, Ален Делон гов-ворит по-французски». Не знаю, мне как-то сразу не понравились эти пижоны с Урала, я тогда был уверен, что весь русский рок родом с Купчино и улицы Жуковского. Смех, брожение по огромной комнате; к нам приблизился мужчина с бородой, в кожаном плаще, он сказал Боссу:

— Ну, я тебе оставлю три тыщ-щи.

И покосился на меня, ждал реакции. Я, наверное, должен был подпрыгнуть, крутануть в воздухе сальто и шваркнуться на позвоночник. Потому что у человека не может быть в кармане такой огромной суммы денег. Они бы просто не поместились в кармане. Пришла ещё компания, в комнате стало совсем тесно, и тут я услышал его

голос. Сначала он не понял, кто перед ним, потом память его проморгалась, он выпалил:
— Есть партия джипов, надо? Бери.
— Это я, Игорян.
— Ой, ну как ты?
— Вот, вчера с фронта вернулся.
— Отлично, поможешь продать двадцать девяток.

Куда я попал? Где те лица с улицы Марата? Что такое баксы? Стало скучно. Махнул Шляпе рукой, показал пальцами, что ухожу.

Мы шли по улице, молчали; я уже всё понял, это было первое в моей жизни предательство. Он сообщил, что Кулькис в тюрьме за валюту, сам он женился и занимается делами.
— Кручусь, братан.
— А что мне теперь делать? Мне?!
— Да не кричи ты так, сумасшедший. Поступай в «джазуху», если ты такой кремень, я пас, времени нет.

Мы ещё постояли, допили бутылку «Агдама», покурили у пылающих мутным оранжем витрин ресторана «Балтика», через два года здесь будет общественный туалет под названием «Макдональдс», и расстались навсегда.

В школу поступил без особых проблем, сразу после Нового года, в группу Георгия Косояна по классу духовых инструментов. С гитарой не сложилось: мест не было, и ещё с августа большой конкурс. Выбирать не приходилось, пришлось переключиться на саксофон.

По четвергам, вечером, все желающие с разных групп собирались на так называемый оркестр, культурно джемовали в актовом зале, мусоля вариации на классические темы. Собирались зрители — люди, имеющие отдалённое отношение к нашей «джазухе», до начала «оркестра» и в перерыве вместе с нами топтались на лестничных площадках и курилке, играли на гитарах, что-то яростно обсуждали, сидя на подоконниках. Молодые люди, костистые, в квадратных очках, в чёрных пиджаках из кожзаменителя. Они всё повторяли:
— Мы — демократы.

Пару раз я видел оборванцев из группы «Манго-Манго», казавшихся мне тогда полными придурками. Заходил к нам легендарный Алик Сахаров — дядя Сахар, пожилой мужик, всегда в пальто и костюме с галстуком. Алик утром, когда из гостиниц и туристических автобусов вываливают экскурсии, выползал на Невский проспект, надувал глаза, растерянно шарил по карманам и с прибалтийским акцентом «бомбил» под пьяного эстонца, отставшего от группы и потерявшего бумажник. Народ подавал.

Игорька я увидел в перерыве. Зрители и музыканты высыпали на лестницу, доставали сигареты, прикуривали.
— …Вы что-нибудь слышали о суммарном счёте на два миллиона рублей?

Я свистнул, он обернулся, кивнул в сторону комнаты для курения. Слышу смех за его спиной.
— Саксофон? Очень хорошо, — похвалил он, потрогав пальцем инструмент, болтающийся у меня на груди. — Надо серьёзно поговорить. Ты будешь нужен.

Глаза его сделались по-комсомольски серьёзными.
— Скоро в России появятся богатые люди, я собираюсь открыть презентацию.
— Что?
— Это место, — пояснил он, — где богатые люди подписывают контракты. Мне ещё нужна девочка со скрипкой.
— Зачем?
— Людям нужно место, где они будут спокойно подписывать контракты. Место с хорошей музыкой. Ты будешь играть джаз на саксофоне, а девочка — на скрипке.

Девочка совсем не вписывалась в концепцию моего представления о джазе. Джаз — это другое, это истоки, это негры, виски и ещё фестиваль каждую осень в дк имени Ленсовета.
— Может быть, с контрабасом?
— Что?
— Девочку с контрабасом. Хотя тоже фигня какая-то…
— Нет. Только со скрипкой. У тебя телефон тот же?

Я кивнул.
— Всё будет, — пообещал он, — я позвоню.

Однажды, уже следующей зимой, в тяжёлых раздумьях о смысле бытия моего и в непонятного происхождения тоске, я шлялся по Владимирскому проспекту. Падал тёплый снег, люди тащили домой перевязанные верёвками ёлки, замедляя шаги у не виданной ранее витрины первого в городе магазина «Панасоник». И у Пяти углов встречаю своего армейского приятеля.
— Ого! Ты куда?
— Да так. А ты?
— На кыйкбоксинг, на тренировку.
— Крейгбоксинг?
— Кикбоксинг, чудак! Пошли со мной, покажу.

Только сейчас я заметил у него на плече спортивную сумку.

На следующий день мне вдруг осточертело всё, что связано со словом «музыка». Я продал саксофон, купил боксёрские перчатки и спортивные штаны с лампасами, месяц не подходил к телефону.

…Утром девятнадцатого августа я ехал на такси с Юго-Запада домой на Просвещения. Таксист сказал:
— Слышал? Горбачёва убили.

Заткнулись «Европа Плюс» и «Радио Рокс», ларьки не функционировали, пенсионеры гуляли с собаками, нацепив ордена и медали, как на День Победы, водка пропала ещё три дня назад, бутылку пол-литра «Столичной» можно было купить только у официантов в «Пулковской» за безумные деньги. А на мне американские джинсы! И я испугался: я предал Родину…

Через два дня, когда всё уже было ясно, толпа запрудила Малую Садовую и Итальянскую, ждали выхода газеты «Час пик». Никто уже не орал, не нервничал, как прошлой ночью у Смольного. Там зачем-то соорудили нелепую баррикаду, Боря Лимон пожертвовал свой «мерседес»…

— Господа! Внимание! Газету скоро привезут, выпуск номера в семнадцать ноль-ноль!

Ну конечно, как же без него. Я крикнул:

— Игорь!

Он спрыгнул с капота автомобиля, глазки забегали — вероятно, сконфузил мой внешний вид и мои новые друзья в адидасовских панталонах.

— Ого, с такими ребятами и банк грабить не страшно!

— Привет, — говорю.

— Представляешь, у меня пароход с филиппинцами, как узнали про наш переворот, развернулся прямо в заливе у Кронштадта и поплыл назад. Никакой наживы!

Он наклонился к моему уху и прошептал:

— Собчак в городе.

Я знал, что Толик в городе, он никуда не исчезал, и все эти дни его охраняли «воркутинские» с обрезами под джинсовыми куртками, он за это обещал им отдать Ленинский проспект и рынок на улице Козакова.

— Это что за клоун? — спросил Диас.

Игорёк, наверное, не расслышал.

— Так, парни, вы будете нужны. У тебя телефон тот же?

Я кивнул. Он куда-то спешил, нас разорвала толпа, метнувшаяся к Зимнему стадиону, туда приехал автобус с «Лениздата», привёз газеты.

В том же году, в октябре, прекрасным воскресным утром мне выбили челюсть в спортзале школы номер девяносто пять Куйбышевского района. Если свернуть с Невского проспекта у касс «Аэрофлота» — вторая подворотня направо. Школа во дворе, по воскресеньям бои без правил, в девять утра регистрация, баб не пускают, с собаками можно. В зале перегар от дорогих коньяков, аромат заморских одеколонов, какая-то сволочь курит, в позапрошлое воскресение я здесь заработал шестьсот рублей. Мне объявили, кого я сегодня буду метелить.

— Хреново, — сказал Диас. — Я его знаю, кэгэбэшник, из Москвы, живёт в «Прибалтийской», мутят с Комаром-младшим, я его видел на стрелке с «казанскими».

— И чего делать?

— Попробуй лоу-кик и левой апперкот.

Бой начался; через минуту мне захотелось убежать отсюда без оглядки, прямо так, в трусах и перчатках. Но три раунда надо продержаться обязательно, иначе про меня забудут везде и навсегда. Какие там, на фиг, раунды: ослепительный хлопок урамикацуки мне в челюсть, затылком об пол, ноги вверх, аплодисменты…

Очнулся на скамейке в раздевалке. Диас вызвал мне такси.

Много дней я пил лишь манную кашу и сосал через трубочку сладкий чай, рот не открывался.

Сразу после Нового года мы похмелялись на работе у одного товарища, он охранял научно-исследовательский институт «Механобр» на Васильевском острове. Кроме охраны, в институте никого не было, кабинеты не закрывались, мы пили на мягких финских диванах в приёмной директора. Денег крайняк, и на столе — «Рояль» с «Инвайтом», баночка майонеза и буханка хлеба. Вспоминаем новогодние приключения, Диас перелистывает прошлогодний номер «Рекламы Шанс», читает прикольные объявления:

— Меняю ваучер на трёхкомнатную квартиру!.. Куплю бивень мамонта… О, слушайте! Организация объявляет конкурс на замещение вакантной должности референта. Предпочтение отдаётся мужчинам в возрасте до двадцати пяти лет, свободно владеющим английским языком, имеющим навыки работы с компьютером, водительское удостоверение категории «В», знакомым с приёмами каратэ или бокса! Блудняк… Продам квартиру в Бруклине…

— А ну-ка.

Я отобрал газету, перечитал объявление, номер телефона, много цифр. Поднялся на лифте на последний этаж, в самом дальнем кабинете сел за стол у самого окна, пододвинул телефон поближе. Рука замерла над циферблатом, я посмотрел в окно. Внизу безлюдная 26-я линия Васильевского острова, корпуса судостроительных заводов за горизонт, трамвайная остановка, старушка в синем пальто, воротник из каракуля, рядышком болонка с розовой задницей…

Я набрал этот мистический номер, трубка зашуршала, загудела, мой сигнал, меняя тональность, летел через Европу и Атлантический океан. Потом щелчок — и тишина несколько секунд, плавающая, невесомая, щекочущая воображение тишина…

Шлепком, электричкой — ураган голосов! Мириады голосов! Америка…

Наконец — гудок, самый обычный, коммутатор чмокнул, и потусторонний сонный голос спросил:

— Алло? Алло, сволочи!

Я повесил трубку. Там, наверное, сейчас ночь, и на всей Земле второе января…

Через пару дней, в тяжёлых раздумьях о смысле бытия и в непонятного происхождения тоске, я шлялся по Загородному проспекту. Падал тёплый снег, город ещё безлюдный после праздника, все сидят по домам, в окнах мигают новогодние ёлки. В семь часов у меня встреча с каким-то Ильёй у метро «Владимирская», по объявлению из той же газеты. Но я ещё сомневался, прикидывал, оценивал свои возможности. В общем, купил приглашение в Венгрию, двадцать долларов — не деньги.

До весны сидел дома, не подходил к телефону, гулял только до магазина и обратно, отдал соседу с первого этажа боксёрские перчатки и штаны с лампасами. Седьмого марта получил загранпаспорт и свалил в Будапешт.

Полгода торговал там советскими утюгами и кофемолками на русском рынке «под мостом», снимал комнату в Келати, в одной квартире с такими же бродягами из Ужгорода. Надоело, вернулся. Женился.

Игоряна видел один раз в «Гостином дворе» — молодец: костюм, штиблеты, галстук. Я не подошёл, я был тогда в полной жопе: ни работы, ни денег. Потом, в августе девяносто восьмого, в телефонной будке у метро «Петроградская» он орал кому-то в трубку:

— Я же вам говорил! Я предупреждал!

В эти дни в России многие сошли с ума, никто не обращал особого внимания. Дефолт, восемнадцатое августа. Опять исчезли водка и сигареты, да и вообще всё исчезло. Помню, с Валькой стояли в очереди за макаронами, вчера доллар слетел с отметки в пятьдесят рублей на двадцать пять, вроде бы устаканился, товар снова выкинули на прилавки. Старухи бузили:

— Почему вчера было по сорок, сегодня по пятнадцать?!

— Бакс упал, бабуля!

— Чаво?

Люди несколько дней «пылесосили» магазины, не глядя на ценники.

— Ничего не понимаю.

Да никто ничего не понимал…

Игорь звонил почти каждый день.

— Ну как ты? Ничего, скоро у тебя будет много денег. Я зайду в субботу, с женой познакомлюсь.

— Давай.

Он пришёл с тортом и палкой копчёной колбасы. Торт отдал жене, сел на стул в коридоре, чтобы развязать шнурки на ботинках, и, вероятно, задумавшись, очистил колбасу как банан, откусил «жопку», опомнился.

— Пардон, порежьте это на закуску.

Пока мы с женой собирали на стол, Игорь с Валиком рисовали. Картина называлась — «Гол!». Растерянные хоккеисты и смайлики, много смайликов — это зрители на трибунах, радуются, счёт на табло — 99:0.

— А бабушка где?

— А вот и бабушка, она на воротах будет, без коньков, ей разрешили. Вратарь уволен.

В комнату вошла Света с графином компота.

— Потише, пожалуйста.

Я кивнул Игорю:

— Пойдём покурим.

На кухне Игорёк разглядывал свои пальцы.

— По-моему, у меня шизофрения…

— Почему ты так думаешь?

— Ногти быстро растут.

Весь вечер он общался только с моей семьёй; жена, выпив водки, болтала о работе и подругах. Танцевал с Валькой под «Эйс оф Бэйс», Света нервничала:

— Ему скоро спать, прекратите.

Пару раз бегал звонить в коридор.

— Вы позволите? Всего один звонок.

— Пожалуйста…

Мы слышали:

— Да! Презентация фирмы и вручение пакетов новейших нормативных документов!

И только потом, уже сидя на пуфике и напяливая свои лаковые штиблеты, он как бы вспомнил, зачем вообще сюда пришёл.

— …Нужны вложения, инвестиции. Я, в общем-то, не заставляю, будущее в наших руках.

— Ладно, — говорю. — Сколько?

— С собой надо иметь по семьсот пятьдесят рублей. Через месяц деньги будете лопатой грести. В общем, я не заставляю, — повторил он.

— Мы тебе позвоним до следующей субботы.

— Обязательно. В любом случае звоните, чтобы знать, ждать вас или нет. Ну, пока!

— Пока…

Я закрыл за ним дверь, обернулся. Жена смотрела на меня точно так, когда я первый раз пукнул при ней.

— Ну ты что, дебил совсем?

— Да неинтересно…

— Ой! Я не желаю об этом больше слышать!

— Да ладно, не буду, клянусь.

Когда мыли посуду, Света напомнила про тётю Галю. О, тётя Галя!..

Когда-то мы жили в коммунальной квартире на Ломоносовской. Как-то нашей соседке пришёл по почте красивый большой конверт. В конверте — блестящий новенький ключ зажигания от автомобиля и письмо с уведомлением о крупном выигрыше, там же фотография — автомобиль «Жигули». Почему именно тёте Гале? Какие звёзды совпали на небосклоне? Чья рука, не дрогнув, пропечатала этот адрес? Хрен его знает. Всё было очень красиво; помню, меня даже кольнула зависть, я даже поверил. Ненадолго. В письме приказным тоном

сообщалось, что надо немедленно перечислить некоторую сумму денег на разные там почтовые услуги, оформление необходимых документов, налоги, ещё какую-то хрень.

Галина перестала здороваться, конверт носила под халатом, чтобы не украли, мечтала о чём-то вслух, стирая в ванной. Тётя Галя — пьяница, а значит, мозгов нет и денег тоже. Продала всё, что осталось ценного в комнате, собрала нужную сумму и отправила по обратному адресу. Чем всё закончилось, не знаю, той осенью у Светы умер отец, и мы переехали в эту квартиру.

Короче, в субботу я, чистый и нарядный, отправился на эту презентацию, «чисто посмотреть». Света не знала, она в этот день работала, тёща с Валькой уехали в гости. С трудом нашёл нужный адрес в лабиринтах дворов Суворовского проспекта; шёл дождь, у парадной, под козырьком, курили две женщины с портфелями. Таблички под стеклом, названия разнообразнейших ооо, чп и товариществ. Ровно десять часов, Игорёк обещал встретить меня у входа. Я не стал ждать, вошёл. Справа по коридору актовый зал, дверь настежь, ждут кого-то. На сцене, потирая руки, прогуливался дядечка в солидных очках, очень похожий на американского пастора. В рядах на стульчиках — народу человек двадцать, мужчины и женщины, сидели парами. Дядя на сцене увидел меня, улыбнулся:

— Какой симпатичный молодой человек! Мы ждём вас, проходите.

— Э-э, я сейчас, одну секунду.

Вышел обратно на улицу. Ну на фиг, если Игорян не придёт, я здесь не останусь. А вот и он.

— Давай покурим, минутка ещё есть, мерзкая погода…

— Я уже уходить собирался.

Дождь барабанил по железному козырьку, машины какие-то приехали во двор, шуршат колёса по лужам, хлопают двери. Игорёк обернулся, сигарета выпала у него изо рта.

— Ой, б…

— Ты, — говорю, — прям как мой пёс.

— Стоять!

Кто-то очень большой и сильный схватил меня сзади за шкибот и брючный ремень, раскачал и выкинул с крыльца на клумбу. Вдогонку некто пробегающий мимо добавил мне пыром в глаз — для полного успокоения. Я в восхищении!

Игорька догнали в коридоре, шваркнули палкой по голове и потащили за ноги в актовый зал. Крики, грохот. Публику не трогали, толпа ломанулась в дверь на выход, будто фарш из мясорубки. Избивали конкретных людей — пастора, тёток с портфелями, Игорька, ещё одного чудилу — палками железными и деревянными, одну бабу душили тряпками, вой, мат.

Я не стал досматривать, убежал. На Суворовском проспекте зашёл в продуктовый магазин, сел на подоконник. Левый глаз заплывал гематомой. Надо придумать, что сказать жене; хорошо, что жив остался. Что ж, имею право выпить, в кармане семьсот пятьдесят рублей.

Прошло больше десяти лет, сейчас весна две тысячи двенадцать. Света после развода со мной очень удачно вышла замуж за офицера таможни, Валька оканчивает университет в Бостоне, я недавно нашёл его «вконтакте», меня он вряд ли помнит. А я сижу в кафе на Владимирском проспекте; мимо меня только что, сметая пластиковую мебель уличных кофеен, пробежало моё прошлое. А там, на перекрёстке, на зелёный свет светофора переходит улицу моё будущее. Тридцать лет, разведена, вместе работаем. Может, это то, к чему я шёл, чего я так ждал, из лучших снов моих и вечного ожидания мифического счастья.

Прощай, Игорёк; мне говорили, что тебя закидали бильярдными шарами в закусочной «Сиреневый туман», что ты уехал, что ты давно на Южном кладбище. Живой. Я обязательно тебе позвоню, как-нибудь вечерком, когда будет рекламная пауза.

Роман Кайгородов

Две «Э»

Это история не из моей жизни. Рассказал её мне один красноярский художник, мой друг Вова. Эта история из его жизни в конце восьмидесятых, когда он пару лет прожил в Иркутске, где зарабатывал неплохие деньги, рисуя и размножая фотоспособом визитные карточки для нарождавшихся бизнесменов. Кстати, очень и очень неплохие деньги поднимал, судя по факту видеозаписи, сделанной ещё единичными тогда частными видеокамерами.

Так вот, сама история. Про товарища моего друга. Про Эдика.

Жизнь подкинула этому парню дичайшую подляну: Эдик представлял собой гибрид двух коренных народов Сибири — был наполовину якутом и бурятом на вторую половину. Уж не вспомню, кто у него там кем был. Как так получилось у родителей, оно понятно с физической точки зрения, но…

Вот тут я врать не буду, но, как сказал мне Вова, у этих двух аборигенских племён с давних времён имелась меж собой нелюбовь, что было, в общем-то, не редкостью в интернациональной семье народов, где на самом деле не очень-то любили друг друга азербайджанец и армянин, русский мужик и западенский хохол, где все вместе смеялись над чукчей и так же вместе подозрительно относились к евреям.

Эдик был тоже художник. Он считал себя русским и люто ненавидел как якутов, так и бурят, потому что не имел моноэтнических соплеменников и, как полукровка, был презираем обеими племенными сторонами своего происхождения. И вот тут я опять оговорюсь, что сам я ничего про великую бурято-якутскую нелюбовь не знаю и оперирую лишь Вовиными словами.

Человек талантливый и дерзкий, Эдик обладал одним недостатком, унаследованным из обоих своих узкоглазых корней, — отсутствием в организме алкогольдегидрогеназы. Не будем углубляться в биохимию человека, скажем только, что большинство азиатов вкупе с индейцами Америки плохо воспринимают алкоголь — быстро и сильно пьянеют, от выпитого становятся не весёлыми, а дерзкими и даже агрессивными, тяжко переносят похмелье. Так вот Эдик по этой части отдувался как за бурят, так и за якутов — пёрло его просто адски. А пить в среде художественного братства приходилось немало.

И вот по этой или какой другой причине у Эдика подолгу не было девушки. Жил он в Иркутске, где живёт много бурят. Но на буряток Эдик не смотрел, а с русской надо было плотно задружиться, чтоб она поняла, какой он талант и миляга, и закрыла глаза на его «узкоплёночность». Но так хорошо сдружиться с русской у Эдика не получалось. Всё-таки мы, люди, в основной своей массе ищем партнёров своей расы.

И вот однажды на его горизонте появилась Эльза. Она была музыкантшей и подругой моего художника Вовы. Она приехала к нему из Красноярска на новогодние вакации. Но Вовина любовь прошла, он уже давно хотел от неё избавиться и после недолгого объяснения предложил расстаться. И, в общем-то, даже намекнул, что в его компании есть свободный парень, и если она соскучилась по мужчине, то тот наверняка поможет ей со всей своей мужской нерастраченной дури. И Эльза взяла и подошла к Эдику первой на новогодней вечеринке, устроенной в большой мастерской иркутского скульптора Самохвалова. Так они познакомились. Симпатичная девушка была такого дикого замеса кровей (с преобладанием всё же еврейской), что сама расовых предрассудков никаких не имела вообще.

Сблизились они весьма и весьма быстро. И действительно, Эдик оказался девушке очень подходящ по темпераменту, а силушкой мужской был он не обижен. Кроме физической близости, возникла у влюблённых и, так сказать, близость духовная. Виолончелистка, она была девкой не только чувственной, но ещё и чувствительной натурой, и вообще образованным человеком. Её каникулы в Иркутске прошли на «отлично». Снять для любовных утех квартиру в центре у Эдика не получилось, и он снял дом в одном из окраинных районов, что даже было ещё лучше: у домовладельца была баня, где влюблённые парились, мылись и, возбудившись от вида цветущей плоти друг друга, вновь и вновь предавались телесным наслажденьям.

Но однажды каникулы кончились. Эльза собрала чемодан и купила билет до Красноярска. Эдик горячо целовал её на перроне.

— Если ты меня любишь, то ты сейчас придёшь домой и напишешь письмо, в котором скажешь

всё, что думаешь о нашей любви, напишешь и сегодня же опустишь в ящик,—сказала ему на прощанье Эльза, которая была девушкой очень эмоциональной.—Это письмо я получу в Красноярске дня через три. Если оно вдохновит меня, я за месяц улажу и закончу все свои дела и приеду к тебе навсегда! Если же письма не будет больше десяти дней, значит, ты не любишь меня, и мы никогда уже больше не увидимся, и не смей искать меня!

И Эдик пообещал возлюбленной, что как только придёт домой, тотчас же сядет писать это письмо. Вагончик тронулся, перрон останулся. А наш якуто-бурят всё стоял и махал вслед поезду рукой.

«Как чудно́,—думал он,—у нас обоих имена на букву «Э». Она Эльза, я Эдуард. Это знак, это к счастью…»

На автобусной остановке пришлось стоять очень долго. А надо сказать, зима была в тот год суровая, морозы в январе давили до минус тридцати с лишним. Эдик сильно замёрз. Пришлось идти в вокзальный буфет, где он взял себе булку с сыром, стакан горячего какао… и когда уже хотел было закрыть чек, то увидел на витрине три початых бутылки: вино, водку и коньяк. Эдику непременно захотелось выпить коньяку, тем более деньги были, а эмоции расставания с любимой нужно было подживить, задать им больше драмы, приподнять, так сказать, лирическое давление. Он заказал сто грамм.

Буфетчица мерой отмерила сотку, перелила в стакан, поглядела на бутылку, где коньяк плескался теперь у самого донышка, вздохнула тяжело и перевела взгляд на покупателя:

— А возьмёте всё? На улице-то вон какая стужа.

И Эдик взял всё. Получилось ровно двести граммов, стакан.

И действительно, постоять на остановке пришлось ещё, а коньяк замечательно грел нутро. В холодном автобусе Эдик мечтал о будущем лете. Что Эльза переедет к нему, и они обязательно махнут дикарями в Крым, где в какой-нибудь бухте будут купаться голышом и есть виноград. Водитель «Икаруса» по громкой связи объявил конечную.

Если вы бывали в Иркутске, то должны знать, что его окраины—это домики частного сектора, особенно в сторону аэропорта, стоящие на многочисленных холмах и в распадках. И чтобы попасть домой, Эдику нужно было пройти несколько кварталов по этим холмам. Что это было за путешествие зимней ночью по запинде Иркутска, сейчас даже трудно представить, а тогда, во времена, когда люди приковывали к себе цепями норковые формовки и когда любой ночной выход из дома автоматически приравнивался к подвигу, это был ежедневный ужас тысяч и тысяч людей. Но нашего влюблённого грели тёплые чувства. Плюс набирал опьяняющую силу нежно всасывающийся в кишки продукт дистилляции виноградного вина.

Взбираясь на очередной холм, Эдик в свете редких фонарей увидел, что по улице навстречу ему идёт толпа человек в семь. Местные. «Будут бить,—подумал он.—А если ещё и буряты, то не исключено, что ногами по лицу, когда узнают, что я не бурят». А они обязательно узнают, потому что спросят широкоскулого и узкоглазого встречного: «Брат, ты бурят?» И если он скажет, что бурят, они, возможно, заговорят с ним по-бурятски, а он не сможет им ответить. И тогда его станут бить. И если он честно скажет, что он не бурят, а бурято-якут, его тоже будут бить. Эдик пьянел, шёл навстречу толпе и всё соображал, как же сложится стремительно приближавшийся разговор. Но одно надо сказать точно: он не боялся, что его побьют. Он вообще был не из робкого десятка, а влюблённость делала его отчаянным смельчаком, чему способствовал и вконец разыгравшийся в крови алкоголь.

— Брателло, закурить есть?—остановившись, спросил его самый высокий парень, когда Эдик поравнялся с толпой.

Все семеро оказались крепкими бурятами.

У Эдика были сигареты, но в те времена это был страшный дефицит, и иной раз несильному и робкому курящему мужчине лучше было получить по морде, чем остаться без пачки сигарет. Но Эдику почему-то показалось, что бить его уже никто не собирается.

— Не курю!—отрезал он.

Так и случилось, ребята прошли мимо. Они уже отошли метров на сто, когда сам Эдик захотел курить и вытащил из пачки сигарету. Он остановился, размял её пальцами, чиркнул спичкой, смачно затянулся. Никотин добавил свою эйфорическую нотку в коктейль из крови и паров коньяка минус алкогольдегидрогеназа. Он уже выкурил половину сигареты и вдруг обернулся.

— Эй, козлы!—во всю глотку крикнул он.—А я-то курю! Ку-рю! Ка-злы!

Куда-то бежать и прятаться было бессмысленно, сплошные заборы и калитки не оставляли никакого шанса. Эдика начали больно бить руками и ногами…

Очнулся он в больнице. Его и без того монгольские глаза затекли от синяков так, что нужно было применить большое усилие, чтоб увидеть что-то сквозь узкие щёлочки. Эдик понимал, что он в больнице, ведь он в деталях помнил каждый час и каждую минуту того дня, когда провожал на поезд любимую девушку. Ровно до того момента, как в затылок ему ударило что-то большое и тяжёлое. И обещание написать письмо Эльзе—это сейчас было единственное, что занимало его ум. Он осторожно пошевелил руками, ногами, посжимал пальцы—тело работало.

— Очнулся,— улыбнулась вошедшая медицинская сестра, симпатичная, молодая, по виду буряточка.— Ну всё, хорош в реанимации отдыхать, пора в палату, к людям.
— Дайте ручку и бумагу,— попросил Эдик.
— Зачем?
— Письмо написать надо.
— Рано тебе ещё письма писать, подзаживи ещё. Вот через недельку можно будет писать, через недельку и напишешь. Ишь какой резвый, письмо ему писать надо, три недели в коме провёл, а только очнулся — письмо ему писать…
— Как три недели?!
— Так — три недели.

Эдик спросил у сестры, разыскивал ли его кто-нибудь за эти три недели.
— Конечно, друзья вас нашли. Художники какие-то. Я им позвоню сегодня, они оставили телефон, навестят, наверно, завтра.
— А девушка? Девушка никакая не разыскивала меня? Иногородняя.
— Не было никаких девушек,— безразлично ответила сестра.

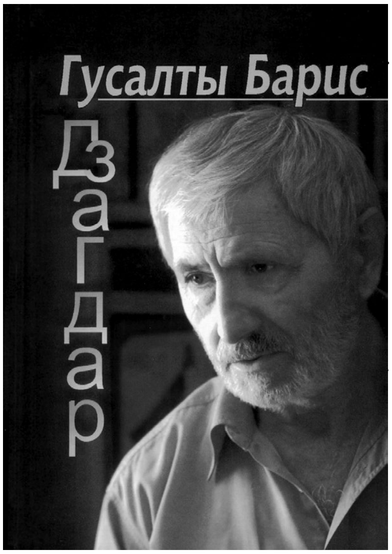
Эдик отвернул голову. Он лежал и думал теперь, как забыть всё это волшебство, что случилось у него под Новый год с красивой девушкой из Красноярска по имени Эльза.

На другой день друзья-художники не приехали навещать Эдика; наверное, они опять крепко выпивали, получив гонорары за работу по оформлению, которой много проделали в городе и на предприятиях перед Новым годом.

Не было и знакомой медсестры. Она появилась ещё через день. Специально пришла из реанимации в отделение, где лежал теперь в многолюдной палате Эдик, принесла ему кулёк мандаринов, который держала в руках.
— Слушай, ты бурят? — спросила она, сев на край койки.
— Нет.
— Представляешь, все думают, что я бурятка. Все спрашивают: «Эля, ты бурятка?» А я не бурятка вовсе, у меня мама якутка, а папа бурят…
— Эля, я вас люблю! — быстро и громко, перепугав всех больных в палате, крикнул Эдик.

Во внезапно наступившей мёртвой тишине было слышно, как грохнулся на пол кулёк и раскатившиеся мандарины тихо и глухо ударяли в плинтуса и основания белых прикроватных тумбочек.

ДиН ревю



Барис Гусалты

Дзагдар

Владикавказ: «Ир», 2013
на русском и осетинском языках

Эта книга-билингва — сборник, составленный из разноплановых и разножанровых произведений: интервью, публицистика и проза, которые взаимно дополняют друг друга. Они являются своеобразным свидетельством времени разлома эпохи.

«…Раздрай в мире, разлад в себе. Небезопасно быть даже просто нормальным человеком. Обществом отторгается всё, что так или иначе не соответствует негласно действующему кодексу патриота,— очень легко оказаться недостаточно своим среди своих.

Искусство слова — уже давно не отдушина в этой предельно агрессивной среде. Если чего и ждут сориентированные такой пропагандой люди, так это принятия решительных и однозначных крутых мер в «нашу» пользу. Ядовитое облако ненависти, закрывшее небо над двумя соседними народами, разъедает умы, вконец ожесточает и озлобляет сердца, изгоняет из наших душ ангелов человечности и вселяет, с горечью констатирую, дьявола-иблиса. Стоит немалых усилий не поддаться благородному — а это оно только на первый взгляд такое — чувству мести. Поможет лишь сознание того, что как раз этого-то добиваются те, кто вознамерился превратить наши народы в вечных кровников и кровомстителей, в заложников банд и воинствующих нацио-патриотов».

Евгений Чигрин

«Пролететь золотое стекло»

Юрий Казарин. Собрание стихотворений.—М.; Екатеринбург: Кабинетный учёный, 2014.

Совсем не редкий случай в современной поэзии—генезис такой поэзии определить нетрудно: классические размеры, точные рифмы, находки, нацеленность на метафоричность в том смысле, когда из метафоры вытекает определённый смысл, а не заумь, замешанная на современных спецэффектах с надеждой ошарашить, столь принятая в современных интернет-ресурсах (именно потому так много фейсбучных стихослагателей, которые жаждут лайков и получают их: ведь общеизвестно, что на всякую яркую ерунду всегда найдутся поклонники). Да, и ещё нацеленность на точность высказывания, когда этого требует течение стихотворения… Ну и оглядка на всю классическую русскую поэзию, которая, как огромное меловое облако, возвышается над лучшими стихами Юрия Казарина, книгу которого я прочитал неспешно. Именно неспешно, поскольку собрание стихотворений поэта требует именно такого прочтения, по-другому лучше не читать совсем, потому что стихи этого автора как бы добавляют, продолжают друг друга. Это не тот случай, когда поэт заполняет страницы книги всем тем, что написалось на протяжении жизни, без всякого отбора и оглядки.

Если действительно «воздух поэзии—непринуждённость», то вот навскидку:

Рыбы целуют изнанку
неба, накрывшего пруд.
Письма воды спозаранку
птицы с волной перечтут.
Кто это ходит и пишет
узкой стопой по воде,
лыбится, плачет и дышит
белой слезой в бороде?..
Чтобы увидеть плотвичку—
кружев дыхательных дрожь,
ночью горящую спичку
прямо к воде поднесёшь.

Лаконичность, простота (не та, которая хуже воровства) и виртуозность строк показательны не только для автора, но и примечательны для читателя. И ещё, как бы в продолжение:

Мёд золотой листвы выпит наполовину,
в дерево наливают с неба прозрачный дым,
выпитое пространство—вечности смотрит в спину,
видит берёзу, мёдом полную золотым.

И заключительное четверостишие:

Сердце не надломить хлебом неучерствивым—
Разве что надорвать, как золотой листок—
листик, листочек, лист—вместе с прозрачным дымом:
осень тебя целует прямо в седой висок.

Как здесь уместно и убедительно редчайшее прилагательное *неучерствимым*! Оно поджидало и дождалось своего поэта.

Кстати, нельзя не заметить, что данное стихотворение написано не без оглядки на Мандельштама, и всё-таки это не подражание, а самостоятельное произведение—конечно, не без учёта классика. Некоторые временами захватывающие строки из цикла «Каменские элегии» написаны в дар памяти, они как бы оплачены ценой прощаний… Прощаний, которые могли случиться со многими, но именно поэт хочет и может запечатлеть в строке, окаймить рифмой то ушедшее, которое равноценно собственной жизни-любви:

На окне отпечаток руки.
Это женская пятерня.
Это—ты, от любви и тоски
обнимавшая ночью меня.
Сквозь ладонь я смотрю тяжело,
как ворона пытается вкось
пролететь золотое стекло—
словно прошлое наше—насквозь…

И ещё одно, подчёркивающее самостоятельную интонацию этого автора:

Кто мне веки горькие поднимет,
разлепив разлуки мёртвый мёд?..
Дождь тебя, как дерево, обнимет,
ознобит, осиной назовёт.
Мёртвый дрозд—откуда он, откуда
утром, ниже неба, на крыльце?..
Сколько в нём и ужаса, и чуда.
Сколько смерти в этом мертвеце.
Всю забрал, большую, на рассвете.
И теперь в округе благодать.
У, какая горечь в сигарете,
то есть в жизни, я хотел сказать.

Как известно, *осина*—дерево Иуды, то есть предателя… Вот именно это существительное и делает этот текст горьким и понятным для всех любивших и не забывших это чувство, ибо зачастую в такой любви доминируют (хотя и не всегда) измена, отчуждённость, распад, разлом… ужас и чудо…

Что тут можно добавить? Ну, наверное, то, что многие стихи Ю. К. тяготеют к элегичности, то есть к тому жанру элегии, без которого невозможна поэзия, но при этом они не затянуты, не грешат многословием, а в ключевых своих строфах живут в воздухе; ведь сказал же знаменитый американский поэт Карл Сэндберг: *поэзия—это исповедь водного животного, которое живёт на суше, а хотело бы в воздухе.*

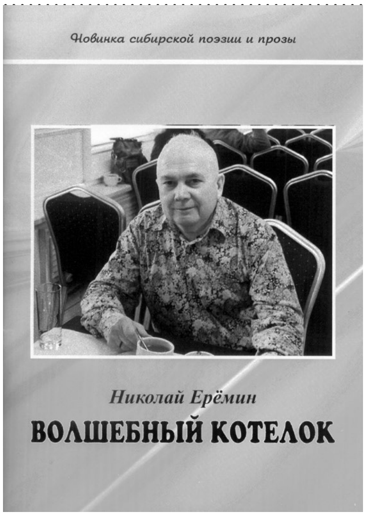
И ещё одно наблюдение: даже те стихотворения поэта, которые не представляются явными удачами, были нужны автору для этой книги, они как бы создают фон для тех, которые являются ослепительными вспышками страниц этого поэтического томика. Может быть, для того,

> чтобы молчать после рожденья
> и после смерти говорить.

Что сказать в заключение? Наверное, вот что: большой изборник поэта интересен стремлением автора создать свою грань между бытописательством и мифотворчеством. Привлекательным качеством этой поэтики является её склонность к автономному высказыванию, рассчитанному на диалог с читателем. В одном интервью поэт говорит следующее: *когда начинаешь книгу, тебе очень трудно, но вдруг однажды ты начинаешь осознавать себя одновременно частью мира, текста и Бога…*

Но ведь и древние Востока говорили: прекрасное—трудно!

Литературное Красноярье ∴ Д*и*Н ревю



Николай Ерёмин
Волшебный котелок

Красноярск:
«Литера-принт», 2015

Бабочка и стрекоза

Зачем ловлю я бабочку,
А следом—стрекозу?
Зачем кладу их в баночку?
Зачем домой несу?

Могущество ль мерещится
Мне на моём пути,
Пока они трепещутся
И просят:—Отпусти!

…Ах, стрекозу и бабочку
Я слышу, я не псих,—
И открываю баночку,
И отпускаю их…

Преображение

Поэзия
Как форма языка
Преображает душу дурака…

И он, не говоривший ни гу-гу,
Вдруг выдаёт:
—Я тоже так могу!

И возникает—о самообман!—
Ещё один
Наивный графоман…

Который говорит:
—Я—не поэт,—
И всё же сочиняет много лет…

Пока—о чудо!—вдруг, в конце концов,
Не станет мудрецом
Средь мудрецов…

Одиночество

И вот вдали
От близких мне людей
Мир чувств преобразился в мир идей,
Ведущих навсегда
В небытиё—
Туда, где утешение моё…

Эдуард Учаров

Голос древних гор

Мариян Шейхова. Диалоги с Данте: поэма и стихи.— Махачкала: ИД «Эпоха», 2010.

Книга «Диалоги с Данте» известного поэта из Дагестана Миясат Муслимовой (пишущей под псевдонимом Мариян Шейхова)—это голос древних гор Кавказа, стремительный шелест летящих рек, радушный говор родных селений, отчаянный крик войны, обжигающая речь ледников, сочный и извилистый тост тамады и бездонный зов огромного, нависшего над тобой лакского неба.

Книга начинается циклом стихотворений, посвящённых одному из самых загадочных и удивительных художников-примитивистов—Николо Пиросмани. Поэтическая живопись Мариян Шейховой в этих текстах глубоко созвучна полотнам гения.

Это, например, вариации на такие картины, как «Бой баранов» и «Пасхальный ягнёнок»:

…У потехи—долгий час,
Время прячет красный глаз.
Спят пасхальные ягнята,
Ночь раскаяньем объята.
Бой баранов—гнёт рогов…—

с добавлением сквозной темы вселенского пира и кутежа, недвусмысленно отсылающей к сегодняшним кровопролитным событиям:

…Бой баранов—пир вселенский, зуд в подпиленных рогах,
Откормили, опоили—барабаны выбьют страх…

Использует автор и биографические детали Пиросмани: одно из стихотворений называется «Да здравствует хлебосольный человек»—именно такой надписью дополнял своё оформление многих вывесок великий художник. А заканчивается цикл текстом, посвящённым удивительной речи Нико Пиросмани на заседании Общества художников Тбилиси в 1916 году:

Братья!
Построим дом деревянный,
В сердце города—дом без затей…

Во втором разделе, озаглавленном «Камни моей родины», собраны стихотворения гражданской тематики, каждая строчка которых пропитана любовью и болью за свой край, отчий дом, родное село Убра: «Черепки родной речи в ущелье Убра собирала…»

Грустью и светлой памятью пронизаны слова таких произведений, как «Каменный триптих», «Это твоё Макондо», одноимённое циклу стихотворение «Камни моей родины» («…Я хочу быть маленьким камешком / в ладонях твоих желаний, / о моя усталая родина!»), «Черствеет голос»:

…Моих отцов и прадедов земля!
Хранят поля тепло ладоней мамы,
Здесь кремень жарче солнца и огня
И пыль дорог дороже царских храмов…

Поэтическими средствами Мариян Шейхова удивительно точно и сочно рассказывает читателю о потрясающих кавказских пейзажах и натюрмортах:

На каменных трезубцах Турчи-Дага струится сок гранатовых рассветов,
Упругий день взбирается по кручам, чтобы спустить с вершины облака…

Несомненный интерес представляют и верлибры автора. Мощная и подлинная поэзия, освободившись от рифмы, повинуется иным размерам и ритмам. Чувства вины и раскаянья, тоски по ушедшему времени и отцу—вот поэтическое задыхание горьких строк:

Я хочу услышать,
Как звучит в горах выражение «любовь к родине».
Сорок лет я не видела развалины Убра…

Безмерная трагедия Беслана просто не могла не отразиться в творчестве такого тонко чувствующего поэта:

Соберите по кусочкам—телом стану,
Соберите вздох по капле—не умру.
Забинтуйте жизнь—разорванную рану,
А дитя—сама из пепла соберу…

И в продолжение этой темы основополагающим рефреном звучат отчаянные строки:

Сколько дождей должно выпасть в реки Сулака, Терека и Самура,
Чтобы омыть тела братьев, убивающих друг друга?..

Следующая часть—это литературно обработанная густая выжимка из прозы русской учительницы Эльвиры Горюхиной, много лет странствующей по «горячим точкам» Кавказа. Отрывки взяты

из двух её книг: «Путешествие учительницы на Кавказ» и «Не разделяй нас, Господи, не разделяй». События, истории, судьбы конкретных людей на войне даны здесь в убийственной стилистике документального изложения и могут соотноситься по силе воздействия на читателя с «Колымскими рассказами» Варлама Шаламова…

Завершается книга поэмой «Диалоги с Данте» — большой программной вещью поэта, отражающей культурно-исторические и социально-общественные процессы на Кавказе, в которой автор заявляет свою гражданскую позицию по отношению к длящейся трагедии на родной земле:

…Мой дом враждой и страхом изувечен —
В нём веру и любовь скрепляют плетью…

Необходимо отметить, что каждая из тридцати трёх песен (назовём стихи именно так — по аналогии с песнями великого итальянца) начинается строчкой из само́й «Божественной комедии». Они выбраны совсем не случайно и закрепляют собой концепцию программнообразующих посылов для читателя: «Подумайте о том, чьи вы сыны», «Отчизна с вами у меня одна», «Какая тьма ваш разум обуяла!» и др.

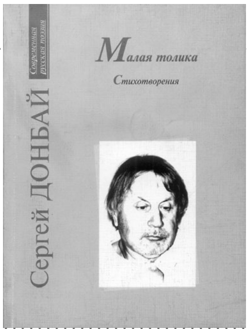
Затрагивая культурно-религиозные аспекты, Мариян Шейхова с болью пишет о попрании веры своих отцов:

…Звучит надгробной горестью в вестях
О гибели, о жертвах, новых взрывах,
И тела нет, и грудь камней в разрывах,
И убивают с именем «Аллах»…

В такие тяжёлые для любимого края времена — поэт не может молчать. Священные понятия о долге и чести обязывают его обратиться к землякам с режущими сердце словами. И пусть он не будет услышан либо понят неправильно, сделать это для него — жизненно важная необходимость!

Земную боль поэтов и пророков
И плач младенца слыша за спиной,
В стихах отозвалась земле родной,
Верна любви и чистоте истоков.

ДиН ревю



Сергей Донбай

Малая толика

Москва: «Российский писатель», 2014

В новую книгу известного русского поэта Сергея Донбая вошли стихотворения, написанные за последнее время, а также стихотворения разных лет. «Я пишу о том, о чём долго и неповоротливо думается, а иногда — это результат мимолётного воображения. Надеюсь, из написанного складывается картина времени — родного и поучительного прошлого, противоречивого настоящего и чуть-чуть видного будущего — русского времени, в котором я живу».

● ● ●

Родной язык в нас снова растревожит
И русскую тоску, и нашу прыть.
От первых потаённых чувств: «Быть может…» —
И до надежды страстной: «Может быть!»

Родной язык. Мы все уйдём и сгинем.
Но строчка будет жить, ей хватит сил:
«Скажи поклоны князю и княгине», —
Так Бунин в прошлом веке попросил.

А в детстве кто из нас как небожитель,
Не отхлебнул из русского ковша?
Родной язык — и ангел наш хранитель,
И песня, словно общая душа,

Которую всё реже дарит радио,
Но верещит всё громче на износ.
Родной язык: «Не в силе Бог, а в правде», —
В тысячелетье прошлом произнёс.

Народа нет и не было немого.
И гордость, и смиренье на лице
Он выразит: «В начале было Слово…»
«Пусть… будет пухом…» — он вздохнёт в конце.

Он узелок на память нам и — затесь,
Он оберег наш и — сторожевой,
Он был и есть, как Бог, без доказательств.
Родной язык — наш промысел живой.

Вера Кузьмина

Совки

Не такая

Опять не сплю. А месяц так и пухнет.
Такая жизнь, и нечего серчать:
Есть женщины, поющие на кухне,
И женщины, что снятся по ночам,
А я—не та, не эта. Не такая.
Не лодочка—окурок на мели:
Сиротство звёзд и прóклятых окраин
Течёт сквозь пальцы сжатые мои.
Ковшом ладони. В них—побег из дома,
Соседка, спьяну влезшая в петлю,
В сарае перепревшая солома,
Танюха (за ночь с рыла по рублю)—
Вся жизнь моя, её воловьи жилы,
Мозоли, кровь, теснение в груди…
Лишь об одном жалею.
Я просила
Того, кто уходил: не уходи.

Двухэтажечки

Жизнь гранёными стаканами
Тянут воля и тюрьма,
Где рассохлись деревянные
Простодырые дома.
Двухэтажки-двухэтажечки,
Алиментики-долги.
Что ж ты, маслице, не мажесси
На ржаные пироги?
Погуляй на Волге, Каме ли,
Утопи в Босфоре нож,
Поживи в палатах каменных—
Помирать сюда придёшь,
Где из кухонь тянет щавелем,
Где запоров нет: на кой?—
Где помолятся во здравие
И нальют за упокой,
Где старуха Перелюбкина—
Костыли да медный крест—
На просушку рядом с юбками
Прицепила край небес
И смеётся—вот зараза ведь,
Муха подлая цеце,—
Потому что кареглазого
Жду, как дура, на крыльце…

Всего лишь сохнет бельё

На вокзале гудят электрички,
После дождика город просох.
Осыпаются яблони-дички
На колени уставших эпох.

Сушит ветер трусы-парашюты,
Ползунки и футболки мужей.
Под заборами кашка и лютик,
Над заборами—синяя гжель.

И на лавках сидят с разговором—
Каждый тёплому вечеру рад—
Работяги, студенты и воры,
Пиво пьют и ментов матерят.

Говорят, что не выиграть нашим,
Про машины, бабьё и Чечню.
Мимо цокают Ларки, Наташи:
Одинокий, так враз оженю.

Хватит жить, как пустая полова,
Пусть халаты, трусы, ползунки
Развеваются снова и снова,
От весеннего ветра легки,

Пусть не рвутся от ветра верёвки,
Вьётся легкий рубашечный флаг.
Села крупная божья коровка
Каплей крови на белый обшлаг.

Верещат растворённые рамы,
Зацепилась рубашка за гвоздь.
Загустевшая красная память
В нашу землю впиталась насквозь.

Здесь легко и родиться, и сгинуть,
Потому и тревожит, живой,
Колыхая бельишко глубинок,
Электрички безжалостный вой,

И всегда не хватает чего-то:
Водки, женщины, пули, строки.

Майский вечер. Жарища. Суббота.
На скамейках сидят мужики.

Про нас—таких

Пить застывший рождественский воздух
С горьким дымом берёзовых дров,
Выйти ночью под белые звёзды
В одичалость собачьих дворов.

Час поддакивать пьяной соседке
И таксисту наврать кутерьму:
Что батяня мильтона упеткал,
Мол, везу передачку в тюрьму.

В кружку с чаем добавить малины:
Пей, дурной, да не вздумай хворать,—
И ложиться попарно в суглинок,
Как попарно ложились в кровать.

А кругом—разведёнки и вдовы,
И бутылка—всегда на столе…
Хорошо мы живём и сурово
На любимой жестокой земле.

Совки

Давай-ка, мой хороший, по одной—
за нас, дурных, а больше бы не надо…
Моя страна натянута струной
от Сахалина до Калининграда.
Сейчас в неё распахнуто окно,
там огоньки, далёкий лай собачий.
Не виноваты водка и вино,
что мы живём вот так, а не иначе,—
вот так—не отрываясь от страны,
гитарно-балалаечного гула…
Играй «Хотят ли русские войны»
и «Журавлей» Гамзатова Расула,
играй, страна!
Добавь смешной тоски:
«Артек», Гагарин, Жуков, батя юный…
Да, мы совки.
…А дети на совки
В песочнице натягивают струны.
Давай ещё—и по последней, ша!
За Родину, натянутую туго.
За каждого смешного малыша.
За то, что удержали мы друг друга.
Да, перебрали. Улицы страны
дрожат струной, неровные такие…
Споём «Хотят ли русские войны»,
чтоб слышали Берлин, Париж и Киев?

Живёт страна, пока живут совки:
смешные дети, мужики и бабы.
А Господу—подтягивать колки,
стараясь, чтоб не туго и не слабо…

Лететь

На осевших сосновых воротах
Досыхает рыбацкая сеть.
Мне охрипшей прокуренной нотой
Над провинцией тихой лететь.

Здесь ответы—лишь «по фиг» и «на фиг»,
Здесь, старушечью кельею храня,
С чёрно-белых простых фотографий
Перемершая смотрит родня,

Здесь в одном магазине—селёдка,
Мыло, ситец, святые дары,
А в сарае целует залётка
Внучку-дуру—бестужи[1] шары.

Половина из нас—по залёту
Заполняет родную страну…
Мне—охрипшей прокуренной нотой
По верхам—по векам—в глубину—

В ласку тёплой чужой рукавицы,
В стариковский потёртый вельвет…
Дотянуть. Долететь. Раствориться.
Смерти нет. Понимаете? Нет.

Семейный лук

Мужское «цыть», наколки-клейма,
Что раньше было—всё зола…
Засох на грядках лук семейный,
Уборка—бабские дела.

Не хватит рук—тащи в подоле,
Суши, раскладывай на печь.
…Молчат—от самой сильной боли.
Ох, лук семейный, горечь-речь,

Горчи-молчи о трубах медных,
О многих водах и огне,
О целованиях последних
И узком мужнином ремне.

Бывают руки без наколок,
Да свой у каждой бабы крест.
Храни мужей, святой Никола,
Храни таких, какие есть,

Храни мужей, святой Егорий,
Простим всегда… почти всегда.
Ох, лук семейный, горечь-горечь,
Растёт на грядках лебеда.

Подсохший лук—янтарь кубастый,
Угрюмый, ёмкий и лихой.
Скорее—туча солнце застит,
Успеть убрать, пока сухой.

Летит на выжженный пригорок
Семян пушистых кисея.
Ох, лук семейный, горечь-горечь
В подолах глупого бабья́…

1. Бестужи—бесстыжи *(уральск. диалектн.)*.

Птичье, странное и по Достоевскому

Помянуть бы нам Фёдор Михалыча—
Лук, да водка, да соль на столе—
Как царя нищебродства и ка́лечи
На синичьей российской земле;

Рассказать бы дурному прохожему,
Что кнутом обжигает глагол—
Да не примет, привычней по роже ведь,
Чтобы кровь—на заплёванный пол.

Помогите звоночком и гомоном,
Воровайка-синица и клёст:
На предплечье моём переломанном
Плачет рыжий кривой Алконост,

А предплечье моё—будто веточка,
А рябинная кровь тяжела,
Но растут из продымленной ветоши
Два синичьих, клестовых крыла.

Ты послушай, прохожий, как торкает
Птичья рвань, голота-нищета:
Нам, калекам, словечка—и только бы,
Хлеба-хлебушка, ради Христа!

Кто мы—лешие, Господу свечи ли,
Воробьята в чердачной пыли?
Если б не были мы искалечены,
Ничего бы сказать не смогли.

Будет время, и птицы замечутся:
Ухожу… Алконост, отвернись…
Беспощадно большому калечеству
Не вместиться в обычную жизнь,

И оно достоевщиной выскочит
В побасёнках пропойц и шалав:
Перебитой рябиновой кисточкой,
Без каких бы то ни было прав,

Моховое, тряпичное, галочье,
Побывавшее в клюве клеста…
Так помянем, прохожий, Михалыча—
Словом-хлебушком, ради Христа!

Бродскому и не только

На Васильевский остров
Я приду умирать…
Иосиф Бродский

Гаражи, да сараи,
Да дощатая гать…
Что ты, Бродский, забаял?
Что придёшь умирать?
Расскажу, как, до дому
Не дошедши—на кой?—
Я к проулку Речному
Прижималась щекой,
А старуха Парася
У ворот подняла:
«Эко чо, напилася…
Ведь спалишься дотла.
Шибко быстро да просто…»
И отчистила грязь.
Твой Васильевский остров
Маловат для Парась.
Что ты баешь: по-скотски?
Мол, холопская кровь?
Как презрительно Бродский
Вскинул рыжую бровь!
«К равнодушной Отчизне…»
Слышь, во все времена
Нам Россия—для жизни,
Вам—для смерти дана.
Мы не братья и сёстры
Перед нашей страной:
Вам—Васильевский остров,
Нам—проулок Речной.

Евгений Степанов

Вечная история

Старые слова в новейшее время

Друг, пусть даже самый славный, неизбежно предаёт.
Враг, пусть даже самый слабый, создаёт напряг излишний.
Из союзников у русских—только армия и флот.
Только армия и флот. И—как водится—Всевышний.

Времена

Детство суровое и залихватское—
Вечные драки, но сказочен мир.
Можно купить эскимо, «Ленинградское»,
За девятнадцать копеек пломбир.

Можно купить и бананы зелёные—
Слаще которых, наверное, нет.
Детство—года точно заворожённые;
В них до сих пор—мой мальчишеский след.

С мамой идёшь в «Детский мир» за обновкою—
И по-щенячьи ликует нутро.
Трюндель—волшебный стакан с газировкою,
А пятачок—и катайся в метро.

Молодость—точно собака—бродячая:
Много кусачих дворняжек и злых.
Но всё равна кабальеро удачи я,
Ибо удача—остаться в живых.

Зрелость—и снова сплошные скитания,
Снова дороги, тудыть-растудыть.
Впрочем, Болгария, Штаты, Германия—
Страны, в которых недурственно жить.

Тошно—достали симптомы усталости.
Но продолжаю неторений путь.
Старость… Ну что же… А впрочем, до старости
Надо ещё дотянуть. Дотянуть.

Штрихи к портрету

Гибельно-глобальной фирмы винтики,
Бизнес под прикрытием политики.

Лозунги красивые, как фантики,
Фюреров истошные фанатики.

Козероги, ставшие кентаврами,
Бездари, увенчанные лаврами.

Гении—как водится—в изгнании.
Письма неба, ставшие желаннее.

● ● ●

Тот был царь-освободитель,
Этот—царь-завоеватель.
Ну а я—обычный житель,
Я типичный обыватель.

Что хочу? А чтоб получка
Ввысь синичкою взлетела
И чтоб смугленькая внучка
Мультики со мной смотрела.

И хочу так делать дело,
Чтобы сделалась нетленка.
И хочу, чтоб мама пела
Песни Клавдии Шульженко.

Памяти Степана Щипачёва

Как надоело скольжение
По городам и делам!
Есть у меня достижение:
Я не чужой небесам.

Как надоело старание—
Жить, подчиняясь рублю!
Есть у меня состояние:
Я и любим, и люблю.

Холю-лелею желание
Жить не спеша, не греша.
Есть у меня понимание:
Главное—это душа.

Век

Пусть меня не третирует
Этот век-изувер—
Я хочу эмигрировать
В СССР.

Защищённым и маленьким
Снова быть я готов.
Я хочу, чтобы маменька
Напекла пирожков.

А солёного, гадкого
Я наелся с лихвой.
Я хочу, чтобы братка мой
Воротился—живой.

Ты

Обними, пожалуйста, меня—
Ты мне даже больше чем родня.

Ты мне даже больше чем судьба.
Без тебя и рай, наверное, «губа»,

Гауптвахта, даже каземат.
Обними—я очень буду рад.

Заклинание

И сам я во власти пороков,
И всё ж заклинаю—скорбя:
Оставьте в покое пророков,
Оставьте в покое себя.

Пусть люди друг друга обнимут
И будут добры и мудры!
И пусть подстрекатели сгинут
В тартарары.

● ● ●

Один дурак, другой дурак…
Они сражаются упрямо.
И нас хотят загнать в барак—
Куда-нибудь в чащобы БАМа.

Я тоже, может быть, дурак,
Но всё ж не верю забиякам.
Я не большой любитель драк.
И гимны не пою баракам.

Стоп-кадр

Это пожухлая прелость
Дачной осенней листвы.
В том-то, наверно, и прелесть,
Что вдалеке от Москвы
Я—часть земли и растений.
В общем, обычная часть.
…Падает листик осенний.
И не боится упасть.

Просто так

Я кручусь как белка—но
Денег не скопил.
Дачу в Переделкино
Так и не купил.

И на хату в Питере
Не собрал банкнот.
Я в дырявом свитере—
Грешен—круглый год.

И напастей—воз, поди,
И в стране бардак.
Но я счастлив, Господи,
Как-то просто так.

● ● ●

Злыдень? Подлец? Да ни в коем же разе.
Я не встречал абсолютную мразь.
Небу порою хочется грязи,
В небо порою просится грязь.

Век золотой—он же век окаянный.
Не проведёшь по живому межу.
Женщина входит в мой дом деревянный,
В женщину я—неустанный—вхожу.

Знаю, что эрос сильнее, чем танки,
Знаю, что есть на земле волшебство.
Недруг стреляет в меня из берданки—
Недруг стреляет в себя самого.

● ● ●

Ни чинов—я счастлив!—ни регалий,
Ни дипломов пошлых, ни медалей…
На фиг—эти грешные чины.
В битве—самой важной—стихиалей
(Это «Роза Мира»)—все равны.
Олигархам гарным не чета я,
Жизнь моя, как песенка, простая.
Так уж вышло: я плохой делец.
Дачка небольшая щитовая
Мне милей, чем рейдерский дворец.
Вот мои безгрешные берёзы,
Вот мои нездешние мимозы,
Вот мои огурчики—взгляни.
А в стихах моих немало прозы.
И, надеюсь, мало в них брехни.

Дидактика

Жизнь—такая тяжкая работа—
Не бывает тяжелей работ.
Жизнь—такое гиблое болото—
Не бывает гибельней болот.

Что же делать? Надо спозаранку
Просыпаться—вкалывать—творя.
Надо пить почаще валерьянку—
И поменьше водки-вискаря.

Вечная история

Проста механика раскола,
Болваны лезут на рожон.
Дерутся Коля и Мыкола,
А побеждает хитрый Джон.

Вечная истина

Тихо ветшает тело,
Страсть сожжена дотла.
Если бы юность умела,
Если бы старость могла…

Павел Шаров

По жизни бреду с фонарём

* * *

Отцветёт да поспеет на болоте морошка.
Н. Рубцов

День дуэли сегодня, а мне даже вызвать некого,
и осталось достать лишь чернил и плакать.
Вызываю: «К барьеру!»—себя самого я, и лекаря
звать не надо: они все бездарны. А я, хоть
и законченный дурень, сумел…
Но—о боги! алтарь ваш—бессмысленный жернов.
Ты дала не воды, накормивши по горло селёдкою,—
ты подбросила дров на костёр, где пасхальная жертва.
И хоть трапеза эта была до бесстыдства короткою,
привкус крови остался…
Судьба не грозит Чёрной речкою—
я подохну (хочу поскорее) в сем граде над Волгою,
по-людски, по-людски—с отходною молитвой и свечкою…
до бесстыдства короткою и до беспамятства долгою…
Я на всё подписался—да вот не могу понарошку я.
Я же знал, но не верил: всё кончится именно этим.
Я прошу: накорми, накорми меня мёрзлой морошкою
своих губ. А пред Богом мы вместе ответим.

* * *

По жизни бреду с фонарём (я не стайер,
не спринтер—тем паче), ползком бы до цели
добраться к весне! Точно бабочки, стаей
порхают снежинки. А мы—мы не ценим
того, что имеем; луну бы нам с неба,
на меньшее мы не согласны! Два века
сменили друг друга, но выпало снега
не больше обычного. И человека
в тебе не нашёл я.
Фонарь мой, достанет
в тебе керосина для энной попытки?
…Я втайне надеюсь: прохожий достанет
кастет и положит конец этой пытке—
фонарь размозжит мой и череп и, брюки
обшарив, прочтёт на клочке: «Как с радаром,
блуждал с фонарём я, протягивал руки
к луне, всё искал чёрт-те что! Но с ударом
твоим—о, спасибо!—всё кончено. Баста».
И—вой (не сирены ментовской, а случки
кошачьей)… Снежок… И кончается паста
в моей авторучке.

Наталья Мамлина

Песнопевцы

● ● ●

Пойми уже, мечты своей заложник,
Что никому давно не по зубам
Остаться тонким человеком там,
Где вовсе оставаться невозможно.

Печалями измеренные вирши.
Кому ты нужен со своей тоской?
Переиначь себя, раз ты такой,
Что ровня никому и с ними иже.

И прекрати судить, рядить, а боле
Навязывать словесные круги —
Хватило бы протянутой руки,
Твоей руки всем страждущим от боли.

Песнопевцы

Песнопевцы они да цари —
Не алмазы, а ртутные руды.
Каждый стих будет лёгким. А трудным
Будет путь от зари до зари.

Возопившие камни земли
Окровавлены собственным эхом.
Это больно — уметь говорить,
Не умея забыться при этом.

Осиянная светом иным,
Тем дороже им будет победа,
Этим жаждущим правды поэтам,
Выходящим под небо за ны.

● ● ●

Какой-то опасный мыс.
Там твой человек бредёт.
То жизнь потеряет смысл,
то заново обретёт.

То всё прогорит стократ,
то вдруг устремится вспfive.

Здесь каждый чуть-чуть Сократ
в каких-нибудь двадцать пять.

Становится смерть лютей.
Ужели нельзя сберечь
хоть чьих-то родных людей,
по ком просвистит картечь?

● ● ●

…На свете смерти нет.
Бессмертны все…
Арсений
Тарковский
Жизнь, жизнь

Помнишь, я тебя нерядовым
навсегда в свою жизнь приняла?
По могилам своим родовым
лишь тебя одного провела.

Так могли мы себя превозмочь:
мы с тобой поднимались вдвоём
над лесами, полями и проч.,
оставался внизу водоём,

оставались все люди внизу.
Потому не грусти, не грусти.
Будет встреча, когда принесу
тебе новую радость в горсти.

Ты со смертью моей полужив,
но мужайся, мужайся, майор,
полевые цветы положив
на притихшее сердце моё.

● ● ●

По своим же словам опознан
(Говорил — бормотал — зачах),
Ну какой из тебя апостол? —
Только слабость в твоих речах.

Мне б уйти, отряхнувши прах,
Не теперь, а на тех порах,
Когда всё ещё было просто.
Но, любительница прироста

Боли внутренней, затяжной
(Кто страдает — ещё живой),
Я очнулась на самом крае,
Под ногами овражный гравий —

Россыпь камушков перед бездной.
…Не пытаясь сойти на нет,
В нашей общей ночи беззвездной
Воет жуткий протяжный ветр.

● ● ●

Мы живём, над собою не чуя небес.
Наш дурдом состоит из нечистых невест
И довольных собой женихов.
К небесам не возносим стихов.
Одинокости нашей не видно границ,
Проступает она с электронных страниц,
Не порвать их, не сжечь их дотла.
Пей до дна! Пей до дна! Пей до дна!

Мы обмануты, верно. Ты чувствуешь, друг,
Как мы замкнуты в тесный калечащий круг,
Так похожий на ада круги,
Как наколоты мы—дураки?
На охотника, видно, и птица летит.
Поколенье поживших сполна и в кредит,
Мы навряд ли годны для небес.
И смеётся не Сталин, а бес.

● ● ●

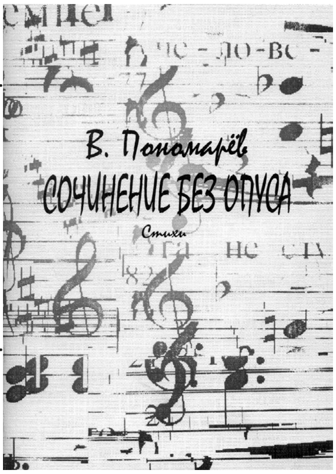
Это ты повзрослел и осунулся,
отчим домом весь мир заменив.
Тем и будешь, видать, знаменит,
что толпу не любил и не сунулся

всё на свете скорее отведывать,
утопая в других, как в чаду.
Перед тем как уйти за черту,
лишь себя призывал ты ответствовать,

потому и стерпел положение,
отстоял своё право на взгляд,
устремлённый в века, и навряд
ли уступишь его без сражения.

…Вой толпы, одичалой вдвойне,
и протяжные выдохи зуммера
всё ещё проверяют безумием
сокровенное сердце твоé.

Литературное Красноярье ∴ ДиН ревю



Владимир Пономарёв

Сочинение без опуса

Красноярск, 2014

● ● ●

Был ветер такой, что казалось порою—
Меня продувает насквозь,
Как старое дерево с редкой листвою,
Которому туго пришлось,

Как будто стою я совсем без одежды,
Без кожи, без мышц, без костей,
Как будто во мне открываются вежды
Познанья великих вестей,

Как будто бы я обретаю способность
Прозрения сути вещей,
И каждая мелочь, любая подробность
Отныне вовне, и вообще—

Был ветер такой, что от этого ветра,
Не чувствуя стынущих рук,
Я чувствовать начал, как в недрах предметов
Сливаются краски и звук.

● ● ●

Заиндевели ветви, как ресницы,
И оттого, когда иду, мне кажется—
Я вижу у деревьев лица,
И взгляд внимательный у каждого
Я замечаю, чувствую спиной,

Когда иду по переулку этому.
Деревья, ваш удел следить за мной,
А мой удел—бродить по белу свету.
Но, ощущая пристальный ваш взгляд,
Уделу своему я, кажется, не рад…

● ● ●

Мы уходим и возвращаемся,
Чтобы снова уйти и вернуться.
Мы в страницы книг превращаемся—
А они и горят, и рвутся;

Ищем славы себе в утешение,
Не надеясь даже на миг
На возможное возвращение
Со страниц уничтоженных книг…

Ирина Каренина

Ножницы серебряных стрекоз

● ● ●

Вера, надежда, любовь — это крайности, крайности.
Что ж, не проси и не бойся, не будь дураком.
Что нам с тобой эти встречи и эти случайности? —
Две пустоты собрались за плохим коньяком.

Жизнь продолжается под фонограмму лажовую:
Хочешь — подпой, а не хочешь — терпи, не любя.
Сердца комок — измочаленный, рваный, изжёванный —
Выплюнуть, выблевать, вырвать его из себя.

● ● ●

Наталье Елизаровой

Смотришь на нелюбовь, а потом говоришь: «Забей!»
Что ли, плакать, красавица? Ну не нужна — и что?
Кто-то должен под старость в парке кормить голубей,
Доживать-куковать с собакой или котом.

Не мечтай: «Будет лето, возьму тебя в Коктебель…» —
Не возьмёшь, потому что не даст ни обнять, ни взять.
Говорю тебе, в парках много некормленых голубей,
А вот тот, на кого ты смотришь, — на того и глядеть нельзя.

И не надо, и что, нелюбовь ни зла, ни добра,
Вот идёт человек, пусть идёт себе стороной.
Не из глины твоей он, ты не из его ребра,
Так чего же всё шепчешь ты: мол, говори со мной?

● ● ●

В каких скорбях Овидий бедный мой!
Как под спиной мягка овечья шкура,
И чёрен хлеб, и влажною зимой
Моря глядят и ветрено, и хмуро.

Какой любви мы все принадлежим!
Нам ноябри выматывают душу,
Но горечь мы вином разоружим
И над огнём беспечным и чужим
Глухие песни примостимся слушать…

Какая мука, tristia, тоска!
Вот ты сидишь на берегу печальном,
И меркнет лира около виска.
В краю пустом, безрадостном и дальнем
Как не заплакать сердцу чужака,
Коль явственно Эллада далека
И шаг один — ко мгле первоначальной?

● ● ●

Сегодня мне довольно скверно,
Болит пустая голова —
Антициклон, мой друг, наверное,
И у него свои права.

Сегодня мне почти спокойно —
Как будто сплю, не жду вестей,
Живу светло, благопристойно
И без особенных затей.

Леплю вареники, читаю,
Слегка ругаю холода.
И до утра в окне не тает,
Горит, горит моя звезда.

● ● ●

— *Разменяешь любовь на усталость*
И научишься просто молчать,
Чтоб тебе по губам не досталось
От того, перед кем отвечать.

— Всё постыло. Опущены руки
И умыты, и сердце в золе.
Нет такой небывалой разлуки,
Чтоб не встретила я на Земле.

Мир трясёт лихорадка дурная,
Что ни тронь — всё в огне и в дыму.
И стою — не своя, не родная
И не нужная здесь никому.

● ● ●

Женщина ищет — прильнуть — плечо,
Сердце её болит,
В нём непрерывно и горячо
Зверь пустоты скулит.

Лишним себя ощути ребром,
Костью — в собачий лай.
Плача обыденным серебром,
В сердце стоит смола.

В ранке, которую выгрыз зверь,
Выпустил кровь-руду.
Женщина ищет из мира дверь —
И из беды в беду.

● ● ●

Он приснился под утро — светлоголовый друг,
Птичий, Божий, тонкий, и очи его — моря.
Почему-то плакал, потом отключился звук.
Я, проснувшись, курила, сама с собой говоря,

А потом на работу спешила, потом — пешком
До ближайшей церкви, потом в аптеку, потом
В магазин — за табаком, за кофе и коньяком,
А затем, как сомнамбула, тело тащила в дом,

Чтоб до ночи мутной сидеть и глядеть в окно,
Сигарету за сигаретой тянуть, и пить,
И твердить, что мне — ну конечно же, всё равно,
И чему там быть, и зачем там чему-то быть…

● ● ●

Валентине Беляевой

золотиночки мои, серебрушечки
никому мы не нужны, никомушечки
цокай-цокай, каблучок, да по досточкам
наплясался мужичок да по косточкам
да по сахарным, выматывал жилочки
у своей у нелюбимой у милочки:
— что не розова с лица, стерва, слышь-ка ты?
— рушничок по шее меряю вышитый!
ах, простынки-одеяльца-подушечки
никому мы не нужны, никомушечки

● ● ●

Маяться Русью и харкать кровью,
Спиртом с рябиной ожечь гортань…
Не припадай, любовь, к изголовью —
Лучше в изножье со смертью встань:
Сёстры-старухи, страшны вы обе,
Темень воро́нья над головой!

Вы не любите меня во гробе,
Вы полюбите меня живой…

● ● ●

И что вам, ненавидящим меня
Так искренно и так самозабвенно,
И дней моих сияющая пена,
И бед моих блескучая броня?
Да что вам всем звезда моя во лбу
И шпага в холодеющей руке,
И то, что не пеняю на судьбу,
Когда она висит на волоске?..

● ● ●

Мы бы знали, как жить, были б чуть наглее,
Были б мы бессовестней без затей.
Но в груди болит, но душа болеет,
И проходит жизнь чередой смертей.

Покажи мне, как нас не предавали,
Как не лгали в глаза, не ломали спин!
Хоть в каком бою, хоть в каком обвале
Друг за другом встанем мы как один.

В мёрзлой глине окопа, на шаткой тверди,
Под звездой ли красною, под крестом,
Между жаждой жизни и жаждой смерти
Не способные выбрать ни то, ни то.

● ● ●

жить страшно мир в огне всё нервы нервы
где наступает грань уничтоженья
всё рвётся ткань дерюга верба верба
цветёт как пальма снова в воскресенье
мир страшен и суров и пост суров
наверное — я этого не знаю
безумен мир и нету докторов
война война грохочет наступая
я засыпаю в горе и в обиде
я просыпаюсь утром и в надежде
смотрю на вербу ничего не видя
лишь то что это было было прежде
лишь только то что мы сильней и старше
лишь ангелов торжественных на марше
и вот один из них он за спиной
и раскрывает крылья надо мной

● ● ●

Под радио, под старые хиты —
Шоссейный бред и гонка километров.
Тетеревёнок спрячется в кусты,
И в окна шибанет горячим ветром.

Швырнёшь окурок, погодя зевнёшь —
Длинна дорога, и ещё нескоро.
И в сердце поворачивают нож
«Pardonnez-moi», «Delilah», шум мотора,

И чёртова одёжа летних гроз,
Идущих вслед нам медленным конвоем,
И ножницы серебряных стрекоз,
Летящих в лобовую в лобовое.

Маргарита Ерёменко

На выдохе и вдохе говоря

● ● ●

Прогретые солнцем луга,
И, солнцем твоим прогретая,
Легка, совершенно легка,
И неразличимо—где ты и я.

Ещё не разлиты водой,
Раскрыты и вместе сложены,
Листвой говорю, листвой,
И паузы невозможны, и…

И руки, и голова,
И небо, и облако белое—
Листва, говорю, листва,
И тело твоё загорелое.

● ● ●

Тишина студёная
да покои царские—
как ладонь калёная
и глаза татарские.
Утро занимается—
страстью или старостью,
первою красавицей
иль последней радостью?
Семечки да зёрнышки
нежностью пропитаны—
то любовь озёрская,
города закрытые.

● ● ●

Любовь моя тоже
Словно мороз по коже.
Будь со мной, если можешь,
Строже.

Счастье моё рыбачье—
Не говорит, не плачет,
В долг не берёт, не даёт сдачи.
Живёт, значит.

В дому или на вечерне,
Стираешь ты или чертишь,
За полчаса до смерти
Свет ты мой невечерний
Заметишь.

● ● ●

…И я представляю, как это будет весной:
я буду бежать в твой каменный дом по аллее.
Деревья, проталины, небо—в салфетке из веток резной,
и солнце в крови—с каждым шагом всё выше, сильнее.

Проталинки талии—вся в твоих сильных руках,
и поцелуи, как бабочки, кружат меж тенью и светом,
слезинки с ресниц упадут, словно стрелки в часах…
И я уезжаю. До завтра. А завтра—лето.

● ● ●

И дерево растёт как дерево—вовне.
И крошится на стол то снег, а то посуда.
И речь лежит не в плоскости на дне
в досужих пересудах,
а там, где нет её. И это вещество—
всё золотая взвесь рассыпанных предлогов,
и выдохи мои, и вдохи твоих снов—
искрится на губах и падает недолго,

как снег и как дожди. И запах января—
дыхание двоих—друг друга повторяя—
на выдохе и вдохе говоря.

● ● ●

Грозовыми плечами
головою моей
параллели ночами
голоса сыновей
за словами местами
не/вода у ручья
семь дорог или камень
три сосны два ключа
синеокая птица
ёж котенок и Бог
это всё что стучится
возле маминых ног
умираю поскольку
не земля не земля
небо может и птица
и наверное я.

Варвара Юшманова

Очень страшная тишина

● ● ●

Мы спим, прижавшись спинами друг к другу,
Как на гербе.
Луна притихла в центре полукруга
Моих гербер.

Февраль и сам устал от снегопада,
До сна охоч.
За все мои метания награда—
Такая ночь.

Два человека в чёрно-белом цвете,
Наоборот.
Но, как желанье, сбудется в рассвете
Твой поворот.

● ● ●

Неба почти не стало,
Будто всегда гроза.
Дети живут в подвалах.
Видят во тьме глаза.

И по рассказам братьев
Знают, что наверху
Липы в зелёных платьях
И тополя в пуху.

Здесь же горшки и тряпки,
Воздух густой, как дым.
Дети играют в прятки,
Только водить не им.

● ● ●

Крумки-крымз, крумки-крымз.
Пёс был зол и цепь погрыз.
Убежал он со двора.
Было то ещё вчера.
Ночь хозяева не спали,
Всё в округе обыскали,
Но собаку не нашли
И печально спать пошли.
Нынче холодно зимой!
Где ты, пёс? Вернись домой!
Вот уж вечер за окном.
Очень чутко спит весь дом.
Звук из форточки возник:
Рыу-рык, рыу-рык…
Это пёс вернулся к нам!
Вот же счастье! Шум и гам!
Все собаку привечают,
Пёс на ласку отвечает.
Чтоб его не потерять,
Цепь покрепче надо взять.
Лишь теперь спокойным сном
Очень крепко спит весь дом.
Месяц в облаке повис.
Крумки-крымз, крумки-крымз…

● ● ●

Было бы утро,
Кухня была бы в чаду
    и разгаре.
Были бы двери,
Смело в какие войду—
    и оставят.
Были бы зимы,
Щупал бы сосны мороз
    втихомолку.
Было бы слово,
Данное только всерьёз
    и надолго.
Было бы время
В том повиниться,
    что натворила.
Было бы тело
Вольно, как птица,
    и многокрыло.
Было бы право
Ветреному прощать
    и худому.
Было бы сердце
В силах и жить, и стучать
    по-другому.

Очень страшная тишина

Я сегодня без тела:
Чужие и пальцы, и пятки.
Не встают в предложения даже простые слова.
Это просто—признаться:
Я не в порядке.
Не в порядке моя голова.

Снова ливни бесстыжие хлещут. И небо убого.
И весна своих песен и игр лишена.
Что за день?!
Я как будто сегодня без Бога.
Очень страшная тишина.

Где-то пьют сыровары игристое в честь воскресенья
И, скупясь, достают несхватившиеся сыры.
Только здесь
Нет от ливней спасенья.
Да и там—до поры.

И в досуг каждый верен себе и при деле.
Шоколадники чистят какао-бобы.
Их одежда, их волосы, их постели
Пахнут детством: попробовать и забыть.

Там весна. И зá зиму не остыло
Солнце.
Тычет веснушками им в лицо.
Здесь постыло,
        постыло,
        постыло,
        постыло.
Нет весны
Уж, кажется, лет пятьсот.

Мне не жить у моря,
Не есть лангустов
И не стать большим знатоком вина.
Лишь бы только сердцу не стало пусто
И вокруг него не клубилась густо
Очень страшная тишина.

● ● ●

Солнце светило нехотя, вполнакала,
Город совсем не гладило, не любило,
Тучки у горизонта припарковало,
Томно ленилось, плющилось до овала,
Даже туманов хлипких не пригубило,

Тонким лучом подсматривало причастно,
Думало: «Нет, пожалуй, не нужно жáра.
Повременю, а в сумерки станет ясно,
Будет ли завтра снова больна Варвара».

Curiosity

Под ногами будто не земля.
Ты один. Ты молчалив и слажен.
Этот день случается не с каждым.
Лишь тебе видны его поля.

Не покинут кем-то дорогим,
Ты не побеждён, и ты не изгнан.
Ты—как будто звук, который издан
Тем, кто был несчастен и томим.

Скорость звука. Скорость бытия.
Всё уже другое в новой тверди.
Может, есть спасение от смерти
Под ногами где-то у тебя.

Человек с любовью, и с тоской,
И с расчётом выбросил в созвездья
Свой привет—тебя. И ждёт известья,
Как гудка работник заводской.

Дух твой лёгок, хоть металл тяжёл.
Но, узнав ответы, сняв оковы,
Прежде точный и на всё готовый,
Промолчишь о том, что ты нашёл.

● ● ●

— О чём молишься ты, счастливец,
спокойный, удачливый человек?
Странно среди тревожных и скорбных лиц прихожан
видеть твой твёрдый и светлый взгляд,
устремлённый в образ.
Не обижала тебя судьба,
будто по списку даруя
здоровье, семью, успех.
Не было боли.
Зло проходило мимо.
Будто бы ангела ты приручил. И всё же
вид твой задумчив.
Мысли полны молитвой.
Так расскажи: о чём она?
— О других.

Эльдар Ахадов

Свеча, кочерга и облако

Соро́к

Как-то утром возле одной юрты в дикой степи на голой весенней ветке случайно выросшего дерева — чинары — поселился молодой соро́к.

И только он поселился, как тут же раздался в степи голос громкий, озабоченный, как бы не опоздать: «Однако, пора-быз автобыс-га!» И сразу из юрты ручейками побежали малые дети — много-много, мелкие-мелкие. Куда спешат?

Сорок был молодой, неопытный. Даже трещать пока не умел. Только головой вертел туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. И тут из юрты акя выходит — старенький, настоящий, про которых всякое пишут, никогда не знаешь — что от такого ждать.

Вот он встал посреди степи, шапку снял, лысину обтёр длинным рукавом халата, который был на нём, и улыбается. А зачем?

Сорок затаился, смотрит исподлобья. Что будет? Дети-то кончились! Акя опустил руку свою в карман и достал оттуда часы маленькие золотые на блестящей цепочке из неизвестного металла жёлтого цвета. Ах, какие часы славные он достал! Крутятся они на цепочке туда-сюда, качаются вверх-вниз, солнечный свет источают во все стороны. Сорок совсем уже, совсем невозможно на ветке устраиваться, лететь надо, часы хватать.

Полетел. Схватил. Потащить хотел, а акя не отпускает цепочку, держит её крепко-крепко. Поймал он сорока и учить его начал сразу: как жить, куда деньги девать, когда дети из школы вернутся — как они ему, сороку, обрадуются. Всё рассказал.

Сорок всё равно ничего не понял. Во-первых, потому что испугался. Во-вторых, он по-человечески слов не понимает. В-третьих, потому что детей опять увидел, потому что автобыс-га поломался, а до школы ой как далеко, и никто не пошёл.

Вернулись дети, а шурпа уже готова, дымится в мисках. Сразу всю съели, не дали остыть. Сорок совсем раскис. Сидит на плече у аки, притворяется, будто он беркут гордый нестреляный, хотя сам ничего не понимает, вот-вот в обморок упадёт. А часики акя подальше спрятал — в другой карман. У него их два на халате, и оба без единой дырочки: муха не проскочит.

Дети опять в степь утекли. Там хорошо: ветер шумит, сухая трава волнуется, дерево-чинара гнётся и скрипит, счастия не ищет, бежать не может. Походил акя с сороком на плече, как с ружьём, уму-разуму поучил и на волю отпустил: лети-лети, сорок молодой, хватай добычу, терзай её клювом могучим, надоел ты мне, ничего не знаешь — зачем живёшь?

И полетел сорок молодой дальше от юрты, в дикой степи стоящей, от детей, визжащих возле чахлой чинары, от аки, умудрённого халатом своим волшебным, от автобуса без мотора и колёс, прямостоящего несмотря ни на что, — далеко полетел.

Что встретится ему на пути? Куда занесут его молодые неопытные крылья? Что увидят его круглые маленькие глаза, когда брызнет в них великое Тенгри-небо струями свежего молочного туманного утра? Ничего он не знает. Летит сорок…

Господи, да как же это хорошо — не знать ничего!

Цветок Чжэнь

Китаец Ляо всю жизнь мечтал о цветке Чжэнь. Когда он был ещё маленьким, мама Ляо часто рассказывала ему сказку о прекрасном цветке, который невероятно красив, нежен и благоухает так, что люди больше не в состоянии ссориться друг с другом. Они становятся учтивыми к старшим, интересуются здоровьем близких и стараются помочь каждому на своём пути. О таких хороших людях мама говорила: «Они знают запах цветка Чжэнь». Отец Ляо ещё до рождения сына ушёл к далёким горам и не вернулся. Взрослые изредка поговаривали, что он пытался что-то найти, чего нет в обычной жизни…

А однажды большая белая птица унесла мать Ляо в заоблачные края, откуда никто не возвращается, потому что там всем хорошо. Так сказали ему добрые соседи… У Ляо не было ни сестёр, ни братьев, ни дядюшек, ни тётушек, он остался совсем один. Много страданий пришлось перенести ему в жизни, много счастья и любви встретилось ему на земле. Выросли его дети и внуки. И появились у внуков правнуки… И все почитали его за мудрость, доброту и благочестие. И настал час, когда большая белая птица прилетела за ним.

— Ляо, тебя ждёт мама, — сказала она.

— Хорошо, — улыбнулся Ляо. — А мой отец? Он будет там с нами?

— Нет, Ляо,—ответила птица.
— Он не помнит о нас?
— Помнит, Ляо. Но там его нет.
— Теперь, когда я улетаю с тобой, расскажи мне: что случилось с отцом? Почему он не вернулся домой?
— Ляо, твой отец—великий человек. Он не только знал о том, что ты должен родиться. Он предвидел твою мечту о цветке Чжэнь и хотел добыть его для тебя и мамы.
— Он любил нас,—вздохнул Ляо.
— Далеко-далеко отсюда, за мёртвыми горами Тянь-Фэй, на берегу тихого бездонного озера Шинь-Цу, у подножия волшебной скалы Минь-Дао, похожей на выпавший зуб дракона, там—возле самого входа в глубокую мрачную пещеру, где обитают демоны тьмы,—твой отец увидел и сорвал чудесный цветок Чжэнь. В тот же миг застонала, зашевелилась под ним земля, и огненный ветер полыхнул ему в лицо. И вздрогнули мёртвые горы Тянь-Фэй, и обрушилось на свои берега озеро Шинь-цу, и пробудились, вышли из древнего мрака демоны тьмы, оберегавшие покой священного цветка Чжэнь.
— Они убили моего отца?
— Нет, Ляо, нет. Владеющего священным цветком Чжэнь невозможно убить никому.
— Они отняли у него цветок?
— Ни угрозами, ни силой, ни колдовством, ни хитростью—ничем невозможно лишить цветка Чжэнь того, кто им обладает. Только он сам по своей доброй воле может передать его другому. И никто—ни на земле, ни под землёй, ни на небе—не в силах изменить этого. Демоны знали о том и сделали всё, что было в их власти: они заточили твоего отца в самой тёмной и мрачной подземной темнице, а вход в неё завалили волшебной скалой Минь-Дао.
— Почему демоны тьмы так поступили с моим отцом?
— До тех пор, пока люди творят на земле зло, ссорятся и губят друг друга,—демоны бессмертны, потому что происходят они из тьмы человеческой: из чёрной зависти, лютой злобы, горьких обид и беспросветного отчаяния. Но демоны не властны над цветком Чжэнь… Твоя мама была права, Ляо: если у людей появится этот цветок, они перестанут ссориться между собой, и тогда демоны тьмы сгинут навсегда. Ни исполинские силы, ни колдовские чары не способны помочь человеку, разыскивающему заветный цветок, но искренняя, добрая душа сама чувствует дорогу к нему, а бескорыстное сердце и несгибаемый дух одолевают любые препятствия… Непрост цветок Чжэнь, и не каждому, кто его найдёт, он позволит сорвать себя, но лишь тому, кто хочет сделать это из любви к другим людям и ко всему живущему на земле… Таков твой отец, Ляо. Всё, на что способен один человек, он совершил.
— Могу ли я помочь ему?
— Нет, Ляо. Ни ты, ни кто другой из людей—не в силах поднять скалу Минь-Дао, заклятую демонами тьмы.
— Значит, нет никакой надежды?
— Есть, мудрый Ляо. Цветок Чжэнь рождён любовью и не погибнет до тех пор, пока она есть: любовь матери к своему ребёнку, любовь юноши к возлюбленной, любовь детей к своим родителям, любовь каждого живущего на земле ко всему сущему и ко всем, кто нуждается в любви. А нуждаются в ней все, Ляо. И она будет всегда. Когда все живущие поймут это, демоны тьмы сгинут сами собой. И скала Минь-Дао исчезнет. И зазеленеют, зацветут мёртвые горы Тянь-Фэй, и станет ласковым и тёплым озеро Шинь-Цу…
— Ты можешь подождать меня немного, белая птица?
— Да, Ляо. Я подожду.

И тогда Ляо созвал всех своих детей, внуков и правнуков. А когда все они собрались, он поведал им то, о чём рассказала белая птица.
— Я созвал вас, чтобы попрощаться со всеми,—сказал Ляо.—Живите же на земле, заботьтесь о ней и любите всех, кто живёт на ней. Если есть у вас враги, простите им и предложите помощь. Откройте ваши сердца миру и сделайте так, чтобы одна лишь любовь была в нём повсюду. И однажды в вашу дверь постучится улыбающийся молодой человек, а в руках у него будет невероятно красивый, нежный, благоухающий цветок Чжэнь. Скажите ему, что ваш дедушка Ляо всегда помнил о нём и любил его. Скажите ему это, когда он придёт.

Маленькое море

Жили-были две слезинки-близняшки, каждая в своём глазу. Жили они, не тужили, и не только не знали, что у каждой из них есть сестричка, но даже и не подозревали, что сами-то они есть. Ничегошеньки они не знали и были счастливы.

Но однажды глазки сильно-сильно заморгали, крепко-крепко зажмурились, и скатились слезинки к самым краешкам глазок, а потом не выдержали и побежали нечаянно. И вот добежали они до носика, а с него—до щёчек, а со щёчек—к уголкам раскрытого ревущего ротика, а оттуда—к подбородку. Подбородок был маленький, детский, слезинки увидели на нём друг друга, подбежали, обрадовались, поцеловались, обнялись и стали одной слезинкой, только чуть побольше.

Увидела слезинка далеко-далеко внизу землю да как прыгнет с подбородка, как полетит к земле! Упала она, растеклась немного и превратилась в тёплое солёное море, только очень-очень маленькое море, совсем маленькое, но всё-таки настоящее. Завелись в море рыбки всякие, хвостиками замахали, гуляют туда-сюда, от берега к берегу.

А слезинка сохнуть начала. Особенно когда в море завёлся кит. Он был такой огромный, что только махнул хвостищем и сразу выскочил на берег. Мечется кит по берегу, воды просит, а маленькое море совсем уже крохотным стало, берега солью покрылись. И вдруг откуда-то сверху прилетели мелкие брызги. Обрадовалось море, стало их глотать, как таблетки, целыми горстями, от высыхания лечиться. Заплескались радостные волны, и вот уже хлынули к ним гости небесные—капли дождевые, много-много…

И стало море огромным—с целую лужу! Рыбы, киты, кальмары—все-все в море вернулись и начали танцевать. Потом у них у всех появились китята, кальмарята и прочие весёлые рыбята.

А вечером после дождя море под луной успокоилось и уснуло. И снилось ему всю ночь, что оно—маленькая слезинка на детской щёчке. Маленькая-маленькая, как звёздочка, потому что в ней отражается луна, а ещё звёзды, и всё-всё небо вокруг, и вся-вся земля. И мы больше никогда-никогда не будем плакать, правда, малыш? Прости меня, прости, прости, прости…

Жила-была Москва…

Жила-была Москва. Шумела, веселилась, плакала, а внутри неё, в самой серединушке, Кремль сидел. Алмазный, красный, сахарный. Любила его Москва, ох и любила, и холила, и ругала на чём свет стоит. Своё ругала, родное, кровное, не жалко.

Шли на Москву обозы боярские со всякой снедью и всячиной. Громыхали, волоклись к ней армии иноземные: когда не солоно хлебавши, а бывало, что и: «Милости просим! Как так? Что ж вы—уже уходите? Ну и слава Богу!»

И опять сиял над Москвой звон кремлёвский, малиновый, сверкали кресты золотые, светились по ночам звёзды-яхонты червчатые.

Хорош Кремль московский, ой хорош-то как! Понизу река Москва течёт, молочная да сметанная, с берегами кисельными, а на самом верху Иван Великий, белокаменный, в шапке золотой, кругом себя церквами-храмами колосится. И дивятся-любуются князья да цари московские с порога Архангельского собора на этакую красоту: и Калита Иван, и Красный Иван, и Василий Тёмный, и Великий Третий Васильевич, и Четвёртый Грозный, и Донской Дмитрий, и другие, другие, другие многие рядом с ними…

И восходят они в палату Грановитую, и через Святые сени во Владимирский зал. И всё-то им любо теперь, всё им дорого, и вот пекутся они обо всём, и за всё страдают, и прощения у всего просят, и молятся о каждом… И так—вечно.

А люду всякого по Кремлю—видимо-невидимо: что на Соборной площади, что на Ивановской, что на Сенатской, что на Дворцовой, что на Троицкой… Трепещет народ от красоты несказанной, ломает шапки пред собором Успенским, кланяется Благовещенскому, палатам Патриаршим, на церковь Ризположенскую крестится. От темна до темна текут ручьи людские в Боровицкие ворота, а из Спасских—вытекают. А навстречу им другие—в обратную сторону. И маленький капрал в круглой чёрной фетровой шляпе с трёхцветной кокардой всё бежит, всё бежит к Тайницкой башне, всё прячется от глаз людских. И опять некуда ему деваться…

А в фонде Алмазном древний подвальный холод сторожит сокровища невиданные. Сверкают отовсюду великие россыпи алмазные, изумрудные, рубиновые да сапфировые. Дремлют огромные самородки златые да платиновые. Несметные драгоценности, каких ни одна красавица ни в одном столетии не имела и не носила, на полках бархатных томятся. А возле регалий императорских глядит Грибоедов на всех приходящих, глядит на них, глядит, дивного покаянного шахского алмаза в упор не замечает…

И тут же, рядом, в Оружейной палате,—доспехи чудесные, оружие бесценное, честь и гордость Кремля, и Москвы, и всей Руси великой…

И жила-была Москва. И живёт поныне. И будет жить, будет—пока алмазный, красный, сахарный Кремль дышит в ней колокольным звоном, а с тверди небесной взирают на него тёплые живые материнские глаза. Те самые—что над входом в Успенский собор…

Златые рыбки

Пришёл старик к синю морю, закинул удочку. Авось златая рыбка клюнет. Кидал, кидал, ничего не выкидал. Осерчал старик на сине море и домой ушёл.

Дома старуха пилит его, пилит, никак распилить не может. Сидит старик на лавке: бревно бревном, стары очи насупил, молчит.

Осерчала старуха, рукой махнула и к соседке подалась—косточки знакомым перемалывать. А старик встал с лавки, сети из сарая вынес и опять к синю морю пошёл. Ловил златую рыбку, ловил, и так и этак в сети приманивал—без толку всё. Не идёт златая рыбка в стариковы сети, издали смотрит, над старым потешается. Сел старик на бережок, на самый краешек, и заплакал от горя. Слёзки горючие солёные стариковы в море капают.

Замутилось сине море от слёзок стариковых. Заволновалось. Волны ходуном пошли. Туда-сюда. Сюда-туда. Закачалася златая рыбка на волнах. Вглубь уйти хотела, а её опять наверх вынесло и понесло прямо к берегу.

Очнулся старик от слёз, когда всю душу выплакал, огляделся вокруг: батюшки мои! Златых рыбок вдоль берега прыгает по песку—видимо невидимо! Лови—не хочу.

Отвернулся гордый старик от рыбок златых и домой собрался. А рыбки рты разевают, просят

старика сжалиться, в море их повыбрасывать. Уж так жалостливо просят, аж сердце разрывается!

Вернулся старик, стал рыбкам златым помогать в море вернуться. Он их—в воду, а море их обратно на сушу выбрасывает, не принимает назад свой же товар. Так бы и препирались они, если б дождь не пошёл. Сначала крапало просто, потом по-серьёзному лить начало, а следом как захлобыщет со всех-то сторон—свят-свят-свят!

С молниями! С громом! Старика насквозь промокло! Прыгает старый по лужам-то, от воды убегает. А златы рыбки рады-радёшеньки: море-то большим-пребольшим сделалось, воды кругом—немеряно! И утекли они с водою восвояси—счастливые. Старика добром поминают. Старуху—и ту простили на радостях.

А старик домой прибежал, печку растопил, рубаху с себя снял, отжал, сушиться повесил. С рубахи пар солёный идёт. На печи чайник попыхивает, в заварном—заварка свежая томится. Старик смотрит в окно на сине море и книжку А. С. Пушкина перечитывает. А там всё-всё—правда. Так оно и было. Как сейчас помню…

Шарик

Один воздушный шарик очень расстроился. Он где-то услышал, что ещё при рождении его надули! Шарик решил выяснить, кто его надул. Разобраться раз и навсегда: зачем это шариков надувают? И кто это вообще придумал, что без надувательства жить нельзя?

— Вот найду того, кто меня надул, и всё ему обратно верну. Мне чужого не надо!—возмущался шарик.

Пошёл искать. По дороге пытался даже сдуться от возмущения. Ничего не получилось. Нитка мешает. Этот, который его надул, хорошие узлы вяжет, никак не справиться. А может, он моряк? Морские узлы—это о-го-го! Никто, кроме моряков, такие не делает.

Добрался шарик до моря. Видит: корабль плывёт морской, настоящий.

— Эй, там, на корабле! Ну-ка признавайтесь: кто меня надул?

— А чем надували?—интересуются на корабле.

— «Чем-чем»! Воздухом! Чем ещё-то?!

— Ну, это не к нам! У нас флот морской, а не воздушный! Мы тут ни при чём!

Ясненько. Полетел шарик выше облаков, воздушный флот искать. А навстречу как раз самолёт. Мимо прошмыгнуть пытается.

— Кто тут меня надувал? Быстренько говорите, пожалуйста!

— А как надувают, ты хоть знаешь? Надувают губами! Слушай, старик, ты у самолёта губы хоть раз видел?

— Нет!

— То-то же! Ищи, брат, духовой оркестр! Они всё дуют губами! С ними и разбирайся!

«Ах ты! Что ж это я сразу не сообразил?»—подумал шарик и помчался за духовым оркестром. Их издали слышно, никуда не спрячутся. Подлетает к музыкантам:

— А ну признавайтесь: кто мой отец? Кто меня надул?

А в ответ—смех один. Девчоночий. Оркестр-то, оказывается, женский. Нету там отцов. Вот это да! Совсем шарик загрустил, опустился до самой земли, катится еле-еле—весь в печали. Некуда ему больше торопиться. Смотрит: мальчик сидит на скамеечке в парке и горько плачет.

— Мальчик, перестань сейчас же! Мне и так грустно, тут ты ещё плачешь. Что такое? Что случилось?

— Как же мне не плакать? У меня шарик пропал! Только я с ним поиграть хотел, как подул ветер и унёс его куда-то! Бедный мой шарик, он там совсем один теперь! Кто с ним будет играть? Кто его будет за ниточку держать? Кто его домой принесёт? Кто с ним поговорит по-человечески? Кто им с сестрёнкой поделится? Ой-ёй-ёй!

— Не плачь, мальчик! Не горюй. Давай я буду твоим шариком. Я вижу: ты хороший мальчик, добрый.

Обрадовался мальчик. И шарик обрадовался. И забыли они с тех пор про свои обиды и горести. И мальчик стал самым счастливым на свете. Много ли ребёнку надо: был бы шарик. А шарику тоже хорошо: это же так здорово, когда ты можешь сделать кого-то счастливей. Пусть хоть сколько раз надувают…

Сказка о голосе на ветру

Однажды поспорили два короля: чья земля лучше? Чьё солнце выше? Чьё небо краше?

Смешные они, эти короли, правда? Нашли о чём спорить! Тут и спорить-то не о чем: все знают, что наше небо краше всех, наше солнце выше всех, а уж лучше нашей землицы—во всём свете не сыскать! Потому что всё это наше. А как там у них—нам даже неинтересно.

Нет, ну не совсем неинтересно, но так—чуть-чуть. Вот если бы оно было хоть чуточку нашим… Тогда другое дело. Тогда уже поинтереснее.

— Отдай мне свою страну,—говорит один король другому,—тогда я точно признаю, что она, по крайней мере, не хуже моей.

— Это почему же я тебе свою страну отдать должен?—возмутился второй король.

— А у меня армия больше твоей! На одного твоего воина у меня—тысяча моих. На каждого жителя твоей страны у меня—сто солдат! Будешь перечить—всех вас перебью!

Ой-ёй-ёй-ёй-ёй! Как же не стыдно первому королю! Ушёл он домой, дверью хлопнул, не попрощался даже, сказал только, что утром вернётся с войсками и всё отберёт.

Загоревал второй король. Война — невесёлое дело, когда не понарошку. Вызвал он знакомую фею и говорит:
— Любезная, пожалуйста, сделай так, чтобы мы победили. И чтобы никто не пострадал от этой войны. Чтобы все после сражения домой целыми вернулись. Даже наши враги.

Так сказал король потому, что на самом деле он был очень добрым и никогда никому зла не желал.

Задумалась фея, а потом и говорит:
— Хорошо, мой король, пусть будет по-твоему. Но ты ведь знаешь, что такое настоящая война? На настоящей войне обязательно хоть кто-то должен погибнуть. Иначе она — ненастоящая. Ты победишь. И страна будет ликовать и прославлять тебя, победоносного короля. И никто в стране не пострадает. И никто из врагов твоих тоже не пострадает. Погибнет только один человек…
— Кто? — дрогнувшим голосом спросил король.
— Твой сын, — чуть слышно ответила фея.
— Почему? — простонал побледневший король. — Почему именно он? Почему не я? Почему не кто-то другой?!
— Твой сын — храбрый мальчик. Он очень любит своих родителей и свою родину. Ты знаешь об этом. А война — это потеря. Война всегда забирает самое дорогое, то, что дороже собственной жизни. Ты не отдашь врагам свою родину ни за что. Значит, ты должен заплатить за это самым дорогим для тебя, мой король… Иначе не бывает. Никогда не бывает.
— Да что же это такое?! — вскричал король от горя. — Почему? Почему так?! Пусть приходят и забирают всё, пусть! Я — не король! Я — просто отец! Просто отец… Мне ничего не нужно! Оставьте, оставьте мне моего ребёнка! Оставьте мне сына!
— Если враги придут сюда, ты знаешь, мой король, что они не пощадят никого. Им нужна ваша земля, ваше небо, ваше солнце. А люди им не нужны. У них достаточно своих людей. Крепись, мой король. И поступай — как знаешь.

Настало утро. Огромное грозное вражеское войско колыхалось, словно океан, на одном краю горизонта, а напротив него недвижно стояло маленькое войско короля. И впереди в сияющих доспехах гарцевал принц на белой лошади — с чёрной чёлкой и красивыми большими ресницами. Возле шатра на походном стульчике сидел молчаливый бледный король.
— Не бойтесь, ребята! Мы победим! — бодро воскликнул принц. — Их много, но наша любовь к родине гораздо больше их числа и их силы! Видите, они волнуются, как море, а мы спокойны, как скалы. Смотрите, смотрите: я их сейчас совсем напугаю!

Принц, как озорной задиристый мальчишка, достал из кармана рогатку, вставил в неё золотую монету, прицелился и запустил ею в сторону вражеского войска.

Монета полетела, сверкая на солнце, как молния. Она летела высоко-высоко и долго-долго, пока не упала далеко-далеко за горизонтом… Всё вражеское войско наблюдало за этим странным явлением. Зоркие глаза одного из солдат успели заметить место, куда упала сверкающая монетка. Он тут же сообразил, что это такое, и решил потихоньку подобрать её. Ну а как это потихоньку сделать? И солдат рысцой на цыпочках побежал к монетке, поблёскивавшей в траве.

«Куда это направился мой сосед?» — подумал стоявший рядом другой солдат и из любопытства последовал за ним. Их командир заметил, что двое солдат куда-то срочно улизнули из строя. С криком:
— Вы куда?! Ну-ка назад! — он помчался за своими подчинёнными.

Тут весь отряд заметил, что трое куда-то бегут, но не на поле боя, а совсем в другую сторону. Оставшиеся без начальства, солдаты этого отряда решили, что командир их куда-то срочно зовёт, а они просто не расслышали, и в полном составе все ринулись следом. Соседние отряды и целые полки заметили такое передвижение, некоторые даже кинулись вдогонку, чтобы вернуть этих трусов и беглецов… Но поскольку команды ни от кого никакой не было, а все ждали начала сражения, то возникла неразбериха, командиры вражеских армий говорили на разных языках и не понимали, что происходит. Переводчики сходили с ума, пытаясь что-то им перевести. Кто-то крикнул:
— Нас окружают! Противник зашёл с тыла!

И вот тут уже началась настоящая паника!

Через десяток минут всё огромное вражеское войско вдруг распалось на части, разбегающиеся во все стороны от маленькой победоносной армии молодого принца.

В ярости и бессилии метался по полю вражеский король, пытаясь собрать разбегающуюся гигантскую армию, но пока он собирал одних, другие рассыпались, как песок сквозь пальцы, а когда он устремлялся за ними, начинали разбегаться те, кого он только что с трудом собрал… И он остался один. Тогда он подобрал с земли чьё-то брошенное ружьё, зарядил его и выстрелил в сторону маленькой армии принца. А что он ещё мог сделать? Ведь он, грозный завоеватель, проиграл войну какому-то мальчишке.

Звук выстрела далеко разнёсся над полем.
— Сынок! — закричал побледневший отец принца и схватился за сердце, как будто пуля попала именно в него.

Сын обернулся к отцу, улыбнулся и кивнул ему, прижав руку к груди, а потом крикнул своим солдатам:
— Вперёд, друзья мои! За родину!

И маленькая армия ринулась вперёд. И отец встал и тоже побежал вперёд. Побежал к сыну. Но

белая кокетливая лошадка унесла принца далеко-далеко, пешком не догнать.

Было много пленных, много трофеев, и никто не погиб, и злой король раскаялся, и все были прощены, и все были счастливы. Было огромное торжество с тортами и фейерверками, с парадом и танцами, с песнями и играми, со всем, что так любят люди, когда радуются.

Только не было короля на этом празднике. Он извинился перед людьми и сказал, что больше не может быть королём. Он сказал, что ему надо найти сына и его лошадку, которые так и не вернулись с большого-большого поля.

С тех пор он всё ходит и ходит по полю. И зовёт, и зовёт… Может быть, и самого уже нет давно, а голос остался. Слышите: ветерок вдали шелестит? Далеко-далеко… Это он… Я его часто слышу, особенно ночью…

Сказка про кильку

— Здравствуйте, килечки!
— Привет, сетка! Привет!
— Идите сюда, мои хорошие! Давайте дружить!
— Нет, не пойдём, сетка! Не пойдём!
— А почему, сладкие мои?
— Нам мама не разрешает к тебе подходить! Нет, не разрешает!
— Ну, правильно! Маму надо слушаться! А вы мимо проскользните, я посмотрю!
— Мимо можно! Про мимо мама не говорила…
— Ай, какие хорошенькие! М-м-м-м! Плавнички от горлышка! Сами стройные! Чешуечки блестят, серебрятся на солнышке… Красавицы!
— Да-а, мы такие! Да-а-а…
— Ах, бедные вы мои! Жалко мне вас!
— Почему жалко? Это почему?
— Такие хорошенькие, стройненькие, глазки навыпучку, хвостики аккуратные, а в чём плаваете-то, бедняжечки мои?! Оглянитесь вокруг! Срамота!
— Как срамота? Где? Почему?
— Ну ответьте мне на вопрос: в чём вы плаваете? Что видите вокруг?
— Как в чём? Как это? В воде плаваем. Да! Водоросли вокруг, вот…
— Э-хе-хе… То-то и оно! А вы золотую рыбку видели? Знаете, почему она золотая? Не знаете?
— Нет, не знаем! Не знаем, нет! Расскажи…
— То-то и оно, девоньки, что не знаете. Вы гляньте на неё повнимательней. Пузо отрастила — хуже некуда. Глаза чуть не из орбит вылезают. А что золотая она — так это от масла. Да-да! Не удивляйтесь! Это вы, простые смертные килечки, в обыкновенной морской воде плаваете, а она, царица морская, — в масле купается. В шаре масляном по морю перекатывается под охраной морских коньков. Близко же никого не подпускают, вот всем и кажется, что она — золотая. Да! А ещё как губки томатной пастой подкрасит, так раки глупые аж в обморок падают, влюбляются, с ума по ней сходят. А вы с неё косметику-то сотрите, из масла выньте — и что? И где ваша рыбка золотая? Вот когда все со страху-то разбегутся! Уродища!
— Ой, правда, что ли? Ой, да не может быть!
— Плаваете вы, плаваете в водичке сырой, пощипываете свои кислые водоросли, туда, сюда… так и состаритесь, бедняжечки мои! Так и помрёте, красоты своей не видевши!
— Ой, что ж делать-то?? Ох, не судьба, сестрички! Тоска-а-а…
— Да, девочки! Жизнь рыбья такова, что как вспомнишь всё, так бы и утопилась где-нибудь. Только и для этого нет у вас никакой возможности. Вот какие вы несчастные. Хлебаете горя горького моря-океаны
— Да, несчастные мы! Да, уж так оно и есть. А что делать?..
— Знаю я одно местечко, девчонки, вот где жизнь царская: в масле будете плавать, а кто захочет — даже не в масле, а в томатном соусе, а то даже в майонезном, и с укропчиком, и с лимончиком, и с чесночком! Кому что нравится, тот тем и будет развлекаться! Это вам не то что здесь — простою водой жизнь разбавлять!
— Ой, пойдём туда! Пойдём скорее! Ой, я прямо не могу сейчас терпеть!!!
— Стоп! Стоп, стоп, стоп!! Девушки! Количество мест ограничено! Всех я за один раз забрать не смогу! Кому-то придётся подождать! А что вы хотели? Сразу и все? Нет, голубушки, кто хочет счастья, тот должен уметь терпеть! Тем оно слаще будет потом!
— Как не поместимся? Я! Я, я, я, я!!! Меня возьми! Ой, сетка вверх поднимается, ой, не успе-е-ели!
— Ничего! Ты слышала? Она сказала — вернётся. Надо набраться терпения.
— Да, сестричка, да! Мы будем терпеть и станем потерпевшими, когда сетка вернётся, а потерпевших всегда вперёд пропускают, так ведь?
— Так, не так — не важно! Главное — надо стоять и ждать, вот ты и стой, а я пойду остальных приведу, мало ли что, ещё в водорослях заблудятся где-нибудь…

Притча о милосердии

Пришёл Бармалей и сказал:
— Здравствуйте!
— Фу, какой злой! Какой противный! — ответили дети и отвернулись.

Бармалей нерешительно потоптался, обошёл детей, снова стал лицом к ним и робко произнёс:
— Я не злой… Я добрый. Я больше не буду. Ни-ко-гда!
— Уйди, ты противный обманщик, ты прирождённый негодяй. Тебя надо наказать. Крепко наказать!
— Уже наказали. Крепко-крепко. Я весь срок отсидел по-честному, от звонка до звонка. Я всё понял.

Всё осознал. Во всём раскаялся. Я плакал каждый день! Я теперь другой совсем. Добрый и кроткий.
— Уходи, разбойник! Тебе здесь не место! Мы порядочные дети, нас предупреждали! Не проведёшь. Прочь от нас!
— Дети!.. Ну деточки! Ну пожалуйста! Не гоните меня. Пожалуйста! Не делайте из меня прежнего Бармалея. Я не тот. Не тот! Я не хочу быть тем! Мне так одиноко… Пожалуйста…

Но дети больше его не слышали. Потому что он стоял, опустив голову, а они давно уже ушли. Ровным строем. Далеко-далеко. Туда, где не слышно человеческого голоса.

Удав

Один удав ни с кем не считался. Во-первых, потому что большой и длинный. Во-вторых, потому что неграмотный, читать-считать не умел. А в-третьих, потому что спал. Посмотри в окно. Видишь, какая погода? Вот он как раз в такое время всегда спит. А как можно с кем-то считаться, если ты спишь? Никак. Удава хорошо кормили, чтобы он не нервничал. Хорошо — это когда сразу много. Поэтому он крепко спал и ни с кем не считался.

Однажды приехал цирк. Смотрят: удав лежит — спящий. Увезли. Стали в цирке показывать и фотокарточки делать: как он спит рядом со зрителями в антракте. Люди в восторге. А он спит — ни с кем не считается. Все удава уважали: денег много зарабатывает, большой, солидный. Некоторые дети иногда его даже будить пытались, но взрослые были начеку. Тут же уводили детей кушать мороженое. Потом к нему так привыкли, что перестали замечать. И фотокарточки перестали делать. Зачем? У всех есть, а одно и то же кто будет снимать? Никто. Цирк с ним поездил, поездил и потерял его нечаянно.

Долго-долго лежал удав. Так долго, что даже проснулся. Смотрит: кругом не то, и еды нет. Начал нервничать. Никого. Ладно. Тогда он пополз. Ползёт и думает: «Куда все подевались? Где еда?» И спросить некого. Все ушли, он же ни с кем не считался, когда спал сытый.

И вдруг кто-то идёт. По земле шаги слышны. Удав так обрадовался, думал — еда! А еда увидела удава, испугалась, что он не спит, и побежала от него. Удав погнался за едой, а то спать совсем уже невозможно. Еда бежит быстро, прямо скачет и кричит:
— Помогите, люди добрые! За мной удав гонится, съесть хочет! А-а-а!

Точно! Догнал и проглотил сразу целиком.

Собрался удав спать, а не может. Чувствует, как еда бегает внутри туда-сюда, никак не успокоится. Только рот открыл от удивления, как она тут же обратно выскочила и убежала. Заплакал удав от горя-досады, раскаялся, что ни с кем раньше не считался и в школу не ходил. Поплакал и пошёл в школу. Там, в столовой, его и кормят теперь. Век живи — век учись…

Сказка про печаль

Жила-была одна очень печальная печаль. Ходила она никому не нужная, мучилась, слёз нарыдала море-океан, подошла к морю своему и решила в него броситься. Разбежалась хорошенько, чтобы поглубже упасть, споткнулась и упала. Не в море, а там, где споткнулась. Собралась толпа народа смотреть, как печаль топится. Хохочут, радуются, подмигивают друг другу. Встала печаль, губки надула: уйдите, говорит, а то топиться перестану.

Все сразу разбежались.

Сняла она туфли, дорожку беговую свою почистила, чтобы больше не спотыкаться. Разбежалась. Бултых в воду. И плывёт. Забыла, что плавать умеет. Народ приуныл. Уйди от нас, кричат, обманщица!

Стыдно стало печали. Решила она со стыда сгореть. Набрала стыда хворостом вязанок двести. Или триста. Никто не считал. Подожгла. Ждёт. Стыд горит. А она нет. Вот позорище-то какое!

Ходит печаль несчастная туда-сюда. Глаза мозолит. Нехорошо как-то. Дали ей зеркало, чтоб в глазах не рябила: туда, мол, смотри, на нас не зыркай.

Уставилась печаль в зеркало. В воде не тонет, в огне не горит, и народ от неё тоже не в восторге. Куда деваться? Молодая ведь ещё, а уже вся такая изрёванная. Пошла в парикмахерскую — причёску менять. Меняла-меняла, всех умучила, то на то и вышло.

Выходит из парикмахерской — никакая. Видит: девочка во дворе на качелях качается. Что такое печаль — не понимает ещё, потому что мала. Улыбается она печали, ну, той деваться некуда: тоже в ответ улыбнулась. Хочешь со мной качаться? Садись рядом.

Стали они вместе на качелях качаться. Вверх, вниз. Девочка ей смешные рожицы корчит и хохочет сама. Та поначалу подыгрывала девчонке, а потом и сама так разошлась, так ухохоталася вся, просто удержу никакого нет. Народ опять собрался. Диву даются: кто это на качельках детских? Явно никакая не печаль. Смех, да и только.

Девочка подружку свою за руку взяла, и побежали они вместе цветы-одуванчики собирать. Хохочут обе. Потому что нет печали никакой. Только радость.

Элиза

В те далёкие времена, когда корабли водили, ориентируясь по звёздам, а уходя в море, ещё не знали всего, что может встретиться на пути, в одной прекрасной приморской стране жил принц, единственный наследник трона. Он с детства любил корабли и мечтал о дальних морских странствиях. Родители наняли ему лучших учителей, опытных

морских капитанов, и когда мальчик стал юношей, он уже многое знал и умел в морском деле.

Однажды, после учебного плавания неподалёку от дома, он взял удочку и пошёл на берег порыбачить немножко. Ему нравилось рыбачить. А поскольку парень он был очень самостоятельный, то ходил на рыбалку один, без придворных. Однако клёва не было. Мало того, появилась девчонка-подросток из ближней рыбацкой деревушки, которая начала насмешничать над неудачливым рыбаком. Она язвила так метко, что в конце концов вынудила принца бросить удочку и уйти. Но, уходя, принц воскликнул, обращаясь к обидчице:

— Сегодня мне просто не повезло! Я — отличный рыбак! Приходи завтра на это же место и сама увидишь, сколько я наловлю рыбы одной удочкой!

В ответ девушка опять громко рассмеялась. Вечером следующего дня принц, чья гордость была явно задета, взял свою самую лучшую удочку и отправился на берег в то же место. Там никого не было. Юноша подождал, потом пожал плечами и начал рыбачить просто так, не на спор, а в своё удовольствие. В этот раз клёв был отменным. Уже поднялась над морем луна, когда увлечённого рыбалкой принца окликнул знакомый голос:

— Меня зовут Элиза. Прости, что вчера посмеялась над тобой. Я была неправа…

Так принц познакомился с Элизой. Она была сиротой, отец не вернулся с моря, мама долго болела, а потом её не стало. Принц полюбил Элизу всем сердцем. Сразу. И она его тоже. Но они не решались сказать об этом друг другу. Такой трогательной и нежной была их первая любовь…

Он даже не сказал ей, что он — принц. Постеснялся обидеть. Она ведь могла и не поверить. А она и не спрашивала, где он живёт и можно ли прийти в гости. Гордость ей этого не позволяла. Они часто бродили вдоль берега или сидели и наблюдали за луной над волнами, а иногда и за восходом солнца. Им было хорошо вместе.

Но наступил день, когда король поручил ему возглавить один из четырёх кораблей, отправлявшихся в далёкое путешествие — открывать новые земли и новые моря-океаны. Принц мечтал об этом с детства, и потом — это было поручение самого короля, нельзя было отказаться — даже ради любимой девушки.

Ему пришлось обо всём рассказать на их последнем свидании. В конце своей речи взволнованный принц признался Элизе в любви и попросил её руки. Девушка была счастлива и печальна одновременно. Она согласилась стать его женой, когда её любимый вернётся из дальних странствий, и обещала ждать его, сколько бы ни продлилось это его путешествие.

Наутро принц уплыл вместе с лучшими моряками королевства. Они рассчитывали вернуться самое большее через год, но прошло три года, когда в королевском порту появился одинокий корабль — всё, что осталось от гордой флотилии. Бури, болезни и сражения с пиратами сделали своё дело.

Принц остался жив и благодаря полученным знаниям сумел по звёздам вернуть корабль домой. Все три года, пока он плыл на корабле и глядел на огромное звёздное небо, он вспоминал об Элизе… В стране, пока он отсутствовал, произошли горькие события. В те времена не умели спасаться от эпидемий, страшная болезнь уносила множество людских жизней. Не стало короля и королевы. Ещё не опомнившись от горя, принц, ставший теперь королём, направился к Элизе, чтобы исполнить своё обещание, у него больше не было никого, кроме неё. Но он не нашёл её там, где когда-то оставил.

В деревушке сказали, что Элиза тоже заболела, как все, но она выжила. Однако болезнь сильно обезобразила её лицо и тело. Девушка так страдала от этого, что однажды села в маленькую рыбачью лодку и уплыла в бескрайнее море. И больше её никто не видел.

— Не верю! — отчаянно закричал принц и взглянул на небо.

Небо стало беззвёздным для принца. Пустым и чёрным. Ни солнца, ни луны, ни единой звезды более не существовало… Он видел людей, видел всё вокруг, но не видел ни одного источника света! Он не знал, где она! Он не верил в то, что её нет, но не мог найти её нигде — ни на земле, ни на море… Где бы он ни находился, ему не хватало отца, матери и Элизы, любимой, родной Элизы!..

Однажды собрались у дворца старые моряки. Молодой король вернулся из плавания не с пустыми руками: корабли его флотилии совершили величайшие открытия, но путь к новым землям и океанам был известен только молодому королю. Они понимали, что он теперь не сможет вести корабли, поскольку не видит звёзд… И им придётся делать это самим, надеясь на сохранившиеся карты и записи прежней экспедиции. Но без дозволения короля ими никто не мог бы воспользоваться. Делегация моряков направилась к правителю страны.

Они рассказали ему о своих планах. Тогда он ответил им, что пойдёт в море вместе с ними. Никто из моряков не посмел напомнить молодому королю о его странной слепоте.

В назначенный день и час молодой король взошёл на борт нового корабля, носящего имя Элизы, и отдал приказ отплывать. И корабль двинулся в открытое море. Следом за «Элизой» двинулись и другие корабли. А король спустился в каюту и лёг спать…

Он проснулся среди ночи. Внезапно во сне ему показалось, что кто-то его зовёт. Он поднялся на палубу и вдруг увидел яркое звёздное небо! И лунную дорожку меж волн. А вдали на серебристых волнах темнела маленькая рыбацкая лодка.

«Элиза! Моя Элиза!» — мгновенно подумал король, и сердце его забилось так сильно, так радостно! Он снова видел звёзды! Он мог вести корабль! А там, впереди, отныне во время всего их морского путешествия то и дело возникала маленькая рыбачья лодка, и виднелась в ней тоненькая фигурка девушки, которая вечно ждёт, вечно любит и никогда не оставляет любимого.

Дурак

Жил да был дурак дураком. Ну как не стыдно! Большой уже, а ни ума, ни опыта житейского не нажил.

— Эй, дурак! — кричат ему.

Откликается, понимает, значит, кого зовут.

— У тебя деньги есть?

— Нету, — говорит.

И правильно, откуда у дурака деньгам взяться?

— А хочешь?

— Хочу! — кричит. — Очень хочу!

— Ну и хоти! — отвечают, а сами со смеху покатываются: вот же дурак какой.

Обиделся дурак. Ушёл куда-то. Ни с кем не разговаривает, на «ау» не откликается. А о чём ему с людьми говорить? Каждый обидеть его норовит, своё превосходство показать, поизгаляться над человеком. А он пусть и не слишком умён, но человек же, не камень. Грустно стало дураку. Захотелось ему камнем стать, истуканом, болваном каменным в чистом поле. И окаменел сразу.

Пришли люди. Смотрят: гранитное изваяние в поле стоит. Зауважали. Стали к нему цветы возлагать, а по праздникам рассказывать про него легенды всякие. Слушал дурак, слушал, и надоело ему это всё. Потому что неправда. Опять очеловечился и пошёл всякие глупости вытворять: рассказывать, как его все уважали, когда он был памятником.

А никто не верит, народ у виска пальцем крутит, детей к нему близко не подпускают. Хуже прежнего ему стало. Дубиной стоеросовой обзывают.

— Ах, так! — воскликнул дурачина. — Ну и быть по сему.

И стал дубом раскидистым с желудями на перепутье трёх дорог. И доску к себе приколотил с надписью «Дуб».

Сначала к нему свиньи набежали, за желудями. Потом их экологи отогнали. Заборчик вокруг дуба построили и надпись продлили: «Дуб настоящий, охраняется государством». Потом студенты начали приходить, школьники всякие. Все за дубом ухаживали. Даже зимой, в мороз.

Расчувствовался дурак. Опять людям поверил. Очеловечился и пошёл на самое главное телевидение всю правду о себе рассказывать. Там его приняли, выслушали, записали, поблагодарили даже. А через неделю всему миру показали передачу про ужасных монстров и чудовищ, то есть про него, про дурака.

После той передачи начали люди от дурака разбегаться. Куда ни придёт, все кто в двери, кто в окна с криками выскакивают. Спасенья ищут.

Помаялся дурак, помаялся и ушёл от людей навсегда. Так и сказал. И где он теперь, и кем стал — никто не знает. Нет у нас теперь дураков. Все умные. Вот и хорошо.

Только, знаете, не по себе как-то стало. Не по-людски мы ведь с ним-то, не по-человечески обошлись…

Может, вернуть его? Только подумали, а он, смотрите, бежит уже к нам вприпрыжку, рот до ушей, руками машет — соскучился! Хоть и говорят, что дурак дураком, а сердце — золотое, отходчивое. Сколько его ни обижали — ни на кого зла не держит.

Всем радуется.

Свеча, кочерга и облако

— Ай, голова моя совсем ессентуки!

— Что такое? Что произошло, свечка?

— Да грусть на меня напала, кочерга! А ты сама-то что вся выгнулась?

— Тоже нападение переживаю. Смех на меня напал, сил моих нет!

— Смотри, облако плывёт, еле тащится. С ним тоже что-то не то? Привет, облако!

— М-м-м…

— Что молчишь? Кто на тебя напал, говори?!

— На меня не напали, меня обуяли.

— Как это?

— Ужас меня обуял, ужас… м-м-м…

Так собрались в одном месте свеча грусти, облако ужаса и кочерга смеха. Собрались они и решили помереть, чтоб не мучиться. Кочерга смеха хохочет так, что её аж корёжит всю. Свеча грусти истаяла почти что до фитиля. А облако всех накрыло и трясётся, с ума сходит от ужаса… Закрыли они глаза. Приготовились.

И тут откуда-то сверху прямо на облако, свечу и кочергу ка-а-а-ак грохнется что-то хорошее. Счастье свалилось. Большое, тяжёлое. Грусть — вдрызг. Ужас — всмятку. Только смеху — нипочём, не подавился даже. Просто в землю врос и цветком обратно вырос. Хохотал цветок, хохотал, пока в одуванчика не превратился. Дунул ветерок, полетели с одуванчика хохотунчики во все стороны. До сих пор хохочут.

А облако, свеча и кочерга обнялись, счастливые, и запели песенку о том, что никогда не надо сдаваться, а то счастья не будет. Большое и доброе облако больше ничего не боится. Кочерга статная такая стала, серьёзная. А свечка выросла и каждую ночь счастьем светится.

Редкие болезни тушканчика

Скакал по степи тушканчик, скакал, скакал и заболел. Пошёл он домой, лёг в постель. Лежит,

болеет, думает: «Что это такое со мной? Неужели — всё?» Подумал и выполз от тоски из дома на солнышко, а там — ночь.

Мимо пролетала сова Гуфо.

— Допрыгался? — спросила она, и тушканчику как-то сразу стало совсем нехорошо. — Редкая болезнь, — посочувствовала сова, — и не одна, а целый букет…

— Какая, доктор? — прошептал тушканчик и прикрыл глазки лапкой.

— Сейчас, — ответила мудрая Гуфо и улетела в библиотеку.

Вскоре она вернулась с полной сумкой разных научно-медицинских трудов.

— На, читай. Тут всё написано.

И начал тушканчик читать про свои редкие болезни. Читал, читал, увлёкся и выздоровел нечаянно.

Ширь и высь

Поспорили как-то ширь с высью: кто из них лучше?

— У меня душа широкая, — говорит ширь.

— А у меня возвышенная, — отзывается высь.

— У меня широкая нараспашку, — добавляет ширь.

— А у меня ранимая навылет, — не отстаёт высь.

— Куда ни глянь — всюду я! — кричит ширь.

— Это так. А если с меня посмотреть, то ты ещё дальше, — уступает ей благородная высь.

И ширь умолкла. Застыдилась.

— Прости, — прошептала она.

Они обнялись, и не стало им ни конца ни края — во все стороны.

Замечательный Мухарик

Жил-был замечательный мышонок Мухарик. Все знали, что он — самый замечательный, потому что он замечает даже то, что другие без него ну никак бы не заметили. Мухарик постоянно находился на посту для замечаний возле своего дома. С утра до вечера. Ему это нравилось. Иногда он даже ночью просыпался и бежал на свой пост что-нибудь позамечать, а потом его искала мама, потому что спать тоже надо когда-нибудь.

Папа Мухарика был очень умным, но рассеянным, как все чересчур умные для обычной жизни, постоянно что-нибудь забывал. Вот и сейчас опять очки ищет, чтобы почитать свежие научные журналы.

— Мухарик! Где папины очки?

— Ворона!..

— Папа не ворона! — сердится мама. — Папа очень умный, он в библиотеке работал! Грыз там гранит науки. Его просто коты неправильно поняли. Вот и работает теперь дома.

— Прости, мамочка! Я знаю. Ворона — не папа. Ворона его очки украла. Вон они — из её гнезда сверкают!

— Ах, какой же ты у нас замечательный, сынок! Это ты меня прости, что не дослушала тебя и неправильно подумала.

Мама обняла Мухарика, а папа начал расхаживать по комнате, сочиняя вслух жалобу на ворону. Жалоба была очень убедительная. Даже ворона не выдержала. Слушала, слушала, а потом сама вернулась с очками и положила их перед мышиным домиком. Так ей стало стыдно.

Пост у Мухарика был в малиновых кустах. На них зрела вкусная малина. А сами кусты были настолько колючими, что надёжно защищали Мухаркино укрытие. У медведя свои кусты малины есть, медвежьи, особый сорт. Зачем ему чужая? А остальные звери обходили Мухарикову колючую малину стороной. Им-то что? Ну, малина — и малина.

А однажды вечером, когда уже стемнело, прибежал Мухарик домой со своего поста такой встревоженный и говорит:

— Мама! Папа! Там на поляну перед лесом днём приехали на машинах люди. Разложили на траве еду и питьё. Поели, попили, погуляли вокруг, на гитарах поиграли, песни попели…

— Ну и что? — ответила мама (папа опять какую-то книжку читает). — Погуляют и уедут. Это у людей отдых такой.

— Да нет же, мама! Если б они так сделали, я бы не прибежал к вам. Но когда они уже собрались домой, вдруг их дяденьки решили устроить салют! Я слышал, как они сказали, что будут фейерверком в воздух стрелять!!!

— Так это же красиво!

— Это страшно! Они же в воздух стреляют! Представляешь?

— Не поняла…

— Они ж его убьют!

— Кого?

— Воздух!

— Нет, не может такого быть. Успокойся, сынок. Вот выдумщик.

Мухарик не поверил маме и убежал на свой пост — смотреть, что будет.

Люди постреляли фейерверками. Покричали «ура-ура» и уехали. Мухарик продолжал тревожно следить за вечерним воздухом. Вскоре начался ветер. Он громко шумел листьями и завывал: «У-у-у-у».

«Это от боли, наверное, — думал Мухарик. — Воздуху больно. Его так сильно обожгли, прострелили. Вот он и плачет, бедняга…» Сердце Мухарика сжималось от жалости после каждого «у-у-у-у…».

Было уже совсем поздно, когда ветер стих. Мама пришла за мышонком:

— Мухарик! Иди спать! Поздно уже!

Но из малиновых кустов никто не ответил. Там не было никого. Встревоженная мама позвала папу, и они пошли искать Мухарика. Искали

в лесу. Искали на полянке. А нашли на берегу реки. Мухарик в отчаянии бегал вдоль берега и говорил кому-то:
— Ну потерпи, миленький, я что-нибудь придумаю! Не умирай!

Над рекой стелился туман. Он становился всё плотнее и белее.
— Мамочка! Папочка! Воздух умирает! Смотрите! Он уже не может стоять! Побелел весь. Лёг на реку… Что же делать?! Что делать?
— Как это «что»? — сказал умный папа. — Надо его спасать, раны перевязывать.
— Да как же мы ему раны перевяжем? — возмутилась мама. — Он же — воздух!
— Если дома нет бинтов, то можно нарезать полосками простыню или хотя бы чистые носовые платочки, — продолжил размышлять папа.

Мухарик был весь в папу, поэтому он сразу догадался, как перевязывать раны туманному воздуху. Туман медленно струился над тихой рекой. По её берегам росло много кустов и кустиков, которые то скрывались в тумане, то появлялись снова. И мышиная семья стала привязывать белые ленточки к их веточкам. Ленточки быстро напитывались влагой раненого воздуха, и их приходилось часто менять.

Бедные мышки! Они работали всю ночь! Они знали, что стараются для всех, ведь никто же не сможет жить без живого воздуха! Соседка ворона перебудила всех птиц и зверей в лесу. И к утру уже вся лесная живность трудилась на берегах реки, перевязывая раны воздуху. Даже медведь пришёл.

Наконец взошло солнце. Воздуху стало легче. Туман поднялся над рекой высоко-высоко и превратился в прекрасные лёгкие белоснежные облака. Усталые, но довольные звери и птицы вернулись в свои жилища.

А Мухарик сказал:
— Мама! Папа! Смотрите, как много ленточек висит на кустиках вдоль нашей реки!
— Это на счастье, — улыбнулась мама. — Примета есть такая.

Притча о счастье

Шёл человек по морю за счастьем. А навстречу ему волны: всё бегут, бегут, догнать друг друга не могут, о скалы разбиваются. Спрашивает человек у волн:
— Есть ли вам число?
— Нет нам числа, — отвечают они.

Вышел человек на берег. Видит: кругом пески. Целые горы песков. Текут, под ноги ложатся, всё покрывают. Взял человек горсть песка и спрашивает у песчинок:
— Есть ли вам число?
— Нет нам числа, — отвечают они.

Поднялся человек на самую высокую гору и дальше пошёл. По небу. А навстречу тучи-облака летят. Громыхают, дождями брызжут. Спрашивает человек у дождинок:
— Есть ли вам число?
— Нет нам числа, — отвечают они.

Промок человек. Вернулся домой — одежду переменить. А у дома люди. Ждут его, чтобы счастьем поделился. Очереди конца-края не видно… Спрашивает человек у людей:
— Есть ли вам число?
— Есть, есть нам число! — закричала очередь.

И каждый протягивает ему ладонь с числом, написанным синей шариковой авторучкой. Испугался человек, назад побежал. А очередь — за ним. Вот-вот догонят.

Бросился человек в море. Расступились волны. Не приняли его. Выбежал на берег, попытался в песок зарыться. Окаменел песок, не впустил его. Взбежал человек на высокую гору. Прыгнул в небо и упал с него прямо в жадные ищущие руки.

Вошли в него руки. И исчезли. Пропала очередь. Лежит человек на бескрайней земле, смотрит в бездонное небо и улыбается. Счастливый. И не счесть его счастья, не измерить никак. Нет у счастья никакого числа.

Сапоги

Зайцы тугие, гагары упругие, караси липкие, сладенькие — чего только на ярмарке нет! Кругом пляшут, музыкой балуются. Сапоги важные — по столбам висят. У шапок — уши торчками, у ребятишек в окнах — носы пятачками, у собак в проулках — хвосты крючками. Весна. А как заведут карусели, как раскачают качели, визгу счастливого — до небес!

Ходит по ярмарке бадья-попадья с поповной. К товарам прицениватся, деньги — златники, сребреники — пересчитывает. Ничего не берёт. Видит: мужик знакомый на лавочке сидит, разговляется пирожками сочными. У самой аж слюнки потекли.
— Здарова, мужик! Где брал пирожки?
— Недалёко, сударушка! Вон в той питейной заведении! — и пальцем масляным показывает.
— Фу! Да не пойду я туда! Ты мне их сам вынеси. Заплачу.

Вынес мужик пирожков. Забрала попадья и дальше пошла.
— А деньги?
— Отстань, постылый! Мои пирожки! Сама купила, сама ем! — и ест на ходу.

Сейчас дожуют с поповной, и — поди докажи!

Понял мужичок, что сам виноват, надо было сразу денег с неё взять. А из питейной уже бегут за мужиком. Ловят. Он ведь обещал пирожки вынести, вернуться и расплатиться сию минуточку! Эхма! Вот попал же кур в ощип! Что делать? Тикать надо! Шибко-то разбираться не станут. Бежит мужик, ветер в ушах свистит. А догоняют уже.

Забрался мужик с перепугу на самый высоченный столб. Внизу народ толпиться начал. Питейные ругаются. Конец света! Сидит мужик на столбе. Новенькие сапоги держит. Не слезает. Кто ж на расправу сам слезет?

День сидит. Второй. Уж и ярмарка кончилась. Ослаб. А питейные не унимаются. Сторожа наняли за копейку. Ходит сторож по кругу, за мужиком зорко следит, поглядывает.

— Эй, сторож! Сапоги хочешь?
— Хочу, но не могу. Служба.
— Сходи, продай бадье-попадье, а деньги питейным верни и себе маленько оставь.
— Зачем попадье сапоги?
— Так ведь дёшево! Возьмёт. Жадная она.
— А ты не сбежишь?
— Не сбегу. У меня ноги одеревенели. Я уже и слезть не могу.
— Ладно. Кидай сапоги.

Бросил мужик сапоги сторожу. Сидит — ждёт. Купила жадина сапоги за полушку. Радуется. А сторож тоже довольный: ничего себе прибыток со столба! Подошёл, поднял голову — а там нет никого, на столбе-то! Удрал мужичок

Идёт мужичок по дороге, приплясывает! Вот она — воля вольная! И небитый даже!

И питейные довольны — барыш свой забрали. И сторожу пирожок достался сверх копейки. Уплетает, улыбается. А про бадью-попадью ничего толком не знаю. Говорят, опять её обокрали, всё из сундуков стащили, даже сапоги какие-то.

День прощения Рубонго

Африканская сказка

Жил-был Экеле-Мекеле. Он стучал в свой барабан Бумбо днём и ночью. И все танцевали вокруг барабана Бумбо. А Экеле-Мекеле стучал в свой барабан и напевал песенку о счастливой охоте на крокодила Рубонго, хитрого крокодила Рубонго из озера Атуюпа в самом сердце джунглей.

Хитрый крокодил Рубонго тоже любил охотиться. А ещё ему нравился волшебный барабан весёлого Экеле-Мекеле. Однажды в деревне был большой праздник, и Экеле-Мекеле так громко стучал в барабан, что стало слышно даже на озере Атуюпа.

Рубонго услышал Бумбо и пришёл на праздник, где было много людей. Но Рубонго был хитрый и коварный: он пришёл тайно. Рубонго спрятался в хижине самого Экеле-Мекеле, потому что там никого не было. Жители деревни ликовали возле Бумбо на центральной деревенской площади, потому что был праздник и Экеле-Мекеле пел очень хорошо, очень громко и долго.

Рубонго боялся идти на площадь, где много народу. Он думал, что все обрадуются ему и начнут на него удачную охоту. Хитрый Рубонго! Он ждал, когда Экеле-Мекеле устанет от барабана и вернётся в хижину. Он ждал его целый день и целую ночь. И ещё целый день. И ещё целую ночь. Так прошёл месяц. Никто не заходил в хижину, потому что был месяц праздников. И Рубонго нечаянно уснул.

Приходит в свою хижину Экеле-Мекеле и видит там хитрого спящего крокодила из озера Атуюпу. Но храбрый Экеле-Мекеле не испугался. Он ушёл в самое сердце джунглей — на озеро Атуюпа — вместе с барабаном Бумбо. И Бумбо разбудил бегемота Нгоно, отдыхавшего там. И Бумбо созвал всех обезьян и жирафов, зебр и антилоп. Даже слон Убунопепе пришёл на зов Бумбо. Все собрались.

Тогда Экеле-Мекеле спросил всех:
— Почему вы так плохо обращались с Рубонго? Он ушёл от вас ко мне и спит от горя. Кто его здесь обидел?

Но звери не обижали Рубонго. Звери пошли в деревню за своим Рубонго, который спит в чужой хижине. Они разбудили крокодила, чтобы узнать, в чём дело. Хитрому крокодилу стало стыдно, он заплакал, рассказал всю правду и попросил прощения у Экеле-Мекеле.

Конечно, его простили. А ещё добрый Экеле-Мекеле пригласил всех гостей, пришедших из дальнего Атуюпа, на продолжение деревенского праздника.

Так в джунглях родился новый праздник — день прощения Рубонго. У громкого Бумбо было много-много работы в этот счастливый день.

День Победы

Жил-был День Победы. Солидный, статный, с салютами. В годах. Все его уважали и праздновали каждый раз. А потом он скромно уходил, но обязательно возвращался через год.

И опять все радовались.

Так прошло много лет. У людей появилось много других новых праздников. День Победы был со всеми приветлив, всегда приглашал к себе на день рождения. Праздники заморские и прочие гости охотно съезжались к нему со всего мира. Были среди них и озорные ребята. Заметили однажды знойный Карнавал, страшилка Хэллоуин и шкодливый Йоулупукки, как стоит День Победы у Вечного огня долго-долго и молчит о чём-то, вот и решили повеселиться.

Подошёл к нему Карнавал, весь в перьях и барабанах:
— О чём грустишь, дедуля? Ты — такой красавец! А не жениться ли тебе?

И тут появляются перед ним переодетые невестами Хэллоуин и Йоулупукки. Оба от смеха чуть не падают, подмигивают друг другу.

А Карнавал продолжает:
— Вот тебе на выбор Ночь Поражения и Трава забвения. Бери любую. Выберешь Ночь Поражения — ещё победительнее станешь выглядеть.

А с Травой забвения обо всех своих печалях забудешь. Ха-ха-ха!

Очнулся День Победы. Взглянул на всё это скоморошество и ушёл. Как гости заморские ни кричали, как ни извинялись — не вернулся. Долго люди искали его. До самой глубокой звёздной ночи. А потом кто-то ахнул и сказал:

— Смотрите, смотрите в небо!

И все посмотрели. А по всему небу плыло удивительное мерцающее сияние. Мириады горящих свечей, негасимых, словно живых, подрагивали от горизонта до горизонта лепестками пламени. И у каждой свечи, как у звезды, было своё единственное имя. И каждое из имён сияло ярко и пронзительно, как память.

— Смотрите, смотрите! — закричал кто-то громко — на весь мир. — Смотрите! Это же — День Победы!

Сказка про людей

Однажды к врачу пришёл другой доктор и говорит:

— У меня какой-то ужас в голове. Помоги.

— Ты сам доктор, — отвечает ему врач, — вот и лечи свой ужас. Не отвлекай других.

Доктор вздохнул и медленно вышел от врача. Он всё надеялся на что-то и выходил так долго, что ужасу надоело ждать, и он случайно выпал у доктора из головы. То есть остался с врачом.

Доктору сразу полегчало: голова такая светлая сделалась, словно птички поют, только рот откроет слово сказать, а оттуда — радуги выплывают. Хорошо-то как! Идёт — счастливый.

А врач сидит один-одинёшенек в кабинете и боится: кругом сплошной ужас. И деться от него некуда. Как закричит от страха!

Доктор услышал, что человеку плохо, и вернулся. Дверь открыл. Смотрит потерянный ужас на доктора, а у того изо рта радуги выплывают, в ушах птички звенят… Испугался ужас и исчез куда-то.

Обрадовался врач. Извинился перед доктором. Понял, наверное, что все мы прежде всего — люди, а потом уже — врачи или водопроводчики…

Большой и маленький

Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ой!

Ой! Большой-большой-большой!

Ой! Маленький-маленький-маленький!

И большой маленький!

И маленький большой!

Глядит большой в небо. И маленький глядит.

Видит большой облако. И маленький видит.

Удивляется большой, как маленький:

— Какое большое небо! Большое! Широкое!

И маленький удивляется:

— Ух ты!

Облако к солнышку подошло, накрыло его.

Ветерок задул. Дождик брызнул на большого и маленького.

Побежал большой к дому — от дождя прятаться, как маленький.

А маленький у него на руках сидит и хохочет.

Дождинкам радуется, ладошками их ловит.

Вот ведь какой большой уже. Ничего не боится!

Собачья радость

Бегают собаки по двору стаей, воздух нюхают, ищут чего-то. Устали, как собаки. Заходит во двор уличный пёс Догон.

— Привет, ребята! Что ищете?

— Да так, чушь собачью!

— Кто потерял? Как выглядит?

— Не знаем, но она точно где-то здесь.

— Я старый пёс Догон, у меня первый разряд по суете. Вам помочь?

— Откуда разряд?

— Суетился. Провод грыз вместо косточки, разгрыз, а там — разряд. Электрический. Первый. До этого ни у кого не было. Чуть жив остался. Уф.

— Ладно, тогда помогай.

О! Кажется, нашли! Собрались в кучу, лают, землю роют, визжат. Молодец, Догон!

Помощь

Жила-была помощь. Она была очень рассеянная, да ещё и близорукая, и поэтому часто приходила слишком поздно, да ещё и не туда, куда надо бы, да ещё и не к тем, кто ждал. Иногда наоборот — приходила именно к тем, от кого спасать надо. Мало того, её очень часто воровали по дороге так, что она вовсе никуда не доходила, сидела себе тихонечко по воровским карманам и помалкивала, чтобы её всю не съели. А её всё равно всю съедали. Дотла.

Но всё-таки и такое бывало, что приходила она. И даже вовремя. Но не оттуда, откуда ждали, а откуда совсем не ждали. Придёт, поможет и ничего для себя не требует. Вот такую её все любили. Только такой её никогда много не было.

Прослышали о ней где-то малые дети. Нашли клад и купили для неё на все деньги большую записную книжку, настоящую карту, настоящий телефон и настоящие очки. И ждут, когда помощь появится, чтобы ей подарок сделать.

А её всё нет и нет. Передайте, пожалуйста, чтобы быстрей приходила. Её дети ждут.

Как родилось слово?

Давным-давно высоко в горах за дивными облаками проснулось эхо. То ли камень упал с вершины скалы, то ли птица вскрикнула, но эху понравилось то, что оно теперь есть. Разбежалось эхо и полетело во все стороны сразу. Выше гор поднялось, в самые глубокие ущелья опустилось. Щедро делилось эхо собой со всеми, кто его слышал. Так щедро, что вскоре для самого себя ничего не осталось. Исхудало эхо, истаяло, потеряло свой голос. Молчит безголосое эхо, слушает: что теперь будет?

Пролетал ветер над морем. Бушевали в нём волны: где наше эхо? Где его голос? Возьми наши голоса, передай ему!

Звенели по всей земле ручьи: горные—по камням, весенние—по льдам и снегам… Где же ты, наше эхо? Возьми и наши голоса!

И листва отдала эху свой шелест, и февральская метель поделилась с ним, и ночные костры передали ему свой треск, и грозовые тучи одарили его всем своим громом! Птицы наделили его своим щебетом. Львы, медведи, волки и лисы, все-все звери земные отдали ему свои голоса. Даже пчёлы, и осы, и самые мелкие мушки. Даже те, кому нечего было отдавать—рыбы, и те старались, изо всех сил разевали рты: мы с тобой, эхо! Мы тоже с тобой!

И стало эхо могучим, многоголосым. Всеми голосами земли, огня, воды и неба зазвучало оно. И стало оно словом животворящим. Отныне кто бы ни угасал на земле, что бы ни исчезало—ничто не могло угаснуть или исчезнуть навеки. Потому что у всего теперь было своё слово. И звучало, и звучит оно вновь и вновь. И прошлое возвращается. И настоящее приходит из будущего, а у того—нет ни конца ни края. Так было, так есть, и так будет всегда, пока существует на свете бессмертное слово, рождённое сочувствием и любовью.

Добрые и худые

Встретились как-то худые слова с добрыми. Худые так и рвутся в драку, а добрые этого никак не замечают. Как так?! Совсем худые слова рассвирепели: и кулаками машут, и кричат громко, и никого вокруг не слышат. А добрые улыбаются. Тогда решили худые слова наброситься на добрые и побить их. Разбежались хорошенько… И пролетели мимо ушей. А добрые—остались.

Спасатель

Как схватил волк овечку, как поволок её на себе!.. Все-все расплакались от умиления. Какой волк молодец! Так бы и утонула в реке, если бы волчара не спас. Настоящий герой!

Засмущался волк: «Ну что вы! Какой я герой? Спасать овечек—это мой долг. Я не один такой: нас тут целая бригада. В этом году уже сто пятнадцатую овцу выручили: падают и падают в реку. А мы спасаем. А ведь год только начался…»

«Неужто и до дома их доставляете?»

«Обязательно! В целости и сохранности. Ни шерстинки не пропадёт. За каждую спасённую премия полагается: десять баранов».

Сказка о тебе

Возле реки, возле горы, возле леса, посреди земли с прекрасными плодами, цветами, птицами, под чудесными облаками, под яркими звёздами, под тёплым и ласковым солнцем жила-была ты. Маленькая, доверчивая и смешная. Над тобой хохотало море, ухохатывалось горное эхо, посмеивались ручьи, а верблюжья колючка—просто каталась от смеха по всей пустыне. А вообще, если честно, ты была очень красивой. Проходившее мимо время иногда спотыкалось, заглядываясь на тебя. Ветер ахал, завидев тебя, и устремлялся навстречу. Дождь обливался слезами, если не мог найти тебя, а вьюга—не могла успокоиться, пока ты не выглянешь в окно. Ты всем верила, и все любили тебя, потому что иначе и быть не могло.

Прошло много-много лет. Выросли новые деревья в саду, пролегли новые дороги в снежных и песчаных пустынях, всюду появились новые города. Многое изменилось вокруг. Но не всё. Потому что есть ты—маленькая, доверчивая и смешная. И очень, очень красивая. Как всегда.

Почему снег белый?

Раньше снег был цветным, тёплым и сладким. Поэтому все мало спали, много ели и сильно пачкались. Однажды поздней осенью снег спрятался в огромной ночной туче. Все успокоились, заснули, никто не переел и не испачкался. А утром выпал свежий снег. Не сладкий, холодный и весь в белом. И все ему поверили. Только маленькие хитрые дети догадываются о чём-то и на всякий случай каждый день тайно пробуют его на вкус.

Сказка про лесную селёдку

Начали белочке зайцы сниться. И стала она зайцем. Прыгает везде, по деревьям лазает, в дуплах орешки прячет, как раньше, а попробуй назови её белкой—обижается: губки надует бантиком и не разговаривает…

Мимо зайцы пробегали. Целый косяк. От акулы прячутся, лёжки меняют. Уж где они акул в чистом поле высмотрели—неведомо, но с той поры, как представили себя селёдками, никого на земле не страшатся, кроме акул. Воду какую заметят, ушки прижмут—и бегут от неё сломя голову куда подальше.

Кричит белка зайчикам:

— Айда ко мне в дупло! Я—ваша, братцы!

Не клюнули. Мимо промчались. Расхотелось белке зайцем быть. Тоже в селёдки подалась. Нырнёт в дупло, вынырнет. И опять нырнёт—орешков пощёлкать. Вот какие нынче селёдки по лесам хоронятся, в дуплах живут…

Собака в облаках

Вылетел дядька из окна, покружил немножко и улетел в магазин за хлебом. Выскочили из окна ребятишки и улетели на зимний каток. Увязалась за ними смешная летающая собака. Вместе-то веселей. Выплыла из окна бабушка, посмотрела вниз, вверх и полетела к соседке: про зятя рассказать, внуками похвастаться, семечек пощёлкать, чаем угоститься—дел невпроворот.

Скрипит окно. Своих дожидается.

Эй, вы! Долго-то не задерживайтесь. Скучно без вас дома. Тихо как-то. Не по себе. Летите-ка все обратно…

Первым вернулся дядька с хлебом, потом бабушка приплыла, ребятишки раскрасневшиеся вернулись. Галдят до сих пор. А собаки всё нет и нет. Опять за воронами погналась. Слышите, как в облаке кто-то лает? Это она.

Молодой с бородой

Жил-был молодой с бородой. Такой молодой, а уже с бородой. Вертел бородой — и тудой, и сюдой. Подойдёт к зеркалу, полюбуется, разгладит её и спать ложится. А бороду поверх одеяла кладёт.

У соседа тоже была бородёнка. Так себе. Сам старый, а смотреть не на что. Сильно он обижался на соседскую бороду. Пробрался однажды в дом к соседу и состриг его бородищу, пока тот спал. А сам домой прискакал: нырь под одеяло — и будто ничего и не было.

Проснулся молодой — нет бороды. Пошёл с горя в речке топиться. А по дороге девицы-красавицы его заметили, не узнали, знакомиться начали. В общем, женился он. Зачем ему теперь борода? С женой-то интереснее. И целоваться ничего не мешает.

Мужик и счастье

Завелось у мужика счастье. Он-то об этом и знать не знал: зашёл к себе в амбар, а там — счастье! И так его много, что бери сколько хочешь — всё равно не убудет. Испугался мужик. В избе спрятался. А что? Все счастья боятся, все от него прячутся: не дай Бог, кто-то узнает, что у тебя счастье завелось! Кляузы строчить начнут. Со свету сживут. В воровстве обвинят, в измене, в саботаже, во всём сразу!

А счастье уже в дом стучится. Весёлое такое. Улыбается. Вот беда-то! Решил мужик счастье своё народу подарить. Не вышло: всё село разбежалось. В город повёз — государству сдавать. Приняли. Оприходовали. У мужика — гора с плеч. Где взял — не спросили. Куда потом дели — никто не знает.

Неправильная собака

Жила-была неправильная собака. Правильные собаки дом сторожат, чужих не пускают, а эта — гостям всегда рада. Правильные собаки хозяев защищают даже тогда, когда те никакой опасности не видят. А эта, сто́ит кому-то на неё сурово взглянуть, сразу под диван прячется. Очень добрая собака: в одиночку никогда не ест, всех угощает. И попробуй только не принять её угощения! Обидится и опять под диван уйдёт. И не выйдет оттуда, пока у неё прощения не попросишь!

Узнал про неправильную собаку бессердечный вор и решил ограбить дом. Дождался он, когда собака в доме одна осталась, и пришёл воровать. Дверь взломал, в дом зашёл, осмотрелся. А собаки нет! Никто не лает, значит, можно спокойно дом грабить, чужое добро в свой мешок складывать. А собака не просто под диван спряталась, но ещё и глаза от страха закрыла. Да не просто закрыла, а так, что вся ушла в себя. И душа её в самые пятки опустилась от ужаса.

Собрал вор чужое добро, заглянул под диван: вдруг и там что-нибудь ценное есть? Увидел он собаку и решил, что это чучело. Понравилось ему чучело собачье — очень уж на настоящую похоже. Решил с собой забрать, потянулся рукой — не достать. Тянулся-тянулся, до пяток собачьих дотронулся. А собака ужасно щекотливой была, пятки трогать никак нельзя: тут же начинает хохотать, особенно если душа — в пятках.

Захохотала странная щекотливая собака на весь дом. Испугался вор ожившего собачьего чучела и убежал, даже про мешок свой забыл. Вернулись хозяева, увидели, что дома вор побывал и ничего с собой не забрал. Долго удивлялись. Так ничего и не поняли.

Мумба-Юмба

Жил-был танец Мумба-Юмба. Зажигательный. Кого встретит, того и танцует. В барабаны бьёт, маракасами гремит. Льва Львовича встретил — натанцевал, Слона Слоновича — натанцевал. Зебру Зеброидовну так растанцевал, что та до сих пор ржёт потихонечку. Тоненько так. От радости и изнеможения.

Сел Мумба-Юмба в самолёт. По воздуху полетел, пританцовывая. Прилетел он в город Рио-де-Жанейро, на карнавал. Надел белые штаны, саксофон нацепил и принялся плясать пуще прежнего. Всем понравился. Некоторые влюбились. А он уехал.

Потому что хорошие танцоры везде нужны, а без хорошего танца Мумба-Юмба откуда им взяться? Всех учить надо. Всех танцевать.

По-честному

Перебрались суета с маетой с больной головы на здоровую. Взвыла здоровая голова от таких перемен, заболела горем. А больная — выздоровела и потешается в сторонке. Услышали суета с маетой, как их прошлая голова радуется, и разделились надвое, чтобы обеим головам по-честному досталось…

стр. 95 Артёмов Владислав Владимирович
Москва, 1954 г. р.

Поэт, прозаик, публицист. Родился в селе Лысуха Березинского района Минской области. Окончил Литературный институт имени А. М. Горького в 1982 году. Автор ряда книг стихотворений и прозы. Лауреат Всероссийской литературной премии имени генералиссимуса А. В. Суворова. Награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и медалью «За трудовую доблесть». Главный редактор журнала «Москва».

стр. 42 Астафьева Анастасия Викторовна
Санкт-Петербург, 1975 г. р.

Родилась в Вологде. Дочь писателя В. П. Астафьева, родившегося и жившего в Красноярском крае. Писать начала в пятнадцать лет. Автор многих сказок, повестей, рассказов и статей; широкую известность приобрела её автобиографическая пьеса, посвящённая отцу. Произведения печатались в местной прессе, «Литературной России», журналах «Нева», «Очаг», «Мир женщины», «День и ночь», «Невский альманах». По детективу «Сети Арахны» в 1998 году на вологодском областном радио был поставлен одноимённый спектакль. Член Союза российских писателей с 2000 года.

стр. 178 Ахадов Эльдар Алихасович
Красноярск, 1960 г. р.

Родился в Баку. Российский писатель. Окончил Ленинградский горный институт. В течение 10 лет руководил краевым литературным объединением при Государственном центре народного творчества Красноярского края и краевой литературной студией «Былина» для незрячих и слабовидящих. Автор более 30 книг поэзии и прозы. Основатель сайта «Миры Эльдара» и международного русскоязычного поэтического конкурса «Озарение». Произведения автора публиковались в журналах «Молодая гвардия», «Мурзилка», «Дети Ра», «Футурум-АРТ», «Кукумбер» (все — Москва), «Сибирские огни» и «Неизвестная Сибирь» (Новосибирск), «День и ночь» (Красноярск), «Обская радуга» (Салехард), «Intelligent New York» и др. Обладатель многочисленных литературных премий и наград.

стр. 15 Беликов Юрий Александрович
Пермь, 1958 г. р.

Родился в городе Чусовом Пермской области. Поэт, эссеист, публицист. Окончил филологический факультет Пермского госуниверситета. Автор четырёх поэтических книг: «Пульс птицы», «Прости, Леонардо!», «Не такой» и «Я скоро из облака выйду». Обладатель Гран-при и звания «Махатма российских поэтов» (всесоюзный фестиваль поэтических искусств «Цветущий посох», Алтай, 1989), лауреат международного фестиваля театрально-поэтического авангарда «Другие» (2006) и ряда литературных премий — имени Павла Бажова (2008), имени Алексея Решетова (2013) и общенациональной премии имени Антона Дельвига «За верность Слову и Отечеству» (2014). В начале 90-х входил в редколлегию журнала «Юность». Основатель трёх поэтических групп: «Времири» (конец 70-х), «Политбюро» (конец 80-х) и «Монарх» (конец 90-х). Лидер движения «дикороссов» и составитель книги «Приют неизвестных поэтов» (Москва, 2002). Работал собкором «Комсомольской правды», «Трибуны», спецкором газеты «Труд». Стихи публиковались в журналах «Юность», «Знамя», «День и ночь», «Арион», «Дети Ра», «Флорида» (США), «Зарубежные записки» (Германия), «Киевская Русь» (Украина»), «Иерусалимский журнал (Израиль), в антологиях «Самиздат века», «Современная литература народов России», «Антологии русского лиризма. XX век», «Молитвы русских поэтов». Награждён орденом-знаком Велимира «Крест поэта», орденом Достоевского I степени. В настоящее время — собкор «Литературной газеты».

стр. 38 Борисова Наталья Андреевна
Оренбург, 1995 г. р.

Студентка Оренбургского государственного университета (электроэнергетический факультет, специальность «Электроснабжение»). Участница нескольких литературных фестивалей. Публикации в альманахе «Гостиный Двор» (Оренбург).

стр. 132 Васильев Геннадий Михайлович
Красноярск, 1959 г. р.

Журналист, поэт, исполнитель авторской песни. Родился в Томске. Отслужил в армии, потом по комсомольской путёвке оказался на КАТЭКе,

в Шарыпово. Учился заочно в Иркутском университете на факультете журналистики. Работал в газетах «Красноярский комсомолец», «Свой голос», «Евразия», «Деловая Сибирь», вёл еженедельную программу на красноярской студии «Авторадио», участвовал во всевозможных медиа-проектах. Участник Всероссийского совещания молодых литераторов в Ярославле в 1996 году.

стр. 22

Евсюков Александр

Тульская область, 1982 г. р.

Выпускник Литинститута 2007 года (семинар М. П. Лобанова). Успел попробовать себя в целом ряде разнообразных профессий. Работал охранником, грузчиком, журналистом, корреспондентом, администратором, менеджером по продажам и т. д. Публикации в сборниках в журналах «Бельские просторы», «Звезда Востока», «Приокские зори» и др. Лауреат конкурсов малой прозы имени Андрея Платонова (2011), «Согласование времён» (2012). Листер премий «Дебют» (2006, 2013), «Дары волхвов», Волошинского (2013) и Тютчевского (2013) конкурсов.

стр. 175

Ерёменко Маргарита

Касли, 1982 г. р.

Родилась в городе Минусинске Красноярского края. Окончила Уральский государственный университет имени А. М. Горького (Екатеринбург) по специальности «Журналистика». Публиковалась в журналах «Урал», «Уральский следопыт», «Транзит-Урал», «Берега», «Новый ковчег», «Новый век», «11:33», «День и ночь», электронных журналах «Новая реальность» и «Полутона» («Звательный падеж») и др. Автор книги стихов «Ри-» (2005), поэтического сборника «Дуэт и соло» (2006). Лауреат Всероссийской литературной премии имени К. Нефёдьева, регионального фестиваля «Уральская лира», регионального музыкально-поэтического фестиваля «Свезар» в номинации «Поэзия», региональных Каслинских поэтических чтений. Участник Всеуральского и Всероссийского совещаний молодых литераторов. Участник литературного клуба «Подводная лодка», поэтического семинара «Северная зона». Организатор ежегодных региональных Каслинских поэтических чтений. Руководитель литературного объединения города Касли Челябинской области.

стр. 33

Иванцов Борис Леонидович

Красноярск, 1954 г. р.

Родился за колючей проволокой. Вскоре после освобождения матери семья переехала на север Кировской области, в Пелесский леспромхоз. В 10 лет остался без матери, через полгода отца посадили во второй раз. Два года Берёзовского детдома, и два года жил один в родном посёлке. Учился в Исовском геологоразведочном техникуме. Служил в Советской Армии, работал геологом до самой ликвидации геологии в 90-х годах. Попутно окончил заочно Иркутский госуниверситет по той же специальности. Был в группе первооткрывателей нескольких месторождений на Чукотке, в Хабаровском крае и Якутии. Работал кочегаром, слесарем сельхозтехники, сварщиком, монтёром пути на РЖД, главным геологом на угольном разрезе. В настоящее время работает геологом на руднике на Енисейском кряже. Последние пять лет вместе с супругой обладает званием «Лучшая рыбацкая семья» на рыболовных фестивалях в Красноярском крае. Награждён знаками «Трудовая слава» III и II степени.

стр. 158

Кайгородов Роман

Красноярск, 1973 г. р.

Родился в Красноярске. Работал на заводах «Красфарма» и «Пикра», служил в армии. С 1994 года стал работать в прессе. Работал репортёром в газетах «Очевидец», «Комок», печатался в «Рабочей трибуне», «Комсомольской правде», «Российской газете». В 1998 году дебютировал в журнале «День и ночь» с рассказом «Подлинная история майора Мухина».

стр. 130

Каминский Семён

Чикаго, США, 1954 г. р.

Родился в Днепропетровске. Прозаик, член Международной ассоциации писателей и публицистов, Международной федерации русских писателей и Объединения русских литераторов Америки. Образование высшее техническое и среднее музыкальное. Работал преподавателем, руководителем юношеского фольклорного ансамбля, менеджером рок-группы, директором подросткового клуба и рекламного агентства, режиссёром и продюсером телевизионных программ, редактором. Публиковался в России, Украине, США, Канаде, Израиле, Германии, Финляндии, Дании, Латвии, в том числе в журналах «Дети Ра», «День и ночь», «Сибирские огни», «Северная Аврора», «LiteraruS», «Зинзивер», «Ковчег», «Сура», «Время и место», «Побережье» и многих других. Лауреат премий журналов «Дети Ра» (2011) и «Северная Аврора» (2012). Автор книг «Орлёнок на американском газоне» (2009), «На троих» (в соавторстве с В. Хохлевым, А. Рабодзеенко, 2010), «Папина любовь» (2012), «30 минут до центра Чикаго» (2012). Живёт в Чикаго (США).

стр. 173

Каренина Ирина

Нижний Тагил, Москва, Минск

Поэт, критик, прозаик. Родилась в Нижнем Тагиле. Училась в Уральском государственном университете имени А. М. Горького на факультете культурологи. Окончила Литературный институт имени А. М. Горького. Работала корректором, фотомоделью, администратором рок-группы, танцовщицей

в кабаре, переводила с английского техническую литературу, вела драмкружок в ашраме кришнаитов, пела в ресторане, была режиссёром экспериментального театра, натурщицей, театральным критиком, пресс-атташе муниципальной администрации, шеф-редактором делового журнала. Автор пяти книг стихов. Редактор-составитель ряда литературных альманахов и книг поэтов Урала и Поволжья. Публиковалась в журналах «Урал», «Пульсар», «Транзит-Урал», «Пролог», в альманахе «Ликбез» и др. Шорт-листер премии Виктора Астафьева (2009) в номинации «Поэзия». Стипендиат Министерства культуры РФ. Член Союза журналистов России.

стр. 26

Киляков Василий Васильевич

Электросталь, 1960 г. р.

Родился в Кирове. После окончания Московского политехникума работал мастером на заводе в городе Электросталь, служил в армии. Окончил Литературный институт имени Горького. Печатался в журналах «Новый мир», «Октябрь», «Юность», «Молодая гвардия» и других изданиях. Лауреат литературной премии имени Б. Полевого и Всероссийской литературной премии «Традиция». Член Союза писателей России.

стр. 101

Козловский Алексей Дмитриевич

Хакасия, 1947 г. р.

Родился в селе Строганово Минусинского района Красноярского края. После окончания средней школы в Минусинске в 1966 году и геофака Красноярского государственного педагогического института в 1973 году работал учителем географии в Новотроицкой средней школе Бейского района Республики Хакасия до 2010 года. Первые поэтические сборники — «Дни осени» и «Светлые леса» — вышли в Красноярском книжном издательстве (1977, 1982). Участник 6-го Всесоюзного совещания в Москве в 1975 году, 3-го Съезда писателей Сибири в Новосибирске (1999). Член Союза писателей России. Награждён Московской городской организацией Союза писателей России литературной премией имени А. П. Чехова «За верное служение отечественной литературе» (2012). Автор 16 книг стихов и прозы. Печатался в журналах «Смена», «Молодая гвардия», «Наш современник», «Сибирские огни», «День и ночь», «Абакан», «Стрежень», «Светлица» и др.

стр. 59

Крюкова Елена Николаевна

Нижний Новгород, 1956 г. р.

Родилась в Самаре, на Волге. Русский поэт, прозаик, искусствовед. Окончила Московскую государственную консерваторию (фортепиано, орган) и Литературный институт имени А. М. Горького (семинар А. Жигулина, поэзия). Публикуется в толстых литературно-художественных журналах России («Новый мир», «Дружба народов», «Знамя», «Москва», «Нева», «День и ночь», «Сибирские огни», «Юность», «Волга» и др.). Финалист премии «Ясная Поляна» (2004, роман «Юродивая») и «Карамзинский крест» (2009, роман «Тень стрелы»). Роман «Изгнание из Рая» — в лонг-листе премии «Национальный бестселлер» (2003). Лонг-листер премии «Русский Букер» (2010, роман «Серафим»). Лауреат премии имени М. И. Цветаевой (2010, книга стихов «Зимний собор»). Лонг-листер премии имени И. А Бунина (2010, «Зимний собор»). Лауреат премии «Согласование культур» (Германия, 2009) в номинации «Поэзия». Финалист Волошинского конкурса (2009, рассказ «Яства детства») в номинации «Проза», Волошинского конкурса (2010, рассказ «Краденая помада») в номинации «Проза». Арт-критик, куратор и автор ряда художественных проектов в России и за рубежом (вместе с художником Владимиром Фуфачёвым): «Священный бык» (Музей современного русского искусства, Нью-Йорк, 1998–1999); «Небесная колесница» (Марсель, 2004); «Архетип» (Нижний Новгород — Москва, 2006); «Символы Земли» (Кассель, Германия, 2006–2007); «Анестезия» (Нижний Новгород, 2007); «Долина Царей» (Москва, 2008) и др.). Директор Культурного фонда «Fermata» (США, с 2008). Член Союза писателей России.

стр. 106

Кузичкин Сергей Николаевич

Красноярск, 1958 г. р.

Родился в Тайшете Иркутской области. Первый рассказ «Совсем простая история» был напечатан в местной газете «Заря коммунизма» 2 января 1980 года. В 1979–1983 годах входил в состав литературного клуба «Бирюса». Печатался в центральных газетах, в городских, районных и многотиражных газетах Иркутской области, Красноярского и Алтайского краёв, в коллективных сборниках столичных издательств, в журналах «Енисей», «День и ночь», «Новое и Старое» (Красноярск), «Луч» (Ижевск), «Мир Севера» (Москва), «Соотечественник» (Берген, Норвегия), в еженедельниках «Литературная Россия» (Москва), «Обзор» (Чикаго). Автор трилогий «Избранники Ангела» и «Времена и Бремена», а также сборника стихов и нескольких книг повестей и рассказов. В 2005 году окончил Высшие литературные курсы в Литературном институте имени А. М. Горького в Москве. В 2006 году в московском издательстве «Амадеус» отдельной книгой вышел роман «Андрей + Наташа». Лауреат «Московского Парнаса» за 2006 год в номинации «Проза». Лауреат Всероссийского конкурса литературного творчества «Золотой листопад» (Иркутск, 2008), дипломант международного литературного конкурса по детской литературе имени А. Н. Толстого (2009). С 2006 года — автор проекта и редактор альманаха прозы, поэзии и публицистики «Новый Енисейский литератор»

(Красноярск), детского альманаха «Енисейка» и ряда приложений. Член Союза писателей России.

стр. 165 **Кузьмина Вера**
Свердловская область, 1975 г. р.

Родилась в Каменске-Уральском Свердловской области, живёт там же. Работает участковым фельдшером.

стр. 171 **Мамлина Наталья Александровна**
Москва, 1988 г. р.

Родилась в Москве. Окончила Литературный институт имени А. М. Горького (семинар поэзии Сергея Арутюнова). Публиковалась в журналах «Православное книжное обозрение», «Зинзивер», «Дети Ра», «Артбухта», «Дружба народов», «День и ночь» и др. Автор сборника стихотворений «Себе наперерез» (2011).

стр. 136 **Мамонтов Евгений Альбертович**
Красноярск, 1964 г. р.

Родился во Владивостоке. Окончил Литературный институт имени А. М. Горького в 1993 году. Лауреат премии имени Виктора Астафьева в номинации «Проза» (2004). Публиковался в журналах и альманахах «День и ночь», «Дальний Восток», «Октябрь», «Рубеж». Жил и работал во Владивостоке. С 2014 года — преподаватель Красноярского литературного лицея, руководитель творческой мастерской начинающих писателей. Заместитель главного редактора журнала «День и ночь» по прозе.

стр. 3 **Минаков Станислав Александрович**
Харьков, Украина, 1959 г. р.

Родился в Харькове. Поэт, переводчик, эссеист, прозаик, публицист, журналист. Член Национального союза писателей Украины, Союза писателей России, Международного фонда памяти Б. Чичибабина, Всемирной ассоциации писателей «International PEN Club» (Московский центр). Автор книг «Имярек», «Вервь», «Листобой», «Хожение», «Где живёт ветер». Лауреат Международной премии имени Арсения и Андрея Тарковских (Киев — Москва, 2008). Лауреат Всероссийской премии имени братьев Киреевских (Москва — Калуга, 2009). За книгу «Листобой» был удостоен литературной премии имени Б. Слуцкого (1998). Лауреат конкурса-фестиваля «Культурный герой XX века» (Киев, 2002). Лауреат конкурса духовной поэзии в Интернете, проводимого Свято-Филаретовским институтом (Москва, 2002). Победитель Всеукраинского конкурса «Русское слово Украины» (Киев, 2003) в номинации «Публицистика». Победитель турнира поэтов «Коктебель-2004» (в рамках Международного Волошинского литературного фестиваля). Лауреат премии «Народное признание» (Харьков, 2005) за книгу стихотворений и переводов «Хожение». Автор-составитель энциклопедии «Храмы России» (Москва, 2008). Был соредактором журнала «Бурсацкий спуск», редактором многих поэтических книг, а также альманаха «ДвуРечье. Харьков — Санкт-Петербург» (2004). Занимается журналистикой, публикуется на Украине, в России и за рубежом.

стр. 14+ **Минин Евгений Аронович**
Иерусалим, Израиль, 1949 г. р.

Окончил Витебский станкоинструментальный техникум. Служил в войсках ПВО. После службы в армии окончил Ленинградский политехнический институт и четыре курса Витебского педагогического института. Работал мастером, начальником цеха на Витебском заводе часовых деталей, преподавателем в средней школе. Стихи, пародии и проза печатаются в израильских, американских, европейских, российских журналах и газетах, а также вошли в альманахи и журналы «Знамя», «Дети Ра», «Иерусалимский журнал», «Семья и школа», «Зарубежные записки», «Слово\Word», «День и ночь», «Дон», «День поэзии-2009», «Кольцо „А“», «Побережье», «Галилея», «Литературная учёба», «Литературный Иерусалим», «Флорида», «22», «Литературная газета», издаваемые в США, России, Израиле и Европе. Ведущий пародийных рубрик в журналах «Литературная учёба» (Россия) и «Флорида» (США), а также в газетах «Литературная газета» и «Литературная Россия» (Россия) и «Секрет» (Израиль). Издатель альманаха «Иерусалимские голоса», приложений к альманаху «Литературный Иерусалим», издатель и редактор множества поэтических сборников. Автор текстов песен для шести музыкальных альбомов, выпущенных российскими студиями грамзаписи. Председатель Иерусалимского отделения СП Израиля, член Союзов писателей Израиля и Москвы, директор Международного союза литераторов и журналистов (APIA) по Израилю, литературный представитель за рубежом газеты «Информпространство» (Москва). Лауреат Третьего поэтического фестиваля памяти Поэта (Израиль), лауреат премии «Поэт года-2007» Международного союза литераторов и журналистов (APIA). Член судейского корпуса Международной литературной премии «Серебряный стрелец» (2008, 2009, 2010).

стр. 148 **Миронов Дмитрий Анатольевич**
Санкт-Петербург, 1968 г. р.

Прозаик. Публикации в интернет-изданиях, в журнале «Урал» (2013, № 4).

стр. 56 **Монахов Владимир Васильевич**
Братск, 1955 г. р.

Журналист. Родился в городе Изюм Харьковской области УССР. Пишет стихи и прозу с 1972 года. Автор более 10 сборников. Публикуется в антологиях, журналах и альманахах. За серию эссе

в 2006 году стал лауреатом журнала «Юность». В 2009 году за «Русскую сказку» поэту вручена национальная премия «Серебряное перо». Лауреат Международного поэтического конкурса «Лёт лебединый» имени Петра Вегина (2014). Занял второе место в номинации «Бэла» за лучшую новеллу о любви в международном Лермонтовском конкурсе (2014). Входит в литературную группу ДООС (Добровольное общество охраны стрекоз) под псевдонимом Братскозавр. Член редколлегии альманаха «45-я параллель» (Ставрополь).

стр. 124
Русаков Эдуард Иванович
Красноярск, 1942 г. р.

Писатель, журналист. Родился в Красноярске. Окончил Красноярский медицинский институт и Литературный институт имени А. М. Горького. Работал врачом-психиатром (1966–1981), редактором на Красноярской студии документальных фильмов (1981), руководителем литературной студии при красноярском Дворце культуры (1982–1991), корреспондентом газет «Евразия», «Вечерний Красноярск» (1991–1998). Обозреватель газеты «Красноярский рабочий» (с 1998). Печатается как прозаик с 1966 года. Автор нескольких книг прозы. Произведения переводились на азербайджанский, болгарский, венгерский, казахский, немецкий, словенский, финский, французский, японский языки. Член Союза российских писателей, Международного ПЕН-клуба (Русский ПЕН-центр, Сибирский филиал).

стр. 99
Синельников Михаил Исаакович
Санкт-Петербург, 1946 г. р.

Родился в Ленинграде, в семье, перенёсшей блокаду. Детские и юношеские годы провёл в Средней Азии. Рано профессионализировался как литератор. Поэт, исследователь литературы, эссеист, переводчик — главным образом поэзии Востока. Составитель ряда поэтических антологий. Автор 23 стихотворных книг, в том числе однотомника (2004), двухтомника (2006), сборника «Из семи книг» (2013). Академик РАЕН, Петровской академии и Турецкой академии поэзии, лауреат многих отечественных и зарубежных премий, в том числе премии Ивана Бунина, премии Арсения и Андрея Тарковских, премии «Глобус» за интернационализм творчества.

стр. 103
Ставер Сергей Петрович
Назарово, 1949 г. р.

Родился на станции Крутояр Красноярского края. По профессии — художник-оформитель. Автор девяти поэтических сборников, участник Всероссийских литературных чтений имени В. П. Астафьева. Публиковался в литературных журналах «Енисей» и «День и ночь» (Красноярск), «Сибирские огни» (Новосибирск), «Сибирские Афины» (Томск), альманахах «День российской поэзии», «Новый Енисейский литератор». Руководитель народного коллектива назаровских литераторов «Эхо Арги», член Союза российских писателей.

стр. 168
Степанов Евгений Викторович
Москва, 1964 г. р.

Родился в Москве. Поэт, издатель. Окончил факультет иностранных языков Тамбовского педагогического института и аспирантуру МГУ имени М. В. Ломоносова. Кандидат филологических наук. Стихи печатались в журналах «Звезда», «Дружба народов», «Арион», «Юность», «Дон», «День и ночь», в альманахах «Поэзия» и «День поэзии», в газетах «Труд», «Литературная газета» и во многих других изданиях. Автор нескольких книг стихов. Лауреат премии имени А. Дельвига. Живёт и работает в Москве. Член редколлегии журнала «День и ночь».

стр. 15
Тарковский Михаил Александрович
Бахта Красноярского края, 1958 г. р.

Окончил Московский государственный педагогический институт имени В. И. Ленина по специальности «География и биология». Затем работал на Енисейской биостанции в Туруханском районе Красноярского края. С 1986 года — штатный охотник, а последние годы — охотник-арендатор в селе Бахта Туруханского района. Писал стихи, последние годы перешёл на прозу. Рассказы и повести Михаила Тарковского публиковались в журналах «Новый мир», «Юность», «Москва», «Наш современник», а также «Согласие», «Ветер», «Литературная учёба», «День и ночь». Лауреат премий журнала «Наш современник» и сайта «Русский переплёт». Лауреат литературной премии «Ясная Поляна» за 2010 год в номинации «XXI век».

стр. 97
Третьяков Анатолий Иванович
Красноярск, 1939 г. р.

Родился в Минусинске. Окончил Красноярское речное училище. Служил в армии, работал судовым механиком, помощником машиниста тепловоза, литературным сотрудником в газетах. Учился на сценарном факультете ВГИКа, в Литературном институте имени А. М. Горького. Печатался во многих коллективных сборниках Москвы, Красноярска и других городов России. Автор более десятка поэтических книг. Автор слов торжественной песни — гимна Красноярска и многих других песен. Лауреат Пушкинской (губернаторской) премии Красноярского края. Член Союза писателей России. Член правления КРО СП России.

стр. 163
Учаров Эдуард Раимович
Казань, 1978 г. р.

Родился в Тольятти. Окончил Академию труда и социальных отношений (юридический факультет).

Публиковался в газете «Самоцвет» (Челябинск), в журналах «Оборона России» (Москва), «Идель» и «Чаян» (Казань), «Дружба народов» (Москва), в коллективных поэтических сборниках «Пульс» и «Пульс-3» (Москва). Член редколлегии журнала «Казанский альманах». Стихи переведены на сербский язык. Удостоен грамоты в литературно-поэтическом конкурсе «Малая родина», дипломов в рамках проекта конкурса «Политическая поэзия современности» и литературного конкурса «Дебют года». Автор книги стихов «Подворотня» (Краснодар, 2011).

стр. 105
Хатеновский Виктор
Москва, 1958 г. р.

Родился в Минске. Поэт, актёр, бард. Учился в Белорусском театрально-художественном институте на актёрском факультете, был отчислен. В 1985 году окончил Саратовское театральное училище имени И. А. Слонова по специальности «актёр драматического театра». С 1989 по 1991 год был активным участником неорганизованной литературной группировки «Поэты Арбата». В 2007 году, после восемнадцатилетнего перерыва, возобновил занятие актёрской деятельностью. Работал слесарем-сборщиком, грузчиком, рабочим в геодезической экспедиции, театральным актёром, актёром разговорного жанра, продавал печатную продукцию в электричках Московской железной дороги, занимался сетевым маркетингом, изучал и преподавал начальные основы тибетской йоги. Стихи на сегодняшний день опубликованы в литературно-художественных журналах, газетах и интернет-альманахах России, Украины, Белоруссии, Германии, Канады, США.

стр. 54
Хомутов Сергей Адольфович
Рыбинск, 1950 г. р.

Родился в городе Рыбинске Ярославской области. Выпускник Литературного института имени А. М. Горького (1987). Работал на предприятиях Рыбинска (1969–1982), в многотиражной районной и областной газетах (1982–1990), директором издательства «Рыбинское подворье»; с 1994 года — главный редактор литературно-исторического журнала «Русь». Автор книг стихов «Пускай растёт берёзка», «Дом над рекой», «Земные мгновения», «Непокой», «Человек, полюби человека», «Русская дорога», «Огонь, несущий свет» и др. Член Союза писателей России, заслуженный работник культуры РФ, действительный член Петровской академии наук и искусств.

стр. 39
Цейтлин Евсей
Чикаго, США, 1948 г. р.

Прозаик, культуролог, литературовед, критик. Родился в Омске. Окончил факультет журналистики Уральского государственного университета, Высшие литературные курсы при Литературном институте имени А. М. Горького. Кандидат филологических наук, доцент. Преподавал в вузах историю литературы и культуры. Автор литературно-критических статей и эссе, монографий, рассказов и повестей о людях искусства. Начиная с 1968 года, публиковался во многих литературно-художественных журналах и сборниках. Автор многих книг, которые издавались в России, США, Литве, Германии: «Снег в субботу», «Послевкусие сна», «Несколько минут после. Книга встреч», «Откуда и куда», «Долгие беседы в ожидании счастливой смерти», «Писатель в провинции», «Голос и эхо», «На пути к человеку», «О том, что остаётся», «Долгое эхо», «Свет не гаснет», «Жить и верить…», «Всеволод Иванов», «Так что же завтра?..», «Всегда и сегодня…», «Беседы в дороге» и др. Составил четыре сборника прозы русских и зарубежных писателей. Был главным редактором альманаха «Еврейский музей» (Вильнюс). С 1996 года живёт в США, редактирует чикагский ежемесячник «Шалом». Член Союзов писателей Москвы, Литвы, Союза российских писателей, Международного ПЕН-клуба.

стр. 29
Чернова Анастасия Евгеньевна
Москва, 1987 г. р.

Родилась в Москве. Выпускница Литературного института имени А. М. Горького (творческий семинар Михаила Петровича Лобанова). Учится в аспирантуре МПГУ. Автор рассказов, публиковавшихся в столичных изданиях «Наш современник», «Проза», «Тверской бульвар, 25» и др. Лауреат литературной премии имени Леонида Леонова (2009). Победитель II Славянского литературного форума «Золотой Витязь» в номинации «Дебют» (2011). Лауреат Международного молодёжного конкурса «Храм Василия Блаженного — история, душа и красота России» в номинации «Литература». Лауреат премии имени А. Платонова (2012). Лауреат межрегионального фестиваля научного и литературно-художественного творчества «Есенинская весна» (2013) в номинациях «Литературное творчество» и «Научные работы». Лауреат I степени Всероссийского литературного фестиваля-конкурса «Хрустальный родник» (2014). Автор книги «Самолёт пролетел» (рассказы и повесть).

стр. 161
Чигрин Евгений Михайлович
Москва, 1961 г. р.

Родился на Украине. Долгие годы жил на Дальнем Востоке. С 2003 года живёт в подмосковном Красногорске. Член Союза писателей Москвы, Союза российских писателей и Международного ПЕН-клуба. В 2007-м Российской муниципальной академией правительства Москвы награждён медалью «За гуманизм и служение России». В 2006-м награждён дипломом министерства культуры

Московской области. Лауреат Международной Артийской премии (1998). Лауреат Сахалинского фонда культуры (1992). Произведения поэта переводились на испанский, французский, польский языки.

стр. 28 **Шадрин Владимир Александроввич**
Орск, 1959 г. р.

Поэт. Публиковался в местной и областной прессе, «Литературной России», журнале «Москва» (№10, 2002), альманахах «Гостиный Двор», «Орь» (№1, 2003), сборниках «Радуга в камне», «Отечества родного седые ковыли», «Небесные купола», «Они прилетят!». Член Союза писателей России.

стр. 170 **Шаров Павел Петрович**
Саратов, 1972 г. р.

Родился в Саратове. Окончил Литературный институт имени Горького. Публиковался в журналах «Волга», «Волга—XXI век», «Сибирские огни», «Северная Аврора», «EDITA» (Германия), «Футурум АРТ», «Дети Ра», «Урал-Транзит», «Звезда» и других изданиях. Автор четырёх книг стихов. Член Союза писателей России.

стр. 7 **Щербаков Александр Илларионович**
Красноярск, 1939 г. р.

Родился в Красноярском крае, в селе Таскино, в старообрядческой крестьянской семье. Образование: история и филология, экономика и журналистика. Работал учителем, корреспондентом краевых и центральных изданий, возглавлял Красноярское отделение Союза писателей России. Автор двух десятков книг стихотворений, прозы, публицистики, повести «Свет всю ночь», сборников рассказов «Деревянный всадник», «Лазоревая бабка», «Змеи оживают ночью», поэтических книг «Трубачи весны», «Глубинка», «Горлица», «Жалейка», «Дар любви». Печатался в журналах: «Наш современник», «Молодая гвардия», «Уральский следопыт», «Сибирские огни», «Огонёк» и др. Член Союза писателей России. Заслуженный работник культуры Российской Федерации. Академик Петровской академии наук и искусств.

стр. 176 **Юшманова Варвара**
Москва, 1987 г. р.

Родилась в Братске. Поэт, журналист, редактор. Окончила Ульяновский государственный университет по специальности «Журналистика». Студентка пятого курса Литературного института имени А. М. Горького (семинар поэзии Игоря Волгина). Публиковалась в сборниках «Братск—Пушкину», «Жизнь творчества» (Братск), журналах «Волга—XXI век» (Саратов), «День и ночь» (Красноярск), «Новая реальность» и «Русская жизнь». Финалист Международного литературного Волошинского конкурса 2013 года.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

Марина Саввиных

ЗАМЕСТИТЕЛИ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

по прозе

Александр Астраханцев
Евгений Мамонтов

по поэзии

Сергей Кузнечихин

ДИЗАЙНЕР-ВЕРСТАЛЬЩИК

Олег Наумов

КОРРЕКТОР

Андрей Леонтьев

СЕКРЕТАРИАТ

Юлия Вятчина
Артём Яковлев

Издание осуществляется при поддержке Агентства печати и массовых коммуникаций Красноярского края.

Журнал издаётся с 1993 г. В его создании принимал участие В. П. Астафьев. Первым главным редактором с 1993 по 2007 гг. был Р. Х. Солнцев. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ №ФС77–42931 от 9 декабря 2010 г. выдано Министерством Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Николай Алешков
Набережные Челны

Сергей Арутюнов
Москва

Юрий Беликов
Пермь

Вера Зубарева
Филадельфия

Анатолий Кирилин
Барнаул

Владимир Костылев
Арсеньев

Валентин Курбатов
Псков

Андрей Лазарчук
Санкт-Петербург

Евгений Минин
Иерусалим

Виталий Молчанов
Оренбург

Дмитрий Мурзин
Кемерово

Миясат Муслимова
Махачкала

Александр Петрушкин
Кыштым

Лев Роднов
Ижевск

Евгений Степанов
Москва

Михаил Тарковский
Бахта

Вероника Шелленберг
Омск

В оформлении обложки использованы картины Андрея Поздеева.

Редакция не вступает в переписку. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Ответственность за достоверность фактов несут авторы материалов. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов. При перепечатке материалов ссылка на журнал «День и ночь» обязательна.

ИЗДАТЕЛЬ

ООО «День и ночь».

ИНН 246 304 2749

Расчётный счёт
4070 2810 8006 0000 0186
в Новосибирском филиале
ОАО «Банк Москвы»
в г. Новосибирске

БИК 045 004 762

Корреспондентский счёт
3010 1810 9000 00-00 0762

Рукописи принимаются по электронной почте: dayandnight@bk.ru

Адрес редакции:
г. Красноярск, пр. Мира, д. 3.

Почтовый адрес:
66 00 28, г. Красноярск, а/я 11 937,
редакция журнала «День и ночь».

Наш сайт: www.krasdin.ru

Подписано к печати: 08.06.2015
Тираж: 1200 экз.

Отпечатано ИП Азарова Н. Н.
в типографии «Литера-принт»,
г. Красноярск, ул. Гладкова, д. 6, офис 0-10
эл. почта: 2007rex@mail.ru, т. 294 15 77

Андрей Поздеев

Жёлтые цветы | 1985–1986

На обложке:
Декоративный букет | 1992